



В. ДАДИЧКВИ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԸՄՏԻ
ՎԱԿՈՒՄԻՆԱՆ ԱՆՊՈՒՄԱՆ

На далеком пути, сидя в санях, уже на склоне своих дней, Владимир Мономах ехал из Чернигова в Переяславль. Зима, с ее медвежьими холодами и волчьим воем, приближалась к концу, и недалек был прилет птиц, но в ту ночь ударил мороз, и опушенные инеем дубы, медленно проплывавшие по обеим сторонам дороги, были подобны райским видениям. Над ними тяжело поднималось зимнее розовое солнце. В мире стояла упоительная тишина, напоминавшая о высоких и гулких храмах, построенных по замыслу епископа Ефрема. Среди этого церковного молчания весело перекликались звонкими голосами княжеские отроки. В отдалении мерно стучала секира дровосека. Порой летела черно-белая сорока, садилась на дерево, и тогда с ветки падала на землю горсточка легчайшего снега. Легко огибая всякое встреченное препятствие — корявую колоду дуба, сваленного бурей, или неуклюжий камень, дорога то взползала на холмы, то спускалась в долину, возвращаясь вдруг вспять, как повествование книжника.

В простой овчинной шубе, надвинув на глаза ветхую бобровую шапку с верхом из потускневшей парчи, старый князь дремал. Румяный молодой возница, в полушубке, в заячьем колпаке, сидел верхом на сивом большеголовом коне. Ноги у раба были обмотаны белыми шерстяными тряпицами и ремнями обуви. Позади на двух других санях везли все необходимое для великого князя в пути — припасы и котлы, ячмень для его коней, княжеский меч в потертых ножнах из лилового бархата, с серебряными украшениями, как на переплетах богослужбных книг, а в обитых медью ларях торжественное одеяние князя, его любимые книги, с которыми он не расставался даже в путешествиях и походах, глиняную чернильницу и все необходимое для писания.

За передними санями ехали на сытых злых жеребцах, лениво поведивших мощными боками, бояре и отроки. Некоторые из них служили в переяславской дружине, ездили в Чернигов по приказанию князя Ярополка, пославшего их в этот город, чтобы передать поклон отцу, и теперь возвращались вместе с Мономахом, неожиданно изъявившим желание свернуть с киевской дороги и направиться в Переяславль. Таких было трое — боярин Илья Дубец, отроки Андрей и Даниил. Трое дружинников, три разных судьбы и три коня. Вороной, с белой отметиной на лбу, серый в яблоках и гнедой. Илья ехал спокойно, как человек, всего перевидавший на свете и постигший, что мало пользы в пустой человеческой суете, и в его русой бороде уже серебрилась седина. Андрей был молод, в гридне отрока прозвали за золотые волосы Злат. Он состоял в дружине Ярополка княжеским гуслиаром, потому что его персты искусно перебирали струны и песни легко слетались к нему, когда на пирах нужно было петь славу князьям. Злата учили, что мир и все сущее в нем сотворено в шесть дней богом — солнце и звезды, люди и звери, моря и горы,

— но книжная премудрость не объясняла всех загадок бытия: всюду слышались Злату волнующие зовы, таинственные шорохи в дубравах. Порой, когда, закинув за плечо гусли, он ехал верхом по берегу лунной реки и месяц трепетал на водяной ряби, ему казалось, что русалки смеются серебряным смехом в прибрежных ракигах. Ему снились странные сновидения, и как только ночь покрывала землю своей огромной черной мантией, всюду

чудилась в мире некая прекрасная тайна. Теперь Злат смотрел на холодное солнце и с тревогой спрашивал себя: вернется ли весна и прилетят ли птицы из южных стран? Все вокруг как бы замерло в беспробудном оцепенении, медведи храпели в берлогах, а деревья в иное умолкли в блаженном забытии, и ему захотелось разбудить это сонное царство звоном золотых струн. Однако еще не пришел час, гусли лежали под овчиной на задних санях, спрятанные от князя, предпочитавшего под старость греховным песням божественные псалмы.

Когда обоз выехал из рощи и спустился в ложбину, далеко среди чернеющих кустов появилась рыжая лисица. Низко припадая к земле и замата следы пушистым хвостом, она бежала по снегу, потом остановилась на мгновение, по-кошачьи брезгливо подняв переднюю лапу и повернув острую мордочку в сторону людей. Злату даже показалось, что она хищно оскалила мелкие зубы, напомнив о тех лукавых улыбках, какими греческие вельможи имеют обыкновение сопровождать свои льстивые речи. Воздух не был прозрачным, и морозная мгла прикрыла дали, но, сражаясь с печенегами и половцами, русские воины не только переняли у них способы ведения конного боя и научились бить стрелой любую птицу на лету, чему весьма удивлялся некий рабби Петахья, проезжавший в здешних местах и оставивший любопытное описание своего путешествия, но и до крайности обострили свое зрение. Злат ясно видел злой огонек в лисьих глазах.

Съехав с дороги, он с быстротою молнии выхватил из кожаного колчана упругий лук и вставил в тетиву смертоносную тростинку.

Остановив коня, Илья Дубец неодобрительно покачал головой:

— Не пускай стрелу!

Отрок вскинул на него глаза:

— Не долетит?

— Может, и долетит. Но лиса уйдет, и ты стрелу потеряешь напрасно. Где искать ее в снежном поле?

Увы, лиса уже исчезла за сугробом, и Злат с сожалением опустил лук. Проезжавшие мимо отроки смеялись над неудачным стрелком, прозевавшим добычу. А он метко попадал в цель, и его стрелы щетинились железными остриями, мохнатылись орлиным оперением. Ради этих тугих шелковистых перьев Злат лазил с другими отроками на высокие дубы, чтобы доставать в гнездах орлят, и терпеливо выращивал на своем дворе глазастых птенцов, больно щипавших пальцы крепкими клювами, когда он кормил их.

Отрок Даниил, для которого ничего святого не было на свете, хотя он и прочел множество книг, знал священное писание не хуже епископа и в переяславском дворце забавлял князя Ярополка и его красивую супругу греческими притчами, рассмеялся.

— Велика звериная хитрость. Бывает, что лиса притворяется мертвой и лежит как бездыханная, а когда к ней слетаются птицы, чтобы клевать трупное мясо, она ловит их и пожирает. Вот и Христос уподобил Ирода лисице.

Воевода Фома Ратиборович, горбоносый, с проседью в черной бороде, с круглыми злыми глазами, бросил словоохотливому отроку, проезжая мимо:

— Даниил, все мелешь языком пустое?

Дружинник с насмешливой улыбкой, в которой чувствовалось презрение к этому грубому человеку, не державшему за всю свою жизнь ни одной книги в руках, ответил:

— Язык мой, господин, как трость скорописца и уста мои как быстрота речная...

Фома хорошо знал, что Даниил, дерзкий отрок с красивыми глазами, сын рабыни, но нарядный, как княжич, переглядывается с молодой княгиней, и пригрозил ему:

— Вспомнишь мои слова, но поздно потом будет. Плохо ты кончишь житие.

Даниил оскалил белые зубы.

— Не взирай на меня, господин, как волк на ягненка. Что я сотворил тебе недоброе?

— Не имеешь ты почтения к старшим, преисполнен гордыни.

— А почему не быть мне гордым? Вострублю, как в златокованные трубы, во все силы ума своего и заиграю в серебряные органы гордости своей.

Отрок подбоченился левой рукой, а правой натянул поводья.

Хмурясь, Фома отъехал прочь и сказал:

— Наполнен ты словами, как горшок горохом.

— Как тула стрелами. И все они попадают в цель, — возразил зубастый отрок.

Илья Дубец, мотнув-головой в сторону воеводы, заметил:

— Ты истину сказал. Зол он, как волк.

Речь у Ильи была спокойная и неторопливая, как у всех людей, которые знают, что такое жизненные испытания. Этот сильный человек пережил на своем веку немало горя, испытал пленение и раны, видел смерть близких людей от руки врага. Как и Даниил, он был тоже смерд родом и земледелец, начал жизнь в те страшные годы на Руси, когда часто горели гумна и половецкая конница топтала русские нивы, запомнил налет саранчи на поспевающее жито и страшные знаменья на небесах, но уцелел среди подобных несчастий и даже носил золотое ожерелье, полученное из рук князя. Злат, которому старый дружинник отечески покровительствовал, родился на много лет позже, когда наступила тишина и Мономах прогнал половцев в далекие безводные степи. Молодой гуслер не участвовал в страшных конных сражениях. Он беззаботно смотрел на окружающий мир и улыбался, вспоминая, что в хижине у Кузнечных ворот живет сероглазая Любава и напевает песенку о веретене.

Мономах смотрел на белые деревья, и ему представлялось, что в мире только что умолк псалом, воспевавший мудрое художество мироздания; он снял рукавицу с правой руки и вытер пальцами влажные глаза. Старому князю был дан слезный дар: когда этот человек входил в храм и слышал церковное пение или читал в книге о страданиях праведного мужа, у него тотчас лились из глазниц обильные слезы. Во многом отличался он от прочих людей и до седых волос не переставал удивляться различию человеческих лиц, среди которых нет двух одинаковых, и тому, как все целесообразно устроено в мире — от малой былинки до небесных светил. Порою, отложив в сторону меч, князь брал в руки перо, омокал его в чернила и писал трогательные письма. В одном из таких посланий ему посчастливилось сравнить гибель юноши с увяданием цветка. Этот непобедимый воитель, именем которого половецкие женщины пугали плачущих детей в ночных вежах, из страха перед которым дикие ятвяги не смели вылезать из своих болот, испытывал нежность к птицам, поющим в дубравах. Он иссек и потопил в быстротекущих реках двести ханов и столько же взял в плен, не считая множества простых воинов, и однажды в припадке гнева так разгромил Минск, что в городе не осталось ни одного человека; но, пролив столько крови и не раз черпая золотым шлемом воду в половецких реках, сладостную в час победы, Владимир Мономах более всего на свете ценил мир, не любил обнажать оружие. Неоднократно он посылал сказать половцам:

— Не ходите на Русь!

Однако безумные сыны Измаила не слушали предостерегающего голоса, вдруг появлялись в переяславских полях, и тогда на них обрушивались русские мечи.

Теперь приближался конец жизни, и санный путь напомнил старому князю, что скоро настанет смертный час и его бранные останки повезут по древнему обычаю на санях, запряженных волами, — даже среди яблонь в цвету или в день жатвы, — и положат рядом с возлюбленным отцом, в мраморной гробнице в храме святой Софии. При мысли о том, что уже недалек час, когда придется предстать перед строгим судьей, он перебирал в памяти свои прегрешения. Разве всегда ходил он прямыми путями? Но окольная дорога, защищал себя князь, обычное средство мудрого правления. Да, он пролил море крови, однако не ради собственной выгоды. Зато никогда не предавался лени, трудился по мере сил, чаще спал на голой земле, чем на мягкой постели, предпочитал носить бедную сельскую одежду на ловах, чтобы не рвать о тернии греческую парчу, всегда был воздержан в пище и питье, и когда другие пожирали рябчиков и тетеревов, лили из серебряных чаш вино в ненасытные глотки, он довольствовался куском хлеба и глотком воды; он был бережлив, сам присматривал за всем в доме и церкви, на княжеском гумне и на погостах во время сбора дани. Он избегал блуда и грешных помышлений.

Дорога вновь углубилась в лес, и опять с обеих сторон появились во множестве белые деревья. Розовое солнце медленно, точно из последних сил, поднималось в зимней мгле к полудню. Вдруг на дальней поляне, с подветренной стороны, выскочило стадо оленей. Мономах даже разглядел пар, с силой вырывавшийся у животных из теплых ноздрей. Но звери исчезли, как во сне, напомнив князю о прежних ловах, в молодые годы. Сколько раз в своей юности он гонялся за подобными легконогими созданиями, поражал копьем черных туров или щетинистых вепрей, ловил петлей диких коней в черниговских пущах! Неоднократно ему приходилось быть на краю гибели. Два тура метали его рогами, бодал олень, один лось рогами бил, другой ногами топтал. Однажды вепрь сорвал у него с бедра меч, медведь прокусил потник у самого колена, а лютый барс вскочил на бедра и повалил вместе с конем на землю. Много раз он падал с коня, повреждал себе голову, руки и ноги, не говоря уж о том, что часто подвергался смертельной опасности во время сражений и походов. И если отец посылал его в дальний путь, он выполнял самые трудные поручения и никогда не нарушал отцовскую волю.

В те времена на многих ловах его сопровождала молодая жена с непривычным для русского слуха именем. Среди этих зимних картин Гита вспоминалась светловолосой и зеленоглазой красавицей, раздумывавшейся на морозе. В такие поездки на нее надевали красную шубку, отороченную горностаем. У нее были маленькие руки, не знавшие никакой работы. Она пренебрегала пряжей и могла часами думать о каких-то неведомых городах, странных растениях, диковинных птицах, устремляя туманный взор вдаль. Плавными движениями Гита напоминала лебедя. Недаром ее матери дали в английской стране красивое прозвище — Лебединая Шея. Но Гиты давно уже не было в живых, и разве он не ехал в Переяславль с тайной мыслью в последний раз поплакать у ее гробницы?

Мономаху приятно дремалось в пахучем тепле овчины. В памяти возникали обрывки воспоминаний, теснились далекие образы, оставляя на сердце горечь или умиление, но за этими легкими мыслями неотступно следовали страшные видения прошлого, один за другим появлялись в воображении жестокие люди, воины с окровавленными мечами в руках. Почему-то вспомнилось розоватое лицо Яна Вышатича, его седые тараканьи усы. Это был представитель старого знатного рода, сын воеводы Вышаты, коварно ослепленного греками, брат корыстолюбивого Путяты, легкомысленную дочь которого люди прозвали Забавой. Для деда Яна, новгородского посадника Остромира, дьяк Григорий, великий искусник в книжном деле, переписал знаменитое Евангелие. Прадедом Яна тоже был посадник, по имени Константин, сын Добрыни, считавшего себя потомком Люта и прославленного воина

Свенельда. Вместе с ликом Яна появились из мрака забвения события прошлых лет, то смутное время, когда христианская вера еще не утвердилась окончательно на Руси и волхвы волновали смердов бесовскими баснями. Тогда пришел один из них в Киев и стал рассказывать народу, что Днепр потечет вспять и что земли начнут перемещаться — греческая земля станет на место Русской, а наша на место греческой и прочие земли поменяются местами. Невежды слушали его, верующие же смеялись, говоря, что это бес играет им на погибель. Так и сбылось, и в одну из ночей волхв пропал бесследно. Впрочем, прошел слух, что это княжеские отроки убили его и бросили труп в реку.

Опять блеснули холодным огнем голубоватые глаза Вышатича. Воевода служил тогда князю Святополку и собирал для него дань в глухой Ростовской области. Но тем летом в тамошних местах случился великий неурожай, и в темных медвежьих лесах среди людей началось смятение. Однажды явились из Ярославля два волхва и говорили, что знают, кто прячет запасы. Они отправились по Волге и всюду, куда ни приходили, указывали в погостах на богатых женщин. Несчастных приводили к кудесникам, и они, мороча людей, прорезали у них за спиной и вынимали оттуда то жито, то мед, то рыбу и многих жен убивали. Когда волхвы очутились на берегах Белоозера, вокруг них уже собралось триста смердов, и они убили княжеского попа, заблудившегося в лесу. Ян поспешил выйти на мятежников, хотя отроки уговаривали его не ходить с малой дружиной против такого множества злодеев. Однако воевода заставил белоозерцев выдать ему волхвов, угрожая в противном случае остаться у них на всю зиму. К нему привели связанных кудесников, и боярин спросил их:

— Зачем вы погубили столько людей?

Они ответили, мрачно потупляя взоры:

— Богатые прячут жито, и если истребить их, то по всей земле будет изобилие. Если хочешь, мы и пред тобою вынем у любой знатной женщины припасы из спины.

— Это ложь, — сказал Ян. — Бог сотворил человека из персти, и в нашем теле ничего нет, кроме костей, мяса и жил.

Волхвы возражали:

— Мы знаем, как сотворен человек.

— Как?

— Бог мылся в бане, вытерся тряпичкой и бросил ее с небес на землю. Тогда сатана стал спорить с ним, кому создать человека, и сотворил «его из этой ветошки, а бог вдунул в него бессмертную душу. Если человек умирает, его тело идет в землю, а дух улетает на небо.

Ян был весьма раздосадован такими нелепыми словами.

— Поистине вас прельстил бес. Скажите мне, в кого вы веруете?

Они ответили:

— В антихриста.

— Где же он?

— Сидит в бездне.

Ян стал говорить волхвам о том ангеле, что возгордился паче меры и был низвергнут с небес в преисподнюю. Потом спросил:

— Знаете ли вы, что вас ожидает в будущем?

— Нас ожидает спасение, — самоуверенно отвечали волхвы.

— Нет. Прежде вы примете муку от меня, а когда придет ваш час — смерть от бога.

Но кудесники смеялись над его угрозами.

— Наши боги говорят, что ты не можешь причинить нам зло.

— Лгут ваши боги.

Мятежники дерзко требовали:

— Ты нам не судия. Мы должны предстать пред князем Святославом. Только ему надлежит судить нас.

Видя, что волхвы не хотят покориться, Ян велел бить злодеев и вырвать у них бороды, обрекая их не только на жестокие муки, но и на великое бесчестие и надругание.

— Что говорят вам боги? — спрашивал воевода.

— Велят предстать пред князем Святославом.

По причине такого упорства Ян приказал привязать безумцев к ладейной мачте и вложить им в уста, наподобие конских удил, обрубки дерева. Отроки, шедшие берегом, тянули за веревки, привязанные к этим деревяшкам, и так тащили ладью, разрывая рты волхвам. Когда приплыли на Шексну, Ян еще раз спросил обреченных:

— А что ныне говорят вам боги?

— Говорят, что не быть нам живыми от тебя.

— Теперь они говорят истину, — рассмеялся жестокий Ян.

Волхвы стали умолять воеводу:

— Отпусти нас — и получишь множества добра.

Но Ян махнул рукой, и воины зарубили волхвов мечами, а тела их повесили на дубе. В первую же ночь медведь взлез на дерево и пожрал трупы. Так погибли обольщенные бесом волхвы, не предвидевшие своего смертного часа.

Почему вдруг вспомнился на зимнем пути страшный рассказ о том, что произошло тогда в Ростовской земле? Не потому ли, что вся жизнь была полна подобных бед и соблазнов — то мятежей и поджогов, то половецких набегов и губительных засух? Князь иной раз удивлялся, что, несмотря на такие испытания, русский народ не уронил драгоценные жемчужины своей души в прах

— трудился не покладая рук на нивах, строил прекрасные храмы и славил в песнях свою страну.

Еще один знакомый образ возник из тумана прошлого. Это был надменный Ратибор, некогда тмутараканский посадник. Он говорил, беззвучно шевеля губами, убеждающе разводил руки и прижимал их к груди, в чем-то оправдываясь, как в ту ночь, когда хан Итларь доверчиво въехал в переяславские ворота... Мономах тяжело вздохнул. Однако перед ним уже стоял поп Василий, тот самый, что написал повесть об ослеплении князя Василька, читая которую с сердцем, преисполненным ужаса, люди до сего дня проливают слезы.

Другие образы вставали из гробниц. Князь Олег, митрополит Никифор... И вдруг среди зимы забурлили страшные воды Стугны. Она широко разлилась в ту весну, преграждая путь отступления русским воинам, бежавшим после несчастной битвы. Брат Ростислав, въехавший в реку на коне, был свержен с седла сильным течением и стал тонуть. На нем была слишком тяжелая кольчуга. Он простирал руки, призывая на помощь. Увы, быстрота струй разделила братьев навеки...

Перейдя с остатками дружины Стугну, Мономах горько плакал о смерти брата и с великой печалью возвратился в Чернигов. Это было единственный раз, когда он, да и то из-за беспорядочных распоряжений Святополка, потерпел поражение. Но старый князь не любил вспоминать об этой битве, и снова все осветила улыбка Гиты. Кто нам скажет, на погибель или на утешение создана женская красота?

В лето, когда Мономах впервые услышал о существовании Гиты, людям были посланы ужасные предзнаменования. В западной части небосклона появилась красная звезда, напоминавшая огненный меч архангела. После захода солнца она тихо плыла в небесных пространствах, предвещая бедствия и войны, и так продолжалось в течение семи дней, от вечера до утренней зари. Вскоре после этого рыбаки выловили неводом в реке Сетомле младенца, столь безобразного видом, что описать невозможно из-за его срама. Люди рассматривали чудище до самой ночи, а затем снова ввергли в реку. В те же дни переменился цвет солнца, и дневное светило стало подобным луне. Мономах читал в книгах, которые ему приносил митрополит, человек великой учености и острого ума, о таких же предвестиях в отдаленные времена. Так, при кесаре Нероне над Иерусалимом вдруг засияла звезда в виде копья, и вслед за тем последовало нашествие римлян. Подобное же повторилось в царствование Юстиниана. И вот снова с небес срывались и падали звезды, и люди, пришедшие из Корсуни, рассказывали как достоверное, что в Африке некая женщина родила девочку с рыбьим хвостом, а в Сирии произошло ужасное землетрясение, земля разверзлась на три поприща и вышедший из расщелины мул заговорил человеческим голосом, так что все видевшие это считали, что наступает конец света.

2

Мономах вспомнил, что Гита часто ездила по переяславской дороге, смотрела на эти дубы — то в зелени листвы и отягощенные желудями, то в зимнем уборе. Но столетние деревья по-прежнему стоят, пережив все бури, а ее уже нет на свете.

В той стороне, где в час заката солнце погружается в Океан, стоит остров, омываемый со всех сторон морем. Иногда его окутывают такие непроницаемые туманы, что жители не могут найти дверь своего жилища. Там родилась в королевском дворце Гита, дочь Гарольда.

Когда на лондонском небосклоне появилась страшная звезда и взволнованные вестники сообщили об этом королю, он сидел на троне, подпирая усталую голову. Обсуждая государственные дела, Гарольд до наступления темноты оставался в зале совета. Но, узнав о событии, он ужаснулся и тотчас же поспешил подняться на дворцовую башню, чтобы наблюдать с высоты ее небесное явление. Его царствование только что началось, и вот тревога уже наполняла сердца подданных. Глядя на комету, король спрашивал себя мысленно, что она сулит ему и его дому. У него было три сына и две благонравные дочери. Мальчиков звали Годвин, Эдмунд и Магнус, дочерей — Гунгильда и Гита. Зеленоглазой дочери только что исполнилось девять лет. Она походила лицом, телом, походкой и душевными качествами на свою мать, именем Эдит, но которой певцы дали за красоту милое прозвище — Лебединая Шея. Однако английская корона едва держалась на голове у

Гарольда, и, чтобы упрочить свое положение, король оставил любимую подругу и женился на Эльгите, вдове Граффида, внучке влиятельного графа. Таким союзом он надеялся положить конец распри двух домов — Годвина и Леофика, а кроме того, пытался хотя бы узами брака привязать к Англии мятежную Нортумбрию.

Все шептали вокруг, что комета предвещает новую войну. А между тем хронисты уверяют нас, что Гарольд был добрый и миролюбивый правитель, благочестивый и почитавший епископов и аббатов христианин, покровитель монастырей, приветливый с добрыми и суровый со злодеями король, требовавший от своих эльдорменов и шерифов, чтобы они беспощадно казнили преступников. Впрочем, не следует забывать, что хроники писались монахами, а они охотно прославляли своих благодетелей, даривших аббатствам поля, мельницы, золотые сосуды, скот и рабов. Но, может быть, и в самом деле Гарольд был полон добрых намерений, только на его пути стояли препятствия всякого рода и неблагоприятные обстоятельства... В тот год в месяце феврале средь бела дня в Англии внезапно наступила кромешная тьма и продолжалась три часа. Затем на море разразилась ужасающая буря, а теперь появилась эта самая комета. Люди выходили из домов на улицы и со страхом смотрели на небо, передавая из уст в уста слова одного столетнего старца, твердившего, что эта звезда — предвестница горя для тысяч матерей. С каждым вечером свет ее становился все более зловещим, и казалось, что она грозит гибелью всему человеческому роду. В той части королевского дворца, где остались жить дети Эдит, маленькая Гита тоже с волнением рассматривала страшную небесную вестницу, не подозревая, что в ее жизни предстоят необычайные перемены.

Незадолго до этого умер король Эдуард. Наполовину норманн, воспитанный при нормандском дворе, он довольно равнодушно отнесся к уговорам посольства, которое прибыло в Нормандию, чтобы звать его на английский престол. Очень набожный и вялый человек, он был склонен к монашеской жизни и обходился с королевой как с сестрой. С его приездом при дворе и в домах знатных людей стал чаще звучать французский язык, чем презируемое народное наречие. Придворные оставили длинные саксонские одеяния и постепенно приобрели привычку облачаться по нормандскому образцу. Они уже не подписывали хартии, а оттискивали на разноцветном воске свою печать, как это было в обычае по ту сторону Пролива. Вскоре Кентерберийским архиепископом сделался нормандский аббат Роберт Шампар, занявший первое-место в королевском совете. Недовольные чужеземным засилием ворчали, что стоит Роберту сказать, будто ворона белая, — и король скорее поверит ему, чем собственным глазам.

Между прочим, в числе послов, ездивших некогда в Нормандию за Эдуардом и с большим трудом уговоривших его отправиться в Англию, был эльдормен Уэссекса Годвин, самый прославленный человек в стране, хотя не принадлежавший к людям знатного происхождения. Его возвышение началось еще в годы беспрестанных датских набегов на английские берега. Когда датчане разгромили однажды войско короля Эдмунда по прозвищу Железный Бок, один из приближенных датского короля Кнута, по имени граф Ульф, преследуя врагов после этой битвы, заблудился в дремучем лесу. Наутро датчанин выбрался на поляну и увидел отару овец. Около стада, опираясь на длинный посох, стоял молодой пастух и спокойно смотрел на выехавшего из рожи светлоусого воина в длинной кольчуге, каких не носят англ; на бедре у вражеского воина висел меч; конь его едва плелся от усталости.

Граф подъехал к пастуху и хмуро спросил:

— Как тебя зовут?

— Годвин.

— Пасешь овец?

— Как видишь.

— Видно, что ты хороший юноша.

— А ты не из датского ли войска будешь?

— Да, я граф Ульф. Скажи, приятель, как проехать отсюда до берега моря?

Хотя перед ним сидел на коне вооруженный воин, Годвин не испугался его и отрицательно покачал головой:

— Никогда англ не будет выручать врагов.

— Я щедро награжу тебя, если покажешь мне дорогу к нашему лагерю, — предложил датчанин.

Молодой пастух не польстился и на награду.

— Ты, видно, всю ночь плутал в лесных дебрях. Однако знай, что до ваших кораблей далеко, а весть о вчерашней битве разнеслась по всей окрестности, и поселяне убивают отставших от войска датчан. Тебе несдобровать, если ты попадешься к ним в лапы.

Ульф снял с пальца драгоценный перстень и молча протянул Годвину.

Пастух бросил взгляд на золотое кольцо, сверкнувшее на солнце, но отказался взять его. Однако какая-то мысль мелькнула у него в голове. Он сказал в раздумье:

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Пожалуй, я услужу тебе, а ты наградишь меня потом, как пожелаешь.

Отец Годвина был богатый поселянин по имени Вульфнот. Юноша привел графа к себе в дом. Там датчанина накормили, напоили отменным напитком и спрятали до наступления ночной темноты на сеновале. Когда же стало темно, честолюбивый Вульфнот велел оседлать двух самых лучших своих коней и сказал графу:

— Годвин — мой единственный сын. Отдаю его тебе, доверяясь твоей чести. Он проводит тебя до морского побережья, где стоят датские корабли. Но когда ты увидишь своего короля, то в благодарность за оказанную тебе услугу попроси его, чтобы он взял Годвина к себе на службу. Дома теперь ему оставаться нельзя.

Граф обещал сделать все, что будет в его силах, чтобы вознаградить молодого поселянина, и кони помчались в ночную тьму. К рассвету они благополучно добрались до датской стоянки, где все уже считали Ульфу погибшим в стычке с англами. В благодарность за спасение граф стал сажать Годвина на пирах рядом с собою, относился к нему как к собственному сыну и даже выпросил у короля Кнута графское достоинство для этого деревенского пастуха. Так простой поселянин, не польстившийся на золотой перстень, добился того, что не всегда удается и благородным рыцарям.

Конечно, Годвин оказал услугу вражескому воину, но, удовлетворив свое честолюбие, он готов был служить английскому королю, а справедливость требует сказать, что он отличался многими достоинствами — был отважен в воинских предприятиях, красноречив на совете, полон здравого смысла в житейских делах. Между тем Эдмунд Железный Бок умер, и после него в Англии воцарился датский король Кнут. Само собою разумеется, что Годвин оказался в числе влиятельных придворных. Он женился на знатной датчанке, и плодовитая жена наделила его многочисленным потомством. Среди сыновей Годвина был Гарольд, отец Гиты, которого впоследствии судьба сделала английским королем. Богатство его тоже росло с каждым днем. Вскоре он был возведен в звание эльдормена Уэссекса.

Правление Кнута оказалось весьма беспокойным. Еще более тревожные времена наступили в Англии, когда на престол взошел его сын, по имени Гарольд, как и сын Годвина. В тот год на английском берегу высадился нормандский граф Альфред, питавший в своем уме захватнические планы. Люди короля схватили его и ослепили. Некоторые утверждали, что в этой расправе был замешан и Годвин, якобы опасавшийся, что с прибытием в Англию Альфреда еще больше усилится при дворе нормандское влияние. Впрочем, вскоре Гарольд умер, и на английский престол вступил брат короля Гартакнут, начавший свое правление с того, что из ненависти к умершему велел вырыть его труп из могилы и бросить в Темзу. Обрушился гнев нового короля и на многих эльдорменов, опасность грозила и Годвину. Его обвиняли в насилии над Альфредом. Но он уверял с клятвами, что не принимал никакого участия в ослеплении нормандца, и, чтобы расположить к себе Гартакнута, подарил ему великолепный боевой корабль с позолоченной кормой, на котором было восемьдесят воинов в блестящих кольчугах и шлемах. Каждый из них носил на правой руке золотой браслет весом в шесть унций, на щитах у них сияли дорогие украшения, и рукояти мечей тоже были позолочены.

Один король сменял другого. Вскоре покинул земной удел и Гартакнут. Тогда-то и был приглашен на английский престол из Нормандии Эдуард. Годвин, один из посланцев, убеждал его тихим голосом:

— Английская корона — твое законное наследие. Почему же ты колеблешься? Зрелый годами и прошедший горнило житейских испытаний, ты сумеешь проявить не только строгость, но и милосердие. Я же во всем буду оказывать тебе поддержку. Вполне можешь рассчитывать на меня, если ты женишься на одной из моих дочерей...

В конце концов Эдуард согласился и короновался в Винчестере.

О многом, что происходило в те годы в Англии, Мономах узнал некоторое время спустя от молодой супруги, в Чернигове и особенно в Переяславле; в те трудные три года, которые он провел с ней в этом городе, в постоянной тревоге, под страхом неожиданных половецких нападений. В жарко натопленной бревенчатой горнице в долгие зимние вечера и ночи Гита рассказывала, как умела, о своем отце, благородном Гарольде, и о трагических событиях, разразившихся в Англии, когда она еще была ребенком. Лежа на пуховой перине, обнимая одной рукой за шею супруга, а другой простодушно поддерживая маленькую грудь, она вспоминала семейные предания. Это были рассказы о роковом путешествии Гарольда в Нормандию, о кознях коварного нормандского герцога, о страшной и нарушенной клятве отца. Гита уже достаточно знала язык мужа, чтобы передать ему все это с милыми ошибками в словах.

При свете масляного светильника, глядя в закопченный потолок, Гита шептала и шептала. О чем были эти повествования? Годвин и его сыновья вели непрестанную войну с нормандцами, явившимися в Англию с новым королем, и вскоре старому эльдормену даже пришлось покинуть родину, когда его опозорил сын Свен, в греховной страсти посягнувший на красивую аббатиссу одного монастыря, а потом ушедший, босым, в одежде кающегося грешника, замаливать свой грех в Палестину и умерший где-то там, на Востоке.

Тем не менее Годвин одержал верх в дворцовых интригах, но не долго жил после своего торжества. Как обычно, король Эдуард проводил пасхальные дни в Винчестере и отметил церковное торжество пиром. К праздничному столу был, конечно, приглашен и Годвин. Но вдруг ему сделалось плохо во время королевской трапезы, и спустя три дня он скончался. Это случилось в те самые дни, когда на далекой Руси родился княжич, которому суждено было продлить годвинский род на земле.

Смерть прославленного мужа оплакивала вся Англия. Звание эльдормена Уэссекса перешло к его сыну Гарольду. По словам монастырских хронистов, это был «второй Иуда Маккавей» —

доблестный воин, наделенный высоким ростом и красивой внешностью. Подобно своему отцу, он отличался сильным умом и умел затаить свои подлинные намерения. Как и Годвин, новый эльдормен хорошо знал законы и обладал даром красноречия.

А между тем не все шло гладко в Англии. Когда вошедший в силу Годвин стал расправляться с нормандцами, архиепископ Роберт бежал. Это произошло при драматических обстоятельствах. Вскочив на коня и поражая мечом всех, кто пытался преградить ему дорогу, служитель божий вместе с еще одним нормандским епископом пробился к морю. Там они нашли утлый челн и благополучно переплыли Пролив. Вместо Роберта на кафедру архиепископа Кентерберийского был возведен Стиганд, англ по происхождению. Однако Роберт пожаловался на английского короля папе, и королевский совет отправил Гарольда в Рим, чтобы получить папское благословение для Стиганда. К счастью для посланца, знаменитый кардинал Гильдебранд был в то время в отсутствии, и узурпатор Бенедикт X оказался самым подходящим человеком, чтобы благополучно разрешить сложный церковный вопрос. Молодой эльдормен добился своей цели и даже увез для Вальтама, как называлось построенное им аббатство, ценные христианские реликвии.

Еще до паломничества в Рим Гарольд совершил не менее волнующее путешествие в Нормандию, оказавшееся чреватым большими последствиями.

Неторопливо подбирая нужные слова, Гита рассказывала:

— Отец мой взошел на корабль и поплыл по морю. Он отправился в Нормандию, чтобы вызволить своего брата Вульфнота, томившегося заложником в городе Байе...

Владимир кивал головой в знак того, что понимает свою милую супругу.

— Но во время путешествия разразилась страшная буря и прибила корабль моего отца к берегу, где находились владения графа Ги. Это было уже в Нормандии. Там существует жестокий обычай. Если какое-нибудь судно разобьется о береговые скалы, то владелец той земли может не только присвоить груз, но и пленить потерпевших кораблекрушение. Их держат в оковах, а потом отпускают за выкуп. Иногда даже продают родственникам трупы, выброшенные волнами на прибрежный песок, чтобы возможно было похоронить погибших по христианскому обряду. Так случилось и с моим отцом. Увы, моего отца случайно узнал рыбак, бывавший в Англии, и рассказал об этом графу, жадному до денег. Тот схватил моего родителя и в надежде получить за него богатый выкуп заковал в железные цепи и бросил в каменную темницу...

— Подумать только, что подобное могут претерпевать и знатные люди! — вздохнул с волнением Мономах.

— И что же произошло дальше! О событии стало известно герцогу Вильгельму, правителю Нормандии...

Мономах слышал об этой стране от варягов, скитавшихся по всему свету, хотя смутно представлял себе ее местоположение и жизнь, которая там течет.

— Вильгельм выкупил отца, не поленившись самолично отправиться за ним в графский замок, и привез пленника с почетом в свой город. Герцог был любезным хозяином. Но лучше было бы моему отцу поскорее возвратиться в Англию. Ведь и у герцога он жил на положении пленника, хотя Вильгельм посвятил его в рыцари и отец даже вынужден был принимать участие в войне нормандцев с бретонцами.

Мономах слушал Гиту с напряженным вниманием, хотя не все понимал в ее рассказах, а названия городов и имена людей казались странными для его уха. Но она открывала ему иной мир, чем Переяславская земля. Князь уже прочел много книг, и ему было известно, что

мир разнообразен и что каждый народ живет по своим обычаям, и все-таки супруга рассказывала ему удивительные вещи. Воображение помогало князю дополнить ее лепет обычными представлениями о человеческой жизни, везде одинаковой в своих главных проявлениях. Гита же питала ненависть к Вильгельму и не жалела горьких слов, чтобы описать его коварство.

— Герцог лелеял в своем черном сердце надежду сделаться со временем королем Англии. В моей стране существует учреждение, называемое «советом мудрых». Эти люди избирают преемника умирающему королю, сообразуясь с его последней волей. По-видимому, Эдуард некогда обещал Вильгельму, что укажет на него, когда настанет время избрать короля. Но у хитрого нормандца не было большой уверенности в расположении королевских советников. Поэтому в его уме созрел вероломный план. Он решил для достижения своей цели использовать моего благородного отца и заставил его произнести страшную клятву.

И Владимир, слышавший уже об этой клятве от варяжских купцов, появлявшихся в Переяславле, внимательно следовал за рассказом.

— Вильгельм велел поставить в церкви небольшой ковчег и прикрыть его парчовой пеленой, чтобы отец не видел, над чем будет произносить клятву. Ему представлялось, что в ковчеге лежит что-нибудь вроде берцовой кости малопочитаемого святого. Ведь сколько всяких святынь продают жадные до денег бродячие монахи!

— Святые различествуют в своей святости, — сказал Мономах.

— Что из того?

— Греческий царь прислал нам в золотом сосуде перст Иоанна Крестителя. Великое сокровище!

— Иоанна Крестителя! Это совсем другое дело. А отец думал, что под пеленой покоятся останки епископа, который мог по ошибке попасть в святые.

— Разве бывает так?

— Монахи способны и не на такие штуки, чтобы увеличить монастырские доходы.

— Грешно говорить такое.

— Ты доверчивый человек, а я многое увидела, пока попала в твою страну. Но продолжу о своем отце. Видимо, он предчувствовал нечто и вострепетал, когда простер над ковчегом руку и произносил клятву. И тогда Вильгельм с улыбкой на устах отнял пелену...

Владимир приподнялся на локте, чтобы лучше слушать.

— В неприметном по виду ковчеге были собраны все святыни Нормандии. В нем лежал гвоздь, которым была пронзена на кресте десница Христа. Еще волос из бороды апостола Петра. И многие другие святыне реликвии.

— Страшная кара может постигнуть человека, который нарушит крестное целование, — опять вздохнул Владимир.

— Отец тоже ужаснулся. Но Вильгельм отпустил его в Англию.

— В чем же поклялся твой отец?

— Что будет помогать Вильгельму в его домогательствах на английскую корону. Кроме того, он обещал выдать свою сестру за нормандского графа, а сам жениться на дочери герцога.

— Как же поступил твой отец, когда настала пора исполнить клятву?

— Он ответил так? «Я обещал дать тебе то, что мне не принадлежит, потому что корона — достояние всей английской знати. Ты требовал, чтобы я выдал свою сестру за верного тебе нормандца... Но она умерла. Что же, прикажешь послать в Нормандию ее труп?»

Мономаху рассказывали и об этом корыстолюбивые варяжские купцы — о смерти благочестивого короля на туманном острове и о нарушенной клятве. Они говорили, что этот нарушитель своего слова правил непродолжительное время, победил Гаральда Жестокого, но сам погиб в битве, когда остров был завоеван нормандским герцогом. Но тогда он не знал, что погиб отец его будущей супруги.

Умственный взор Мономаха проникал далеко за бревенчатые стены горницы, и на ум ему приходили печальные мысли, когда он слушал жену. Как трудно для человека достигнуть душевного спокойствия, если он обуреваем жадной властью и богатства. Какая польза для души в славе, полученной на кровавых полях сражений? Она как дым. Хвала завоевателю — как хвала разбойнику. Ну, а сам он, что искал он на берегах Дона — недолговечной славы или покоя для золотых нив Киевской земли? Гита скорбно рассказывала о страшной участи своего отца, и Мономах внимал ей с нежностью.

3

Что происходило в то время под русскими дубами? Мономаху едва исполнилось тогда двенадцать лет, и отец впервые взял его на лов. Юный охотник с волнением слушал, как кличане криком загоняли вепрей в осенней дубраве, и поразил копьем первую свою жертву.

В Тмутаракани сидел тогда князь Ростислав. Он брал дань с касогов и других беспокойных племен, и в Константинополе смотрели с неудовольствием и на его победы, так как они угрожали интересам василевса, и на стремление русского архонта облагать высокими пошлинами греческие товары. Корсунскому катепану были даны тайные указания. Вскоре корабль доставил катепана в Тмутаракань, и коварный царедворец постарался войти в доверие к Ростиславу. Однажды во время пира, когда грек сидел за княжеским столом и веселился с дружинниками, он сказал молодому князю с вероломной улыбкой:

— Хочу пить твое здоровье!

— Спасибо тебе, — ответил Ростислав, не подозревавший в людях никакого коварства и хитрости, и протянул гостю серебряную чашу, до краев наполненную вином.

Катепан отпил половину, а остаток предложил князю, незаметно опустив в вино палец. Под блистающим ногтем у него была спрятана крупинка смертельного яда, безошибочно действовавшего на седьмой день. Князь охотно допил чашу...

После этого пира византийский вельможа отбыл в Корсунь и самодовольно рассказывал там, как удачно он выполнил царское повеление. Он даже точно предсказал день смерти русского архонта. Но он забыл, что человеческая жизнь полна всяких случайностей. В день его приезда в городе неожиданно началось возмущение против греческого царя, и жители побили предателя камнями. На седьмой день после пиршества Ростислав в страшных мучениях скончался.

Вскоре после того в Англии умер король Эдуард, и отец Гиты вступил на престол, несмотря на клятву, которую он дал герцогу Вильгельму. Но враги готовили королю Гарольду жестокие

удары. Против него выступили Рим, честолюбивый нормандский герцог и даже брат Тостиг, оказавшийся государственным изменником. Нортумбрия не пожелала признать его своим эльдорменом, и он в досаде покинул Англию, ел во Фландрии хлеб изгнания, надеясь дождаться благоприятного случая, чтобы получить свою долю власти. С этой целью он вошел в тайные сношения с Вильгельмом. В 1066 году нормандский герцог позволил Тостигу совершить нападение на английское побережье, и королевскому брату удалось захватить остров Уайт. Однако на этом и закончились его воинские успехи. Король Гаральд, находившийся в эти тревожные дни в Лондоне, где он собирал военные силы, чтобы отразить готовившееся вторжение нормандцев, поспешил выйти против предателя, и Тостиг ушел с двенадцатью кораблями в Шотландию. Оттуда он завязал переговоры с Гаральдом Жестоким, конунгом Норвегии, суля ему золотые горы в случае нападения на Англию.

Норвежские викинги уже несколько столетий бороздили на своих кораблях моря и плавали по всем рекам Европы. Они жаждали военных приключений. Они всюду чувствовали себя дома, но особенно влекло их туда, где в изобилии можно было найти серебро, меха, греческие ткани, шелк. Если им оказывали достойный отпор, они готовы были торговать, а при случае захватывали власть в каком-нибудь доверчивом городе, когда в нем не хватало единения между гражданами. Их птицеобразные ладьи, носившие имена драконов и змей, можно было видеть у причалов Новгорода и в знаменитой константинопольской бухте Золотом Роге, в Сицилии и в Египте.

Но Гаральд, сын Сигурда, по прозвищу Жестокий, не был беспокойным пиратом-викингом. В молодости он, правда, вел скитальческую жизнь, богатую событиями, но, заняв норвежский трон, он стал подумывать не о дерзких набегах, а о завоевании соседних стран. Он женился на Елизавете, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. От нее конунг имел двух дочерей — Марию и Ингигерду. Двое его сыновей — Олаф и Магнус — родились от наложницы Торы. За годы своих странствий и военной службы у греческого императора Гаральд накопил большие средства, рассказывали, что среди его сокровищ находится чудовищный слиток золота, который с трудом могут поднять двенадцать сильных воинов.

Когда к конунгу явились послы из Шотландии и стали уговаривать произвести нападение на совершенно беззащитные, по их словам, северные берега Англии, — может быть, в расчете, что норвежец удовольствуется добычей, а королем сделает их господина Тостига, — Гаральд охотно принял заманчивое предложение. На его призыв отправиться в далекий поход, обещавший славу и богатство, откликнулась половина мужского населения Норвегии. Взяв с собою в путь королеву Елизавету, обеих дочерей и сына Олафа, Гаральд отплыл к Оркнейским островам.

Между тем деятельный английский король собрал большие воинские силы, готовясь отразить ожидавшееся со дня на день нашествие нормандцев. Королевское войско состояло не только из закаленных в боях дружинников — тэнов, но и из мирных поселян, только во время войны бравших в руки оружие

— тяжелые мужицкие топоры. Английские ратники были призваны еще зимой, бросили свои нивы и отары овец и очень тяготились военной службой, заключающейся в скучной охране морских берегов. Грабежей они не предпринимали, а добыча тоже не могла служить приманкой для честных людей. Кормиться воинам приходилось за счет местного населения, и это обстоятельство не доставляло большого удовольствия жителям тех областей. В тот год хлеба поспели рано, необходимо было поторопиться с уборкой урожая. В сентябре Гаральд уже никакими силами не мог удержать ратников и скрепя сердце распустил часть войска, оставил путь к Лондону открытым для врагов. Воины поспешно разошлись по домам, а король вернулся в столицу.

В это время норвежские корабли отплыли от Бергена и взяли направление на полдень. Плавание проходило в благоприятных условиях, без бурь и слишком сильных ветров, но

Гаральда одолевали черные мысли. Скальды рассказывают, что порой его мучили тяжелые сны, грозили мрачные предзнаменования. Однажды на корму королевского корабля опустился страшный ворон и зловеще закаркал. В другой раз, когда корабли плыли мимо небольшого каменистого острова, на одном из утесов вдруг появилась старая женщина с седыми космами, как у волшебницы. В жалких лохмотьях, едва прикрывающих ее тело, она размахивала руками и затянула хриплым голосом странную песню:

Куда вы плывете, в какой предел?

Возьмите, возьмите меня с собой!

Где мой высокий и теплый дом?

Погреть бы руки мне над огнем...

— Почему она поет такую неприятную песню? — спросила конунга Елизавета.

— Очевидно, ею владеет безумие. Не обращай внимание на эту несчастную старуху, — хмуро ответил Гаральд.

Ветер развеивал седые космы колдуньи. Старуха пела:

Куда вы плывете?

Ждет воина смерть.

Вернитесь, вернитесь домой скорее!

Зеленое поле, красная кровь, черные птицы трупы клюют...

— Но как она живет среди этого пустынного острова? — удивлялась Елизавета. — Чем питается на такой бесплодной земле?

— Собирает птичьи яйца, — предположил конунг. — Или, может быть, ловит рыб руками в мелкой воде.

— А зимой?

— В зимнее время прячется в какой-нибудь норе.

Торд, ближайший друг короля, тоже видел зловещий сон. Будто бы по берегу моря шло многочисленное войско и впереди ехала на костистом коне женщина с головой волка и пожирала людей. Она запихивала обеими руками в свою ужасную пасть кровавые куски мяса и тотчас искала глазами новую жертву.

— Скажи, что означает мой сон, конунг? — спросил Торд.

Гаральд рассмеялся.

— Победу означает твой странный сон!

Так норвежцы приплыли к Оркнейским островам, и жившие там воины присоединились к армии конунга. Здесь Гаральд оставил жену и дочерей, а сам с Олафом направился на кораблях в Англию, к устью реки Туны. Услышав о высадке норвежцев, к ним поспешил присоединиться со своими шотландцами Тостиг. С ним пришли также ирландцы и воины, приплывшие сюда из Фландрии и Исландии. Увы, все это были люди, уже обреченные на съедение волкам и воронам, хотя на берегу никого не оказалось, чтобы помешать высадке викингов.

Норвежские корабли бросили якорь у левого берега реки Оузы, недалеко от селения Рикол, и воины Гаральда принялись опустошать окрестности. Только небольшой отряд под начальством Олафа был оставлен для охраны лагеря на побережье, а главные силы под предводительством конунга и Тостига двинулись к городу Йорку.

Но во всех соседних областях немедленно поднялся народ, чтобы выступить против врага. Английских ратников повели графы Эдвин и Моркар, и среди их войска было немало монахов и священников, пришедших сюда с оружием в руках. Битва произошла на месте, называемом Фулфордскими воротами. Сначала взяли верх англй. Однако Гаральд, вооруженный двуручным мечом, сам повел викингов в бой. Английские ратники дрогнули и обратились в бегство. Это случилось в среду, а уже в воскресенье Йорк сдался врагу. Жители этого города признали Гаральда своим королем.

В Лондоне, где царило замешательство, не знали, какое принять решение. Король как бы очутился между двух огней. Идти на освобождение северных областей означало, что будет обнажен южный берег, где ждали высадки Вильгельма. Однако весть о падении Йорка достигла столицы в тот же день и укрепила мужество короля. Опасность на севере была непосредственной, скандинавы грабили английские земли, жгли селения, и вся Нортумбрия подпала под власть норвежского конунга. Герцог же еще не высадился, и благоприятный для него ветер медлил дуть в сторону Англии. В надежде на затянувшееся безветрие король Гарольд решил рискнуть и бросился на скандинавов с намерением разгромить их, а потом вернуться в Лондон и снова поджидать Вильгельма. Английский король был тяжело болен, однако мужественно превозмогал недуг, скрывая свое болезненное состояние даже от близких людей. Войско его двигалось днем и ночью, и вскоре король уже вступил в Тодкастер — северную столицу Англии. Здесь Гарольд был встречен с радостью, потому что местные распри утихли перед лицом общей опасности.

Между тем норвежский конунг уже вел себя в Йорке как полновластный правитель, издавал первые распоряжения, распределял должности и очень удивился, когда увидел с городской стены облако пыли, поднимающееся на дальней дороге. На солнце блеснуло оружие... Приближались английские отряды.

Когда английское войско приблизилось к Йорку, король Гарольд увидел, что по ту сторону реки, на которой расположен город, дымились костры норвежского лагеря. Вскоре туман рассеялся, и на равнине можно было рассмотреть отряд всадников. Впереди ехал воин в блистающем серебряном шлеме и длинном голубом плаще, закрывавшем круп вороного коня.

— Кто этот высокий человек? — спросил английский король у своих спутников.

Ему объяснили, что это конунг Гаральд, сын Сигурда, прозванный Жестоким.

Но в норвежском лагере уже началась суматоха. Скандинавы не ожидали, что английское войско появится так быстро. Многие из викингов были даже без кольчуг. Сердце Тостига дрогнуло. Он даже советовал Гаральду отступить к кораблям. Однако сын Сигурда привык к победам и стал строить своих воинов в боевом порядке. И вдруг его скакун, испугавшись полевой мыши, поднялся на дыбы и сбросил всадника на землю. Наблюдавший издали за тем, что происходит на неприятельской стороне, английский король воскликнул:

— Добрая примета!

Смутившись от такой неожиданности, норвежский конунг старался сгладить неприятное впечатление, произведенное его падением.

— Со всяким может случиться! — сердито крикнул он, снова очутившись в седле. — Кому не приходилось падать с коня?

Викинги мрачно молчали.

Прикрыв глаза от солнца рукой, английский король продолжал смотреть на равнину, где поспешно строилось вражеское войско.

— Видели, как норвежский предводитель валялся, весь в репьях? — спросил он со смехом окружающих.

Придворные тоже смеялись.

— Гаральд взял дородством, — продолжал король, — но плохой признак, что он падает с коня перед самой битвой.

Так он подсмеивался над своим противником.

Оба строя уже изготовились к бою. Английский король еще в походе сочинил стихи, в которых прославлял мужество и доблесть своих ратников. По его приказанию один из королевских певцов приблизился к реке и стал петь эту песню. Викинги слушали его, опираясь на секиры, и никто не нарушал тишину. Таков был обычай. Гаральд, сын Сигурда, тоже внимал стихам, ревниво крутя светлый ус. Потом промолвил:

— Неважные стишки. Попробую сочинить получше.

Норвежский конунг считался прославленным поэтом. Его стихи скальды распевали на пирах в Киеве и в далекой Сицилии. Сняв шлем, Гаральд отдал его оруженосцу, пригладил рукой волосы, и песня полилась из его уст, как струи звонкого ручья. Конунг пел вдохновенно, и ветер доносил сочиненные им стихи до слуха врагов.

Кто воин в душе, тот ищет упоенья в любви и в битвах на корабле морском.

Не тишины, а бури прекрасной ищет он.

Пусть враг не ждет коленопреклоненья!

Не прячься, сердце, за щитом!

Внемли, как рог зовет на бой, грохочет в небе гром...

Теперь настала очередь слушать английскому королю. Он кусал нижнюю губу от ревности, но его благородное сердце отдавало должное врагу, обладавшему поэтическим даром. Вместе с песней к нему долетал едва слышный звон струн.

Отважный предпочтет не в теплом доме, не на соломе, а в жаркой битве умереть.

И девы с синими глазами, что пламенно любили нас, заплачут горестно, услышав, что в грохоте сраженья настал наш смертный час...

Все английское войско внимало этой песне — король, тэны, простые ратники, даже епископы и монахи, недовольно поджимавшие губы, когда в ней говорилось о грешных любовных чувствах. Но английскому королю было тяжело, что его родной брат находится в стане врагов. Гарольд послал несколько знатных всадников к неприятельскому лагерю, чтобы они вызвали Тостига и убедили изменника вернуться к своим. Он знал уже, что тот находится в лагере, охраняя с фламандцами тыл норвежского строя.

Королевские посланцы сделали широкий круг на равнине и подскакали к наспех поставленному частоколу. Один из них, приложив корабlichem руки ко рту, стал кричать:

— Эльдормен Тостиг! Где ты?

В ответ неслись ругательства, грубые шутки, смех. Но посланец продолжал взывать:

— Тостиг! Эльдормен Тостиг!

Наконец над заостренными бревнами частокола появилась голова королевского брата.

— Что вам надо от меня? — спросил он подъехавших поближе всадников и остановил движением руки своих лучников, уже собиравшихся метать стрелы в дерзких англов.

Знатный саксонский воин с седою бородой начал убеждать предателя:

— Твой брат король велел сказать, что обещает тебе полное прощение, если ты оставишь вражеские ряды. Он предоставит вернувшемуся треть королевства...

Тостиг, великий честолюбец и недалекий человек, но унаследовавший от отца твердость духа и верность данному слову, мрачно спросил:

— А что брат обещал моему союзнику, королю Норвегии?

— Семь футов английской земли.

— Или даже немного более, — прибавил со смехом молодой белозубый рыцарь, чувствовавший всеми фибрами своего существа радость бытия и испытывавший большое удовольствие, что принимает участие в таком ответственном королевском поручении. — Ведь норвежский король очень высокого роста.

Тостиг помолчал, раздумывая о чем-то, и сказал:

— Скажите брату, что сын Годвина не предаст сына Сигурда! Так и передайте ему!

Всадники повернули коней и поскакали прочь. Из-за частокола уже летели оперенные стрелы и с грозным свистом пронеслись над головами посланцев. Одна из них вонзилась в спину того молодого воина, что только что смеялся над Гаральдом. Рыцарь вскинул руки и упал с коня, но нога юноши застряла в стремени, и жеребец потащил труп по полю, пока другие воины не укротили его.

Два государя были готовы начать сражение. Их имена различались одной буквой: английского звали Гарольд, норвежского — Гаральд. Отважный скандинавский конунг, привыкший к легким победам, не ожидал, что его противник нападет первым, и даже не предпринял никаких мер, чтобы разрушить мост на реке, разделявшей два стана. Но запела труба, и англы двинулись на врага. Все ускоряя шаг и все крепче сжимая в руках тяжелые топоры, ратники спустились с холмов на долину. При некотором замешательстве, обычном в подобных случаях, английское войско переправилось через реку и ринулось на викингов. Их вел сам король. Началась ужасная битва.

Только теперь конунг увидел Гарольда и бросил через плечо стоявшему за ним Торду:

— Ну что ж! Он не весьма высокого роста, но неплохо сидит в седле.

Англы сильно теснили норвежцев, шотландцев и фламандцев; английское королевское знамя, красное, как мак, и с золотой крылатой змеей на нем, гордо билось на ветру. В сражении принимали деятельное участие с обеих сторон лучники. Стрелы свистели кругом. Внезапно одна из них поразила Гаральда Жестокого. Дерзкий, он сражался в тот день без кольчуги и шлема, и теперь железное жало впилось ему в дыхательное горло. Захлебываясь собственной кровью, конунг упал на землю и бессильно выронил оружие. Это могло

случиться значительно раньше, когда он воевал в Африке, или в Апулии, или под стенами Солуни, а произошло на английской земле.

Начальствование над войсками принял Тостиг. Однако ему нелегко было сражаться против собственного брата. Гарольд еще раз послал к нему вестника с предложением положить оружие и прекратить битву. Тостиг колебался. Но викинги заявили, что предпочитают умереть на том самом поле, где погиб их предводитель, чем спасти свою жизнь по милости победителя. Бой продолжался. Вскоре пал смертью храбрых и Тостиг. Ряды норвежцев уже поредели. Тогда они признали себя побежденными и прекратили битву. Считая, что главная опасность угрожает королевству с юга, от герцога Вильгельма, Гарольд поспешил заключить мир с викингами. Увы, из двух сотен скандинавских кораблей, приплывших к берегам Англии, в обратный путь пустились только двадцать четыре. Их оказалось достаточно, чтобы увезти в родные пределы королевскую семью и остатки норвежского войска. На одном из кораблей повезли в Норвегию тело Гарольда.

Впрочем, потери англо-норманов были тоже очень велики. Гарольд немедленно возвратился в Йорк, чтобы дать своим воинам заслуженный, хотя и краткий, отдых. В столицу поскакал рыцарь с известием о победе. Уже на другое утро, едва Лондон пробудился от сна, гонец был у городских ворот, и его тотчас обступили взволнованные женщины, торопясь узнать, что случилось с их мужьями или сыновьями, живы ли они. Вестник едва мог пробиться сквозь толпу к королевскому дворцу, хрипло выкрикивая с коня:

— Победа! Великая победа!

Первой услышала эти призывы во дворце маленькая Гита и побежала к братьям, которые были ленивцы и сони. Хлопая в ладоши, она сообщила им радостную весть. Но запыленный рыцарь со следами крови на одежде уже поднимался по лестнице к королеве, бряцая мечом по каменным ступеням.

Эдит не проживала больше в королевском дворце. Ее поселили в тихом монастыре на улице св.Фомы. Не теряя времени. Гита помчалась к матери в сопровождении служанки, и так Эдит, по прозванию Лебединая Шея, узнала, что ее король жив и невредим.

Но Гарольд на некоторое время задержался в Йорке, весьма опечаленный смертью брата и многих своих сподвижников. Кроме того, нельзя было не отпраздновать такую победу. Король сидел за пиршественным столом. Мертвецов уже похоронили и пропели над ними положенные псалмы, а оставшиеся в живых радовались жизни и ликовали. Таков страшный закон войны. Воины пили крепкое черное пиво, смеялись и предвкушали объятия своих жен и любовниц, потому что никого так страстно не ласкают женщины, как победителей. Гарольд только что поднял чашу за здоровье героев, как в зале появился вестник с озабоченным лицом, тихо приблизился к королю и стал шептать ему на ухо о потрясающем событии.

4

Все это было ровно десять лет тому назад. Теперь Гита в русской стране. Над Переяславлем — звездная зимняя ночь. Наслушавшись рассказов, Владимир уснул, уткнувшись лицом в розовую подушку. Заложив за голову тонкие нагие руки, молодая княгиня смотрела мысленным взором сквозь бревенчатые стены горницы. Где-то в отдалении выли волки, или, может быть, то половцы рыскали в снежных полях и подавали знаки друг другу. Но она думала о другом. Перед глазами еще раз проплывало милое детство, которое никогда не вернется. И вдруг в памяти опять вспыхнули страшные образы войны, искаженные от злобы лица, окровавленный плат, которым была обмотана голова раненого вестника с гастингского

поля...

Когда Гарольд по соображениям государственной необходимости женился на Эльгите, Эдит, ее возлюбленная мать, в слезах покинула дворец и удалилась в назначенное ей аббатство. Король непрестанно заботился о своей бывшей подруге и доставлял для нее все необходимое. Иногда она приходила тайком на дворцовый двор, чтобы взглянуть на своих детей. Впрочем, Гита часто бегала к ней в монастырь, нарушая запрет короля, считавшего, что по своему положению его дети должны жить вдали от черни и от всего того, что может дать пример, не достойный для подражания. Мать прижимала ее к себе с грустью, а потом отводила на длину рук и рассматривала внимательно, точно хотела увидеть, как в зеркале, на этом свежем детском лице свою прежнюю красоту, увядшую от многочисленных родов и жизненных огорчений. Гита унаследовала от матери зеленоватые глаза, льняные волосы, стройность нежной шеи. От отца ей достался сельский румянец. Но она была дочерью короля, и это обстоятельство наложило особый отпечаток на весь ее облик. Девочка гордо поднимала голову, разговаривая с придворными, с малых лет привыкла отдавать приказания, считала естественным делом, чтобы ей прислуживали за столом, одевали ее и раздевали, хотя она жила как в полусне, улыбаясь каким-то смутным своим мечтам. Однако маленькая принцесса видела вокруг себя не только слуг или грубоватых тэнов, но и образованных людей — говоривших по-латыни епископов и глубокомысленных астрологов, следивших с королевской башни за течением небесных светил. Гарольд хотел, чтобы его дети изучали науки, и маленькая Гита прилежно читала огромную Псалтирь. Она водила пальчиком по строкам, не всегда понимая написанное в книге, и детское внимание особенно привлекали книжные украшения на широких пергаменных страницах — то странные цветы, которые снились ей потом на небесных лужайках, то белые агнцы, то львы, свирепые, но с добродушными человеческими глазами, то изображенные золотом и киноварью элефанты и пальмы. Гите приходилось видеть во дворце еще одну книгу, где рассказывалось о сотворении мира, пребывании Адама и Евы в раю, об убийстве Авеля братом его Каином у подножия дымящегося жертвенника и о многих других вполне достоверных событиях. Ведь иначе не было бы написано об этом. Так уверял ее старый аббат, обучавший королевских детей чтению.

Гита еще не понимала тогда, что самое непоправимое — смерть, вдруг пресекающая человеческое бытие. Когда среди всеобщего волнения отец надел боевую кольчугу и спешно покинул дворец, чтобы сразиться с викингами, он не взял с собой ни одного из сыновей, так как мальчики еще не пришли в тот возраст, когда мужчины носят меч на бедре и становятся способными действовать боевым оскордом. Гите было тогда девять лет. Вскоре наступила ночь, и в положенный час дети стали готовиться ко сну в прохладной комнате со сводчатым потолком. Но перед тем, как уснуть, братья переговаривались между собою, мечтая вслух, как завтра поедут в королевскую рощу охотиться на зайцев или переправятся в челноке на другой берег реки и будут ловить силками скворцов, а потом посадят их в клетку, чтобы наслаждаться птичьим пением. В тот вечер произошла ссора у Эдмунда с Магнусом из-за ножа с костяной ручкой. Магнус уворовал его у брата и спрятал в своей постели, а Эдмунд случайно обнаружил похищенную вещь, которой он очень дорожил. Таким лезвием удобно было вырезать в лесу палки и мастерить игрушки. Завязалась драка, и Магнус замахнулся острым ножом на брата, желая его убить, как некогда Каин Авеля. Гунгильда смеялась, ее развлекала эта ссора, а Гита заплакала и остановила злых драчунов. Братья улеглись спать, тяжело дыша и с ненавистью глядя один на другого, а старая нянька Мальма, спавшая на полу в той же комнате, на подстилке, как собака, ворчала, что расскажет обо всем королю, когда он возвратится во дворец.

Гарольд был в Йорке. Но измена Тостига сделала свое черное дело, хотя Лондон еще торжествовал по поводу победы, одержанной над скандинавами. Особенно радостно шумели в харчевнях всякие шерстобиты, гончары, каменщики, корабельщики и все, кто зарабатывал свой насущный хлеб тяжелым трудом, потому что эти люди очень хорошо чувствовали запах

английской земли, разрывая ее мотыгой, мяли в руках ее липкую глину, ощущали шелковистость мягкой волны. Только королева Эльгита растерянно улыбалась, не зная, радоваться ей успеху короля или сокрушаться от мысли, что при всяком усилении королевской власти ее братья Морнер и Эдвин могут потерпеть ущерб в своих правах. Эдит, подпирая звенящую от бессонницы голову рукой, с печалью смотрела в окошко, в надежде, что скоро король проедет по улице св.Фомы, направляясь во дворец, и тогда она хоть издали посмотрит на того, кого любила больше жизни.

Все с нетерпением ждали возвращения Гарольда в Лондон, но в городе уже ползли тревожные слухи о неминуемой высадке страшного нормандского герцога.

Для выполнения своих дальновидных планов Вильгельм уже некоторое время тому назад начал строить большой флот. Леса и тихие гавани Нормандии наполнились стуком секир и запахом смолы. Тысячи кораблестроителей стругали, напевая веселые песенки, заколачивали медные гвозди, укрепляли мачты, прилаживали снасти и рули. Значительную часть судов подарили герцогу бароны и епископы, поддерживая его в богоугодном предприятии. Всем было известно, что теперь лучший дар для нормандского правителя — хорошо оснащенный корабль. Тот, на котором он сам намеревался отплыть на завоевание Англии, преподнесла мужу как вещественный знак супружеской любви герцогиня Матильда. Он назывался «Мора». На корабельной корме установили позолоченную фигуру отрока, трубящего в рог из слоновой кости, а на мачте подвесили огромный фонарь, защищенный от ветра стеклами. Было построено несколько сот кораблей.

Но, готовя мощный флот и оружие, герцог не оставлял без внимания и церковные дела. Ему хотелось показать себя перед папой примерным сыном церкви, якобы предпринимавшим поход с целью обратить на истинный путь заблудших овец туманного острова, не очень-то покорных Риму. Для разъяснения некоторых вопросов поспешно созвали собор в Бонневилле. Приор монастыря в Беке, прославленный богослов Лафранк, был назначен в новое аббатство — Сен-Стефен, построение которого доказывало христианскую ревность герцога. Из политических соображений он даже решился с Матильдой принести в жертву свою старшую дочь Цецилию, посвятив ее с младенческих лет богу.

В месяце августе 1066 года корабли приготовились к отплытию, но пока стояли в устье реки Див. Теперь не хватало только благоприятного ветра, и воины с нетерпением ждали перемены погоды. Численность их определялась в десять тысяч человек, и всем в положенное время платили жалованье. Вместе с тем Вильгельм строго карал всякие насилия и грабежи. Будто бы даже беззащитные женщины и безоружные путники могли спокойно ходить по дорогам и не опасаться воинов. Стада мирно паслись на зеленых лужайках. Так, по крайней мере, докладывали герцогу его приближенные.

Ветер упорно продолжал путь в восточном направлении. Войско томилось от бездействия, а запасы приходили к концу. Вильгельм решил перевести воинские силы поближе к реке Сомме. Каждое утро он с тревогой поднимал свои взоры на петушка, что поблескивал на колокольне церкви Сан-Валери и показывал, в какую сторону дуют ветры. Уже наступили дождливые дни, и небо было покрыто облаками, однако направление ветра не менялось, и, чтобы отвлечь внимание воинов от этой неприятной обстановки, герцог велел монахам вынести из аббатства раку с останками Валери, очень почитаемого святого, и поставить ее под открытым небом на широком ковре. Так все войско могло созерцать святыню и молиться о ниспослании благоприятной погоды. Кроме того, каждый оставлял в пользу монастыря свой денежный дар. Скоро рака исчезла под холмиком из серебряных и медных монет.

27 сентября ветер неожиданно переменился. Вильгельм не стал дольше ждать и отдал приказ об отплытии. Впрочем, никакой необходимости понуждать воинов не было. Все толпами стекались на побережье, чтобы первыми подняться на свой корабль. Суета в гавани напоминала развороченный муравейник. Одни несли на плечах связки копий, другие

устанавливали мачты или поднимали паруса, третьи впрягались в повозки, доставлявшие на корабли бочки с вином и другие припасы. Большую часть продовольствия Вильгельм надеялся найти на месте, когда высадится на острове. Конюхи не без труда загоняли на ладьи лошадей, волновавшихся в предчувствии морского путешествия. Тревожное конское ржание, музыка и человеческие голоса наполняли воздух на протяжении многих миль. Но крики, звуки дудок и рогов вдруг покрыла мощным голосом медная труба, возвестившая об отплытии.

Суда двинулись в путь, когда уже на землю спустились сумерки. Впереди торжественно шел корабль Вильгельма. Его огромный масляный светильник покачивался на мачте и вел за собой весь флот, служа ему путеводной звездой. Так плыли всю ночь. Проснувшись утром, герцог увидел, что в море идет только «Мора», и приказал воину подняться на мачту, чтобы посмотреть, где остальные корабли. К своему ужасу, дозорный ничего не увидел, кроме неба и воды. Тогда Вильгельм распорядился приготовить себе завтрак, и для него откупили первый бочонок с вином. Не успел он осушить чашу, как вдали показались еще четыре корабля. За ними медленно двигался весь флот.

Уже впереди виднелся английский берег. На нем не было никого, кто мог бы помешать высадке. Все-таки корабли причалили в строгом порядке, борт к борту. Как только якоря рухнули в воду, воины сняли мачты и стали выгружать оружие.

Первым ступил на чужую землю Вильгельм. Однако в своем тяжелом вооружении он зацепился за что-то и упал и так стоял на четвереньках, опираясь руками о песок. С кораблей донесся всеобщий вздох ужаса. Это была, конечно, плохая примета, но и при таких обстоятельствах находчивость не покинула герцога. Окинув взглядом побережье, он провозгласил:

— Смотрите! Вот я беру это королевство обеими руками!

Какой-то расторопный воин подбежал к соседней хижине, вырвал из крыши пучок соломы и принес ее герцогу в знак того, что отныне все в этой стране принадлежит ему.

Высадка происходила в городе Певенси, где находились удобные для кораблей причалы. На другой день, когда праздновалась память архангела Михаила, особенно чтимого в Нормандии, войско двинулось на запад. Опорным пунктом для военных действий был избран Гастингс, захваченный без большого сопротивления. После непродолжительного совещания с братом, епископом Одо, герцог решил построить здесь временное укрепление. Но нормандцам удалось только вырыть ров, сделать невысокую насыпь и поставить на ней частокол.

В день высадки некий английский рыцарь, владения которого находились недалеко от Певенси, вздумал совершить прогулку по побережью и не поверил своим глазам, когда увидел, что в городок приплыло такое множество кораблей. Он спрятался за скалой и наблюдал, как нормандцы выносили с судов оружие и выводили боевых коней, а плотники с топорами в руках начали ставить палисад для охраны флота от неожиданного нападения. Даже не очень сообразительному рыцарю нетрудно было догадаться, что здесь происходит. Он дождался наступления темноты и пробрался в свой замок, а затем, схватив меч и копье, помчался на самом быстром коне в Лондон, чтобы предупредить короля. Там ему сказали, что Гарольд находится в Йорке, и гонец поскакал на север, прибыв в этот город в тот самый час, когда начался королевский пир. Почти одновременно явились из Гастингса другие вестники и со слезами на глазах сообщили королю о притеснениях и грабежах нормандцев. Неприятель все уничтожал на своем пути, не давая пощады ни старикам, ни женщинам, захватывая скот и имущество мирных жителей, так как Вильгельм считал, что это лучший способ вызвать у воинов желание воевать.

Гарольд немедленно созвал военный совет, на котором все обещали ему, что скорее умрут, чем признают своим королем Вильгельма. Ободренный поддержкой знатных рыцарей, английский король поспешил навстречу врагу. Со всех сторон к его войску присоединялись ратники. Только графство Мерсийское осталось равнодушным к общенародному бедствию. Не оказала деятельной помощи королю и Нортумбрия, где правили графы Морнер и Эдвин, братья королевы. Они решили выждать время и посмотреть, как развернутся события. Зато с юга, из всех областей, лежавших между рекой Тамар и океаном, а также из Кента под знамя с золотым драконом стекались все способные носить оружие. Дядя короля Эльфвиг, приор Винчестерского аббатства, явился с двенадцатью монахами, — но не для того, чтобы молиться, а готовые сражаться с топорами в руках. Так же поступил и аббат из Питерборо, по имени Леофик. Между прочим, он был одним из немногих, кому удалось остаться в живых после этой ужасной битвы и возвратиться домой.

Король Гарольд спешил в Лондон. Но в пути он остановился в любезном ему Вальтаме, чтобы дать отдых людям и коням и чтобы подумать о грядущих событиях.

Затворившись вечером в церкви, король молился в одиночестве, распростертый на каменном полу. Над алтарем блестели розовым светом лампы. В церкви не было ни души, так как дверь заперли на засов. Только пономарь Туркил, притаившись, выглядывал из ризницы, где он нечаянно уснул после богослужения, хлебнув в тот день тайком церковного вина. Никто не мог назвать этого служителя церкви плохим христианином. Он благожелательно относился к ближним, но порой получал от священника оплеухи за кражу виноградного вина, предназначенного для евхаристии и хранившегося в глиняном сосуде в ризнице. Когда уровень его заметно понижался, старый аббат выговаривал ему:

— Ты, наверное, будешь гореть на вечном адском огне!

Туркил опускал долу глаза и уверял священника, что он тут ни при чем, а вино само собой испаряется от летней жары. Однако аббат был образованным человеком, даже прочел Гиппократ и, кроме того, по собственному опыту знал, что красный нос — верный признак пристрастия к виноградному соку. Поэтому он более тщательно запирает ларь, в котором хранился драгоценный сосуд. В таких случаях огорченный пономарь обычно отправлялся на берег Темзы, в грязную харчевню своего приятеля Бена, и пил там пиво, если у него звенели в кармане штанов медные монеты, полученные от-какой-нибудь благочестивой вдовицы за своевременное возжжение лампы в день поминовения покойного, хотя этот простецкий напиток не мог, конечно, сравниться по вкусу и качеству с церковным вином.

Туркил поглядывал из-за колонны на распростертого короля, в глубине души опасаясь, как бы ему не влетело за такое любопытство. Но делавшийся с каждым годом все более рассеянным аббат забыл в тот день запереть ларь, и в чреве у пономаря чувствовалась приятная теплота. Вдруг ему померещилось, что голова Марии, раскрашенной в розовое и голубое статуи, у подножия которой лежал король, медленно склоняется. Точно богородица хотела пожалеть благородного воина, отправлявшегося на поле битвы. Сомнения не было! Позолоченная корона опускалась все ниже и ниже...

Пономарь протер кулаками глаза. Нет, как будто бы статуя оставалась совершенно неподвижной и в прежнем положении. В страхе он стал шептать латинские возгласы, какими отвечал священнику во время обедни.

В тот же вечер Туркил рассказал о чуде трактирщику Бену, а приятель поделился этим сообщением на ночном ложе с женою, и так как его подруга отнюдь не отличалась молчаливостью, то вскоре о том, что произошло в Вальтаме, узнал весь Лондон, и люди покачивали головами, толкуя это предзнаменование в дурную сторону. Дошла весть о видении и до старого аббата, и он поплелся посмотреть на статую. В самом деле, как будто бы голова мадонны не была прежде опущена так низко! Но большой уверенности старик не

испытывал. Позвали Туркила. Однако добиться от него ничего не удалось. Впрочем, аббат вспомнил, что истина часто таится от мудрых и открывается простодушным, как дети, вроде этого пьянчужки.

Мономах услышал о чуде со статуей из уст Гиты, десять лет спустя. Она хорошо запомнила некоторые события. Вестник из-под Гастингса, молодой рыцарь и певец, в кольчуге, но без шлема на голове, имел совсем другой вид, чем тот, что недавно привез сообщение о победе над викингами. Его белокурая голова была обмотана окровавленной тряпицей, может быть оторванной от рубахи какого-нибудь убитого воина. Оповестив королеву и придворных, юноша поспешил найти также Эдит, выполняя последнюю волю короля. Сидя на стульце, он рассказал ей о поражении и гибели Гарольда. Но мать требовала подробностей.

— Мы укрепились на холмах Сенлака... Король велел поставить там частокол. Красное королевское знамя развевалось на ветру. Земля была как живая. И другое знамя возвышалось. На котором вышит сражающийся воин...

Мать всхлипывала. Весь Лондон наполнился в тот день плачем и воплями. Стенания слышались и во дворце и в хижинах бедняков.

— Это произошло с пятницы на субботу. Мы всю ночь не смыкали глаз. Коротали время за кубками эля и распевали песни. В неприятельском лагере стояла тишина. Нам говорили, что у нормандцев много монахов. Потом оказалось, что это лучники с выбритыми головами. Но почему никто не напомнил нам, что перед битвой воину необходимо подкрепиться сном? Хотя бы кратковременным. А мы веселились, как дети. Нас окрыляла недавняя победа. Когда же стало всходить солнце, мы приготовились к бою. Король объезжал наши ряды. Призывал быть стойкими и говорил, что если враг одолеет, то это будет гибелью Англии.

В ответ на это послышались рыдания. Мать плакала. Дети смотрели на вестника как на явившегося с того света.

— Король объяснял нам, что нормандцы искусные всадники. Единственная возможность сражаться с ними — стоять непоколебимо. Впрочем, место для сражения было выбрано удачно. Коннице трудно нападать на пеших воинов, если они укрепятся на холмах.

— В какой же час началась битва? — скорбным голосом спросила Эдит.

— Задолго до полудня.

Вестник замолчал, поникнув головой. Но, видя, что все смотрят на него в ожидании рассказа, опять заговорил охрипшим голосом:

— Вдруг мы увидели, что пред нами строем появился вражеский всадник в кожаном панцире с нашитыми медными бляхами и начал ловко подбрасывать в воздух копье и тут же ловил его на всем скаку. Ничего подобного я никогда раньше не видел. Потом он запел песню. Голос у него был сильный, но ветер относил слова. Мы могли понять, что речь идет о каком-то Роланде. А когда он стал выкрикивать слова, обидные для нашего короля, несколько английских воинов спустились с холма и помчались на поле, чтобы поочередно сразиться с дерзким. Я тоже оказался среди них. Но нормандский певец заколол первого подскакавшего к нему копьем. Второго он поразил мечом, и тот тоже свалился с коня. Тогда настала моя очередь. Нормандец ударил меня клинком по шлему. Видите?

Рыцарь склонил голову, показывая пальцем на рану.

— Меняю третью повязку. Впрочем, мне тоже удалось нанести ему сильный удар. Певец упал на землю, как мешок, набитый шерстью. На месте поединка поднялось облако пыли. Я ускакал, успев схватить за узду коня противника.

— А другие воины?

— Они все остались лежать там. А лошади унесли куда-то с развевающимися гривами.

Эдит кивала головой, понимая, что это только незначительный эпизод сражения.

— Король улыбнулся мне и поздравил с победой. Потом спросил, кто погиб из наших. Я назвал их имена.

Гита смотрела доверчивыми детскими глазами на молодого воина, видевшего, как погиб ее отец. Он уже рассказал об этом в немногих словах, но Эдит жаждала подробностей, желая запечатлеть в своей памяти последние минуты любимого человека.

Она жалела и этого юношу, как собственного сына, и предложила ему:

— Выпей пива. У тебя совсем пересохло в горле.

Рассказывая о сражении, вестник снова переживал все его перипетии. Рана тоже давала себя знать. Однако он оказался одним из немногих счастливцев, которым удалось пережить тот страшный день. Он скакал всю ночь. Перед ним на несколько мгновений широко раскрылись лондонские ворота и опять затворились.

— Враги осыпали нас стрелами. В воздухе шумело, как во время дождя. Затем на частокол с дикими криками двинулись пешие воины. Мы встретили их камнями из пращей, а потом приняли в топоры. Они отхлынули, покрыв своими трупами весь широкий склон холма.

— Король принимал участие в битве? — спросила Эдит, вытирая пальцами мокрые от слез глаза.

— Король сидел на белом коне и с высокого места наблюдал за ходом сражения. Там росли яблони. Я видел, как он снял боевую перчатку, сорвал румяное яблоко и стал есть.

Рассказчик снова умолк.

— Что же было потом?

— Потом? На нас пошла конница. Тысячи коней, изгибая шеи, вздымались по отлогому подъему. Но и конное нападение мы отбили без большого труда, и немало нормандских рыцарей остались лежать перед частоколом. Распространился даже слух, что пал сам Вильгельм. К сожалению, это не подтвердилось. Во время второго приступа герцог лично повел своих рыцарей. Может быть, он искал встречи с королем? Не знаю. Я стоял у самого края и видел, как кто-то из наших воинов метнул в Вильгельма копьё. Герцог упал среди ужасного смятения битвы, но ранен был только конь. Мы увидели, что герцог поднялся с земли и с палицей в руках кинулся на того, кто метнул копьё. На графа Гирда, брата короля. Нормандец нанес ему страшный удар, и граф рухнул как подкошенный. Больше он уже не встал. Вскоре погиб и другой королевский брат...

— Леофвин?

Вестник молча кивнул головой.

— А король?

— Король находился в тот час в другом месте. Когда же герцог понял, что частокол остался без должной защиты, он опять бросил на нас своих пеших воинов. Отступившие рыцари тоже повернули коней. В этом грохоте битвы королевские знамена еще развевались на холме. Но Вильгельм велел своим лучникам стрелять так, чтобы стрелы отвесно падали на стоявших за

частоколом. Они посыпались на нас, как из облаков.

Рыцарь даже показал рукой, как падали стрелы.

— Король снова вернулся к знаменам. Он сражался теперь в одном ряду с простыми воинами. Стрелы продолжали свистеть. От них приходилось укрываться, поднимая щиты над головой. Щит короля был утыкан ими. Однако сам он был еще невредим.

Эдит сжала в тоске руки. На нее было страшно смотреть. Она как бы присутствовала при последних минутах возлюбленного.

— Что же случилось? — рассказывал молодой воин. — Вдруг одна из стрел с ужасающей быстротой вонзилась королю в правый глаз. У него хватило мужества не выпустить из рук оружие... Тотчас он вырвал стрелу из глазницы. Но тут же уронил меч и пал под знаменами...

Рассказ прервали рыдания Эдит. Гита тоже заплакала, прижимаясь к матери, но утешала ее:

— Не плачь! Не плачь!

— О чем теперь рассказать тебе, — сказал вестник, отводя взоры в сторону, чтобы не видеть непереносимое женское горе. — Со смертью короля участь сражения была решена. Нормандцы сделали еще одно усилие и ворвались за частокол. Среди неописуемого лязга железа, хриплых криков и стонов умирающих наша твердыня пала...

Хроники повествуют, что, когда Гарольд упал, битва превратилась в избиение побежденных. Жадные руки тянулись к английским знаменам. Король, лежавший под их сенью, еще дышал. На него набросились несколько вражеских воинов и добили раненого ударами мечей. Один пронзил Гарольду грудь, другой отсек голову, третий изрубил труп на части и разбросал его ноги и руки. Говорят, что среди этих трех воинов, впавших в такое исступление и запятнавших себя этим поступком, был и граф Евстахий Булонский, фигура которого еще будет появляться на этих страницах.

Наступила ночь, и битва наконец утихла... Поле на огромном расстоянии усеяли мертвые тела. Нормандцы собирали валявшееся на земле оружие, снимали с убитых кольчуги и пояса, стаскивали даже рубахи, штаны и башмаки. Ведь каждая вещь имела свою ценность. Добычу можно было продать и на эти деньги купить себе коня, бочонок вина или заплатить за ласки молодой потаскушки. На том холме, где еще недавно развевались королевские знамена, Вильгельм велел водрузить свой стяг с тремя поджарыми геральдическими львами Нормандии. Со всех сторон доносились жалобные призывы раненых англо-нормандцев, умолявших, чтобы им дали напиться воды. Но никому уже не было дела до несчастных. Оставшиеся в живых желали отпраздновать свое торжество и победу. Они оттащили истекавших кровью людей и трупы в сторону, чтобы очистить место для пира.

Победители пировали всю ночь. Когда же наступило утро, с позволения герцога из соседних селений пришли на поле битвы милосердные женщины с кувшинами воды и напоили умирающих. Некоторые из них искали среди убитых своих близких. Они переворачивали нагие тела и рассматривали лица, обезображенные кровью запекшихся ран, с оскаленными зубами и полуоткрытыми глазами. А если узнавали родственников — мужа, отца или сына, — падали на колени и с плачем прикрывали их наготу своими платками.

Из Вальтамского аббатства явились монахи, чтобы достойным образом похоронить своего щедрого покровителя, и не смогли найти его в груде трупов. Но в этот час из Лондона прибыла та, что знала на теле Гарольда каждую родинку, знала все телесные приметы короля. Измученная Эдит всю ночь скакала по гастингской дороге, и монахи привели ее на поле битвы. Изувеченный до неузнаваемости сын Годвина лежал неподалеку от того места,

где во время сражения развевались английские знамена.

5

Те дни были полны отчаяния. Погиб отец, исчезла мать. Она растаяла как дым, и никто не мог сказать, что случилось с нею. Может быть, она умерла от горя, когда нашла на поле битвы растерзанное тело своего короля? Для Гиты началась новая жизнь. Странствия привели ее в конце концов в Чернигов и Переяславль.

Когда Гита впервые увидела своего жениха, русского княжича Владимира Мономаха, у нее сжалось сердце. С этим человеком ей предстояло делить до гроба радости и горе. Перед нею стоял в парчовой шапке, опушенной бобровым мехом, молодой воин, не очень высокого роста, однако хорошего телосложения и с сильными, широкими плечами. На юноше был красный плащ, застегнутый на правом плече жемчужной пряжкой, а под плащом виднелась длинная голубая рубаха. Он носил штаны из черного бархата, на ногах поблескивали золотыми узорами зеленые сапоги из мягкой кожи. По знаку отца княжич снял шапку, и когда Гита снова взглянула на жениха, то увидела его спокойные светлые глаза, высокий лоб, круглую рыжеватую бородку и такие же волнистые волосы, разделенные посередине опрятным пробором. Нос у молодого княжича был красивой формы, с горбинкой, а на щеках играл легкий румянец. Владимир улыбался ей смущенно. Гульгилла, одна из приближенных женщин, что сопровождали Гиту в русские пределы, шепнула ей, что юноша уже прославленный охотник...

Мысли Гиты снова перенесли ее в Англию. Вильгельм не позволил похоронить убитого короля с подобающими почестями и церковными обрядами. У этого человека в груди вместо сердца лежал кусок железа. Такие всегда преуспевают в своих предприятиях.

Старая мать Гарольда умоляла его:

— У меня пали три сына. Пожалей мою старость. Отдай мне хотя бы останки того, кто был королем Англии, и позволь похоронить в Вальтаме, чтобы успокоилась его благородная душа, а я заплачу тебе столько золота, сколько будет весить гроб.

Но герцог, опьяненный победой, кровью и вином, оставался неумолимым. Подставляя чашу виночерпию, подобострастно исполнявшему свои обязанности за столом победителя, Вильгельм сказал сквозь зубы:

— Скажите этой несчастной старухе, что сын ее был ненасытный честолюбец. Это по его вине лежат непогребенными тысячи трупов. Поэтому недостоин и он христианского погребения. Самое приличное место для его могилы — берег моря.

Без пения псалмов жалкие королевские останки зарыли где-то на пустынном побережье и завалили камнями. Может быть, на них и умерла от горя Эдит Лебединая Шея?

Вскоре после этого победитель занял Винчестер, где жила старая королева, а затем перед ним отворил ворота Лондон. В декабре того же года Вильгельм торжественно короновался в Вестминстере. Однако ему не удалось захватить в плен королевскую семью. Эльгита, вдова Гарольда, поспешила укрыться у своих братьев, графов Морнера и Эдвина, на севере страны, а мать короля удалилась на запад, в свои обширные владения, и вместе с нею бежали из столицы сыновья и дочери Гарольда. Для Гиты начались трудные годы странствия по чужим землям.

По прибытии в западные графства, где жители еще не сразу почувствовали военный разгром страны, старая королева стала готовиться к борьбе с завоевателями. Все способные носить оружие шли в город Экзетер, который в латинских хрониках называется Экзония. Жители его были многочисленны и богаты. Они немедленно собрали большие средства для продолжения боевых действий и привели в надлежащий вид городские укрепления. Казалось, все горят желанием сражаться до последней капли крови. Но вскоре выяснилось, что любовью к отечеству пылают лишь простые люди и, может быть, торговцы, а знатные предпочитают покориться Вильгельму, надеясь получить от него в награду за благонравное поведение новые привилегии. Поэтому они вступили в тайные переговоры с герцогом и хотели предательски отворить ему ворота Экзонии. Вильгельм потребовал, чтобы этот богатейший город принес ему присягу на верность. Городской совет, в котором большую роль играли опытные в житейских делах купцы, вынес компромиссное решение. За время переговоров экзетерские стены, отличавшиеся значительной прочностью и высотой, еще более укрепили дубовым частоколом. За ним стояли многочисленные воины в хороших кольчугах. Вильгельм смотрел на них снизу, задирая голову. Он находился под самой стеной, на вороном коне, и позади толпились рыцари. Наконец наверху появился один из членов совета. Он был в длинной черной одежде и не имел при себе оружия, но в голосе его чувствовалась уверенность в своей силе, когда крикнули со стены:

— Герцог Вильгельм! Мы не станем присягать тебе как королю и не примем тебя в город, однако согласны платить дань, как всегда выплачивали английским королям. А если ты не согласен с таким решением, то уходи прочь от наших стен.

В ответ раздались возмущенные крики нормандцев. От ярости Вильгельм заскрежетал зубами. Впрочем, укрепления Экзетера имели внушительный вид, казались неприступными. Некоторые горожане тоже были недовольны постановлением совета, так как не надеялись устоять против герцога. Между тем он приказал опустошать земли вокруг города. Очень пострадали от этой меры владения городских патрициев, и тогда они решили отворить Вильгельму городские ворота и дать ему заложников. Но большинство жителей все-таки высказались против сдачи, и когда Вильгельм уже совсем приготовился войти в город, то увидел, к своему изумлению, что ворота не открываются перед ним, а граждане по-прежнему стоят на стенах с оружием в руках.

Желая напугать осажденных, он велел привести под стены одного из захваченных экзетерцев и ослепил его на глазах у всех. Люди на стенах завывали при виде казни, и на нормандцев посыпались стрелы и камни из пращей. Ведь все хорошо знали несчастного, и иные еще недавно обсуждали с ним очередную торговую сделку! Его жена и дети тоже стояли наверху, пораженные ужасом. Невыносимое зрелище наполнило сердца людей отвращением и гневом, и жители отказались сдаться врагу. Тогда Вильгельм решил, что будет продолжать осаду и возьмет город измором. Завоеватель и тут проявил неутомимую деятельность. Понимая, что трудно взойти на эти стены, он велел производить подкопы. Когда с грохотом рухнула одна из башен и к небесам поднялось облако пыли, осажденные поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Городской совет решил сложить оружие.

Во время осады и даже в тот день, когда нормандцы ослепили под стенами пленника, семья Гиты продолжала оставаться в городе и трепетала за свою участь. Когда же речь зашла о сдаче, старая королева, не особенно надеясь на милость победителя, не пожелала больше оставаться в Экзетере. Вместе с дочерью Гунгильдой, внуками и маленькой Гитой она покинула последний свой оплот. Сделать это не представляло больших затруднений. Дело в том, что у Вильгельма не оказалось кораблей, чтобы отрезать Экзетер от моря, и выход из города оставался со стороны побережья свободным для всех. В тот самый час, когда герцог въезжал через распахнутые перед ним Восточные ворота, королевская семья уходила через Береговые к морю, чтобы сесть в ладью и уплыть подальше от свирепого завоевателя. Из города доносился гул человеческих голосов. Это победители приветствовали своего вождя.

Вместе с королевой ушли в изгнание и многие богатые жители. Беглецы уносили с собой самое ценное. Кто — мешок с серебряными сосудами, кто — парчовый кошель с шиллингами, кто — переписанную, с золотыми украшениями Псалтирь. Все они надеялись совершить под покровом ночной темноты опасное путешествие и перебраться на другой берег. Гита прижимала к груди любимую куклу. Ее сшила из разноцветных лоскутков милая мать, Эдит Лебединая Шея.

В первые дни бегства королевская семья нашла временное прибежище в Сомерсетсе, а затем на одном из тех островов в Бристольском канале, которые можно видеть в ясную погоду с глостерских холмов. У старой женщины еще теплилась надежда, что торжество Вильгельма не окончательно. Такое мнение разделяли с королевой и многие англы, ожидая каких-то счастливых перемен.

Вскоре после бегства из Экзетера юные сыновья Гарольда перебрались в Ирландию, надеясь получить от ее короля помощь для борьбы с Вильгельмом. В следующем году они снарядили флот из пятидесяти кораблей, наняли некоторое число воинов и, переправившись через пролив, высадились на английском берегу. Военные действия начались с того, что наемники стали грабить окрестные селения. Не о таком избавлении от врагов мечтали крестьяне. Но так как подобными подвигами и ограничилось выступление молодых принцев, народ не поддержал их, и они вынуждены были поспешно вернуться в Ирландию. Так же плачевно закончилась и вторая их попытка изгнать завоевателей, — на этот раз только наступившая ночь спасла сыновей Гарольда от гибели. Убедившись, что нет уже на земле силы, которая могла бы изменить положение в Англии, королевская семья отказалась от дальнейшей борьбы. Старая королева решила навеки покинуть родину и удалилась во Фландрию, в город Сент-Омер. Вместе с другими отправилась в изгнание и маленькая Гита...

Рядом мерно дышал Владимир. Гита хорошо изучила все повадки мужа, чувствовала за его ласковыми, мягкими словами большую твердость его души. Она уже убедилась, что он наделен спокойным, но непреклонным характером и ясным умом. Так же деловито, как дома за пиршественным столом или во время богослужения в церкви, он распоряжался на ловах, в походах и в сражениях, защищая русские нивы, бревенчатые города и прекрасные храмы. Это был хороший хозяин, обо всем вовремя заботившийся в своих богатых селах, обнесенных прочным тыном с надворотной башней, и в порядке содержавший свои гумна, медуши, хлевы и голубицы. Редко возвышал он свой голос на провинившихся, но не упускал своей пользы. Он чувствовал себя господином, в уверенности, что сам бог поручил ему блюсти установленный в мире порядок и что он несет ответственность за всех людей, живущих под его властью. Владимир обладал огромной силой мышц, и руки его были сделаны как из железа; при всем том он обладал чувствительным сердцем, любил душеполезные стихи Псалтири и в своих писаниях употреблял трогательные сравнения. Это был умный правитель, примерный семьянин и благочестивый христианин.

Еще вчера он высказывал князю Олегу, когда гость сидел у них за столом:

— Поистине так устроен мир. Смерд трудится на ниве, а нам назначено защищать его достояние оружием. Поэтому он и испытывает благодарность к праведным правителям.

Олег хвастал жемчугом зубов, поглаживая русые усы. Разгоряченный столетним медом, так как в этом доме не любили тратить деньги на греческое вино, он поднимал окованный серебром рог и возглашал:

— Пью твое здоровье, светлая княгиня!

У Гиты сжималось сердце от этих дерзких взглядов на ее грудь и шею.

Владимир тоже замечал пылкость Олега, но даже в молодых годах старался понять человеческие слабости и греховные мысли. Он был спокоен за свою супругу, их соединил сам

бог в церковном таинстве, а на стене висел его меч, и горе тому, кто заставит обнажить это оружие, доставшееся от отца.

Говорили о половецких набегах, о далеких землях. Потом перешли к своим домашним заботам, к нищете поселян, к постоянному ропоту смердов.

— Смерды у меня перевес похитили, — жаловался Олег, уже позабыв о красоте зеленоглазой женщины. — Неужели надо простить им?

Мономах, почти не прикасавшийся к чаше, развел руками.

— Виновных карай. Но по справедливости и не тяжко. Также и рабов не считай за скот.

— Чтобы они спали до полудня и коней моих не берегли?

— Если рабы поленились и не заперли твоих лошадей в конюшню и тати их похитят, пусть отвечают за нерадение. Также если по небрежению смерда, пахавшего на твоей земле, орало сломалось. Но вникай в сущность дела. Удели бедному частицу твоего добра, и тебе самому же будет лучше.

— А вот у меня еще закуп убежал, трудившийся на моей ниве за долг, а тиун поймал его, и я велел посадить беглеца на цепь. Пусть в вонючем порубе поразмыслит, что он теперь раб мой по закону.

— Но узнал ли ты причину его ухода?

— Если каждого смерда...

— Может быть, он ушел, чтобы деньги просить в рост и тебе свой долг возратить, чтобы свободу купить?

— Некогда мне было разбираться.

Олегу стало скучно вести беседу за столом, за которым сидела красивая женщина, о таких обыденных вещах. Он опять поднял турий рог, в который склонившийся отрок налил меду из глиняной корчаги, как будто бы дело происходило не в княжеских палатах, а в доме какого-нибудь тиуна. У него же самого всегда на столе серебряные сосуды, отцовское наследство.

— Пью твое здоровье, светлая княгиня!

Размышляя о случае с бежавшим закупом, Владимир произнес:

— Все надо совершать разумно.

Сидевший за столом епископ, с удовольствием, но благопристойно поедавший куски пирога с рыбой и рисом, которые подкладывал ему хозяин, заметил с улыбкой:

— Сказано...

Мономах и Олег посмотрели на него.

— Красота воину — оружие, кораблю — ветрила, а князю — разумение.

Это происходило вчера. Наутро Олег уехал в далекую Тмутаракань. Гита осторожно прикрыла лисьим одеялом разметавшегося Владимира. Муж застонал во сне, скрежеща зубами. Может быть, видел в сонной дубраве, что вебрь ушел от него? Но эта жизнь началась с того дня, когда она покинула Экзетер. Опять вспомнились низкие каменные ворота,

выходившие в сторону моря, и пустынное побережье, покрытое лиловым вереском... Беглецы сели в лодку и поплыли навстречу своей судьбе. Наступали сумерки, и никто их не преследовал.

Вскоре после переезда во Фландрию, богатую страну, где много овец и много шерстобитов, старая королева умерла, и Гиту взяла под свое попечение богомольная тетка Гунгильда, сестра отца. Гита хорошо запомнила ее добрые глаза, тихий голос, скромность в одежде. Точно она стыдилась, что одни люди пышно одеваются, сытно едят и рыгают от избытка пищи, а другие голодны и едва могут прикрыть рубищем свою наготу. Говорили, что Гунгильда с малых лет дала обет девственности и добровольно отказалась от радостной земной любви.

Из Сен-Омера семья Гиты переселилась в город Брюгге. Там было много воды, на зеленых лужайках паслись курчавые овцы, а в городских хижинах с утра до вечера трудились сукновалы. Снова потекли скучные дни, с хождением в полутемные церкви, где пели латинские псалмы и раздавались проповеди о смирении и покорности воле божьей. В такой обстановке она выросла, существуя как во сне, глядя на мир широко раскрытыми, вопрошающими глазами.

Теперь она познала все тайны жизни. Но иногда перед ее умственным зрением появлялось и надменное лицо Олега. Неугомонный князь ускакал со своими рыцарями в тот дальний город на берегу моря, куда приплывают греческие корабли, где веет морской ветер.

Снова мысли Гиты вернулись к началу ее теперешней жизни. Почувствовав приближение смерти и опасаясь, что она может оставить племянницу без правильного руководства на жизненном пути, Гунгильда повезла ее в Данию, к своему родственнику, королю Свену, женатому на Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. До этого русская красавица в течение многих лет была женой Гаральда Жестокого. Когда его убили в Англии, Елизавета, еще сохранившая свою красоту, не замедлила выйти замуж за датского короля. Гита с волнением смотрела на эту прославленную на весь мир женщину, которой посвящали свои песни скандинавские скальды. А Елизавета ласкала ее льняные волосы и говорила:

— Владимир — благородный ярл, мужественный воин. Ты будешь не последней среди счастливых, родишь ему много детей и продлишь род своего отца. Ты убедишься, что наша страна полна всяческого богатства.

Елизавета к тому времени стала дородной и величественной, и по сравнению с нею Гита казалась тоненькой весенней березкой. Вытирая платком слезы, королева шептала:

— Видишь, я плачу, вспоминая Русскую землю, где впервые увидела свет мира.

Это по ее замыслу Гиту просватали за Владимира, сына Всеволода, киевского короля. Вскоре большой корабль с красиво вырезанной птицей на носу отплыл на восток. Снова Гита пустилась в морское странствие. Гребцы, сгибая и разгибая мощные нагие спины, пели:

Море — дорога для воина к славе, море — дорога к любимой деве...

Так Гита плыла много дней. На корабле разостлали ковер, и она, сидя на нем, слушала воинственные песни. Вместе с нею отправились в дальний путь некоторые знатные женщины и монахини, которым Елизавета поручила молодую невесту. Одна из этих скромных монахинь, может быть опьяненная морским воздухом и непривычной близостью молодых мужчин, соблазнилась и совершила прелюбодеяние. Ее застали с молодым воином на месте преступления, связали обоих одной веревкой и кинули в море, и Гита до конца своих дней не могла забыть этих душераздирающих криков монахини и дикого воя мужчины, когда они захлебывались в воде. Но море поглотило их, и эта казнь не нарушила морскую красоту. Как будто бы ничего не случилось, величественная пучина равнодушно сияла вокруг.

Потом открылось широкое устье неизвестной реки. Берега ее были покрыты дремучими лесами, и в речных зарослях водилось множество птиц. Пройдя реку, корабль очутился на необозримом озере, где стаями поднимались с воды белые лебеди и серые гуси. Воздух здесь трепетал от курлыканья, гоготанья, кряканья и пения птиц. Затем стали подниматься по другой реке. Так прибыли в город, который назывался Новгород. Все здесь было полно для Гиты странного очарования. Добродушные люди говорили с нею, храня на устах улыбку. В этом шумном пристанище она увидела толпы чужестранцев, пришедших сюда со всех концов света, горы товаров, почувствовала запахи торговли — здесь пахло смолой, мехами, соленой рыбой, пенькой, свежесрубленным деревом. В городе ее встретил родственник жениха, молодой князь по имени Глеб, может быть немного безрассудный, но любезный человек в шапке из парчи, заломленной на левое ухо. Здесь все было другое, чем во Фландрии или Дании, — шапки, люди, дома, церкви. Удивляло Гиту, что улицы в Новгороде мостились бревнами, а вода весело бежала по деревянным желобам. Ее повели в одну из церквей. Стены были заполнены росписью. Со всех сторон на нее взирали крылатые ангелы, святые старцы, пророки с длинными свитками в руках. Богородица всходила по ступенькам храма, пряла пряжу для храмовой завесы, слушала архангела, умилительно сидела у яслей, в которых лежал младенец, скорбно стояла у креста... Глеб то окидывал взором эту церковную красоту, то заглядывал Гите в глаза, пытаясь увидеть, какое впечатление производит она на чужестранку...

6

Тетка Гунгильда воспитывала королевских детей во всей строгости христианского закона. Ее добродетельная жизнь была увековечена впоследствии на могильной плите в церкви св. Доната, в городе Брюгге, где эта благочестивая женщина скончалась в назначенное ей время. Конечно, за щедрые вклады и пожертвования монахи составляли и не такие эпитафии, но Гита знала, что тетка всю свою жизнь не вкушала мяса, изнуряла бrenную плоть и посвятила себя делам благотворительности. Она напоминала одну из тех страстотерпиц, о которых рассказывается в житиях святых. Ежедневно Гунгильда водила свою племянницу, еще дрожавшую в предутренние часы от жестоко прерванного детского сна, в темные церкви, где старые аббаты читали латинские молитвы и полусонные пономари подпевали им нескладными голосами, тайком прикрывая рукой зевки.

Первое время семья короля Гарольда проживала во Фландрии, в городе Сент-Омер. Это было богатое поселение, в котором насчитывалось много сукновален и с утра до поздней ночи слышался стук шерстоткацких станков. В окрестностях, на покатых холмах, покрытых вереском, пастухи пасли многочисленные стада овец. Но Гита редко проводила время на холмах, а чаще сидела за прялкой, за вышиванием или склонялась над молитвенником, потому что больше всего надлежало, по словам Гунгильды, заботиться о спасении души, и унаследованная от матери красота делалась хрупкой, как бы не от мира сего, а лицо стало прозрачным и еще более утончилось шея, напоминая стебель редкостного цветка.

В их доме часто появлялись бродячие монахи, которых тетка Гунгильда охотно принимала, и они сообщали обо всем, что творилось в христианском мире. Один из таких странников рассказывал тетке с набожным выражением на лице, давно уже не бритом и обветренном бурями больших дорог:

— В Фульде процветает знаменитый монастырь. Его особенно прославил своими подвигами отшельник Анимхад, замуровавший себя навеки в тесной каменной келий. Но ныне еще большую славу создал этой обители другой святой муж, по имени Мариан. Он родом из Ирландии. Есть такой остров за морем, в той стороне, где находится Британия. Впрочем,

тебе это хорошо известно. Сей инок уже давно покинул родину и добровольно переселился в Кельн. Однако обычная монашеская жизнь, которую мы все ведем, не удовлетворяла его. Он искал особых способов для умерщвления грешной плоти. Для этой цели и в подражание усопшему Анимхаду Мариан велел тоже замуровать себя на вечные времена в келий, построенной на могиле кельнского подвижника. Там Мариан уже провел несколько лет в постоянных молитвах, изнуряя тело жестокими бичеваниями и постами. Он сам готовит себе могилу, собственными пальцами разрывая землю. С такими испытаниями святой соединяет и духовный подвиг. А именно — в мертвой тишине келий, в полном удалении от мира, окруженный многообразными символами смерти и орудиями истязания, сочиняет он всемирную хронику. Особенно его интересуют математические и астрономические расчеты о точном времени евангельских чудес и событий земной жизни Иисуса Христа. И вот, исследуя прошлое, Мариан убедился, что монах Дионисий, что оставил нам новое летосчисление, ошибся в своих таблицах на двадцать два года...

Гунгильда слушала подобные рассказы не без страха. Они колебали ее простодушную веру. Благочестивая женщина отмахивалась руками от таких соблазнов, и монах, сообразив, что не все способны постигать тонкости летосчисления, которыми он сам с великим наслаждением упивался, и почувствовав, куда дует ветер, стал утешать встревоженную покровительницу:

— Но ведь известно, что ни папа, ни соборы не утвердили писаний Мариана. Следовательно, можно считать, что все это бессмысленные домыслы. Я же лично полагаю, что надлежит верить так, как нас учат апостолы. Потому что если каждый будет выискивать собственные пути спасения, то куда нас все это может привести? А ведь дьявол подстерегает христиан за каждым углом, за всяким поворотом дороги и только и ждет того, чтобы мы уклонились от истинного пути.

Такие рассказы были по душе Гунгильде, и она щедро одаряла монаха, а Гита изумлялась, что существуют на свете люди, способные провести всю свою жизнь во мраке и зловонии, истязая себя и роая могилу рядом с другим мертвецом. Ее же влекло на зеленые лужайки, в рощи, где пели птицы...

Впоследствии Гита узнала, что на этом еще не кончились испытания Мариана. Отшельника переманил к себе из Фульдского монастыря майнцский архиепископ Зигфрид. Затворник упорно отказывался покинуть свое смрадное жилище, но в конце концов уступил домогательствам, и его с большим торжеством перевезли на новое местожительство. Еще один монах рассказывал с умилением, что во время этого пути, когда всякого другого, наверное, ослепило бы солнце, не виданное им в продолжение многих лет, и соблазнила бы вновь открывшаяся глазам красота мира, Мариан с полным равнодушием отворачивался от покрытых цветами полей и живописных гор, отплевывался при виде каждого миловидного женского лица и даже на свое новое аббатство посмотрел с полнейшим безразличием, умоляя по прибытии в Майнц только о том, чтобы его поскорее заточили в келию. Монахи не заставили себя просить дважды и с удовольствием замуровали святого в тесном каменном мешке, где он и прожил до самой смерти.

Гита зажмуривала глаза, представляя себе, что лишилась зрения или заточена в келий, где нет ни окошек, ни дверей, и что она никогда не увидит ни этих холмов, покрытых розовой растительностью, ни голубого неба над взморьем, и ей делалось страшно.

Некоторое время Гита прожила в тихом Брюгге, таком же богатом городе, как и Сент-Омер. Позднее, очутившись в Дании, при дворе Елизаветы, она убедилась, что эта красивая королева и сам король Свен, а также многие знатные люди ведут в датской земле совсем другую жизнь, чем Гунгильда, не трудятся, как брюггские шерстобиты, а посвящают свое время веселым пирам и охотам. Конечно, король и королева страшились вечного огня в аду, но надеялись откупиться от него богатыми вкладами в церкви.

В годы, когда Гита жила во Фландрии, страна испытала все ужасы войны. Владетелем этой земли был граф Балдуин V, дочь которого, Матильда, стала супругой Вильгельма Завоевателя и вышла для него подзор, изображавший гастингское сражение и прочие события нашествия на Англию. Благодаря дочери богатство графа росло с каждым днем. А когда умер граф Герман, сосед Балдуина, он тотчас вторгся во владения покойного и принудил его молодую вдову выйти замуж за Балдуина, как звали его старшего сына, и передать ему город Монс. Но этот отпрыск знатного фландрского рода был слаб телом и духом. Когда впоследствии молодой Балдуин наследовал своему отцу, он всячески избегал войн и кровопролития.

Но у Балдуина был младший брат, по имени Роберт, совсем на него не похожий. Этот граф, ни в чем не имевший удачи и отставленный отцом от управления страной, неоднократно пытался добиться славы и богатства собственными силами. Однажды он даже снарядил корабли и отправился завоевывать далекую Испанию с целью основать там новое королевство, но вынужден был искать спасения в бегстве. В другой раз он едва не погиб во время кораблекрушения в открытом море. Потом норманнам взбрела в голову нелепая мысль сделать Роберта императором Константинополя. Из этой затеи тоже ничего не вышло, так как греки своевременно узнали о фантастическом предприятии и стали особенно тщательно охранять свои границы. Пробравшийся в византийские пределы в одежде странника, граф Роберт возвратился домой с пустыми руками. Однако благодаря удачной женитьбе он вскоре получил все то, чего напрасно добивался с оружием в руках. Когда в битве с фризами погиб голландский герцог, оставив после себя молодую жену с малолетними детьми, Роберт предложил ей свое покровительство и женился на ней. Таким образом он прочно обосновался во владениях супруги. Мало того, когда умер его брат, Роберт вторгся во Фландрию, и Гита снова услышала лязг оружия. Во главе своих храбрых воинов пылкий граф занял почти всю страну, так как его поддерживал фламандский народ, уже почувствовавший в себе силу и недовольный притеснениями вдовы скромника Балдуина. Графиня Рихильда искала союзников в соседних странах. К ней поспешил французский король Филипп, который вовремя вспомнил, что фландрский граф был когда-то его опекуном. Фландрия соблазняла Филиппа своим богатством. Ее население отличалось похвальным трудолюбием. При короле находился и небезызвестный граф Евстахий Булонский, готовый принять участие в любом походе, если можно было поживиться добычей. Рихильда с восторгом приняла французскую поддержку. К ней примкнули также некоторые валлонские города, в том числе Валансьен, Камбре, Монс, Обиньи. Однако воинственные фризы Роберта, еще сохранившие языческие нравы, смело выступили против союзников. Рыцари боялись их как огня. Кроме того, на сторону Роберта стали жители Брюгге, Гента и Ипра — богатых и свободолюбивых городов.

Оба войска встретились на широкой равнине под замком Кессель, и фризы, поддержанные фламандцами, разгромили французских рыцарей. Король Филипп и его епископы, явившиеся обращать язычников в христианство, едва спаслись в постыдном бегстве. К неопишуемой радости фламандцев, сама Рихильда оказалась в плену, хотя ее вскоре обменяли на самого Роберта, тоже попавшего из-за своего безрассудства в плен к Евстахию Булонскому. Однако Филипп почел, что виновниками освобождения его врага являются жители Сент-Омера, где в это время проживала Гита с теткой, и вследствие измены кастеляна захватил город и потом сжег его дотла. Тогда-то английские беглянки и принуждены были переселиться в Брюгге. Им казалось, что уже нигде на земле нет для них покоя. Тогда же они узнали от Филиппа о существовании его тетки Елизаветы и перебрались в Данию.

Прибыв в Киев, Гита увидела еще более прекрасные храмы и дворцы, полные всякого богатства. Отсюда нужно было ехать в город Чернигов, где был господином Владимир. Отправились туда не в ладьях, а сухопутной дорогой. Молодая княгиня ехала на повозке, запряженной грудастым конем с возницей на его сильном хребте, а влюбленный муж гарцевал то справа, то слева от колесницы, на которой сидела, зарывшись в мягкие подушки, красивая чужестранка. Он тоже пришелся ей по душе, видный воин в красном плаще из

греческой материи, верхом на горячем коне. Он носил на бедре меч, богато украшенный серебром и вызывающий уважение у всякой нежной женщины. Князь радостно улыбался ей.

Дорога проходила по бесконечной равнине, по берегам полноводных рек, порой углубляясь в прохладные рощи, где пели на огромных деревьях птицы и прыгали с ветки на ветку легкие белки. Но все здесь было иное, чем в Англии или в Сент-Омере, а вместо овец на вересковых холмах на этих обширных полях паслись табуны полудиких коней. Гита видела, как большие конские косяки, в сто голов и более, вдруг снимались с места и мчались — с грохотом и развевающимися гривами, следуя за своим чем-то встревоженным жожаком. За табуном скакали с длинными копьями в руках конюхи и кричали на непонятном языке, и в этих картинах было много мужественной красоты. Молодая женщина заметила, что в подобных случаях даже приветливый Владимир переставал улыбаться, как бы забывая о ней, и с непонятной при его молодости заботой смотрел вслед пронесившимся, как буря, лошадям, а порой даже останавливал обоз, призывал конюхов и озабоченно обсуждал с ними хозяйственные дела. По его приказанию к нему приводили бесившихся от непривычной неволи и еще дрожавших от свободного бега жеребцов, ловко пойманных арканом, Гита не раз наблюдала, как брошенная длинная веревка летела в сторону табуна, развевалась в воздухе, и вдруг один из коней приседал на задние ноги, когда петля обхватывала ему шею. Он тревожно ржал, как бы призывая на помощь товарищей, но лошади уносились вдаль, тяжело ударяя копытами о землю. Одна из сопровождавших Гиту монахинь была родом с Поморья, знала саксонский и славянский языки и объяснила ей, что эти кони принадлежат князю Владимиру, и молодая княгиня уже начинала смотреть на табуны и на все, что ее окружало, как на свое собственное достояние. Однако она еще страшилась наступления темноты, когда ей приходилось оставаться наедине с мужем, и сердце у нее начинало биться, как птичка в силках.

Гита приехала к Мономаху богобоязненной девицей, опускавшей глаза перед мужскими взглядами. Уже через год многие знатные женщины, приехавшие с нею из Дании, покинули ее. Одни вернулись в свою страну, другие поспешили выйти замуж за русских бояр, переехали к мужьям в отдаленные города, и семнадцатилетняя женщина стала считать молодого мужа единственным своим защитником в этом чуждом ей мире. Больше не с кем было поделиться своими мыслями и воспоминаниями. Она привязалась к Владимиру, не хотела расстаться с ним ни на один час и обливалась слезами, как ребенок, если он вынужден был уехать на продолжительное время. Мономах тоже не любил покидать жену и стал брать ее с собой во все поездки и на ловы.

Гита присутствовала однажды на одной из таких шумных охот. Отроки окружили на лесной поляне оленю с детенышем. Сначала был убит стрелой олененок, и мать заревела на весь лес страшным голосом, жалея свое отродье и уже предчувствуя собственную гибель. Маленький звереныш лежал с полузакрытыми глазами, далеко вытянув шею, на траве, обгаренной его кровью, и тонкие ноги еще вздрагивали. В это мгновение из чащи вырвался огромный самец и, выставив вперед страшные ветвистые рога, устремился на молодого князя, беспечно сидевшего на коне посреди поляны. Никто не успел предупредить молниеносный удар. Гита в этот час находилась рядом с супругом на своей серой кобылице и видела, как напряглось лицо Владимира. Но острые, как нож, рога уже раскроили брюхо княжескому коню, и жеребец рухнул на землю, придавив тяжело своей тушей всадника, не успевшего соскочить с седла. Гита вскрикнула, кое-как свалилась с коня и бросилась к мужу, как будто бы она могла защитить его своими слабыми руками от смертельной опасности. Зарезанный конь пытался поднять голову и снова ронял на траву, из брюха клубками вываливались дымящиеся внутренности, а олень уже готовился забодать князя, беспомощно упиравшегося руками о землю, однако в это мгновение Дубец поразил оленя копьем...

У Гиты было немало переживаний за эти страшные годы, она потеряла близких людей, видела войну и горящие города, спасалась от неумолимых врагов, но эта смертельная угроза любимому человеку перевернула ей всю душу. Она вдруг проснулась от девического сна,

постигла, что человеческое существование бренно, висит на волоске и что нельзя не любить эту земную жизнь, где столько крови и страданий, как самое драгоценное сокровище.

В ту ночь был зачат Мстислав, которого она назвала в память о своем благородном отце Гарольдом.

7

Побуждаемый желанием поклониться гробнице Гиты, Мономах ехал по черниговской дороге в Переяславль.

В последний раз блудливо взмахнув пушистым хвостом, лисица исчезла в снежном поле. Злат посмотрел еще несколько мгновений в ту сторону, где она скрылась, потом вернулся на дорогу и догнал спутников. Меха можно было бы выгодно продать на торгу любому греческому гостю, но голубые глаза молодого отрока беззаботно смотрели на мир даже тогда, когда его постигала неудача. Он поравнялся с Дубцом и сказал, блеснув зубами:

— Ушла! Значит, ей судьба — жить.

Илья тоже отнесся к этой охотничьей неудаче своего любимца равнодушно. Разве не приходилось ему упускать не только зверя на ловах, но и врагов в сражениях? Не всегда бывает у человека счастье. Порой они брали с князем тысячи половецких веж, а иногда возвращались с пустыми руками. Но не тот воин, кто радостно ржет в час победы, а переносящий с твердостью все испытания.

Илья Дубец был не молод, но крепок еще во всех членах своего тела. На порозовевшем от мороза лице виднелись белые шрамы — следы сабельных ударов, морщины бороздили его низкий лоб, седые нити серебрились в бороде, над зоркими глазами нависли косматые брови. От правого уха половецкая сабля отрубила половину, и самолюбивый воин старательно прикрывал свое увечье шапкой, чтобы не быть осмеянным глупыми отроками. Зимой он носил белый овчинный полушубок, крепко подпоясанный по животу тонким ремнем с золотыми украшениями, и на бедре у старого дружинника висел прямой русский меч в кожаных ножнах с медным наконечником.

Род Дубца был из Курска, жил в безопасности за лесами и болотами. Но предприимчивых курян манили плодородные земли, пропадавшие втуне за Сулой и Ворсклой, за серебряной речкой Орелью. О тамошних урожаях они слышали от странников. Туда влекла людей свобода. Казалось, что там нет ни бояр, ни лихоимцев, что можно начать жизнь сначала, глубоко взрезать черную землю железным оралом и собирать обильные жатвы.

Переселенцы выбрали место подальше от торговой дороги, по которой издревле ездили купцы за солью и проходило много пеших и конных путников. Новоселы построили прочные хижины, вырыли яму для хранения зерна, и тихая доселе местность огласилась курскими песнями. Левый берег реки был низменный, кое-где болотистый, правый покрыт дубравами. Здесь росло всякое дерево. Дубы и клены, липа и рябина. Из роц в реку изливались многочисленные говорливые ручьи. Но однажды и здесь появились княжеские отроки, охотившиеся на вепрей. Переяславский князь, одетый как простой охотник, выискивая броды и тропы, потом велел рубить на высоком берегу острог. Его звали Мономах. В те годы это был молодой и деятельный правитель. На реке Клязьме он заложил Владимир, на Десне — Остер, на Суле и на Удае рубил Ромны, Песочен, Прилук и Горошин, укрепил их валами и бревенчатыми башнями. Он также воздвиг несколько каменных церквей и украсил их стены живописью, одарил золотыми и серебряными церковными сосудами. Значительно позднее он

велел соорудить над гробами Бориса и Глеба в Вышгороде великолепный серебряный терем, которым любовались восхищенные чужестранцы, говорившие, что не видели ничего подобного ни в какой другой стране, а на Днепре, против того же города, построил деревянный мост, чего никогда не было на Руси.

Люди охотно рубили остроги и насыпали валы, потому что эти бревенчатые стены и насыпи служили убежищем от половцев, неожиданно приходивших из степей. Но как только в здешних местах вырос городок, присланные на заставу дружинники выпросили у князя окрестные земли и привели сюда своих холопов, а сам он поселил в остроге ляхских пленников.

Многочисленная семья Ильи жила в нескольких землянках. Отец был молчалив, как зимний лес, мать голосиста, братья трудились, сестры пряли волну. Но в один печальный день за рекой, над дальними дубравами, поднялся столб черного дыма, и вдруг стало тревожно в воздухе, как перед грозой. Люди спрашивали друг друга, какая ведь горит или какой острог, а половцы уже мчались, размахивая саблями, через поле и убивали всех осмелившихся поднять против них рожон. Как пук соломы, вспыхнул зажженный амбар, поникли печально вытопанные нивы. Кто успел, тот спасся в дубраве или в соседнем болоте, унося с собой все, что попало под руку, — секиру или корчагу с пшеницей, а некоторые убежали в Желань. С его валов полетели стрелы в проклятых врагов. Половцы грозили христианам саблями, сверкавшими на солнце, как молнии, но уже не могли повредить жителям.

Немало земледельцев погибло тогда на полях. Илья был на ниве, и к нему пришла Света с младенцем, чтобы отец мог посмотреть на него; принесла кувшин с солодом. Так их застигли половцы и ударами бичей, угрожая острыми копьями и стрелами, погнали на другую сторону реки, уже не очень полноводной в летнее время. Когда злодеи взяли все, что могли, сотворили над христианами всяческое насилие, они снова ушли в степи, спасаясь от русской конницы, уже вышедшей из городов на дымы пожаров, а затем скрылись бесследно в ночном мраке, гоня перед собою, как скот, пленников. Вскоре все становище двинулось в кибитках, запряженных верблюдами, в сторону Сурожского моря.

Дубец нес на руках младенца в лохмотьях рубахи, изорванной во время борьбы, а рядом, обливаясь слезами, брела Света. У нее не стало больше молока в сосцах, и ребенок посинел от натуги и на второй день закатил глаза, как неживой. Но никто не обращал внимания на их горе. Рядом шли сотни других пленников и пленниц. Половцы бросали на землю невинных девушек, а непокорных убивали. Остальных повели в город Судак, где было торжище для невольников. Там агаряне, фрязины и жидовины покупали пленников, заковывали в цепи и везли на кораблях в Царьград, где благочестивые цари брали с каждого раба и рабыни пошлину и обогащались на несчастье христиан. В Большом дворце требовалось много золота, чтобы платить ругу царедворцам и евнухам, а иноземным купцам за шелковые серские ткани, шумевшие на греческих красавицах, как листья на деревьях, когда в садах веет утренний ветерок.

Из немногих слов, прерываемых плачем и стенаниями, пленники узнавали друг о друге печальные подробности. Спасения для них не было. Половцы жгли остроги, дружина князя Святополка легла под саблями другой половецкой орды, и молодой княжич Ростислав утонул во время бегства в Стугне. Где же был Мономах, надежда всех христиан? Но и он потерпел поражение и ушел в Чернигов. Половцы после этого безнаказанно разоряли русские области, и во всей Переяславской земле слышался только грай воронов.

По степному бездорожью, прямо через бескрайние степи, оставляя на земле глубокие борозды от колес, половецкие кибитки поспешно двигались к морю. Обессиленные голодом, изнемогая от жажды, рая босые ноги о тернии и камни, пленники окончательно выбились из сил. Но если несчастные останавливались или ложились на землю, к ним подъезжал злобный страж и бичом заставлял подняться и идти вместе с другими. Пощады не было никому.

Иногда, видя, что человек совсем выбился из сил, его убивали ударом копья, чтобы он, отдохнув и придя в себя, не взял потом в руки оружие. Однако в расчетах хана было доставить на невольничий рынок возможно большее количество рабов, и поэтому орда останавливалась на краткие ночлеги, когда над степью зажигались мириады звезд, и пленникам даже давали немного пищи, чтобы они не перемерли в пути.

В толпе, растянувшейся на целое поприще, плелся монах, как можно было судить по его черному одеянию, превратившемуся в жалкое рубище и поэтому оставленное ему как малособлазнительная добыча. Он сокрушался:

— Лукавые агаряне пожгли наш монастырь и все истребили огнем. Что теперь ждет нас в неведомой стране? Одних они избили мечом, других губят голодом, а третьих ведут в неволю. И вот мы терпим удары бичей, трепещем, взирая на страдания близких, и ожидаем худшего. Горе нам! Но это — кара христианам за прегрешения!

Его слушали с опущенными головами, не зная, что возразить на эти укоры. Дубец заскрежетал зубами:

— Нет греха в том, что я ниву орал. На поле меня взяли половцы.

— Значит, родители твои согрешили против бога.

— И отцы наши трудились в поте лица.

В затруднении, чем же объяснить гнев божий, обрушившийся на людей, монах спросил:

— Ты из какой веси?

Дубец, озиравшийся, как волк, по сторонам в надежде найти лазейку для бегства, ответил:

— Из Дубницы.

— А я из Переволока.

Света взяла из рук мужа несчастное дитя и с нежностью прижала его к персям.

Монах жалобно причитал:

— В наказание послал бог нам эти испытания. Увы, опустели наши города, а поля заросли волчцами и стали обиталищем для диких зверей...

С неумолчным скрипом колес огромные кибитки, покрытые шкурами для защиты от дождя и холода, продолжали уходить на юг. Между двумя рядами этих неуклюжих возов шли толпы пленников. Монах и Света едва поспевали за другими. Женщина снова отдала ребенка мужу. В некотором отдалении, чтобы лучше наблюдать за пленными, ехал кривоногий половец в косматой лисьей шапке. За ременным поясом у него торчал нож, сбоку болталась сабля, в руке он сжимал копье. Нож служил ему, чтобы резать баранов, разделять пищу, приканчивать раненого врага, а оружие заменяло орало и серп, которыми хлебопашец добывает себе пропитание. Как злая оса отнимает у трудолюбивой пчелы мед, так и эти насильники разоряли поселян, чтобы кормиться за их счет. На лице у всадника невозможно было найти отблеск каких-нибудь человеческих чувств. Его занимало только, какая часть достанется ему при дележе добычи. Бесконечные степные пространства приучили кочевника с завидной невозмутимостью взирать на перемены судьбы. Сияющие испокон веков на ночном небе звезды говорили ему, что жизнь людей — лишь краткое переживание, и он чувствовал себя песчинкой во вселенной. Сегодня он гнал рабов на невольничий рынок, а завтра, может быть, сам будет рабом или лежать в степном бурьяне с разрубленной головой. Но хан Урусоба был требовательным к своим воинам и высматривал прищуренными глазами, не идет ли с севера

погоня. Но не было никакого движения там, где небо сходилось с землей. Не затрудняя себя мечтаниями о невозможном, половец затаил унылую песню:

Конь в поле бежи-и-ит...

Еще конь в поле бежи-и-ит, У Зурунгая будет много добра-а-а-а...

У Зурунгая будет много же-е-ен...

Бредя рядом с мужем, Света почувствовала, что дитя ее уже не живет. Маленькая душа взлетела теплым дыханием на небеса. Илья молча отдал ей трупик. Прижимая к груди самое дорогое, что у нее было на земле, молодая мать опустилась на траву и завывала, как воеет раненый зверь, устремляя взоры к бесчувственному небу. Оттуда не приходило ни помощи, ни утешения. Дубец стоял над женой, опустив руки. Равнодушно двигались люди, измученные до предела, подгоняемые гортанными окриками сторожевых всадников. Позади нагие трупы отмечали длинный пройденный путь. Половец с копьем в руках, уже проехавший вперед вернулся, увидев, что одна из женщин упала на землю и около нее остановился пленник. Всадник кричал им что-то на непонятном языке, но Дубец, даже не оглянувшись на него, говорил Свете:

— Гибель наша пришла...

Половец тронул женщину острием копья, чтобы она поднялась и не отставала от других. Мимо проезжали повозки, покачиваясь на буграх, как на морских волнах. Их влекли неумолимые верблюды, надменно задирая большегубые морды. Дубец окинул взором все, что было перед ним, и вдруг, обезумев от горя, ухватился за древко копья. Не ожидавший сопротивления кочевник выпустил оружие из рук. Но тут же с хриплым воплем обнажил саблю и замахнулся на пленника. Однако конь не полез на выставленное вперед копье, а Дубец, уже позабыв обо всем на свете, кроме своей ярости, пытался заколоть всадника. Половец призывно завывал по-волчьи, и на этот дикий вой уже скакали другие стражи, избивая бичами попавшихся на пути пленников, не разбирая дороги. Среди уводимых в рабство началось смятение, и уже некоторые из половцев вынимали луки из колчанов, готовые поражать стрелами тех, кто, воспользовавшись переполохом, попытался бы бежать.

Участь пленника решали немногие мгновения. На Дубца наскочило несколько всадников. Света, убедившись, что ей уже не воскресить сына, выла и билась головой о землю. Все погасло для нее в мире. Но среди прискакавших к месту происшествия оказался сам хан Урусоба. Дело касалось его добычи, а орос метался около своей женщины с копьем в руках, и ни один воин не мог ударить его саблей. Впрочем, жаль было бы убивать такого смелого и сильного человека. Хан уже успел разглядеть железные мышцы, выпиравшие из лохмотьев некогда белой рубахи, разорванной до такой степени, что никто не пожелал завладеть ею. Урусоба даже определил мысленно цену, какую можно будет назначить за этого раба. Молодая женщина тоже показалась ему красивой. Правда, она испачкалась в прахе, и солнце обожгло ее нежную красоту. Хы! Если умыть пленницу кобыльим молоком, то ее лицо снова станет приятным для зрения, а кожа сладостной для прикосновений.

Чтобы заслужить похвалу предводителя, один из всадников ловким рывком повода заставил коня очутиться за спиной ороса и уже занес над его головой клинок, как Урусоба остановил его голосом, которому нельзя было не повиноваться:

— Зурунгай!

Воин понял, что надо опустить саблю. Другие тоже посмотрели на хана с удивлением. Урусоба вытянул руку в сторону пленника и, шевеля пальцами, приказал:

— Не убивать его!

Воины, тяжело дыша, остановились.

— Выбейте у него копье из рук и свяжите этого быка! К чему терять такого невольника...

Всадники, сообразив, чего хочет от них хан, в мгновение ока спрыгнули с коней и набросились скопом на ороса. Хан лучше знает, что нужно делать. Рискуя собственной жизнью, они повалили Дубца на землю, хотя один из половцев уже сидел на траве и держался рукой за бок, куда угодило копье пленника. Но это был старый и неловкий воин, никогда не отличавшийся в бою, и Урусоба не жалел его. Пленник же не сопротивлялся больше. Силы у этого человека напряглись только на короткое время и снова оставили его. Ему скрутили руки за спину и крепко связали ремнем.

Раненый воин глухо стонал. Но Урусоба безучастно смотрел на то, что происходило перед ним. Он был невысок ростом, тучен, но силен, как зубр. На подбородке у него едва пробивалась редкая рыжая борода. В узких глазах поблескивал холодок стали. Они не смягчились и тогда, когда один из половцев схватил мертвого младенца и швырнул его, точно дохлую собаку, в чертополох. Мать кинулась за ним со страшным женским криком, но ее схватили за руки. Света вырывалась, рубашка ее разорвалась на плече.

Хан увидел молодое женское тело и, шевеля губами, мысленно вкусил его прелесть. Он сказал:

— Зурунгай! И еще кто-нибудь!

Все лица повернулись к хану.

— Отведите пленницу к моим повозкам. Пусть рабыни накормят ее вареным рисом и стерегут как зеницу ока. Когда наступит ночь, они приведут эту женщину ко мне, и она разделит со мной ложе. И никто не должен прикасаться к ней до меня.

Двое половцев со смехом поволокли упирившуюся пленницу к кибиткам, снова тронувшимся в путь. Она рвалась то к мужу, то туда, где лежал непогребенным, брошенный на растерзание коршунам и степным волкам, трупик ее сына. Видя это, Дубец заметался в припадке нечеловеческого гнева, пытался ударить мучителей головой, бросался на землю и грыз зубами их сапоги...

Урусоба смотрел на такую ярость с неодобрением.

— Орос... Худо, худо... Голова нет — не добро... — старался он объяснить пленнику на ломаном русском языке, что сопротивление бесполезно. В детстве хан провел некоторое время в Переяславле в качестве заложника и немного знал язык своих врагов. Он считал, что нет причины так возмущаться своей участью. Судьба одного человека — стать рабом, другого — наслаждаться свободой и властью. Кто знает, что завтра случится с ним самим? Придет Мономах, убьет его, захватит вежи и заставит ханских жен молотить русскую пшеницу на ручных жерновах.

Пленнику еще крепче связали руки и стали бить кулаками по голове до тех пор, пока он не впал в беспамятство.

— Довольно! — приказал Урусоба.

Воины оставили свою жертву в покое, но Зурунгаю хотелось перерезать горло русскому псу, осмелившемуся вырвать у него оружие из рук и осрамившему его перед товарищами. Но хан сказал, чтобы пленник жил, а слово Урусобы — закон в степи.

Дубца бросили на повозку, и как во сне он слышал милый голос Светы, призывавшей издали мужа, и скрип огромных колес кибитки, тяжело закачавшейся по ухабам.

Задремав, Мономах не заметил лисы, вызвавшей столько разговоров у молодых отроков, но появление оленей заставило его горько вздохнуть. Вожак стада, матерый олень с горделиво закинутыми на спину рогами, весь в облаке пара, был бы завидной добычей для любого ловца. Он напомнил князю молодость. Несколько дружинников бросились в охотничьем пылу за зверем, но тотчас сдержали скакунов, вспомнив о благочестивой цели путешествия: им сказали, что Владимир Всеволодович едет в Переяславль помолиться в семейной усыпальнице. Кони вздыбились и, мученически поводя глазами, скрежетали железом удил.

Дубец подъехал ближе к княжеским саням и, склоняясь с седла, спросил почтительно:

— Видел, княже, оленя? Рогаст!

Мономах ответил ему печальной стариковской улыбкой:

— Некогда и я трудился, делая ловы, и не щадил своей жизни. А помнишь, как ты меня от гибели спас? Такой же красоты был олень. Думал я тогда, что пришла смерть. Но бог сохранил меня невредимым.

Дубец ехал рядом с санями и слушал речь князя. Дружинник знал, старик не лжет. Все князья на одну мерку сделаны, помышляют только о своей выгоде, и Илья уже убедился давно в этом, но это была правда, что Мономах не берег себя ни на ловах, ни на войне.

Мономах грустно улыбался. Он вспоминал эти полные волнения охоты, дальние пути во все времена года, когда в оврагах звенели весенние ручьи, или пахло речной водой в туманное утро, или мешались в поле сладкие запахи земляники, полыни и жита, или опавшая листва шумела под ногами, или дубы стояли в инее, как теперь. Переменами была полна вся его жизнь. К началу половецких набегов на Руси у него едва пробивался пушок на верхней губе. Больше склонный к чтению книг, чем к битвам, отец его, князь Всеволод, сын Ярослава, поопасался оставаться при таких обстоятельствах в Переяславле и ушел искать убежища в Курск, а сына послал в Ростов. В этот город Владимиру пришлось ехать через дремучие леса, пробиваться с оружием в руках сквозь толпы вятичей, исподлобья смотревших на княжеского священника. Ему тогда исполнилось пятнадцать лет. Затем его послали в Смоленск. Оттуда он пошел в Туров, и было много других путей, ловов, сборов дани на погостах. Даже когда из далекой страны приехала Гита, он провел с ней некоторое время и опять надел рубаху из домотканой холстины, какие носят простые звероловы, напялил на голову старую отцовскую шапку и вскочил на коня. Молодая княгиня смотрела на него из оконца с таким горестным удивлением в глазах, точно не понимала, как можно покинуть ее ради очередной охоты. Потом не выдержала, сбегала по лестнице и кинулась к мужу, обняла его за бедра, уцепилась за позолоченное стремя, припала горячей щекой к его руке. С тех пор он стал брать жену во все поездки, и Гита сопровождала его верхом на смирной кобылице, летом в легкой одежде, а зимой в теплой шубке на бобровом меху, счастливая и раздумывавшаяся на морозном воздухе.

Однако вскоре Мономаху пришлось надолго покинуть молодую супругу, хотя она уже зачала в чреве. Это произошло в те дни, когда он ходил вместе с князем Олегом Святославичем в дальний поход, в Чешский лес, где впервые увидел горную красоту, водопады и западных епископов. Отправляя сына и племянника в поход, Святослав, сидевший тогда на великокняжеском столе, хотел помочь ляхам против кесаря, с которым был в союзе чешский князь Вратислав, но чехи послали своего воеводу Лопату к ляшскому князю, уплатили тысячу гривен дани и заключили с ним мир, не считаясь с юными русскими князьями.

Владимир был наделен княжеской гордыней. Он сказал польскому епископу, присланному для переговоров:

— Вы нас позвали против кесаря, и мы пришли сюда, чтобы помочь вам в справедливом деле. А ныне вы помирились с Вратиславом, который держит его руку. Пусть будет на это ваша воля. Однако мы не можем без мира возвратиться на Русь и будем искать чести, вы же идите на пруссов и поморян, а у нас с ними нет никакой вражды.

Русские князья дошли до города Глогова, и Вратислав поспешил уплатить Владимиру тысячу гривен и дал ему многие дары, выслав для переговоров о мире своего брата, который тоже оказался епископом, а также вельмож. Мир был заключен. Поляки потерпели тогда поражение от поморян.

Сколько других событий произошло за те годы! Князь Святослав вскоре умер, а Изяслав скитался где-то с сыном Ярополком по чужим странам, выпрашивая помощь то у кесаря, то у римского папы. Потом они вернулись оба в Киев. Рассудительный Всеволод уступил брату киевский стол, принадлежавший ему по старшинству, а сам ушел в Чернигов, посадив Владимира в Переяславле. Когда Изяслав изгнал Олега Святославича из Волынской земли, обиженный князь прибежал в Чернигов, и Мономах, гостивший тогда у возлюбленного отца, угощал Олега на Пасху богатым обедом. В те дни он и пил здоровье Гиты.

Но Олег начал вместе с братом Романом борьбу за отцовское наследие и за права на Киев. Он опять получил Волынь, однако остался недоволен своим уделом и ушел в Тмутаракань. Этот дальний город всегда манил к себе всякого рода бродяг, беспокойных людей, обиженных дружинников и даже простых смердов, измученных притеснениями бояр. Рыская серым волком в широких туманных полях, Олег пробрался с братом Романом на берег моря и сел в Тмутаракани. Тогда в Новгороде правил Святополк Изяславич, другой сын Изяслава сидел в Вышгороде, а Владимир — в Смоленске.

Мономах находился в Смоленске, когда Олег и Роман явились из Тмутаракани и привели на Русь половцев, пытаясь захватить отцовский город Чернигов. Всеволод вышел против них в поле, но потерпел страшное поражение на реке Сожице и едва успел с остатками дружины спастись в Киев, к Изяславу. В этой битве многие тогда пали, кого хорошо знал Владимир: Иван Жирославич и Тука, брат Чудина, и Порей, и другие. Случилось это в месяце августе, в 25-й день, в 1078 году.

Изяслав утешал Всеволода:

— Не печалься, брат! Разве не знаешь, сколько бедствий и мне пришлось принять на своем веку от злых людей? Разве меня не изгнали из моего города? Разве чернь не разграбила мои дома? Потом снова я ушел в изгнание. А чем я провинился пред братьями? Не тужи. Если суждено нам иметь удел в Русской земле, то оба будем княжить. Я голову свою положу за тебя.

Всеволод слушал, хмурясь и стыдясь прошлого. На сердце у него было тяжело. Изяслав стал собирать воинов, чтобы восстановить порядок на Руси, и двинулся с сыном Ярополком и Всеволодом, с которым пошел и Владимир, к Чернигову. Однако черниговцы не захотели нарушить верность Святославичам, которых помнили еще младенцами, и затворились в городе, не желая открыть ворота Изяславу. Четыре князя подступили к стенам. Владимиру пришлось действовать против Восточных ворот, со стороны реки Стрижени. Он захватил внешний город и пожег его. Черниговцы бежали во внутренний острог...

Сани сильно встряхнуло. Дорога теперь снова шла лесом, и с обеих сторон опять плыли и как бы медленно кружились в зимней мгле украшенные инеем деревья. Еще одна сорока пролетела над головой. На снегу можно было рассмотреть легкие заячьи следы...

Как ничтожны человеческие помыслы и стремления! Безрассудный Олег забыл, что гордыня плохой советчик, и пошел против четырех князей. Полки встретились на Нежатиной ниве. Изяслав стоял с пехотинцами. Вдруг какой-то неизвестный воин подъехал к князю сзади и ударил его копьем между плеч. Так был убит Изяслав, сын Ярослава. Олег был разбит, с небольшой дружиной искал спасения в бегстве и под прикрытием ночной темноты опять ускакал в Тмутаракань. Когда же битва кончилась, киевские дружинники взяли тело Изяслава и повезли его в ладье в Городец. Навстречу им вышли из Киева все люди и, положив усопшего князя на сани, повезли его под пение псалмов в свой город. Ярополк шел за гробом отца и горько плакал:

— Отче мой! Сколько ты горя принял от братьев! И вот за других сложил свою голову...

Молодой князь говорил так, чтобы все слышали его. Это был камень в огород Всеволода. Тот вздыхал, поднимая очи к небесам. Они все готовы были перерезать друг другу горло из-за городов и прочего богатства.

Тело Изяслава положили в мраморной гробнице. Владимир вспомнил, какой красивый человек погиб тогда, не хитрец и простой умом.

Владимир стал перебирать в памяти все, что случилось потом на Руси и как они поделили города. Отец сел на великокняжеском столе в Киеве, а ему отдал Чернигов. Волынь досталась племяннику Всеволода Ярополку Изяславичу. В Новгород послали другого сына покойного Изяслава — Святополка. В Переяславле посадили Ростислава, сводного брата Владимира. Этот город оберегал пути на Русь со стороны половецких степей, а Ростислав, по матери сам наполовину половец, был легок на подъем, вспыльчив, смешлив, любил не священные книги, а серебряное оружие. На другой же год, подстрекаемые Романом из Тмутаракани, половцы появились у города Воиня. На этот раз мир удалось купить подарками, без пролития крови. О примирении говорили, не слезая с коней, в беспокойстве мотавших головами, бивших копытами о землю, хлеставших бока хвостами, чтобы прогнать назойливых оводов. Потом перед ханами отроки разложили греческие ткани и шелковые покрывала для их жен, соболя, серебряные сосуды и другие дары. Владимир видел, как у степных обитателей загорелись глаза при виде такой роскоши. Они соскочили один за другим с лошадей, сели на землю, разулись и стали примерять зеленые и желтые сапоги, топя каблуками, чтобы нога лучше влезала в тесную обувь, снова снимали их и мяли кожу пальцами, испытывая ее добротность. Босые, с не мытыми от рождения ногами, они казались добродушными коневодами. Но отец предупреждал Владимира, чтобы он опасался коварства с их стороны. Улыбаясь, пощипывая только что отросшие усы, княжич зорко наблюдал за всем из-под надвинутой на глаза шапки.

В подобных случаях объяснялись обычно с помощью толмача, помогая себе жестами. Если проводили указательным перстом по шее, то это означало, что человек должен умереть, а когда совали большой палец в широко раскрытый рот, то показывали, что хотят вина. Счет тоже вели на пальцах или сжимая и разжимая пятерни. Впрочем, некоторые половцы знали русский язык, а князья научились нужным половецким словам, и во время переговоров все отлично понимали друг друга. Всеволод учил сына:

— Когда будешь иметь дело с половцами, помни, что выгоднее сделать им подарки, чем проливать кровь. Она дороже всякого золота.

Перед Владимиром вставали детские дни. Мать была греческая царица из рода Мономахов. Около нее вечно шептались царские патрикии, константинопольские монахи, евнухи. Теплые материнские горницы наполнял запах лекарственных трав и курений, вдоль стен, на скамьях, обитых красным сукном, сидели с постными лицами черноглазые женщины, на аналоях лежали с большим искусством переписанные книги в парче и серебре. Отец часто беседовал с митрополитом на греческом языке. Владимира тоже учили читать по-гречески. Но он уже в

детстве предпочитал дубраву душным палатам, любил ловить со сверстниками сетью скворцов, и только позднее книга раскрыла перед ним свой волнующий мир, полный видений и печальных мыслей...

Самый толстый хан остался очень доволен сапогами и прочими подарками — серебряной чашей, золотым ожерельем для любимой тоненькой жены, серским шелком для ее одежды. Его глаза поблескивали от удовольствия. Бедняге не приходило в голову, что, может быть, не успеет он сносить этих сапог, как его любимица станет пленницей и будет ласкать русского воина.

Никто не знал, о чем тихо переговаривался княжич с ханами, что-то показывал им на пальцах. Но половцы снова ушли в степи. Владимир пристально смотрел вслед удалявшимся всадникам, может быть размышляя о том, в точности ли он исполнил отцовское поручение.

Как разнообразен мир! Каждое племя живет по своим законам и обычаям. На берегу синего моря стоят греческие каменные города, корабли плавают по морским волнам, в русских селах привычно пахнет дымком, а для половца ничего нет лучше, чем кочевая жизнь, перемена мест, кислый напиток, приготовленный из кобыльего молока.

Над степью опускались сумерки. Скрипучие половецкие возы скрылись в ночном мраке. Сильнее запахло полынью.

В далеких полях скитался со своей немногочисленной дружиной князь Роман, красавец и беспутный человек. Но скоро пришла весть, что его убили половцы, а труп бросили в диком месте, на добычу зверям, и кости его лежат там и до сего дня. За смерть брата поклялся отомстить Олег, усмотревший в этом злодеянии руку Всеволода. Он сеял по Русской земле не пшеницу, не книжные слова, а стрелы и в любой час мог привести на Русь половцев. Это был бродяга, не сумевший найти для себя прочное пристанище; князь переходил из одного удела в другой, считая себя несправедливо обиженным при дележе городов, и не понимал, что таким, как он, не стоять во главе государства, потому что нет у него ничего, кроме дерзкой отваги, — ни дальновидности, ни ума, ни мудрого свойства прощать и ждать.

Мономах вздохнул. Видят небеса, он любил Олега, словно брата, хоть тот и не спускал глаз с Гиты, когда сидел за пасхальным обедом в Переяславле. Однако не всегда на земле Пасха.

9

В то трудное время, когда на Русь часто приходили половцы, Злата еще не было на свете. Он родился в более счастливые годы. На земле стояла тишина. Редкое счастье улыбнулось Злату. Сын простого смерда, гусяр иногда сидел за княжеским столом, потому что судьба наделила его звучным голосом, умением слагать песни и играть на гусях. Опьяневшим от меда князьям хотелось послушать, как славят их предков или как им самим воздают похвалу, хотя многие порой бегали с поля. Но таковы перемены воинского счастья, игра случая. Неожиданно налететь в конном строю, клином или в два крыла, и рубить сплеча, а если постигнет неудача, повернуть коней и спастись, чтобы при более благоприятных обстоятельствах вернуться и сторицей взыскать за поражение. Злат пел славу князьям и боярам, а чашник щедро лил ему вино на пире.

— А серебряную чашу возьми себе, — говорил подчас растроганный князь, вытирая платком слезы.

Когда Мономах посадил своего сына Ярополка в Переяславле, он перевел к нему некоторых

дружинников и отроков. Среди них оказались Фома Ратиборович, Илья Дубец, Даниил и Злат. Не в пример отцу, молодой князь любил частые пиры, и в княжеских палатах часто звенели золотые струны.

Злат щелкнул плеткой по крутому боку коня, догнал Илью и поехал с ним рядом. Ему очень хотелось рассказать старому дружиннику о том, что приключилось с ним недавно, когда посадник Гордей ездил на зимний лов, но отрок не решался, зная строгий нрав боярина.

Несколько дней тому назад князь Ярополк отправился с Гордеем и некоторыми отроками в далекие урочища — поднимать медведей из берлог и собирать дань в княжеских селах. Злата тоже взяли с собой. Но Гордей забыл дома Псалтирь. А он любил показать образованному князю, что тоже читает псалмы на сон грядущий. Зная проворство Злата, боярин послал его назад в Переяславль за священной книгой. Гусяр покрепче нахлобучил обеими руками красную шапку на уши и так помчался по дороге, что только комья снега полетели из-под копыт серого в яблоках жеребца.

Старый конюх обернулся на отрока с усмешкой:

— Послал боярин козлице в огород!

Ибо всем было известно, что румяная супруга воеводы пялит на гусяра бесстыжие глаза.

Это случилось на утренней заре, уже во многих поприщах от Переяславля, но, по расчету Гордея, гусяр должен был догнать обоз и доставить ему книгу в тот же день, к вечерне. Весело посвистывая и не утруждая себя важными мыслями, Злат то несся вскачь, то пускал коня шагом. Воздух был сладок, как мед. Легкий мороз приятно пощипывал щеки. Дорога постепенно спускалась к реке. Вот корчма, вот кузница. Вот и золотые кресты блеснули на утреннем солнце за городским валом, и столбы дыма поднялись над домами. Отрок въехал в широко раскрытые ворота, обругав мимоходом неуклюжего смерда, что вез на санях солому и посторонился, чтобы дать дорогу княжескому отроку, спешившему с ответственным поручением. Отсюда кривая улица вела на боярскую усадьбу. Злат приподнялся на стременах и заглянул через частокол. На дворе виднелись на девственном снегу следы косолапых ног и тропинки, протоптанные к погребу и медуше. Из дымниц черной избы валил розовый дым. В глубине стояли хоромы в затейливых украшениях, с оконцами из заморских разноцветных стекляшек. Боярские ворота в приземистой башне оказались не запертыми. Злат очутился на дворе и увидел, что навстречу ему идет девица с деревянными ведрами на прямом коромысле. Зеленый плат на голове, медвежья шубка на худеньких плечах, на руках, закинутых на коромысло, красные рукавицы, вышитые желтыми елочками. Только потом отрок разглядел лукавые серые глаза и рот, как бы созданный для лобзаний.

Злат спросил девушку, склоняясь с коня:

— Где боярыню мне найти?

Она подняла на него свои взоры, порозовела от смущения. Такие, как этот воин, статный, крепко подпоясанный по тулупчику узким ремнем с серебряным набором и с саблей на бедре, всегда милы женскому сердцу. Оружие в малиновых ножнах с медным наконечником. Подарок за песни и музыку от старого Ратибора, когда он еще не лежал в Иоанновом монастыре под каменной плитой. Лицо у отрока — сплошной румянец. Голубые очи и золото волос.

— Зачем тебе боярыня? — спросила девица.

— Что тебе до того, любопытная сорока? — рассмеялся Злат.

— Я не сорока.

— Меня боярин Гордей к своей жене прислал.

— Не нашел никого лучше прислать?

— Придержи язык за зубами, рабыня.

— Никогда не была рабыней.

— Чья же ты дочь?

— Кузнеца.

— Какого кузнеца?

— От Епископских ворот.

Злат сдвинул шапку на затылок.

— Знаю тебя.

— А если знаешь, зачем спрашиваешь?

— Зачем же ты на боярском дворе воду носишь, голубица?

— Нам Гордей разрешил воду брать из его колодца.

— А зовут тебя?

— Любава.

— Меня — Злат.

— Ты гусяр, на пирах играешь на гусях?

Сам не зная почему, отрок рассмеялся. Вдруг ему стало весело. Но надо было выполнять поручение. С такой сорокой можно до вечера проговорить на улице. Он еще раз склонился пониже с коня:

— Будь здорова, Любава.

— Будь здоров и ты.

Девушка направилась к воротам. Студеная вода в ведрах, крепко сбитых железными обручами, едва колебалась и не расплескивалась — так осторожно и плавно ступала Любава, мерно покачиваясь при каждом шаге тонким станом. Дойдя до ворот, она оглянулась, и сердце у нее возликовало, когда увидела, что и отрок смотрит в ее сторону, опираясь о круп серого коня, и вдруг эта скучная и малолюдная улица показалась Любаве праздничной и полной добрых людей. Она шла и всем улыбалась, в душе у нее было желание сказать каждому встречному ласковое слово.

Злат соскочил с коня и стал привязывать его к железному кольцу, ввинченному в дуб посреди двора. Злой, черный, как вепрь, пес рвался с цепи у погреба и лаял на чужого человека. На резном крыльце стоял молодой холоп в накинутом на плечи тулупчике и в веселой розовой рубахе, без шапки, с волосами как солома.

— Тебе в чем здесь нужда? — крикнул он самоуверенно отроку и выставил вперед ногу со всей дерзостью боярского раба.

— Где госпожа?

— Для чего тебе она?

Глуповатый холоп, рябой, с лицом как блин, стал смиреннее, когда Злат подошел к нему поближе. Он сказал, потыкав большим пальцем за плечо и придерживая другой рукой соскользавшую со спины шубейку:

— Госпожа на поварне.

Стряхнув снег с черных сапог, Злат вошел в незапертую дверь и очутился в холодных и полутемных сенях. Здесь хранились кади с квашеной капустой, на полу стояли горшки, валялось помело. В другом конце сеней виднелась еще одна дверь, и когда он отворил ее, из поварни приятно пахло теплом жилья, солодом, дымком. Вместе с ним в помещение ворвалось легкое облако морозного пара. Две женщины, с веселыми глазами, с красными, как вареная свекла, лицами и обе в желтых сарафанах, в белых повоях на головах, одновременно обернулись на него. Одна держала в руках пирог на полотенце, другая возилась у очага. Они прислуживали боярыне, что сидела за столом, склонив светловолосую голову на белую руку. Госпожа была в синем сарафане с серебряным позументом по подолу. Золотые пуговички бежали от шеи до земли. Две толстых косы свешивались на ее горделивую грудь, но глаза у нее были невеселые. Должно быть, от смертельной скуки она спустилась на поварню, чтобы поболтать с рабынями. Пред нею стояла на столе расписная миска с дымящейся похлебкой, но она положила ложку и вскинула на отрока радостно удивленные глаза. Злат не отходил от дверей и тоже смотрел на боярыню.

— Сними шапку, — проворчала та повариха, что держала пирог на руках, — не видишь, госпожа перед тобою.

Вторая оставила очаг, выпрямилась и подбоченилась, показывая этим, что она здесь не последняя раба.

Злат смущенно стянул колпак с головы.

— Тебе что нужно, отрок? — спросила боярыня тем певучим голосом, какой бывает у женщин, когда у них сердце начинает биться чаще.

— Я от боярина Гордея.

— Что же случилось с боярином?

В глазах госпожи не видно было тревоги.

— Боярин Псалтирь забыл. Велел привезти.

— Зачем ему Псалтирь понадобилась на лове?

Злат тоже не знал и усмехнулся:

— Должно быть, боярин Гордей о спасении души заботится.

Боярыня удивилась смелому ответу и в другое время, может быть, даже побранила бы слишком бойкого отрока, но сейчас ее всю наполняло грешное томление. Вестник был тонок в стане и молод. Невольно вспомнила чрево супруга, его унылое лицо и козлиную бороду. Жена посадника не раз слышала гусяра на пирах, голос его проникал в душу. В глазах ее мелькнул бесовский огонек. Она была белотелая и полусонная, ее взгляды напоминали тихий омут, полный опасностей для тех, кто проходил мимо. Взяв со стола кусок пирога с рыбной начинкой, боярыня откусила от него белыми зубами и, лениво пережевывая пищу и все так

же склонив голову на руку, проговорила:

— Псалтирь понадобилась супругу? Ну что же, отвезешь ему. Пусть молится мой боярин.

Злат все еще стоял у порога, в ожидании, когда ему скажут, как быть с книгой. Надо было возвращаться, чтоб успеть к тому времени, когда поют вечерню. Но госпожа не сводила с него глаз.

— Где же ныне боярин?

— С князем. На дороге к погосту. Там ночь проведут, а наутро на ловы поедем.

— Есть ли там где обогреться?

— На погосте изб много.

— На лавках спать?

— Можно мех подстелить.

— Дымно?

Злат пожал плечами:

— Дымно.

Какая-то лень, безволие овладевали отроком, когда на него смотрела эта красавица своими туманными, колдовскими глазами, точно опутывала его чарами.

Она сказала:

— Сними саблю и подкрепись едой.

— Ехать надо, боярыня, — пытался защищаться он от наваждения, — боярин гневаться будет.

— Успеешь.

Медленным движением руки госпожа показала ему место по другую сторону стола.

— Ты добро играешь на гусях. Слышала твою игру на княжеском пиру.

Злат весь расцвел. Его радовало, что боярыня ценит его искусство.

Он снял пояс с саблей, ловко сбросил с плеч белый тулупчик и сел на скамью, разглаживая на груди красную рубаху, пахнущую овчиной.

— Ты опояшься, — наставительно сказала та повариха, что положила на столешницу еще один пирог, — ведь с боярыней Анастасией сидишь.

Госпожа рассмеялась, а Злат, покраснев от своей неловкости, отцепил от пояса саблю и, пропустив ремешок в медную петлю, стянул в сердцах тонкий стан. Боярыня насмешливо кривила губы.

— Принесите меду отроку, — сказала она поварихам.

Тотчас обе женщины засуетились, как на свадьбе. В доме не осталось никого из мужчин, кроме старого рябого стража у ворот да кривого холопа, ковырявшего от скуки целый день в носу, и вдруг появился этот красивый отрок, о котором всем было известно, что когда он клал

персты на золотые струны, то они рокотали, как соловьи в лунной дубраве. Божественный дар был дан свыше гуслиарю — веселить и печалить людей сильнее, чем вино это делало. Рабыни хлопотали у печки и, видя, как их госпожа улыбается отроку, бескорыстно принимали участие в этом женском заговоре на христианскую добродетель.

— Где же твои гусли? — спросила боярыня, с удовольствием наблюдая, как отрок ел похлебку.

— В обозе на санях остались.

— Жаль. Ты сыграл бы нам.

— Некогда, боярин Гордей Псалтирь ждет.

— Еще много времени до вечерни.

Боярыня вспомнила свадебное пиршество на княжеском дворе в Киеве. На лей сверкал тогда серебряной парчой сарафан с алмазными пуговицами, и голову ее украшала высокая повязка с золотыми подвесками.

На пиру этот молодой гуслиар пел песню о синем море. Но бояре просили его пропеть ту, что сложил он в память победы княжеской дружины над проклятыми половцами, когда князь Мономах разгромил поганых и брат Боняка погиб под русскими мечами, другой хан, по имени Сугр, был взят в плен, а сам Боняк и Шарукань едва спаслись от гибели. Но Сугр присутствовал на пиру, и князь сказал, что нехорошо обижать старика напоминанием о его несчастье. Еще боярыня Анастасия вспомнила, что в тот год земля содрогалась перед рассветом...

Когда Злат поел пирога и выпил меду, боярыня, покусав белыми зубками нижнюю губу, встала из-за стола и, томно потягиваясь, сказала отроку:

— Пойди со мной в горницу, и я дам тебе Псалтирь. Но не потеряй книгу. Монах писал ее пять месяцев и взял за свой труд много серебра.

Боярыня прошла к двери, избегая пронизывающих взоров прислужниц, и они стали подниматься по узкой лесенке — боярыня впереди, Злат за нею. Нагибая голову в низенькой дверце, Злат вошел вслед за боярыней в жарко натопленную светлицу. Здесь сильно пахло греческими ароматами. У стены стояла широкая дубовая кровать с лебяжьей периной и горою разноцветных подушек. Над нею виднелся на полке ларец, украшенный позолоченными гвоздиками, и лежала книга в переплете из лилового бархата, с серебряными наугольниками и с такой же звездой посередине доски, в которую был вделан драгоценный камень в половину голубинового яйца. Боярыня поставила колени на постель и потянулась за священной Псалтирью, но не удержала равновесия и со слабым женским вздохом ухватилась за рукав красной рубахи. Книга упала из ее рук с мягким стуком на пол, а боярыня обернулась, припала к отроку, и вокруг его шеи обвилась прохладные нежные руки, власть которых над человеком, говорят, сильнее приказаний воевод и царей...

Когда потом Злат, свесившись с кровати, стал поднимать упавшую книгу, он прочел на раскрывшейся странице: «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недостижимую».

Какая-то необъяснимая грусть наполняла душу молодого отрока. Анастасия лежала рядом, закрывая глаза локтем белой руки, и золотой браслет сполз с запястья на самые пальцы. Спустя минуту Злат уже позабыл о словах псалма, которые только что медленно прочел шепотом, но, может быть, это от них на сердце остался горьковатый привкус, точно в его беззаботную жизнь, полную всяких радостей, вдруг влилась первая капля полынной горечи.

Когда наступила ночь, он опять поднялся по скрипучей лесенке и упал в жаркие объятия Анастасии. Потеряв разум и стыд, она шептала ему, как ворожея:

— Ты скажешь, твой конь охромел!

Перед зарей, оставив утомленную ласками Анастасию, Злат стал собираться в путь и вышел на ночной черный двор, чтобы разбудить стража, храпевшего у ворот в тепле овчины. Отгоняя плетью злых псов, бросавшихся на него как львы, он тряс изо всех сил привратника, но тому не хотелось покинуть приятную страну сновидений. Старику снился огромный горшок горохового сочива со свининой. Наконец он очнулся и пошел открывать ворота.

— Куда едешь? — спросил он гусяра, зевая во весь рот.

— Далеко, — ответил Злат, уже в большой тревоге при мысли о том, что он скажет теперь боярину Гордею.

Проведенная у боярыни ночь рассеялась мало-помалу, как бесовское наваждение. Злат невольно улыбался. Неужели все это было? Или только приснилось? Но утренний воздух казался после благовонной духоты боярской опочивальни особенно сладостным. Человек легко делается игралищем своих желаний, если похоть распяляет плоть. Погиб отрок во цвете лет! Злат сдвинул шапку на нос и почесал затылок. Еще хорошо, что боярин не послал за ним кого-нибудь и сам не надумал вернуться... А как же объяснить ему свое запоздание?

Теперь каждый час был дорог для него, но сказано, что человек как трость, колеблемая ветром. Злат уже думал о другом. Он проезжал в это время мимо кузницы, и удары молота о наковальню напоминали, что Коста приступил к работе. Погрузив весь мир в темноту, в памяти мелькнули серые лукавые глаза, ведра на коромысле, смех как бисер. Торопись, гусяр! Однако, остановившись перед закопченным навесом, Злат заглянул под него и увидел, что там старательно раздувает огонь в горне мехами белобрысый кузнец, помощник Косты. Сам он ковал еще одну подкову. Отрок крикнул:

— Здравствуй, сын Сварога!

Из кузницы вышел рослый человек с белокурой бородой, но с лицом, черным от копоти, отчего еще светлее казались его глаза. Невзирая на зимнее время, Коста был в длинной холщовой рубаше и в кожаном переднике, без овчины.

— Что тебе надобно, отрок? — спросил он хмуро.

— Посмотри подковы у моего коня.

— Посмотрю.

Коста прислонил молот к столбу и стал поочередно поднимать ноги жеребцу. Конь, не всегда подчинявшийся даже своему всаднику, послушно давался чужому человеку, чуя запах кузницы и привыкнув к сильным кузнецовым рукам.

— Доедешь до Чернигова, — успокоил кузнец отрока, — а может быть, и до самой Тмутаракани.

— Добро.

— Обрато поедешь — кликни меня.

— Добро.

Злат тронул коня и направился по черниговской дороге, но обернулся и крикнул:

— А дочь твоя еще сны видит?

Кузнец с неудовольствием поднял бороду:

— Что тебе до моей дочери?

Отрок ничего не ответил, хотя несколько раз оглядывался в ту сторону, где за кузницей и навесом стояла избушка Косты. Злат рассмеялся при мысли, что под ее соломенной крышей живет такая красота. Чудно устроено все на свете. Юноша не любую похищает девицу у воды, а ту, с которой сговорился, уверившись в ее любви. Злат в эти мгновения почувствовал, что встреча с боярыней — только прихоть ее горячего тела. Есть нечто другое на земле, о чем трудно рассказать словами простому человеку...

Когда Злат подъезжал к погосту, он снял шапку и почесал еще раз затылок, обдумывая, что же сейчас сказать воеводе. Но гусярам везенье в жизни. Или это боярыня наворожила, как колдунья? Вступив на лед реки, жеребец вдруг поскользнулся и упал, подгибая передние ноги. Злат едва успел соскочить с седла.

— Перун тебя порази! — рассердился он, вылезая из сугроба, наметенного ветром, и бросился к коню.

Жеребец с трудом встал на ноги, сделал несколько шагов на поводу и заржал тревожно, скаля желтоватые зубы, как будто бы жалуясь на боль. Отрок осмотрел копыта. Плохо кузнец их проверял, одной подковы не было, потому и произошло все, и бабка на правой передней ноге как будто бы стала распухать. Отрок заметил, что конь его охромел. Жаль было скакуна, но ведь через три дня все заживет, а это означало, что еще не пришло время погибать гусяру! Злат улыбнулся. Бывает же такое! Он посмотрел в ту сторону, где уже виднелся погост, и повел туда коня, выискав место, где берег был отлогий, чтобы животному легче было подняться на гору. В селении дымились избы, и около них, как муравьи, копошились суетливо мужики.

Гордей встретил Злата на торге, где княжеские тиуны принимали оброк белками и медом.

— Где пропал? — грозно спросил воевода, глядя на отрока злыми глазами, и подошел вплотную.

— Конь мой ногу вывихнул. Оттого я и запоздал.

— Где твой конь пострадал? В каком пути?

— Еще когда в Переяславль ехал.

— Брешешь ты, как лисица.

— Не брешу. Думал — за ночь пройдет, и наутро лучше жеребцу стало, не хромал, а на обратном пути бабка распухла. Пришлось его на поводу вести.

— Где ночь провел?

— В твоих хоромах. На поварне мне велели лечь.

— На поварне...

Гордею не пришлось на ум ревновать отрока. А Злат сам удивился, что так ловко солгал. Теперь ему стало стыдно перед старым воеводой, проливавшим кровь за Русь. Еще раз лицо Любавы возникло, как отраженное в темной воде.

— Где Псалтирь? — спросил посадник.

Отрок вынул из сумы книгу, завернутую в чистую тряпицу, и протянул Гордею. Недалеко стоял князь Ярополк, молодой, но начитанный человек. Он видел, как боярин развернул плат и вынул из него Псалтирь, и старику было приятно, что князь оценил его благочестие.

Злат повел спотыкавшегося на каждом шагу жеребца под ближайший навес. Боярин с подозрением посмотрел через плечо на отрока, чуя неправду в его словах, или, может быть, прочел вину во взгляде беспутного гусяра. Но конь убедительно хромал. Гордей снова обратился к калям с медом и к зарубкам на бирках.

У избы стоял Илья Дубец. Узнав, в чем дело, он стал внимательно осматривать ногу жеребца...

Сейчас жеребец шел как ни в чем не бывало. Это Дубец вылечил его, заставив конюха ставить припарки из теплого навоза. Злат подумал опять, что нельзя рассказывать боярину о своем приключении. Он назвал бы его прелюбодеем. Рассказать Даниилу? До тот раззвонит об этом по всему Перея славлю. Лучше молчать. Молчат же деревья, стоящие у дороги.

10

За дубами показалось вдалеке мирное селение. Над снежными шапками хижин поднимались и плыли дымы. Мономах подумал, что в этот час там топят печи, девушки прядут волну или, может быть, вышивают языческих берегинь на полотенцах, вместо того чтобы направить свои помыслы на христианские святыни. В избышках жили пахари, бортники и звероловы. Но тропа из села вела на дорогу, по которой можно было попасть в Киев или в богатый Новгород, а эти города вели торговлю с Царьградом, посылали туда меха и мед, оттуда везли материи, вино и многие другие товары; так замыкался мировой круговорот жизни, и скромные хлебопашцы и вышивальщицы принимали в нем участие. Без них города, прославленные до пределов земли, или высокие каменные храмы, или осыпанные жемчужинами облачения царей и патриархов остались бы сонным видением, выдумкой книжника, а именно жизнь поселян наполняла весь мир горячим дыханием.

Старый князь, представляя себе в воображении все то, что происходило на земле в предыдущие годы, опять вспомнил об Олеге и подумал, что суетная жизнь этого человека напоминала извилистую дорогу, вроде той, по которой Мономах ехал сейчас в Переяславль среди зимних дубов...

Выполняя тайное повеление василевса, некто Халкидоний, спафарий по своему званию и служащий в секрете логофета дрома, прибыл в Корсунь и тотчас дал знать через торговых людей в половецкие степи, что желает вести переговоры по крайне важному делу с ханом Урусобой. Однако царский посланец требовал, чтобы предварительно были присланы в этот город заложники и проводники. Халкидоний по многолетнему опыту знал нравы степных кочевников (впрочем, справедливость требовала сказать, что нравы христианских правителей мало чем от них отличались, а порой даже превосходили варварское вероломство крайней жестокостью и коварством) и поступал так в заботе о безопасности своей особы. Следуя степному обычаю, он привез также с собой многочисленные подарки: расшитые золотыми цветами материи, тук серского шелка, серебряные или поддельные золотые сосуды, амфоры с вином, полированные зеркала для половецких красавиц. Заложники вскоре явились и в вознаграждение за согласие сидеть до конца переговоров в мрачной корсунской башне тут же потребовали подарки. Так же поступили и проводники, с деланным равнодушием намекая, что путешествие в далекое становище может длиться месяцами, а может с помощью

сведущих провожатых сократиться и до двух недель. Ввиду того, что предприятие не терпело промедления, пришлось часть даров раздать и проводникам. Едва Халкидоний, после всяких проволочек, ожиданий, неудобных ночевок под открытым небом, опасных переправ и вечного страха за свою жизнь и порученные ему царские сокровища, прибыл в становье Урусобы, как хан захотел получить дары не только для себя и своих жен, но и для родственников и видных воинов.

На третий день, потягивая перебродившее кобылье молоко из хрупкой радужной чаши александрийского стекла, которую ему только что привезли из Царьграда, развалившись на шелковых подушках и рассеянно лаская нежную шею самой молоденькой из своих жен, половецкий повелитель говорил:

— Князь Олег наш союзник. Мы побратались с ним, ездили вместе на охоту. Как я могу поднять руку на брата?

Юная ханша шуршала шелками, звякала запястьями, жмурясь, как кошка, от сознания своего благополучия.

— Как пролить кровь брата? — повторил со вздохом Урусоба.

Подобная постановка вопроса коробила спафария, привыкшего к эзопову языку константинопольских секретов. Вытирая красным платком вспотевший лоб, он убеждал собеседника:

— Кто требует от тебя, чтобы ты посягнул на Олега? Жизнь есть дар божий. В крайнем случае можно было бы ослепить его и тем отнять возможность вредить царю. Но в настоящее время этого не требуется.

Половец не донес чашу до рта и презрительно скривил губы.

— Ослепление — человеколюбивее смертоубийства, — настаивал спафарий.

Хан поморщился. Это был дородный человек, уже не первой молодости, обрюзгший и в то же время наделенный огромной властью и не лишенный некоторого величия.

— Ослепление... Какую цену имеет жизнь воина, лишённого зрения? Как увидит он саблю, занесенную над его головой? Как оценит красоту пленницы?

— Женская красота познается главным образом прикосновением, — осклабился грек. — Хе-хе!

Но хан отрицательно качал головой. Он не хотел принимать участие в подобных предприятиях, как убийство или ослепление друга.

— Могу тебя заверить, что нам нужно пока совершенно иное, — успокаивал хана спафарий.

— Царь имеет на него особые виды. Поэтому схвати князя и доставь на греческий корабль, и ты получишь сто золотых.

Урусоба насторожился:

— И потом ты его ослепишь?

— Я же тебе говорю, что об ослеплении не может быть и речи. И не забудь, что ты получишь дары.

— Дары, полученные мною, — знак уважения.

— Ты его вполне заслуживаешь. Однако я тоже имею право на твоё содействие.

— Имеешь. Кстати, я тебе подарю превосходного коня. Пусть он носит тебя на сильной спине, под завистливыми взглядами друзей.

Спафарий вздохнул. Ему нужен был не дикий степной жеребец, на котором он едва ли поедет по улицам Константинополя, так как седлу предпочитал спокойную скамью в прохладной дворцовой палате, а русский архонт, чтобы своевременно доставить его логофету и получить соответствующую награду и, может быть, даже звание протоспафария, о чем мечтал он и днем и ночью, как и о присвоенном этому чину красном придворном одеянии с золотым тавлием на груди. Конечно, Халкидоний знал о планах, связанных с похищением Олега, лишь постольку, поскольку нашли нужным сообщить ему в высших сферах. Но он кое о чем слышал в передних Священного дворца и старался изо всех сил. Однако Урусоба медлил и не давал прямого ответа.

Пришлось действовать иначе, и в конце концов дары сделали свое дело. У Халкидония осталось еще достаточно шелка и серебряных чаш, чтобы подкупить хазарскую дружину Олега. Этих воинов раздражали насмешки князя над их обычаями. Они схватили своего предводителя, когда тот был в постели, и доставили на быстроходный дромон, тотчас поднявший паруса и ушедший в открытое море.

На корабельном помосте Олег осыпал Халкидония ругательствами:

— Ты сговорился со Всеволодом. Старому лицемеру хочется избавиться от меня, но он страшится пролить кровь родственника своего, чтобы не запятнать душу грехом. Он в святые метит! Я знаю, этот хитрец жаждет завладеть моим Черниговом. Всякому любо быть господином в таком городе.

— Я не имел случая побывать в... как его... в Черни... в Чернигове, — оправдывался спафарий, — хотя и охотно верю, что это замечательный город, полный всяческого великолепия. Тем не менее прошу тебя успокоиться. Нам не известны дальновидные планы благочестивого. Кто знает, может быть, твоя звезда только восходит на небосклоне...

Дромон «Азраил» представлял собою прочное военное судно с высокой кормой. На этом христианском корабле позолоченный Посейдон грозил врагам трезубцем, а на корме, между двумя огромными светильниками, развевалась пурпуровая хоругвь с изображением богородицы, покровительницы христиан. Посреди помоста возвышались две мачты: одна высокая, другая, стоявшая позади, пониже. На первой была укреплена корзина, в которой посменно сидели под самым небом сторожевые корабельщики, следившие, чтобы во время пути корабль не разбился о скалу или не сел на мель. Под помостом находилось помещение для гребцов. Но в данное время многие скамьи там пустовали. Дело в том, что в прошлом году, во время захода «Азраила» в Трапезунд, почти половину из числа весельщиков унесло в преисподнюю моровое поветрие, и мертвецов пришлось бросить в море, на съедение рыбам. Однако новых невольников еще не удалось приобрести, ибо для этого требовалось утверждение представленной сметы казначеем царской сокровищницы, а этот муж предпочитал послать в распоряжение протокаравия, или водителя корабля, закованных в цепи и не требующих никаких расходов преступников. Поэтому двигательную силу дромона нельзя было использовать в полной мере, и только благодаря благоприятному ветру Халкидоний в сравнительно короткий срок пересек Понт, достиг Синопы и Амастриды, а оттуда благополучно приплыл в тихое пристанище Золотого Рога.

В семидневном плавании князь Олег имел достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей участи, но он потратил эти дни главным образом на то, что препирался с Халкидонием. Спафарий, человек с одутловатым лицом и внушительным чревом, походил на вепря, однако никто не мог бы отказать ему в известной тонкости и умении обращаться с людьми, и тем не

менее этот неукротимый скиф доставил ему немало беспокойства и попортил крови.

— Почему ты гневаешься на меня? — спрашивал Халкидоний русского архонта. — У тебя ведь нет причин жаловаться на судьбу. Я уже говорил тебе. Может быть, царь украсит твое чело кесарской диадемой или женит на своей родственнице? Между прочим. Когда тебе представится случай предстать пред благочестивым, не забудь упомянуть в беседе, что я неизменно проявлял в отношении тебя всякое внимание и старался выполнить малейшее твое желание.

— Если так, то поверни корабль на полночь!

— Такое я как раз сделать не могу, так как выполняю повеление пославшего меня.

Видя, что Олег уже готов разразиться ругательствами, он прибавил:

— Прошу тебя, выпей со мной вина.

В хмельной напиток, который цедили для архонта, подмешивали немного снотворного.

Несмотря на льстивые речи Халкидония, Олег совершал путешествие в самом мрачном настроении духа. Его гордость уязвляло сознание, что он на положении узника. Еще никогда не приходилось князю быть в плену. Вокруг сияло невиданной красотой волнующееся море, и проплывающие мимо берега представлялись каким-то прекрасным сновидением, но его везли как пленника, коварно схватив на ночном ложе.

По прибытии в Константинополь, оставив спящего архонта на корабле, Халкидоний поспешил сойти на берег, осторожно ступая по узкой доске, довольно неприятно гнувшейся под тяжестью его дородного тела, и направился в Священный дворец. Там его удостоил длительного разговора сам логофет дрома. Этот могущественный евнух, по имени Никифор, но прозванный насмешниками Никифорицей — малюткой Никифором, доверенное лицо василевса, представлялся в воображении несведущих людей чем-то вроде огромного дуба, покрывающего своей сенью все государство ромеев. В действительности же он оказался болезненным и слабосильным старичком, однако наделенным исключительным умом, способным распутать самые сложные политические загадки.

Стены сводчатой палаты, где принимал видных посетителей логофет дрома, украшала роспись, представлявшая собою небесный вертоград. На гигантских лозах чередовались с успокаивающей монотонностью пурпуровые листья и неправдоподобные золотые гроздья, так как все это надлежало понимать отвлеченно и духовно. Посреди горницы стоял мраморный круглый стол со стеклянной чернильницей, прикрытой от мух крышечкой. Логофет, пожелавший лично переговорить с Халкидонием, умудрившись доставить в ромейский град столь редкую птицу, как русский архонт, надеялся узнать от спафария любопытные подробности. Кроме того, дворцовый затворник, кажется, никуда не выезжавший далее своего загородного дома, где он кормил в круглом водоеме золотых рыбок белым хлебом, очень интересовался рассказами о путешествиях и приключениях, а этот спафарий повидал кое-что во время выполнения царского поручения. Однако логофет считал неприличным усаживать такого малозначительного человека рядом с собою за стол, хотя, с другой стороны, ему хотелось и отметить его несомненную заслугу, поэтому он решил разговаривать со спафарием стоя. Когда Халкидоний вошел в палату, изобразив на лице приличествующее данному месту смирение, евнух стоял у окна и поманил его указательным перстом. Спафарий поклонился, касаясь рукой пола, и приблизился к могущественному царедворцу.

— Здравствуй, спафарий, — милостиво приветствовал его глуховатым и скрипучим голосом логофет дрома.

— Многая лета твоему благолепию.

Евнух окинул взором огромное тело этого счастливца, вдыхавшего запах степей, и, видимо, не одобрил такое предрасположение к полноте. Но каждому свое.

— Ну как там, в Кумании? — спросил он спафария.

Куманами греки называли половцев, но Халкидоний растерялся и не знал, что ответить.

— По необозримым степным пространствам скачут во множестве дикие кони?

— улыбался евнух.

Спафарий ничего подобного не видел или не заметил, но поспешил ответить, чувствуя, что этим доставляет удовольствие собеседнику:

— Во множестве.

— Воображаю, какое это волнующее зрелище!

— Скачут во множестве, во всех направлениях, — повторил Халкидоний, уже входя во вкус.

— Да, — вздохнул логофет, мечтательно устремляя взоры куда-то вдаль и уже не слушая спафария, — там живут люди, по своему положению варвары, однако знающие, что такое перемена мест и свобода от ложных предрассудков. А мы погребли себя в книжной пыли. Но поведай мне о том, как ты мчался на скакунах, совершал переправы через бурные реки, вступил в единоборство с разъяренным барсом; Рассказывай же, спафарий!

Он даже простер вперед ручки.

Халкидоний почувствовал смущение. У него не хватало смелости вынуть из-за пазухи платок, чтобы вытереть пот на лбу и придать себе некоторую независимость, хотя он и считал, что подобная принадлежность костюма является признаком хорошего воспитания и всеми принята во дворце.

— Да, путешествие мое было полно всяких трудностей. Огромное количество блох в этих шатрах, пища самая грубая...

Он не знал, о чем еще рассказать логофету. Видя, что спафарий отнюдь не обладает даром повествования, Никифор вздохнул опять и перешел к делу.

— Итак, ты доставил архонта? — спросил он, пожевывая тонкими губами. Желтое, сморщенное, как засохшее яблочко, лицо евнуха было лишено растительности, жалкие остатки которой удалялись брадобреем, но в глазах у него поблескивал живой ум.

— Архонт прибыл в сей богохранимый град в полном благополучии, — доложил спафарий и даже поклонился низко при этих словах.

— Где же он?

— Почивает на корабле.

— Не делал попыток к бегству?

Логофет разговаривал с Халкидонием, заложив руки за спину, стоя к нему спиной.

— Смею сказать твоему благолепию, что убежать с корабля затруднительно.

— Не высказывал ли он что-нибудь такое, что ты считал бы нужным и необходимым сообщить мне?

Не соображая, на что обратить внимание логофета, спафарий вспомнил:

— Говорил, что с ним поступили в нарушение всех божеских и человеческих законов. Он уверен, что это сделано по наущению киевского архонта.

— Так, так...

— Часто буйствовал в пути, требовал, чтобы я повернул корабль в обратный путь. Тогда мы примешивали в его вино снотворное в небольшом количестве.

— Ну что же... Эти скифы ужасны в гневе. Значит, архонт считает, что его пленили по замыслу киевского правителя?

— Так он говорил.

— А не выражал ли он желание служить василевсу?

Халкидоний замялся:

— Как будто не выражал.

— Однако в своих высказываниях относился к благочестивому с должным почтением?

Спафарий вспомнил, какие слова произносил Олег, говоря о царе, и стал покашливать в кулак. Евнух нахмурился и не настаивал на ответе.

— Ну, об этом в свое время. Но что он несет?

Не понимая, о чем идет речь, Халкидоний недоуменно посмотрел на логофета, а потом, следуя за его любопытствующим взглядом, в котором чувствовалось нетерпеливое желание что-то узнать, — в окно. Тогда спафарий увидел в глубине дворцового пространства, обнесенного каменной оградой, служителя, несущего в руках какую-то птицу, трепыхавшую крыльями.

— Как будто бы курицу несет? — спросил логофет и даже посмотрел с мучительным сомнением на спафария, интересуясь его мыслями по этому поводу и забывая на мгновение о разнице их положения. Потом присел немного, чтобы лучше рассмотреть происходящее на дворе.

Халкидоний тоже стал вглядываться в пернатую ношу. Служитель спокойно шел, не помышляя даже, что служит предметом высокого внимания. Но острое зрение у спафария не было столь утомлено чтением мелко написанных доносов и панегириков, как подслеповатые глаза евнуха, и он отлично разглядел, что несут не курицу, а петуха. В руках у этого человека бился огромный белый петух с красным гребнем. Халкидоний так и заявил:

— Служитель несет петуха.

— Петуха?

— Смею утверждать.

— Гм... Куда же он несет его?

— Вероятно, на поварню, — высказал свое предположение Халкидоний, польщенный тем, что волею судьбы принимает участие в таком важном обсуждении земных дел.

Губы логофета скривились в скептической ужимке.

— На поварню? Не думаю. Она расположена на другом конце двора, за кладезем святого Саввы... Странно, странно...

Однако Никифор спохватился, и разговор снова перешел на Олега.

— Итак, архонт находится на корабле?

— На корабле.

— И считает, что по козням киевского правителя?

— Я уверял его, что это не так.

В глазах евнуха вспыхнуло неудовольствие, перешедшее в гнев. Он вскипел и топнул ножкой в черном башмаке.

— Кто позволил тебе это? Глупец! Для тебя достаточно отговариваться незнанием. Остальное объяснят ему вышестоящие.

— Прости мое неразумие... — стал растерянно оправдываться спафарий.

У него уже не в первый раз в голове мелькнула мысль, что угодить сильным мира сего не легко. Никогда не знаешь, что надо сказать — черное или белое.

Евнух смотрел теперь на него с явным презрением.

— Не следует совать свой нос туда, куда не положено, — выговаривал он.

— Понял ли ты меня?

— Понял, — смиренно поник головой Халкидоний.

— Ты знаешь язык руссов. Поэтому будешь состоять при архонте. Блюда этого человека как зеницу собственного ока. Тебе даже придется жить вместе с ним в доме, который ему отведет эпарх города, и получать некоторые суммы на содержание пленника. Часть этих денег отдавай ежедневно архонту для его личных нужд. Две или, скажем... три номисмы. Под расписку, конечно. Это необходимо для ведения правильной отчетности. Ты ответишь за каждый милиарисий. Он молод, этот архонт? Сколько ему лет?

Халкидония бросило в жар при мысли, что он не удосужился спросить у Олега, какого тот возраста. Но очертя голову ответил:

— Двадцать семь лет.

— Тем более. Значит, архонту понадобятся деньги и на развлечения. Не препятствуй ему в этом. А теперь ступай!

Спафарий бросился к логофету, чтобы прикоснуться к краю его длинной одежды из желтого шелка с золотой каймой внизу и облобызать сухонькую руку, если ему позволят сделать это. Евнух позволил, хотя и с брезгливой ужимкой.

Едва Халкидоний очутился за порогом, как услышал:

— Спафарий!

Он поспешно вернулся в палату и вопрошающе уставился на логофета, уже не ожидая для

себя ничего хорошего. Но евнух неожиданно произнес скрипучим голосом:

— Забыл тебе сказать... За выполненное похвальным образом повеление василевс своевременно наградит тебя по заслугам.

В воображении Халкидония опять мелькнул плащ протоспафария. Сердце его возликовало. Он стал рассыпаться в благодарностях перед всесильным вельможей. Евнух, уже многие годы стоявший на вершине власти и осыпанный милостями и щедротами благочестивого, даже не понимал, что можно так неумеренно радоваться какой-нибудь незначительной награде. Немного презрительно, но не без удовольствия принимая эти выражения благодарности, евнух подталкивал спафария в огромную спину к выходу и приговаривал:

— Хорошо, хорошо...

Сжимая пальцы левой руки правой, Халкидоний еще раз низко поклонился на пороге и осторожно прикрыл дверь, чтобы стуком не беспокоить логофета.

Только под вечер Олег очнулся и выглянул в оконце кормового помещения, где он лежал на тюфяке, прикрытом ветхим ковром. В голове у него звенело. Может быть, от этого странного вина, которое ему иногда давали пить. Князь увидел, что корабль стоит у каменного причала. Внизу черно-зеленая и мутная вода была загрязнена всякими нечистотами. На поверхности плавали куски дерева, сломанная плетеная кошница, несколькодохлых серебристых рыбешек, полупогруженный в воду разбитый глиняный сосуд. Но когда Олег поднял взоры к небесам, то перед ним предстала на золоте заката совершенная красота купола св.Софии. Он превышал своими размерами всякое человеческое представление о земных вещах. После русских дубрав и половецких полей это казалось сонным видением. За храмом возвышались другие церкви и множество мраморных зданий, среди которых вздымались черными свечами кипарисы.

По-видимому, никто не обращал внимания на это великолепие. Люди уже привыкли. На набережной слонялись и горланили песни какие-то неопрятные корабельщики, плевали в воду и даже мочились с мраморной пристани. По соседству приставал к берегу другой корабль. Его кормчий изрыгал ругательства, судя по выражению лица, и вдруг железный якорь плюхнулся в воду, подняв на мгновение сноп брызг.

В это время Олег увидел, что на пристани появился Халкидоний.

11

Так началась константинопольская жизнь Олега. Когда он выходил из своего дома, прохладного даже в полдневную жару, так как во внутреннем дворе днем и ночью шумел водомет, его неизменно сопровождал на прогулках Халкидоний, приставленный свыше к особе архонта, как знающий язык руссов, в качестве переводчика и соглядатая. Точнее говоря, спафарий знал болгарский язык. Но известно всем, что руссы и болгары отлично понимают друг друга и считаются братьями. Халкидоний еще не удостоился получить обещанную награду — звание протоспафария — и плелся за князем не всегда в хорошем настроении, возмущаясь до глубины души ничем не извинительной волокитой, царящей в государственных секретях. Обычно за ними следовали позади трое или четверо вооруженных служителей. Для большего почета, как объяснял Олегу спафарий, в действительности же для предотвращения побега или попытки освободить знатного пленника. Ведь Халкидоний отвечал за порученного его заботам Олега собственной головой. Спафарий заметался, выполняя причудливые желанья молодого архонта или улаживая всякие неприятные

истории, в которых тот был замешан. То князь с необъяснимым упрямством во что бы то ни стало хотел носить красные сапоги, хотя его предупреждали еще в день прибытия в Константинополь, что обувь такого цвета имеет право надевать на ромейской земле только царь; то он скакал, как безумный, на коне по Месе, вызывая восторг легкомысленных девиц и наводя ужас на степенных прохожих и торговцев. На прогулке, очутившись на улице, Олег останавливался на каждом шагу. Его внимание привлекали товары, разложенные на мраморных прилавках, — парчовые ткани, оружие с золотыми украшениями, сарацинские седла с красными шариками и бирюзой. Вдруг князю хотелось зайти в попавшуюся на пути церковь с мощами прославленного мученика. Иногда он, горделиво подбоченясь, не сводил взгляда с какой-нибудь красивой женщины в богатом одеянии.

— Кто эта жена? — спрашивал Олег, толкая локтем Халкидония.

— Откуда мне знать? — сердился спафарий. — Их тысячи в нашем городе.

Горожанка с улыбкой оборачивалась, догадываясь, что это на нее обратил благосклонное внимание красивый чужестранец в плаще непривычного покроя и парчовой шапке. В полной уверенности, что ее провожают взглядами, она делала свою походку соблазнительной, без всяких дурных помыслов, совершенно бескорыстно.

Олег задумчиво крутил светлый ус. Конечно, это было не в Чернигове, где все знали друг друга и где он любил разглядывать в Михайловской церкви красивых боярынь, пришедших к обедне.

На площади шумело перед Олегом константинопольское торжище. Нигде не приходилось ему видеть столько значных мест, как в Царьграде; притоны и корчмы привлекали молодого князя необычностью обстановки, музыкой, песнями корабельщиков и, главное, смехом смазливых и веселых женщин, продававших свои поцелуи.

Как только над Константинополем спускалась теплая ночь и в лавках торговцев шелковыми материями зажигались масляные светильники, Олег надевал свое пышное корзно и отправлялся в лабиринт подозрительных кривых улочек, богатых неожиданными встречами и приключениями. Порой, сидя в каком-нибудь вонючем кабаке перед оловянным кубком кислого вина, рядом с молчаливо сопевшим Халкидонием, Олег вспоминал прошлое. Вдруг вставал любимый Чернигов со своим прекрасным собором. Владимир Мономах сидел с книгой в руках, а его зеленоглазая супруга стыдливо опускала очи под дерзкими взорами гостя... А здесь он, князь и сын князя, не в царском дворце, а в корчме, где нарумяненные блудницы, даже аспидоподобные эфиопки бесстыдно показывали сосцы, выпрашивали у пьяных посетителей жалкие медяки. Греческие корабельщики пели что-то заунывное, а потом, выхватывая из-за пазухи ножи, дрались с другими мореходами. Тогда хозяин таверны разнимал буянов и выталкивал их на улицу, где сиял на черном небе над спящим городом золотой полумесяц и прохладный воздух после блевотины казался особенно чистым.

Жизнь Олега была полна превратностей. Сначала все обещало полное благополучие. С юных лет приходилось садиться на коня и опоясываться мечом. Что было тогда, Халкидоний? Далекий поход вместе с Мономахом, когда они были с ним как родные братья и по-братски делили трапезы под придорожным дубом. Владимир печалился о молодой жене, а он, Олег, был свободен, как ветер, и в каждом селении целовал красоток. Тогда они поделили с Мономахом тысячу гривен, взятых в виде дани. Но после смерти отца, великого князя Святослава, начались трудные времена. Пирьы и охоты прекратились, драгоценные сосуды, собранные в доме, разошлись по чужим рукам. Изяслав вывел его из Владимира, что на Волыни, и поселил в Чернигове, под надзором княжившего там сурового и богомольного Всеволода. Но черниговцы не любили киевских бояр и хотели иметь князя из рода Святослава, и он терпеливо ждал своего часа. Мономах угощал его обильными обедами, хотя сам не съедал за столом и двух кусков пирога, едва прикасался к чаше, но зато длинно

говорил, вспоминал общие походы или читал ему вслух толстые книги, в которых рассказывалось... О чем там рассказывалось? Нет, никогда не давалась Олегу книжная премудрость. Зато хорошо помнил он, как за столом смущалась под его взглядами прекрасная чужестранка, сияющая, как утренняя денница...

Однажды Олег засиделся в одном из константинопольских вертепов. Халкидоний заметил, позевывая:

— Скоро и утренняя. Не пора ли на покой?

Князь взял в руки кувшин с вином и отпил половину.

— Кто держит тебя? — сказал он, вытирая тыльной стороной руки мокрый от вина рот.

По примеру отца, Олег не носил бороды, оставил только длинные шелковистые усы. Его глаза, полные гордыни, светились презрением ко всем, кто не был княжеского или царского рода. Война, добыча, власть, дорогое оружие, породистые кони, пламенные женщины... Вот что составляло его радость и смысл жизни. Побольше серебра, селений, рабов...

Блудница, стоявшая у скамьи, на которой сидел молодой князь, совсем рядом, склонилась к нему и умильно шептала, прижимаясь мягкой грудью, обнимая воина за плечи:

— Хочешь, я спляшу тебе? Или пойдем и ты возляжешь со мной, как в тот вечер. Помнишь?

Русский архонт не знал греческого языка, но по жестам и выражению лица у этой женщины догадался, о чем идет речь.

— Халкидоний! — обратился он к сонному спафарию.

— Слушаю тебя.

— Дай ей серебрения.

— За что?

— Чего мне жалеть деньги из царской сокровищницы?

Сопя и хмурясь, Халкидоний вынул из-за пазухи старый кошелек, сделанный из потертой парчи, с опаской огляделся по сторонам, зная, что тут немало злодеев и татей, зарящихся на чужое добро, развязал зубами ремешок и, запустив руку в суму, вынул серебряную монету. Женщина взяла ее, подбросила в воздух и ловко поймала. Затем миллиарсией исчез как дым. Поблагодарив князя улыбкой, блудница отправилась в дальний угол харчевни, где происходила яростная игра в кости.

Когда костяшки с сухим треском падали на стол, несколько косматых голов одновременно склонялись к ним и снова откидывались назад, и уже тот, кому подошла очередь метать зернь, с увлечением тряс белые кубики с черными очками в кожаной стопке.

Еще один игрок захотел попытать свое счастье. Он сгреб костлявой рукой костяшки со столешницы, долго тархтел ими то у правого уха, то у левого, оглядывая веселыми глазами людей, сидевших за грязными столами или препиравшихся с трактирщиком у жаровни, где варились бобы с чесноком. Лицо этого человека на мгновение попало в поле зрения Олега, потом снова все заволоч туман воспоминаний.

...Мономах в любой час готов вскочить на коня и ехать среди ночи по лесной дороге. Но немало и Олег провел ночей под открытым небом, глядя на яркие степные звезды, пушистые и трепетные, как женские очи под длинными ресницами. Не счесть поездок и ночлегов в

шатре, чтобы не проспять утреннюю зарю. Владимир пытался просветить его книжным чтением. Нет, пусть занимаются подобными делами монахи и епископы. В нем бушевала мужская сила. Как хотелось ему тогда соблазнить молодую женщину с зелеными глазами, приехавшую на Русь из далекой страны! Однажды он обнял ее и уже почувствовал перстами нежность ее тела, уже опьяняла его женская теплота, но Гита оттолкнула насильника и, задыхаясь от гнева, сказала страшным голосом:

— Как посмел ты...

Вскоре ему пришлось бежать в Тмутаракань. Потом загремела битва на Сожице. Не худо тогда его половцы посекали воинов Всеволода! Сам старик едва спас свою жизнь, убегая, как заяц, с поля сражения. А как радостно приняли его, Святослава сына, черниговцы! Но Владимир ворвался в окольный город, стал жечь посады, и, чтобы не губить отцовское наследие, Олег вышел через Восточные ворота и ушел в степь. Чернигов отдали на княжение святоше Владимиру. Ведь у Всеволода лари были полны серебром, а в жилах его сына наполовину течет греческая кровь. В Царьграде у них нашлись союзники. Половцев перекупили за подарки, и Всеволод заключил с ними мир. Тогда эти предатели и убили его милого брата Романа, и никто теперь не знает, где лежат его кости — лежат без христианского погребения. Он сам даже в далекой Тмутаракани не мог найти прибежище, и здесь достала его десница киевского князя. Проклятые хазары... Но ныне ветер как будто бы снова менялся...

Халкидонию хотелось спать. Он зевал во весь свой широкий рот.

— Князь, не пора ли покинуть это злчное место?

— Еще не пора.

Халкидоний опять зевнул, щелкая зубами, как пес, ловящий мух.

...Что теперь на Руси? Всеволод сидел в Киеве, Владимир в Чернигове, а его судьба забросила за море. Но живешь-то один раз на свете. Перед глазами Олега выплыла из тумана ангелоподобная красота Феофании. Широко расставленные агатовые, круглые, как у птицы, глаза, маленький яркий рот и острый подбородок. Обилие черных волос, перевязанных голубой лентой. Как у ангела. Олег улыбнулся. Сквозь пьяный туман к нему тянулись нежные девичьи губы для лобзания. Однако в дальнем углу опять появилась богомерзкая рожа игрока, мечущего кости. Опять этот разбойник тряс костяшки, прикрывая кожаную стопку огромной рукой, и не спускал насмешливых глаз с князя Олега.

Побуждаемый нуждою, Халкидоний встал и вышел, нагибаясь в низенькой двери, прочно сбитой и с окошечком, забранным решеткой. И едва он оставил корчму, как игрок в зернь отодвинул от себя костяшки и подошел к князю, стаскивая с головы колпак, что был когда-то красным.

— Будь здоров, князь! — сказал он.

Олег с удивлением посмотрел на прощелыгу, услышав русскую речь. Конечно, этот человек был с Руси, высокий детина, со светлой и как бы сбитой на одну сторону бородой, с копною давно не чесанных волос, с неунывающими голубыми глазами, хотя одежда его превратилась в лохмотья и сквозь драную русскую рубаху просвечивало загорелое тело и поблескивал на груди медный крест на грязной тесьме. На портах виднелись заплаты, а ноги были босы.

— Ты наш? — спросил Олег.

— Наш.

— Из какой земли?

— Из Чернигова.

— Из Чернигова? — удивился князь. — Как же ты сюда попал?

— Из Тмутаракани.

Подобрев от вина, князь стал расспрашивать незнакомца, видом своим напоминавшего разбойника:

— Из Тмутаракани? Добро.

— Был конюхом в княжеской дружине, — пояснил смерд.

— Не с хазарами ли ты был в том городе?

— Нет, у князя Романа, твоего светлого брата. И тебя я сразу узнал. На Сожице мы с твоими отроками киевскую рать саблями порубили. Тогда ты был полон веселия. А ныне что случилось с тобою, княже?

— Ныне худо стало.

— Худо.

— А ты кто?

— Я Борей.

— Не помню тебя.

— У боярина Ивана Еленича был... — со злобой перекошил рот Борей.

— Еленич... — протянул князь, что-то смутно припоминая.

Он вспомнил, что этого боярина убил секирой его собственный холоп и убежал в неведомые страны, спасая свою голову.

— Не ты ли боярина зарезал?

Борей отвел взгляд в сторону.

— Разве мертвого воскресишь?

У конюха были мощные руки. Олег теперь уже знал, кто стоит перед ним. Еленич отнял у холопа жену и три ночи ласкал ее в своей опочивальне, а потом выгнал из хором на посмеяние отрокам, и она исчезла, не оставив после себя никаких следов. Никто больше ничего не слышал о ней с тех пор.

— А жена твоя? — спросил Олег, не глядя на Борю.

— Отлетела ее душа.

— Умерла?

— Утопилась.

Понемногу в памяти Олега восстанавливалось прошлое. Двор у боярина Еленича. Портомойня. Беззаботный женский смех и среди других — румяное лицо, красное ожерелье

на белой шее. И вот утопилась...

— Другую найдешь, — сказал он сквозь зубы.

— Не искал.

— Что творишь тут?

— На причалах с кораблей корчаги сгружаю.

— А люди, что с тобой кости мечут, тоже из нашей земли?

— Греки.

— Как же разумеешь их?

— Нужда заставит человека и птичье пенье понимать.

— Тоже корабли разгружают?

— Они корабельщики.

При этих словах Олег подумал с раздражением, что даже эти бродяги плывут по волнам куда хотят, а он должен ждать у моря погоды.

— Князь! — сказал Борей и почесал косматую голову.

— Что тебе?

— Уйдем в Тмутаракань.

Олег рассмеялся.

— А смерть боярина как замолишь?

— Если пожелаешь, все следы потеряются.

Молодой князь протрезвел немного и бросил взгляд в сторону двери, чтобы удостовериться, не возвращается ли Халкидоний со двора, где находилась вонючая латрина. Он повеселел и смеялся уже от удовольствия.

— Тмутаракань! Любо мне там. Но не легко до нее доплыть. Где корабль возьму?

— Если есть серебро, корабль и корабельщики найдутся. А ветер смелым в корму дует.

Опять появились на мгновение влюбленные глаза Феофании. Они проникали в самую душу. В этом огромном мире такая странная жизнь, что не знаешь, где правда, а где ложь и с какого конца приступить ко всякому делу. Все перемешалось — война и мир, любовь и нажива. Олег догадывался, что вокруг него плетется паутина, связывавшая его с каждым днем крепче железных цепей. Ему намекали, что помогут советами и золотом и даже греческим огнем, поднимут половцев, если он пожелает завладеть не только своим, неизвестно чем прельстившим его Черниговом, но и Киевом. Однако логофет напоминал, что в таком случае надлежит объявить себя верным другом царя и исполнять его повеления, за что будут пожалованы звания и всякие отличия. Теперь в эту игру включили и любовь Феофании, шестнадцатилетней девушки. Недаром вчера Никифор неоднократно напоминал о юной красавице. Олегу представлялось, что таким способом царедворцы надеялись крепче привязать его к своему греческому делу. Поистине, не попытаться ли бежать на Русь и начать борьбу с самого начала? Но в кармане его штанов звякали всего два золотых. Сжимая кулаки

и зло глядя перед собою, князь повторил:

— Не легко это сделать, смерд.

— А уже пришло время. В Тмутаракани любят щедрых и храбрых князей, и в Чернигове тебя давно ждут.

Князь посмотрел на лохматую голову Борея и подумал, что этот смышленный холоп может ему пригодиться в будущем. Он спросил:

— Знаешь дом мой?

— Откуда мне знать его?

— Видел церковь Фомы?

— Красную, с золотым крестом?

— Рядом с нею каменный дом на улице.

— Здесь все дома каменные.

— В моем доме над воротами мраморная птица.

— Видел.

— Явись ко мне тайно.

В двери, нагибаясь в три погибели под низкой притолокой, показался Халкидоний.

Князь сказал бывшему конюху:

— Иди теперь.

Борей молча отошел.

Спафарий, приводя в порядок одежду, приблизился к столу. Чрево у него было внушительное, как у епископа, глаза маленькие. Заметил косматого бродягу и спросил, позевывая:

— Зачем подходил?

— Деньги просил.

— Попрошайки, — проворчал спафарий.

Князь тоже притворно зевнул и предложил:

— Не пора ли на покой?

На улицах уже просыпалась жизнь. Огромные звезды на мутном предутреннем небе побледнели. Со стороны моря веял приятный ветерок. По направлению к Ипподрому торопливо двигались люди. Это были придворные чины различных степеней, спешившие на дворцовую церемонию. Они скользили в мягких башмаках, как тени, переговариваясь между собою об очередном посвящении в звание патрикия или о других милостях благочестивого. Халкидоний с грустью подумал, что не будь архонта у него на шее, и он тоже провел бы ночь, как полагается христианину, в теплой постели, в объятиях супруги, а в этот час шел бы вместе с другими на Ипподром, как все спафарий и кандидаты.

Их перегнал сидевший на ушахом сером осле магистр, судя по белой хламиде с золотыми украшениями, обозначавшими его высокий чин. Это был Феодор Музалон. Старый вельможа трусил, смешно расставив локти и задирая носки желтой обуви. Седая борода тряслась в такт ослиной побежки. Позади попевали за магистром два быстроногих служителя. Один из них держал в руке дымный смоляной факел, уже ненужный на рассвете дня.

Увидев русского архонта, который дважды бывал в его доме, Музалон закивал головой и обернулся, придерживая осла. Потом спросил Халкидония:

— Откуда направляете свои стопы?

Спафарий решил, что лучше прибегнуть к святой лжи, и сказал, покашляв в огромный кулак, не без смущения:

— Идем от полунощницы в церкви Сорока Мучеников.

Должно быть, магистр не поверил, потому что произнес, с ласковым сокрушением поглядывая на архонта:

— Ах, молодость, молодость...

Вспомнив о своей единственной дочери Феофании, о надеждах, связанных с ее красотой и невинностью, он лукаво погрозил князю перстом:

— Избегай путей, коими ходят нечестивые!

— Что он лопочет? — спросил Олег.

Спафарий перевел отеческое наставление.

Подковы осла снова бойко застучали по каменной мостовой, и двое служителей, передохнувшие немного во время разговора, снова побежали за своим господином. С обеих сторон улицы возвышались глухие стены домов, кое-где только прорезанные на большой высоте оконцем, порой уже озаренным светильником трудолюбивой хозяйки или заботливой рабыни. В этом городе любили высокие стены, решетки, крепкие запоры, ограды, тишину внутренних дворов, потому что люди тщательно берегли свое имущество. В одном из таких домов, под незримым наблюдением, поселили и князя Олега. Над воротами его жилища красовался мраморный орел, оставшийся от римских времен.

Когда князь подходил с Халкидонием к дому, он увидел, что у ворот его поджидает дворцовый вестник. На этот раз русского пленника приглашали не к логофету, как обычно, а на прием к самому императору.

Убедившись, что василевс проявляет к особе русского архонта большой интерес и связывает с ним какие-то тайные планы, известные только логофету дрома, константинопольские вельможи стали наперебой выражать Олегу свое расположение и даже приглашать его при всяком удобном случае в свои дома. Обычно это были довольно скучные, хотя и обильные, обеды, во время которых за столом велись душеспасительные разговоры на непонятном для князя языке. Халкидоний, работавший рядом с ним с завидным усердием челюстями, и тут выполнял обязанности переводчика, если хозяину или кому-нибудь из гостей приходило на ум задать архонту тот или иной вопрос. Чаще всего эти люди любопытствовали по поводу

цен на меха и воск, расспрашивали о суровом климате Скифии, о ее снегах и непроходимых чащах, где водились соболь и черная лиса. Халкидоний переставал жевать, вытирал рот рукой и, глядя в одну точку перед собой, переводил вопрос и ответ. И тогда удовлетворивший свое любопытство хозяин, придерживая рукав одной руки другою, брал с блюда еще один кусок пирога и передавал архонту, и тотчас появлялся слуга, чтобы протянуть гостю полотенце для вытирания рук, а виночерпий наполнял его чашу вином, разбавленным теплой водой.

Когда трапеза происходила у магистра Феодора Музалона, его дочь Феофания не сводила глаз с красивого варвара.

Олегу трудно было следить за разговорами, какие велись на подобных собраниях, хотя иногда он и спрашивал у Халкидония, почему греки вдруг вставали со своих мест и, выразительно размахивая руками, выкрикивали друг другу слова, должно быть весьма неприятные, если судить по выражению лиц у спорщиков. Особенно часто он наблюдал подобное оживление в доме Музалона. Действительно, как это ни странно, но у магистра, несмотря на пышное звание, человека не очень образованного и не посвященного в глубины философии, собирался цвет греческой образованности. Иногда здесь бывал даже Михаил Пселл, недавно покинувший столицу, но неизменно приглашаемый к Музалону при каждом посещении Константинополя и принимавший охотно участие в научных спорах. Бывали в доме магистра также преемник Пселла, новый наставник философского факультета Иоанн Итал, молодой поэт, подававший большие надежды, Феодор Продром, врач и стихотворец Николай Калликл и другие не менее образованные мужи.

Однажды Олег был свидетелем большой ссоры в этом обществе. В тот день на почетном месте сидел Михаил Пселл. На нем шумела монашеская ряса из великолепного черного шелка, и от него пахло благовониями. Как всегда, борода философа была старательно подстрижена. Олег, попадавший на такие собрания только по прихоти своей странной судьбы и благодаря каким-то расчетам магистра Феодора, заметил, что этот инок, перед тем как сесть за стол, очень оживленно разговаривал с красивой женщиной, прижимал руки к сердцу и даже шептал ей что-то на ушко, от чего красавица смеялась от души, а затем, потирая руки, приступил к еде, для начала выбрав на столе ножку фазана. Кто-то из соседей не выдержал и позволил себе выразить по этому поводу свое недоумение:

— С каких пор монахи вкушают мясо?

Пселл сделал вид, что ничего не понимает:

— Мясо? Какое мясо?

— Вот ты ешь фазана и даже облизываешь пальцы, — уже возмущался блюстителем монашеских уставов, хотя сам не менее деятельно расправлялся с крылышком той же самой птицы.

— А я предполагал, что это рыба! — изумился Пселл.

Слышавшие этот разговор смеялись. Русский князь не мог по незнанию языка оценить шутку философа, посмеяться вместе с другими. Он вознаграждал себя тем, что пил вино, особенно если рядом сидел какой-нибудь пьянчужка вроде знатока церковных канонов Феофилакта. Они объяснялись друг с другом только жестами, но, подвыпив, чувствовали взаимную любовь. У законоведа, горького пьяницы, умерла жена, которую он нежно любил, князь чувствовал себя одиноким среди этих чуждых болтунов. Русь, ты была далеко, за морем! Олег опять подставлял чашу виночерпию. А между тем Михаил Пселл уже прислушивался к тому, что изрекал на другом конце стола Иоанн Итал.

У этого большеголового человека прежде всего обращал на себя внимание необычайно

выпуклый лоб. Каждый, кто смотрел на него и на подобное чело, невольно спрашивал себя: что же таится там, какие мысли и какие хитросплетения? Обладая завидным здоровьем и хорошим дыханием, Итал мог произносить длинные тирады. Высотой роста он не отличался, за бородой не ухаживал, однако горе было тому, кто вступал с ним в спор неподготовленным. Этот замечательный диалектик так донимал противника каверзными вопросами и до такой степени запутывал нерасторопного спорщика, что от бедняги только перья летели, к великому удовольствию присутствующих на прении. Однажды Итал, обративший на себя внимание высоких сфер, был послан в Италию, как уроженец этой страны, с царским поручением, но его обвинили в предательстве. Он бежал, позднее получил прощение и вернулся в Константинополь, где ему было предписано жить в монастыре Животворного источника. Когда же Пселл покинул столицу, Итала сделали ипатом философов, и он занялся объяснением Аристотеля и Платона.

Михаил Пселл, несколько утолив свой голод и выпив чашу вина, уже тянулся к духовной пище и жаждал поразить умением подбирать риторические цветы присутствующих молодых женщин, среди которых были образованные и даже читавшие Гомера.

Он услышал, как одна из приятельниц хозяйки неодобрительно отзывалась о женихе своей дочери:

— Елевферий любезный и обходительный молодой человек, но худощав и мал ростом, и это огорчительно.

Пселл тотчас подхватил фразу:

— Но ведь он не карлик? Кстати, когда я был секретарем у покойного василевса Константина Мономаха, его развлекал в часы плохого настроения шут ростом в три стопы. Как вы знаете, василевс содержал тогда наложницу, родом аланку.

— Говорят, была красавица... — перебила одна из слушательниц.

— Нельзя сказать, чтобы она была очень красивой, хотя и отличалась необыкновенно выразительными глазами и очень белой кожей. Этим она и покорила Константина. И можете себе представить! Шут тоже влюбился в аланку! Однажды мы навели с василевсом его любовницу. За нами увязался этот карлик. Воспользовавшись удобным случаем, он стал бросать на молодую женщину вкрадчивые взгляды, украдкой улыбался ей, посылал воздушные поцелуи и даже пытался коснуться ее ноги, Василевс заметил проделки шута и сказал, толкнув меня локтем: «Смотри, смотри! Оказывается, не я один влюблен в эти прекрасные глаза!»

— Я знаю, что василевс дарил тебя своим особенным вниманием, — заметил магистр Феодор, — но следует сказать, что это был весьма легкомысленный человек.

Пселл воздел руки:

— О, я плакал, видя, какие огромные суммы из государственной сокровищницы тратились на построение никому не нужных дворцов или даже на подарки потаскушкам. Ты прав, этот распутник был позором для царства ромеев.

Итал, слышавший заявление монаха, во всеуслышание произнес:

— Тем не менее это не мешало нашему знаменитому философу писать в честь Константина пышные панегирики.

Пселл вздохнул:

— У каждого человека за плечами ошибки молодости.

— Странно только, что ты всегда ошибался так, что из этого извлекал для себя немалую пользу.

Итал недолюбливал Пселла и в разговоре с ним легко раздражался или печалился. Он оглядел направо и налево присутствующих, как бы призывая их в свидетели справедливости своих слов. Впрочем, этот человек по своему отвратительному характеру вообще не мог упустить малейшего повода, чтобы не сказать кому-нибудь неприятное.

— В конце концов, ничего особенно восхваляющего я не писал о Константине, — пробовал защищаться Пселл.

Его преемник вскочил при этих словах со скамьи и стал передразнивать бывшего учителя:

— Ничего особенно восхваляющего! Что ты писал о Константине? А вот что! Царь, ты заступник бедных, покровитель добрых и гневный каратель злых. Ты ввел в государстве своими новеллами правосудие и справедливость и укрощаешь жадность сборщиков налогов. Ты не позволяешь, чтобы судьи вымогали мзду у просителей. Если бы Гесиод еще жил в наши дни, то назвал бы твое царствование золотым веком...

— Это же только риторический прием, — возопил Пселл.

Но Итал продолжал:

— Что еще ты сочинил? Всего не упомнишь. Само собою разумеется, не дышат лестью и те строки по поводу Константина, в которых ты восхваляешь василевса как оросителя пустыни. Это когда он устроил в своем саду пруд, чтобы ротозеи падали в воду...

Пселл, поглаживая край стола холеными руками, метал молнии из глаз в сторону грубияна и варвара и раздумывал, как бы покарать злоязычие. Гости предвкушали удовольствие от горячей ссоры, понимая, что за личными нападками скрываются глубокие разногласия и в оценке современности, в понимании богословских проблем, и в толковании Аристотеля и Платона. Ни для кого не было секретом, что Итал интересовался не только этими мыслителями, но даже читал Ямвлиха и Прокла. И, может быть, еще с большим удовольствием. Одним словом, диспут предстоял горячий.

И вот Пселл уже метнул первую отравленную стрелу:

— Во всяком случае, я не из тех, кто возбуждает своих слушателей против святой церкви.

Итал опять поднялся и бросил кусок мяса на тарелку. С раздувающимися ноздрями он воскликнул:

— Против святой церкви?! Может быть, приведешь пример из моих высказываний?

Хозяин кинулся к нему, простирая руки, и всячески старался умерить гнев вспыльчивого философа. Но Итал, отталкивая магистра, рвался к Пселлу.

— Нет, не скажешь ли ты, наконец, в чем же заключаются мои прегрешения против церкви? Или я назову тебя при всех обманщиком и лжецом.

Но Пселл знал, что делает:

— А разве ты не учил о переселении душ и о том, что материя безначальна и столь же вечна, как бог?

На мгновение Итал остановился, обдумывая, как лучше дать отпор противнику.

Олег спросил у Халкидония, показывая движением подбородка на спорящих:

— Чего они не поделили?

Тот, продолжая уплетать за обе щеки кусок зайчатины и находясь в превосходном настроении духа, успокоил князя:

— Не обращай на них никакого внимания. Это всего лишь спор о первоначальном веществе, из коего сотворен мир.

Олег ничего не понял, но с пренебрежением подумал, что его другу и врагу Владимиру Мономаху было бы любопытно присутствовать при таком словесном состязании, так как переяславский князь знал греческий язык и любил читать сочинения мудрецов.

Развивая нападение, Пселл добавил:

— Кто, например, учит, что мертвые восстанут из гробов не в тех телах, в каких они жили до своей смерти, а в иных...

Итал уже не мог дольше ждать:

— Совершенно верно. Мыслящая душа есть в то же время и формирующее начало. Поэтому естественно, что она образует для себя после смерти новое тело, подобное прежнему.

— Каким образом?

— С помощью присущих ей сил.

— А что ты скажешь относительно твоего утверждения, что материя вечна?

— Да, мне приходилось оспаривать догмат о сотворении мира из ничего. Однако каким образом и с какой целью? Исключительно для того, чтобы использовать это учение как оселок для проверки способности человеческого ума разрешать метафизические вопросы. Ты сам...

— Что я сам? — в свою очередь обеспокоился Пселл.

— Во всяком случае... Скажи, как, по-твоему, была обожествлена плоть Христа — по положению или по природе?

Пселл уже не знал, каким образом выбраться из этого спора, опасаясь, что Итал своими колючими, как жало пчелы, вопросами заведет его в такой лабиринт, откуда не так-то легко найти выход.

— К чему подобные прения во время приятной трапезы? — попытался он успокоить спорщика, примирительно разводя руками над столом, уставленным вкусными яствами. Знаменитый писатель хотел выиграть время, ибо колебался, что же ответить относительно обожествления плоти.

— Это не прения, а всего один вопрос, на который ты обязан дать ответ, поскольку обвиняешь меня в ужасной ереси, — не унимался ипат философов.

Пселл старался постичь, какой подвох заключен в вопросе этого диалектика, и с ужасом подумал, что ему не приходилось задумываться над определением воплощения. Потом решил, что, пожалуй, правильнее будет второе решение. Он твердо произнес:

— Конечно, по природе!

В эти минуты он лихорадочно размышлял о сущности догмата, но ему не пришло в голову подумать о том, что западня заключается в самой постановке вопроса.

— По природе? — Итал ликовал, потирая руки. — Ты изволил сказать — по природе? Не по положению?

— Не по положению, — уже с меньшей уверенностью ответил Пселл.

— Хи-хи! А я тебе скажу, почтеннейший, что обожествление земного брения совершилось и не по природе и не по положению, ибо то и другое одинаково ересь, а чудесным образом, как учит святая церковь.

Пселл покраснел до корней волос, уже давно ставших седыми, и на мгновение потерял дар речи, стыдясь, что позволил увлечь себя, подобно неразумному ребенку, в эту ловушку. Так паук протягивает паутинную сеть неосторожной мухе.

И тал хихикал в кулак.

— Вот видишь! — торжествовал он. — Каким же образом дано тебе право обвинять меня в извращении догматов, когда ты сам не имеешь о них никакого понятия?

Но вдруг Итал опустился на скамью, закрыл лицо руками и зарыдал. Сидевшие за столом слышали сквозь плач:

— О, зачем я оскорбил столь прославленного мужа и своего учителя! Горе мне, горе!

Олег толкнул локтем Халкидония и спросил:

— Почему он плачет?

Спафарий махнул рукой:

— Я тебе говорю, не обращай внимания. Он плачет по поводу того, что человеческая плоть обожествлена не по природе или положению, а чудесным образом.

Олег кивнул головой.

Шестнадцатилетняя Феофания, присутствовавшая на трапезе, сидела бледная как полотно. По настоянию родителей она тоже изучала науки и даже пыталась читать творения Максима Исповедника, одного из светильников христианской церкви, после того как узнала, что некоторые не могут оторваться от этой книги. Она имела представление и о платоновских идеях, хотя ее детская голова еще кружилась на этих чудовищных высотах и дух захватывало, когда Итал преподавал ей философию. Но его выходка за сегодняшним обедом и вообще вся эта суета и крик опечалили ее. Воспользовавшись суматохой, к ней подсел Феодор Продром, молодой поэт, уже написавший стихи, о которых в Константинополе говорили в домах образованных людей, следящих за литературой. Юноша был по уши влюблен в Феофанию. Случайно очутившись за столом, он никого не видел, кроме нее, и теперь, уловив удобный момент, сказал:

— А как ты полагаешь? Материя, из которой создан мир, была от начала века или возникла в единое мгновение по воле творца?

Продром учился в школе при церкви св. Павла у Феодора из Смирны, прекрасного оратора, но болезненного человека, не присутствовавшего сегодня на обеде. Юноша хорошо знал аргументы Пселла и Итала, и он склонялся то к одному учению, то к другому. Во всяком случае, кроме влюбленности в это прелестное существо, его еще волновали грандиозные философские проблемы.

Но Феофания по-прежнему не спускала глаз с Олега. Поэт посмотрел в ту сторону и тяжело вздохнул. Как могла такая образованная девица полюбить — если верить нелепым слухам — дикого скифа, который столько же смыслит в платоновских идеях, сколько его жеребец? И даже не изъясняется по-гречески...

Он опять спросил:

— А что ты думаешь о возможности переселения душ?

Девушка только пожала худенькими плечами:

— Мы не касались этого вопроса с моим учителем.

— Ах, так?

— У меня голова болит от шума, — пожаловалась она.

Продром посмотрел на нее с нежностью, счастливый уже тем, что сидит рядом с нею. Он даже осмелился прикоснуться к ее голубому шуршащему платью. Но этот белокурый стихотворец, заика и далеко не красавец, имел весьма щедедушный вид, а Олег походил на орла в своей варварской рубахе с золотым шитьем вокруг шеи.

— Ты поэт? — спросила девушка Феодора.

— О, я пишу стихи. Впрочем, кому они нужны в наш век?

— Почему?

— В наш век низкопоклонства и жестокости.

— Ты преувеличиваешь, и ныне живут достойные люди.

— Но их можно перечесть по пальцам.

— Кстати, твой дядя митрополит в далекой Скифии?

— Родной мой дядя не кто иной, как русский митрополит Продром, образованный человек. Он пребывает ныне в Киеве.

Чтобы хоть чем-нибудь привлечь внимание Феофании к своей скромной особе и сгладить неприятное впечатление от своего заикания, стихотворец стал рассказывать о себе:

— Да, брат моего отца митрополит в Скифии. Я же родился в Константинополе, получил хорошее воспитание заботами моих благочестивых родителей и считаю, что стою на целую голову выше черни. Правда, язык у меня время от времени хромает, повторяя дважды тот же самый слог. Но это всего только маленький природный недостаток. Как и у Михаила Пселла. Ты заметила? Кроме того, разве повторенное два раза не становится еще более точным и даже привлекательным?

Видимо, Феофания не думала, что это так, потому что не нашла нужным хотя бы кивнуть головой. Ей было не до того.

— Но я могу быть не менее язвительным, чем прочие люди, — настаивал Продром.

— Да? — невпопад спросила девушка и умолкла.

Убедившись, что им пренебрегают, юный стихотворец, имевший глупость влюбиться в этот отпрыск аристократического рода, опечалился. Он взял со стола первую попавшуюся под

руку пустую чашу и протянул ее виночерпию. И когда у него немного зашумела голова и сердце стало смелее, он шепнул соседке:

— Подари мне розу, что украшает твой хитон, и я напишу о ней стихи.

Польщенная вниманием поэта, Феофания улыбнулась и, отколов красный цветок от голубого платья, протянула розу Феодору. Однако тут же спохватилась, что этой уступкой тщеславию умаляет свою любовь к русскому архонту, и со страхом посмотрела в ту сторону, где он сидел. Увы, Олег совсем забыл о ее существовании, занятый разговором с Халкидонием и еще каким-то гостем, который, очевидно, понимал язык князя, так как беседа казалась довольно оживленной. Но скифский воин был прекрасен в эти минуты, со своими блистающими очами. Разгоряченный вином, он расстегнул ворот рубашки, из которого выступала белая шея, мощная, как у самого Ахилла.

Видя, что взоры свои Феофания обращает не на него и рассеянно слушает философские соображения, Продром оставил ее и, прижимая цветок к устам, возвратился на свое место, где сидели ученики Иоанна Итала, сыновья влиятельных царедворцев.

Когда этот пир пришел к концу и гости, шумно благодаря хозяев, встали из-за стола, Феодор поплелся домой в компании своих друзей. Вместе с ним отправились в город Николай Калликл и еще два приятеля из школы — Михаил Лизик и Стефан Скилица. Первые два имели определенную склонность к врачеванию, хотя еще им в голову не приходило, что они будут пользоваться даже царей, а Стефан с увлечением предавался изучению богословия и мечтал достигнуть со временем святительского сана, как с ним и случилось впоследствии, когда патриарх назначил его митрополитом в Трапезунд. Но в те дни все четверо были просто любознательными юношами, которые еще не очень задумывались над своим материальным благополучием, а писали стихи и проводили время в горячих спорах об аристотелевском «Органоне» или идеях Платона, хотя и оглядывались по сторонам, зная, что школьное начальство не одобрит их смелые взгляды.

Друзья проходили недалеко от церкви св.Фомы и спустились к Пропонтиде, к каменной пристани, названной Вуколеонт, потому что на ней была водружена мраморная скульптура, изображавшая льва, который терзает быка. Царь зверей как бы ухватил тельца за рог, поверг его на землю и впился зубами в горло издыхающему животному, и ваятель изобразил все это с таким правдоподобием, что лев казался живым в своей ярости, а бык мычащим от ужаса и боли.

Феодор жаловался:

— Мне выпало счастье иметь дядю, который достиг высоких духовных степеней...

— Продром? Русский митрополит? — обрадовался неизвестно чему Скилица.

— Иоанн Продром, предстоятель русской церкви. Кроме того, он изящный в своих выражениях писатель. Я сам, как тебе известно, милый Стефан, изучаю риторику и философию и как будто бы не безобразен по своей внешности... И в то время, как другие забавляются перепелами или постыдной игрой в кости, я посвящаю свое время размышлениям...

— И что же? — помогал Скилица другу, который стал особенно заикаться от волнения.

— И вот образованная девица из хорошей семьи, читавшая Гомера и трагедии Эсхила, взирает как на архангела на этого усатого русского архонта, а меня отталкивает.

— Почему ты так думаешь? — попробовал утешить несчастного поэта Николай Калликл. — Ты сам сказал, что она подарила тебе розу. Поверь мне, что если девушка поступает так, то

это неспроста. Не теряй надежды. Я уверен, что рано или поздно она преклонит свой слух к твоим мольбам.

Феодор вздохнул. На небе сияли звезды. С Пропонтиды веяло прохладой, и пахло морем. Поэт стал в позу, одну руку положил на грудь, а другую простер в пространство и начал сочинять вдохновенно:

Я с розой тебя сравню, Феофания, с самой прекрасной звездой, Феофания, на константинопольском небе...

Увы, на этом творчество Феодора Продрома иссякло. Приятели подождали некоторое время в надежде, что муза вернется к своему служителю, но он умолк. Лизик усмехнулся:

— Но этот вопрос о предвечной материи...

Скилица обернулся, чтобы проверить, не следует ли кто-нибудь за ними по пятам.

— В самом деле, неужели возможно представить себе, что был момент, когда ее не существовало? — поддержал его Калликл.

Феодор Продром, оскорбленный несправедливостью судьбы и сегодняшней любовной неудачей, стал горестно богохульствовать:

— Вы правы, друзья. Я молчал на обеде, когда вступили в спор эти знаменитые мужи. Из вполне понятной скромности. Но скажите мне по совести... Разве эллинские философы и даже иные осужденные вселенскими соборами еретики не выше и не разумнее наших епископов, что бубнят, как старушки, одно и то же и не дают себе труда осмыслить собственным разумом, данным нам природою для вящего пользования...

— Тише, тише! — останавливал друга Скилица, озирая ночную мглу. — Мне кажется, кто-то идет по набережной, не кричи, как осел.

Будущему епископу не хотелось иметь неприятности с патриархом.

Но Феодор Продром метал громы и молнии:

— Разве простой булочник или какой-нибудь неграмотный башмачник могут сравниться в раскрытии тайн мироздания с философами? Почему же требуют от нас, чтобы мы веровали так же простодушно, как и они, в догматы и чудеса? Нет! Исходя из того, что существует два рода знаний — риторика и философия

— и что первая учит ораторскому искусству, между тем как вторая, не заботясь особенно о красоте речи, исследует природу сущего и ведет нас не только на небеса, но и в самые дебри материи...

— Подожди, — прикоснулся к его плечу Скилица.

Впереди блеснул огонь факела. Очевидно, то приближалась ночная стража. За спорами время прошло незаметно, и часы склонялись к полуночи. Вскоре мимо прошли трое воинов с копьями на плече, и тот из них, что держал в руке светильник, осветил встречаемых путников и грубо окликнул:

— Что вы тут делаете, полуношники?

— Мы спешим навестить болящую тетку, — ответил Николай Калликл, как самый представительный из школяров.

— Кто же навещает теток в такой час?

— Мы направляемся к ней в надежде, что она сегодня ночью помрет и оставит нам в наследство все свое достояние.

Услышав о такой возможности, стражи почувствовали уважение к юношам и стали выражать им всякие пожелания, может быть рассчитывая на подачку. Они даже предложили проводить друзей до того дома, в котором якобы умирала благочестивая женщина, но Калликл поблагодарил их и сказал, что в этом нет никакой нужды.

13

Не все дни у Олега были заполнены пирами. Иногда являлся вестник с сообщением, что русского архонта требует к себе логофет дрома. Это означало для князя и Халкидония томительные часы ожидания в приемной, среди всякого рода просителей и вызванных из отдаленных провинций чинов, пока наконец не раздавался скрипучий голос:

— Здравствуй, архонт!

Логофет стоял посреди палаты, сложив руки на животе, болезненный и тщедушный человек, перед которым все трепетали, как робкие агнцы трепещут перед кровожадным львом.

Во время таких бесед Олегу задавались лукавые вопросы. Больше всего евнуха интересовали торговые пути богатой Руси и ее военные возможности; ему хотелось знать численность княжеских дружин и быть посвященным в отношения киевских правителей с половецкими ханами, так как в его голове не угасала надежда сделать Киев подвластным василевсу. Олег неоднократно убеждался, что у этого человека необычайная память. Логофет все помнил и ничего не забывал. Никифор был наделен ясным умом, но порой чувствовалась в его рассуждениях какая-то старческая медлительность, точно логофет понимал несоответствие своих грандиозных планов и действительности.

Во время последней встречи Никифор почему-то особенно расхваливал душевные и телесные качества Феофании Музалон, и Халкидоний подобострастно переводил его похвалы:

— Исполнена страха божия, скромна, почтительна к родителям... Еще следует отметить ее прилежание...

Олег слушал и вспоминал ангелоподобное лицо Феофании. Приличия и хорошее воспитание требовали, чтобы девушка опускала взоры, если на нее смотрит мужчина, и Феофания, едва притрагиваясь к пище, молчала во время обедов, на которых присутствовал русский архонт, но порой она не выдерживала и вскидывала на Олега сияющие любовью глаза в трепете длинных ресниц. Князь начинал горделиво разглаживать золотистые усы, поднимал одно плечо, и все видели, как под голубой рубахой с золотым оплечьем выпирала высокая грудь, крепкая, как камень. Впрочем, Феофания не возбуждала в нем страсти. Девушка была слишком бесплотной для этого любителя пышных женщин.

По предложению логофета Халкидоний советовал Олегу носить греческое одеяние, так как василевс пожаловал князю чин спафарокандидата, но пленник предпочитал скарамангиям русские рубахи и княжеское корзно. На уговоры переводчика он хмуро отвечал:

— Не привычен к длинным одеждам. Вы как попы.

Однажды Олег случайно встретил Феофанию с матерью на улице. Их сопровождала служанка, бережно неся в руках только что приобретенную вещь, может быть ароматы или курения, так как встреча состоялась недалеко от того места, где краснобородые восточные купцы продают всякого рода благовония. Дородная супруга магистра, нарумяненная, но в приличном для ее возраста темном одеянии, шествовала с полным сознанием своего собственного достоинства. Говорили, что в ее жилах несколько капель царской крови. Ради ее родственной близости к Священному дворцу на ней и женился Феодор, из знатного, хотя и обедневшего, рода Музалонов, в те дни еще скромный спафарий, надеявшийся, что такой брак поможет его возвышению. Он не ошибся и благодаря домогательствам Стефаниды несколько поднялся на иерархической лестнице. Но василевсы так часто менялись на троне ромейского государства, что особенного благополучия Феодор не достиг. Слава тоже не пожелала озарить его деяния, хотя честолюбивый Музалон мечтал отличиться при взятии какого-нибудь сарацинского города или в морской битве, когда неприятельские корабли пылают, как костры, зажженные страшным греческим огнем. Увы, ему не удалось сделаться ни великим доможителем, ни друнгарием царского флота, а пришлось корпеть в дворцовых секретарях на второстепенных должностях, пока, уже на склоне своих лет, он не получил, по ходатайству супруги, почетное звание магистра.

Женщины прошли мимо. Стефанида смотрела прямо перед собою и сделала вид, что не заметила архонта. Но маленькая Феофания зажгла свои очи, как два лучезарных солнца. С юной непосредственностью она оглянулась на красивого варвара и подарила его улыбкой, а вслед за нею сверкнула лукавыми глазами и служанка, может быть посвященная в девические тайны молодой своей госпожи или просто потому, что умела оценить мужскую внешность и силу.

Иногда Олег встречал магистра Феодора Музалона на ристалище. Старик неизменно приветствовал его любезной улыбкой. Этот суетливый человек еще не потерял надежды возвыситься над толпою дворцовых чинов, хотя его недолюбливали при дворе. Но магистр рассчитывал выгодно выдать замуж единственную дочь и прислушивался к тому, что говорили о планах василевса относительно русского архонта Олега, которого прочили на киевский престол. Во время бессонницы, почесываясь и вздыхая, Феодор размышлял о том, что судьба человеческая подобна игре в кости: с божьей помощью да с молитвою и, конечно, не без некоторой ловкости, можно достичь больших высот, а можно и низринуться в бездну. Поэт Продром, бродивший часто поблизости его дома в надежде увидеть Феофанию, так отзывался о магистре:

— И подумать только, что дочь этой лисы подобна розе!

Юноша уже сочинил стихи в честь Феофании, в которых сравнивал ее с утренней зарей, голубкой и всеми цветами на земле. Но, на его беду, девушке больше нравился грубый архонт. Да и не ей одной. Иногда Олег получал записки, которые совали ему в руку тайком бойкие рабыни. Халкидоний — сначала не без любопытства, а потом со скукой — и при таких обстоятельствах выполнял роль переводчика. Иногда незнакомки назначали князю свидания. Одна из таких горожанок оказалась молоденькой женой престарелого синклитика, другая же богатой и сластолюбивой старухой, сведшей в могилу трех мужей. Олег наслаждался любовью юной супруги члена синклита, а ненасытную вдову, к великому ее возмущению, покинул среди ночи, разглядев ее жалкие прелести. По приказу госпожи два сильных раба даже пытались тогда побить дерзкого скифа, но, лишившись в схватке нескольких зубов, прекратили преследование.

Встречи с молодой любовницей происходили украдкой, в доме ее родственницы, трепетавшей перед гневом влиятельного вельможи, и неизвестно по какой причине вскоре прекратились. Видимо, старик стал о чем-то догадываться и увез плачущую жену в свое отдаленное имение, хотя она объясняла слезы и рыдания исключительно любовью к соседней церкви св. Фомы, где так редко бывал ее супруг, одолеваемый всякими старческими

недугами.

Были у Олега и другие приключения. Но самой таинственной оказалась встреча с рыжеволосой красавицей.

Однажды князь получил записку, принесенную, по словам Борея, каким-то скопцом. Переводя ее, Халкидоний заметил:

— Похоже на то, что пишет образованная женщина. Отличный слог! Любопытно, кто бы это могла быть?

— Что там написано? — спрашивал нетерпеливый Олег.

— А вот что... Уверяет, что перси ее оценили в высших сферах мироздания, а глаза сравнивают с небесными звездами... Даже приводит известные стихи Феодора Продрома...

Олег уже предвкушал очередное приключение.

— Сейчас тебе переведу... Мол, лучше было бы ей обрабатывать сад, беседовать с гиацинтами, голодать с миртом, петь с соловьями, спать с цветущими грушевыми деревьями, чем ложиться в постель с золотым ничтожеством... Хорошие стихи! Гм... Кто бы это мог написать!

Видя, что Олег не в состоянии оценить эти изысканные поэтические выражения, он прибавил:

— Ну, и так далее...

— Что же ей надо?

Олег смотрел в корень вещей.

— Что ей надо? А вот сейчас узнаем. Просит, чтобы ты пришел ровно в полночь на площадь, где стоит столп Константина. Знаешь это место в городе?

— Знаю.

— Там ты якобы встретишь некоего человека, — разбирал письмо Халкидоний, — который и поведет тебя куда нужно. Везет же таким повесам, как ты!

Спафарию уже надоело сопровождать Олега в его любовных похождениях, проводить ночь напролет вместе со служителем в вонючей подворотне, под дождем или на холодном ветру, кутаясь в мокрый плащ с куколем и нетерпеливо ожидая, когда же наконец порозовеет восток и застучат по каменным плитам подковки зеленых княжеских сапог.

— Еще она просит, чтобы ты явился один, без сопровождающих.

Халкидоний стал раздумывать. Не ловушка ли это? Но если князю устраивали западню, то лишь по указанию из дворца. Следовательно, он не будет нести ответственность, если с Олегом случится что-нибудь. Впрочем, тогда его предупредили бы, чтобы и он способствовал... Скорее дело выглядело так, что еще одна скучающая развратница искала и жаждала телесных наслаждений.

Спафарию было страшновато отпускать архонта одного на это ночное приключение. Но Халкидоний уже имел случай убедиться, что Олег не помышляет о бегстве. Да и куда он мог бежать, не обладая для этого никакими средствами? Поэтому соглядатай в конце концов убедил самого себя, что на этот раз может со спокойной совестью отправиться к своей

добродетельной, но тем не менее уже соскучившейся супруге и провести ночь под домашним кровом. А когда время приблизилось к полуночи, Олег накиннул на плечи княжеское корзно, уже несколько потрепанное в жизненных передрягах, и поспешил на условленное место.

На улицах стояла кромешная тьма. Давно погасли светильники в лавках торговцев шелком и ароматами. Почти никого на своем пути князь не встретил в этот поздний час. Но вскоре над городскими зданиями поднялся серебряный серп луны и тускло озарил мрамор домов и аркады. Посреди обширной и безлюдной площади Константина возвышался столп красного гранита. Равноапостольный царь держал на огромной высоте блистающий крест, вознесенный над всем христианским миром. Действительно, как и было написано в любовном послании, к Олегу тотчас подошел какой-то человек. Князь заглянул ему в лицо. Нетрудно было догадаться, что он скопец. Безбородый, с куколом плаща на маленькой головке, незнакомец что-то тихо говорил, улыбаясь беззубым ртом. Но, убедившись, что его не понимают, знаками стал показывать, чтобы Олег следовал за ним. Князь кивнул головой и даже похлопал евнуха по спине, отчего тот поежился. Серебряные подковки гулко застучали о камень мостовой, и провожатый, сам в мягких башмаках из черной материи, несколько раз с видимым неудовольствием оборачивался и бросал сердитые взгляды на варварскую обувь, производившую слишком много шума.

Так они шли вдвоем некоторое время. Поскольку князь уже знал немного город, он понял, что его ведут куда-то в сторону царских садов. Догадка оправдалась. Миновав розоватую громаду Софии, евнух свернул к ограде Священного дворца. Приблизившись к стене, он подошел к малоприметной калитке, выкованной из железа и едва различимой за грудой каменных плит, привезенных сюда в предвиденье какого-то нового строительства, и, пошарив в складках длинной одежды, вынул медный ключ. Скопец переступил порог и несколько раз позвал Олега манием руки. Вдруг князь почувствовал, что находится среди черной прохлады ночного сада, и на него пахло ароматом цветов. Он уже знал, что этот удивительный цветок называется роза. Теперь под его ногами не звенел камень мостовой, а хрустели камушки, какими в Царьграде имеют обыкновение усыпать садовые дорожки. Старичок уверенно вел его среди деревьев, и вскоре они очутились перед молчаливым домом; Олегу пришлось подняться по мраморным ступенькам. Наверху бесшумно отворилась еще одна железная дверь. Евнух приложил палец к губам и исчез за нею. Спустя некоторое время на пороге появилась служанка, заглянула с женским любопытством в самые глаза Олегу и, взяв его пальцы горячей рукой, повела князя по темному переходу. В другом его конце находилась винтовая лестница. Все было как во сне. Потом рабыня отворила дверцу, едва сдерживая вздохи, выражавшие, очевидно, страх служанки перед последствием того, в чем она принимает невольное участие. Она легонько втолкнула Олега в полутемную горницу...

Князь очутился в опочивальне, как об этом свидетельствовало широкое и низкое ложе под парчовым теремом на четырех столбиках. Спальня слабо озарялась единственным светильником. Но все-таки можно было рассмотреть, что на постели, заложив нагие руки за голову, лежала молодая женщина с распущенными на зеленой подушке рыжими волосами и, видимо, с большим волнением смотрела на вошедшего князя. Рядом стоял стол. На нем поблескивали две позолоченные чаши и кувшин с вином. Тут же лежали в кошнице румяные яблоки и еще какие-то плоды. Вздвинутому Олегу было не до того, чтобы разглядывать все это, Он постоял немного у закрывшейся тихо двери. Но князь не отличался нерешительностью в таких случаях и, подойдя к ложу, отвел руки женщины, которыми она закрыла лицо при его приближении. Глядя на князя как на своего мучителя, красавица произнесла несколько слов по-гречески. Олег ничего не понял, но, сам не зная почему, рассмеялся. Она знаками дала понять, что нужно погасить светильник...

Так повторялось несколько ночей подряд. Олег получал записки, таинственным образом проникавшие в дом с мраморным орлом над воротами, и к полуночному часу отправлялся на указанное место — то на площадь Быка, то к св.Софии, то на площадь, где сердитый медный старик поднимал над вылитыми из такого же металла конями золотой трезубец, а на конские

скользкие спины в изобилии лилась вода шумного водомета. Потом, удостоверившись, что никто не следует за ним, евнух вел князя все к той же железной калитке в стене обширного царского сада. Молодой князь был захвачен этой женской страстью; никогда ему еще не приходилось испытывать, чтобы любовница отдавалась с таким пламенным желанием и в то же время с целомудренной стыдливостью. Она была как жена, а не потаскушка. Впрочем, удовлетворив свою плоть, Олег засыпал и храпел до первых признаков зари, не подозревая, что женщина часами смотрела на него, подняв над головой возлюбленного светильник, как Психея над спящим Эротом. Олег даже не знал, как ее зовут. Когда же приходило время расставания, она будила Олега осторожными прикосновениями для последних поцелуев. За дверь уже поджидала князя служанка, чтобы вывести его из сада... Покидал он царские цветники другой дорогой, проходя не в калитку, а через огромный дворцовый двор, так как в первом часу дня, то есть на рассвете, служители уже отпирали все ворота и двери, всюду взад и вперед ходили люди и никому в голову не приходило спросить у князя, откуда он возвращается в такое раннее время...

Неожиданное приглашение во дворец заставило Олега позабыть даже о приятных ночных свиданиях и всколыхнуло в его душе великие надежды. Халкидоний, как мог, объяснил князю, что так приглашают не на торжественный выход василевса, а для личной беседы, чего достаиваются только владетельные особы или самые избранные люди. Обычно после такого приема царь приглашает счастливца к своему столу.

Халкидоний задумчиво перебирал жесткие волоски бороды, напоминавшей своим цветом адскую смолу. Что означало подобное приглашение, спрашивал он самого себя. Кто знает, может быть, в самом деле звезда нового владыки руссов уже восходит на небосклоне? В таком случае достигнет благополучия и мало чем примечательный переводчик, которому вместо высокой награды, вместо звания протоспафария только выдали из царской сокровищницы десять золотых.

В тот знаменательный день дворцовые служители церемонно поклонились Олегу и просили следовать за собою. Покой был тихий, даже таинственный. Никифор Вотаниат принял русского князя, восседая на малом троне и без диадемы, в одном скарамангии из мягкой серебристой ткани с широкой золотой каймой по подолу. Олег вскинул на него глаза и убедился, что вблизи, без фимиама и роскошных одеяний, осыпанных драгоценными камнями, царь мало чем отличается от обыкновенных людей. Перед ним сидел немолодой человек с широким одутловатым лицом, на котором прежде всего обращал на себя внимание крупный мясистый нос. Редкая седеющая борода неопределенного цвета росла на этом бледном лице таким образом, что оставляла целиком не покрытыми растительностью щеки и подбородок с ямочкой. У царя были скучающие глаза. Все существо Никифора, его поза и улыбка передавали привычку терпеливо выполнять свои царские обязанности и в то же время полную уверенность в важности этого священнодействия для всего мира. Впрочем, такие подробности отметил бы наблюдательный глаз какого-нибудь историографа вроде Михаила Пселла или вдумчивого стихотворца, как Феодор Продром. Олега же больше всего поразили царские пурпурные туфли, вышитые жемчужными крестиками, как у богородиц на иконах.

Трон был с прямой спинкой, обитый серебряной парчой. Его украшали наверху два павлина, искусно отлитые из серебра. По правую руку царя стоял логофет, по левую — еще один евнух, толстый и взиравший перед собою с широко открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. Позади трона выстроились в ряд шесть или семь царедворцев в красных и белых хламидах, с присвоенными их званию золотыми украшениями. Все, за исключением логофета, знавшего себе цену и давно уже привыкшего ко всякого рода церемониям, с любопытством смотрели на архонта. Несмотря на некоторое свое смущение, так как Олег увереннее чувствовал себя на коне в половецких степях, чем в этих душных палатах, он тем не менее принял независимый вид, напоминая всем, что он не последний князь на Руси и родственник Бориса и Глеба, предстоящих у престола всевышнего, а ведь не у каждого были

свойственниками святыне. По своему легкомыслию он по дороге во дворец успел выпить вина, хотя Халкидоний упрасивал его не делать этого.

Олег низко поклонился царю, как его учили. Чтобы избежать затруднений в отношениях с упрямыми скифами, в константинопольских дворцах во время царских приемов не требовали от них коленапреклонений и земных поклонов, ибо это только создавало вечные пререкания и замешательство во время церемоний. Василевс молчаливым кивком головы ответил на приветствие. Олег снова уставился на него и, не зная, куда девать руки, уцепился за свой пояс с золотыми звездочками. Он ждал вопросов, как ему было сказано перед приемом. Халкидоний не был допущен в тайную палату и остался вместе с другими низшими чинами в переднем покое. Его обязанности исполнял на этот раз толстый евнух, стоявший у трона с заранее открытым ртом.

Впрочем, беседа была краткой и незначительной. Собственно говоря, все уже логофет предрешил заранее, и прием только освящал принятое решение, чтобы отметить его на пергамене и получить подпись русского архонта в торжественной обстановке. Решение же заключалось в том, что василевс обещал русскому архонту звание куропалата и помощь в борьбе за киевский престол, а тот в свою очередь признавал себя в подчинении царю во всех важных государственных вопросах.

Сердце у Олега стучало, когда он подписывал это обязательство, спрашивая себя, не предатель ли он своей земли. Но все было так смутно вокруг. Греки улыбаались ему. Князю также сообщили, что осуществление этого благочестивого предприятия откладывается до более благоприятного времени и что царю хотелось бы, чтобы он скрепил соглашение браком с Феофанией Музало. Это делалось для того, чтобы еще ближе приобщить князя к греческому делу, а более подходящей невесты найти не удалось. Вот почему среди стоящих за тронном царедворцев Олег увидел и Феодора Музалона, сиявшего от счастья, что наконец-то и он очутился среди немногих избранных.

Со скучающим видом, но любезно улыбаясь, царь задал архонту еще ряд мудрых вопросов. В частности, спросил, что ему больше всего понравилось в Константинополе. Олег ответил, что особенно произвела на него впечатление церковь Софии. Василевс вежливо кивал головой. Спросил также, видел ли архонт в своих пределах ту огромную гору, за которой по ночам прячется солнце, а утром снова выходит на небо, чтобы освещать вселенную, и был крайне удивлен, что Олег никогда не видел такой горы. Наконец логофет поднялся на кончики пальцев, прикрыл рот рукой и что-то шепнул царю. Тот кивком головы отпустил архонта, не решаясь протянуть ему руку для поцелуя, ибо знал, что этот надменный воин отказывается лобызать руку даже епископам. Все это, конечно, произвело неблагоприятное впечатление на присутствующих, но царедворцы утешали себя тем, что с варварами вообще трудно соблюдать правила ромейского церемониала. Однако русский князь был нужен для выполнения грандиозного государственного плана и поэтому с ним возились, как с избалованным ребенком. Во всяком случае, Олег вздохнул с облегчением, когда прием закончился и препозит, похожий в своем придворном одеянии на епископа и закрывавший глаза от сознания важности того, что он говорил, сообщил князю об особом расположении к нему царя. Переводчик пересказал его слова:

— Благочестивый приглашает тебя к своей царской трапезе.

Олега повели в ту палату, где предстоял обед в присутствии царя. Князь с удивлением рассматривал обширные залы, где в течение многих лет были собраны редкие сокровища. Над головой висели тяжкие серебряные паникадила, на стенах переливались всеми цветами радуги мозаики, колонны были то розовые, то зеленые. Повсюду сияло золото. У дверей стояли в прекрасных кольчугах рослые варяги. От переводчика князь узнал, что многие из них родом с того самого туманного острова, откуда приехала на Русь зеленоглазая супруга Мономаха.

Стол для царской трапезы был устроен в виде буквы Покой. Его покрыли парчою, а поверх положили льняное белое покрывало, чтобы предохранить драгоценную ткань от жирных пятен и пролитого вина. В палате уже теснились приглашенные и какой-то дворцовый чин со списком в руках, в который он время от времени озабоченно заглядывал и что-то отмечал на нем ногтем. Этот человек указывал всем на отведенные им места с настойчивыми просьбами не садиться за стол до появления василевса. Олег посмотрел вокруг себя. Его место оказалось не из последних, за главным столом, видимо не очень далеко от царя. На столах уже стояли серебряные чаши и румяные пшеничные хлебцы в плетеных корзинах. Царя и царицу ожидали седалища наподобие тронов, прочих — низкие сиденья, без спинок, но с мягкими парчовыми подушками. В ожидании выхода царя гости тихо переговаривались между собой, обсуждая подробности приема или последние дворцовые новости. Видимо, многие завидовали Феодору Музалону, а он уже принимал высокомерный тон в разговорах с собеседниками. Слуги суетились с другой стороны стола, ставили на него блюда, натывались один на другого в этой тесноте и спешке, и ими руководил тот румяный черноробордый человек, который указывал места. Это был начальник пира.

Олег кое-кого знал из присутствовавших. Переводчик, не отстававший от него ни на один шаг, охотно показывал князю прославленных царедворцев.

— Видишь, стоят два молодых воина? Это братья Алексей и Исаак из рода Комнинов. Первый из них совсем еще юноша, у него борода не успела как следует вырасти на подбородке, а он уже одержал многие победы над врагами и ныне назначен великим домашником.

Олег кивал головой. Алексей показался ему представительным человеком, не очень высокого роста, но соразмерной полноты. Глаза у Алексея огибали черные брови. Он смотрел из-под них одновременно и строго и кротко. Горделиво, не поворачивая головы, великий домашник кидал взоры то направо, то налево, улыбался сдержанно и таил в себе какие-то мысли.

Евнух шептал Олегу:

— На коне он еще более величествен, чем пеший.

— А другой брат?

— Он старше его, но уступает Алексею в разуме и воинской доблести.

Исаак действительно не обладал таким выразительным лицом, как его младший брат, был менее уверен в себе и молча ждал со склоненной на плечо головой, когда начнется обед.

Рядом с Олегом находились еще два знатных мужа. Оказалось, что они родом из славянских земель и говорят на понятном языке, что очень обрадовало русского князя. Он узнал, что одного зовут Борил, другого — Герман и что оба всемогущие любимцы царя. Как и все остальные, они были в длинных греческих одеяниях, без плащей, и Олег заметил, что многие с любопытством рассматривали его красную рубаху с золотым оплечьем.

Наконец огромные двери растворились словно сами собою, хотя створки толкали невидимые руки приставленных к этому людей, и в палате появились силенциарии, на обязанности которых восстанавливать тишину перед появлением священных особ. Они постучали серебряными жезлами о мраморный пол, и тотчас все разговоры смолкли.

— Преклоните главы ваши! Се грядет благочестивый! — крикнул один из силенциариев.

Склоняясь, присутствующие обратили взоры в сторону царя и царицы. Незримый хор возгласил многолетие. За царственной четой двигались попарно приближенные женщины царицы и евнухи.

Равнодушно окинув взглядом собравшихся, Никифор направился к своему месту. На нем был все тот же серебряный скарамангий, из-под которого виднелись пурпуровые башмаки. Царица носила одеяние из голубой ткани с золотом. Эта высокая и стройная женщина отличалась большой и редкой красотой, с очень белым и как бы посыпанным мукою лицом. Она милостиво улыбалась. Те, на кого она обращала свои взоры, тоже невольно расплывались в улыбках. Но Олегу показалось, что царица особенно внимательно и даже с какой-то нежностью посмотрела на Алексея, юного domestика, и тот едва заметно склонил голову. Вслед за царем и все остальные стали поспешно занимать свои места, и тотчас после положенных молитв слуги начали предлагать яства, а виночерпий следил за тем, чтобы чаши не оставались пустыми. Вино здесь разбавляли теплой водою из серебряных сосудов, и Олег мысленно обругал греков за этот обычай.

По правую руку от царя сидели вельможи, по левую, со стороны царицы, — приближенные женщины. За спинами у приглашенных стояли служители и евнухи, а на пустом пространстве, образованном тремя столами, суетились слуги, передавая из рук в руки яства. Олег с любопытством наблюдал, как двое из них принесли на огромном блюде розоватую рыбину, украшенную всяким овощем, и тот, что шел впереди и двигался спиной вперед, все время со страхом оборачивался, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Но больше всего, конечно, привлекала внимание князя царская чета, хотя он ничего не мог обнаружить, кроме того, что у царя по-прежнему был вид скучающего человека, а царице тоже, по-видимому, надоели подобные трапезы, и она почти не прикасалась к пище. Но Олег опять заметил, что она бросила быстрый взгляд в сторону Алексея и улыбнулась, склонившись над серебряной чашей, а он опустил глаза, и румянец вспыхнул у него на щеках.

Сидевший рядом с Олегом царедворец по имени Борил тихо задавал ему вопросы о том, что творится на Руси. Потом князь в свою очередь спросил:

— Алексей, знатный воин, что сидит рядом с царем...

Но Борил даже не дал Олегу договорить и перебил его:

— Картавый?

Услышав речь молодого красавца, князь убедился, что сосед не лжет.

— Что ты хотел спросить?

— Говорят, он царского рода?

— Царского рода? Все они придумывают такое. Но верно, что он близок к царскому дому и к нему благоволит царица. Что ты хочешь? Наш царь уже в летах, а она цветет. Впрочем, порой и старцев утешает на склоне лет нежная любовь...

Борил что-то недоговаривал, он хмуро косился на Алексея.

Стоявший за спиной Олега евнух, тот самый, что выполнял на приеме обязанности переводчика, может быть, услышал слова Борила, и они ему сказали более, чем князю, потому что поспешил перевести беседу на другую тему и шепнул архонту:

— А не приходилось ли тебе видеть сына царицы Константина?

Олег сказал, что не приходилось.

— Жаль! Если бы ты видел его! Красавчик! На днях ему исполнилось семь лет. Весь в мать: по цвету волос — белокур и так же румян, белолиц. Он точно распустившийся розан. Голубые глазки Константина сияют точно из золотой оправы. Так изображали древние Эрота...

Олег не знал, кем был Эрот, и постеснялся спрашивать объяснений.

Борил вздохнул:

— Но что ждет этого младенца?

Вдруг Олег встретился глазами с одной из приближенных женщин, сидевших по другую сторону, за третьим столом. Она отличалась от других благородством осанки, милой улыбкой, никому в частности не предназначенной, маленькими белыми руками, которыми она пыталась закрыть свое лицо, якобы поправляя непокорную прядь рыжеватых волос. Перед нею лежал хлебец и на серебряной тарелке кусок рыбы. Но молодая женщина не притрагивалась к еде. Ее что-то так взволновало, что ей было не до этого, и самое удивительное для Олега заключалось в том, что это была не кто иная, как его пламенная любовница, которую он еще вчера посетил в царских садах, ушел от нее на утренней заре, едва вырвавшись из жарких объятий. Вероятно, рыжеволосая красавица уже давно увидела за столом Олега и никак не ожидала встретить его здесь, потому что взор ее блуждал растерянно, а щеки то пылали внутренним жаром, то бледнели как снег. Она кусала губы, и один раз василевс даже подозрительно посмотрел на нее, не понимая, почему эта женщина, всегда такая сдержанная, так волнуется. Даже кусает губы. Но в конце концов она справилась со своим волнением и стала тихо разговаривать с соседкой.

Василевс окинул хмурым взглядом столы. Хотя он сделал это неизвестно по какой причине, но гости подумали, что ему докучают разговоры, и умолкли. Наступила тишина, и тогда еще слышнее затарахтели ложки. Царская трапеза была скорее символической, чем насыщающей человека, который любит покушать. Посреди стола лежала та самая рыба, которую с трудом принесли два служителя. Сам начальник пира отрезал от нее куски, и слуги разносили их указанному ножом гостю. Ее заменили корзины с яблоками. В заключение подали сладкое: в сосудах, которые обносили по столам, благоухало медом хитроумное варево из орехов, сушеного винограда, смокв и вина, сдобренного имбирем и гвоздикой. Олег видел, как его возлюбленная, уже несколько успокоившаяся, положила себе на тарелку немного этой смеси и, склонив трогательно голову, ела ее без большой охоты золотой ложечкой. На красавице было пышное одеяние, почти такое же, как у царицы, — так называемое одеяние препоясанной патрикии, с лором, или узкой парчовой полосой, сложно обвивавшей ее стан, грудь и плечи. Она теперь не смотрела больше в сторону Олега.

Прикрывая рот рукою и невольно косясь на царя, князь спросил шепотом склонившегося к нему евнуха:

— Кто эта женщина?

— Какая?

— Та, что в зеленом одеянии. Рыжая.

— Евдокия.

Олег поопасался расспрашивать здесь о дальнейшем.

Обед пришел к концу. Царь и царица встали и, поклонившись, покинули трапезную палату. Отодвигая сиденья, гости тоже вставали из-за стола. Олег торопился это сделать, чтобы успеть поближе подойти к своей рыжеволосой возлюбленной. Он уже знал несколько греческих слов и хотел с нежностью приветствовать ее. Такая любовь облагораживает даже злых и жестоких. Но женщина вместе с другими ушла за царицей во внутренние покои, не обернувшись на него.

Возвращаясь домой вместе с поджидавшим князя у дворцовых ворот Халкидонием, Олег

спросил:

— Скажи мне, кто такая Евдокия?

— Евдокия? Вероятно, ты говоришь о патрикии, что могла сегодня сидеть за царским столом?

— О ней.

Спафарий стал задумчиво ковырять в носу.

— Разве ты не знаешь? Возлюбленная царя.

От изумления Олег остановился.

— Что с тобой? — в свою очередь спросил Халкидоний князя.

— Но ведь царица прекрасна лицом!

— Кто знает, может быть, у другой есть такие качества, каких нет у царицы.

Они направились в сторону церкви св.Фомы.

— Да, — продолжал спафарий, — дочь простого садовника, а вот куда вознесла Евдокию женская судьба. Благочестивый оковал ее, как драгоценную жемчужину, в золото и серебро, оградил от простых смертных. Только изредка видим мы ее на Ипподроме. Но расскажи, что происходило на приеме и в трапезной палате...

14

В конце концов, встреча Олега с Евдокией на царском обеде ничего не изменила бы в их тайных свиданиях, даже могла бы еще больше разжечь пламя страсти, но произошли некоторые события. Во дворце считали, что случившееся в дальнейшем было явным упущением Халкидония, за что он и понес заслуженное наказание. Однако можно сказать, что и городской эпарх, как в Константинополе называют градоначальников, на обязанности которого лежит наблюдение за порядком и особенно за поведением временно проживающих в столице чужестранцев, оказался в данном случае не на должной высоте. Он отлично знал о любовных похождениях Олега, так как Халкидоний ежедневно докладывал ему о каждом шаге русского архонта; тем более что сам князь любил за чашей вина похвастаться своими победами и без большого стеснения описывал достоинства любовниц, иногда принадлежащих к высшему обществу. Однако с государственной точки зрения эти ночные приключения знатного пленника казались малопредосудительными проказами, и когда спафарий докладывал о них эпарху, тот равнодушно зевал. Видя безучастное отношение со стороны высших властей к своим донесениям и почему-то считая, что новое знакомство Олега тоже не имеет большого значения, спафарий не спешил сообщить об этом градоначальнику и даже не сопровождал князя в ночных прогулках, а сам Олег теперь стал помалкивать о своих подвигах, и казалось, что тут его успехи невелики. Одним словом, все это уже достаточно надоело Халкидонию. Но кто же мог предполагать, что священное ложе василевса осквернит та, которую он осыпал не только жемчугом, но и всеми знаками царственного внимания, какие только могут излиться на дочь простого садовника. Евдокия получила высокое придворное звание, ей предоставили право присутствовать на приемах императрицы. Кроме того, к ней определили учителем образованного евнуха, и он приохотил красавицу к чтению поэтов. Наконец, эту красавицу, оказавшуюся столь неблагодарной,

поселили в самом дворце, отвели для нее мраморный дом в тех самых царских садах, где она в ранней юности полола цветники и где однажды увидел ее василевс, совершая утреннюю прогулку. Впрочем, во время личных докладов императору эпарх намекал, склоняя мощную шею и поводя выпуклыми глазами в розовых жилках, что как будто не все обстоит благополучно в самой ограде Священного дворца. Большого он не смел сказать. Соглядатаи доносили, что какие-то тени проскальзывают порой во мрак и тишину царских садов, но никого до сих пор не удалось схватить, и у эпарха не было в руках никаких доказательств. Поэтому он выражался довольно туманно во время докладов, чтобы не сказать лишнего и не ошибиться и в то же время оправдаться в случае каких-нибудь непредвиденных открытий. Мол, обо всем было доложено своевременно. Но когда благочестивый спрашивал эпарха, не заметил ли он крамолы в городе, тот отводил взор в сторону и бубнил:

— Ничего не оставляю без внимания, и если что-либо открою, незамедлительно доложу твоей святости. Разве можно быть уверенным в преданности даже осыпанных твоими благодеяниями.

— Тебе известно что-нибудь? — настораживался василевс.

Но эпарх уклонялся от прямого ответа.

— Твоя святость может спать не опасаясь. Как пес, я охраняю твой покой.

Василевс двигал олимпийскими бровями. Это считалось признаком, что благочестивый недоволен. Но сказать ему все, не имея в своем распоряжении ничего определенного, эпарх опасался. Он как бы плясал на вулкане, по собственному опыту зная, что красивая женщина легко может уверить влюбленного в своей невинности и вообще в чем угодно. Слабому полу дана огромная власть. Она заключается в дурмане любовных ласк. Недаром жену называют исчадием ада. Как змея, она способна соблазнить любого добродетельного старца. Когда же раскрывается обман, то, даже пойманная на месте преступления, она лепечет первое, что ей приходит в голову, и если супруг не в силах устоять против бесовских чар, то самый мудрый верит словам обманщицы, как последний глупец.

Эпарх шептал:

— Мои глаза и уши повсюду. Обещаю удвоить бдительность и еще яростнее разоблачать козни твоих врагов и недоброжелателей.

Он надеялся, что не сегодня-завтра у него будут существенные доказательства измены той, которая так вознеслась и взошла такой прекрасной звездой на ромейском небосклоне.

Очередную записку Олег получил вскоре после памятного дворцового обеда, и опять Халкидоний, переводя послание, не высказал никакого опасения. Встреча же обещала быть еще более заманчивой. Теперь нетрудно было догадаться Олегу, что подобные развлечения грозили смертью или ослеплением. Но упрямый князь не хотел ни о чем задумываться и с нетерпением ждал наступления темноты. На этот раз местом встречи с евнухом был указан глухой переулочек за Ипподромом. Никогда еще князя не звали прямо к железной калитке, очевидно опасаясь, что он не будет достаточно осторожен.

Когда повеяло ночной прохладой, Олег вышел за ворота. Над городом восходила луна. Как обычно, к архонту подошел теперь уже знакомый ему евнух, прятавшийся где-то в тени, и повел взволнованного любовника к садовой калитке, все время оглядываясь по сторонам и порой даже увлекая Олега за рукав в темный уголок. Каждый раз они шли к царским садам новой дорогой, и перед калиткой старичок долго проверял, нет ли кого-нибудь поблизости.

Вот и знакомая калитка... У Олега сильнее застучало сердце... Но едва евнух отворил железную дверцу и перешагнул через порог одной ногою, как вдруг остановился, не

осмеливаясь войти в сад, и стал прислушиваться. Потом быстро повернул нетерпеливого князя лицом к городу и стал шептать, чтобы тот немедленно уходил. Так можно было понять по его искаженному от страха лицу. Между тем Олег уловил в тишине сада какое-то движение.

— Беги! Беги! — казалось, говорил евнух и захлопнул калитку перед самым носом князя.

Олег остался в одиночестве. А со стороны Софии уже слышался топот ног. Оттуда бежали воины, и один из них высоко над головой держал смолистый факел. При его свете блеснуло оружие.

— Лови его, лови! — донеслись крики.

Олег бросился в противоположную сторону. К счастью, в это мгновение черное облако закрыло луну, и, пользуясь темнотой, князь побежал, как олень, преследуемый псами. Молодые ноги в несколько минут донесли его до пристани. Там он присел за вытащенную на берег ладью и выжидал некоторое время. Вдали слышались грубые голоса. Очевидно, его искали около садов. Но так как Олег уже несколько ознакомился с расположением улиц в этой части города, то мог без особенного затруднения в ночное время найти дорогу к своему дому. Он поднялся от пристаней по узкому переулку и, далеко обогнув опасные царские сады с противоположной стороны, никого не встретив на своем пути, кроме пьяных корабельщиков, благополучно добрался до церкви св. Фомы. У ворот, как всегда, его поджидал Борей.

Уже некоторое время тому назад беглый холоп явился в дом с мраморным орлом над воротами и просил господина взять его к себе, видимо надеясь, что с помощью князя ему будет легче вернуться в русские пределы. Олег мог уплатить родственникам убитого боярина возмещение или просто прекратить судебное преследование. По просьбе князя Халкидоний устроил Борей в доме архонта, и новый слуга сменил свои отрепья на чистую белую рубаху и штаны. Последнюю принадлежность мужской одежды подарил ему Олег, вместе со старыми сапогами из желтой кожи. Отныне Борей поручили охранять вход в княжеское жилище, и он стал выполнять всякого рода поручения, довольный, что может теперь объясняться на русском языке. Олег, считавший равными себе только людей княжеской крови и на смердов смотревший почти как на бессловесный скот, был до такой степени потрясен случившимся с ним в эту ночь, что опустился на каменную скамью рядом с холопом, не обратив внимания, что Борей даже не потрудился снять шапку с головы. Князь не знал, что такое страх, хотя порой и спасал свою жизнь бегством с поля сражения. Не очень беспокоила его и участь Евдокии. Ведь женщины легко выворачиваются из беды и, как кошки, всегда падают на ноги. Его огорчало лишь то, что он лишился огненных ласк. Не склонный разбираться в запутанных житейских обстоятельствах, князь все-таки задумался, как ему поступить теперь. Он спросил:

— Никто не искал меня?

— Никто.

Борей почел приличным продолжать разговор.

— Теплая ночь, — сказал он, глядя на луну.

— Теплая, — согласился князь и вытер рукою пот со лба.

— Дождь будет.

Олег ничего не ответил.

— В такую ночь на Руси грибы растут в дубравах.

Но князь ушел спать.

Уже на утро, в первом часу дня, то есть как только стало светать, о событиях в царском саду доложили василевсу, хотя епарх вынужден был сообщить со страхом, что, к сожалению, нарушитель священной тишины скрылся под покровом ночного мрака.

— Его ищут и, наверное, найдут мои люди. Кроме того, в эти минуты палачи допрашивают евнуха Елизара, — уверял царя градоначальник.

Во всяком случае, сомнений в измене любимицы быть не могло, и гневу благочестивого не было предела. Он чувствовал себя оскорбленным в лучших своих чувствах. Кому же доставляет удовольствие, что над твоей любовью надсмеялись самым постыдным образом. Вскоре евнух, приставленный блюсти чистоту царской наложницы и презревший повеление василевса из-за чрезмерного сребролюбия, признался под пыткой огнем и выдал не только свою госпожу, но и ее любовника, каким оказался русский архонт, тоже осыпанный милостями царя.

В первые мгновения василевс решил прибегнуть к самым жестоким наказаниям — сослать неверную на отдаленный остров, заковать в цепи соблазителя, оскотить или на всю жизнь сделать гребцом на галере. Вероятно, он не переживал бы так свое несчастье, даже если бы виновницей оказалась сама императрица. Его разум помутился на некоторое время от красоты Евдокии. Но воспоминание о греховном теле ее взяло верх над всеми грозными решениями. Никифор захотел выслушать оправдания изменницы. Так утопающий цепляется за соломинку. Когда же он явился к Евдокии, еще нежившейся в постели после ночных волнений, стал горько упрекать ее и нечаянно прикоснулся к ее ногам, любовь овладела царским сердцем с новой силой. Что касается архонта, то логофет начал издали доказывать василевсу, уже несколько успокоенному поцелуями любовницы, что исключительно важные интересы ромейского государства требуют в данном случае особенной осмотрительности. Евнух вздыхал, но настаивал на своем. Необходимо было, по его словам, довести до конца грандиозный план овладения огромными скифскими пространствами. Первый шаг для этого — брак архонта с Феофанией Музалон.

Лежа рядом с искренне раскаявшейся возлюбленной, Никифор подумал, что такое решение было бы самым чувствительным наказанием для обманщицы за его попорченную любовь. Кроме того, помешало бы ей предпринять попытки снова встретиться с ненавистным ему скифом. Василевс повелел принять необходимые меры для совершения этого брака, и логофет брал на себя устроить все самым естественным образом. Впрочем, Олегу ничего не оставалось при данных обстоятельствах, как дать свое согласие. Магистр Феодор Музалон ликовал, узнав об открывшейся перед ним блестящей будущности, а у маленькой Феофании ноги подкашивались от волнения. Бедняжка знала о том, что послужило причиной ее счастья, но закрывала уши от всех материнских предостережений. Наделенная большим жизненным опытом, Стефанида страшилась за судьбу дочери, попавшей в круговорот таких опасных событий.

К счастью, никаких церковных осложнений с подобным браком не предвиделось, и свадьбу отпраздновали на другой же день, как этого пожелал император, и молодых супругов повенчал сам патриарх, что вполне соответствовало будущей роли русского архонта и обещанного ему звания. Но опасения матери оправдались. Когда василевсу стало известно, что охваченная отчаяньем Евдокия не выдержала любовных мук и послала свою рабыню к Олегу и записку ее, составленную в самых нежных и страстных выражениях, перехватили, то припадок царского гнева повторился с еще большей силой. На этот раз несчастную действительно отправили в отдаленный монастырь. Крутые меры повелели принять и по отношению к архонту, хотя в данном случае он был ни при чем. Олега вырвали из объятий молодой супруги на третью ночь их брачной жизни, но Феофания цеплялась за возлюбленного мужа, и их увезли вдвоем, потому что она решительно отказалась оставить его, несмотря на уговоры матери. Халкидония послали на армянскую границу начальствовать над воинами одинокой полуразрушенной башни, запиравшей горный проход, на тысячу

стадиев от которой не было ни церкви, ни харчевни, ни человеческого жилья, если не считать немногих пастушьих хижин. Эпарха лишили занимаемой должности и всех царских милостей. Но эти кары не коснулись Борея, и он умудрился сопровождать своего князя в ссылку, успев за эти дни привязаться к Феофании, всегда с ласковой улыбкой обращавшейся к огромному скифу. Тяжелый черный дромон захрохотал якорной цепью, паруса его наполнились ветром, по данному знаку гребцы налегли на весла, и быстроходный военный корабль понес молодую чету в изгнание. Только в последнюю минуту им стало известно, что дромон направляется на остров Родос. Олег понимал, что он бессилён предпринять что-либо для своего освобождения. Для Феофании же самым важным было не разлучаться с супругом. В порыве любви она прижималась к нему и лепетала что-то, простив легкомысленному красавцу все его грехи и утешая в постигших его испытаниях, благодарная за открытый ей мир страсти.

Василевс постарел за эти дни на несколько лет и временно передал бразды правления евнуху. В доме Музалонов царило уныние. Напрасно магистр Феодор обивал пороги всевозможных секретов, пытаясь смягчить участь зятя или хотя бы возвратить под отеческий кров ни в чем не повинную Феофанию. Неудачливому честолюбцу отвечали уклончиво, что логофет дрома в настоящее время чрезвычайно занят, и просили навеститься в ближайшее время, но в назначенный день и час для приема оказывалось, что всеильный царский советник только что отбыл в свой загородный дворец, чтобы отдохнуть там от государственных трудов, или придумывали какую-нибудь нелепую отговорку. Магистр плелся домой, чтобы выслушивать упреки и плач убитой горем супруги.

В то время Олег и Феофания уже приплыли на Родос. Следует сказать здесь, что остров уже давно растерял свою древнюю славу: морские пути, тянувшиеся раньше сюда со всех сторон, потеряли прежнее значение. Торговля его приморских городов замерла. Корабли не наполняли больше его некогда шумные гавани. Кроме того, островитяне жили в вечной тревоге перед сарацинскими набегами. Но по-прежнему родосский климат напоминал о рае, всюду здесь росли лавр и мирт и благоухали травы.

Этот остров весьма горист и весь изрезан руслами рек, наполненных водою и бурных только в период зимних дождей, в остальное же время превращающихся в ручейки, что быстро текут по белым камням. Среди голых скал и камней зеленеют рощи морских дубов и цветут плодородные равнины. Жители разводили в те времена тонкорунных овец и коз и возделывали на солнечных холмах виноградную лозу, — вино, выжатое из этих тяжелых пурпурных гроздий, отличалось превосходным вкусом и ароматом. В большом количестве произрастали здесь оливковые деревья и смоковницы.

Олегу с женой и его спутникам было назначено жить в городе с одноименным острову названием, в старом монастыре, расположенном на склоне горы св. Стефана, обращенной более или менее отлогим скатом к морскому берегу. Наверху высились развалины языческого храма, и несколько его колонн еще возвышались на синеве небес, а внизу раскинулся тихий городок с белыми домами под черепичными крышами, и туда вела из монастыря приятная тропинка. Еще ниже виднелась пристань, в которой стояли два или три корабля, пришедшие из Константинополя, а дальше уже простиралось необозримое морское пространство, и голова кружилась от этой бесконечности у Феофании, когда она спускалась, молодая и влюбленная, по горной тропе в город.

Городок жил неторопливо, люди занимались маленькими делишками и, вероятно, почитали бы себя счастливейшими из смертных, если бы не тревога перед сарацинами и не усердие царских податных сборщиков, всеми средствами выжимавших налоги и пошлины. На узких улицах едва могли разойтись два встречных осла, нагруженных корзинами со смоквами или амфорами с прохладной водою горного источника. На местном базаре продавали розовых рыб, всякие морские раковины, козий сыр и виноград. Вместо хлебов жители пекли лепешки, и этого было вполне достаточно, чтобы поддержать человеческое существование.

В монастыре, уже давно превращенном в маленькую крепость и оставленном монахами, ютились три десятка воинов под начальством однорукого сотника Мелетия, пьянчужки, совершенно равнодушного к воинской славе ромея. Все эти доблестные сыны Ареса по большей части проводили время на городском базаре или в таверне под громким названием «Звезда Камира», так как ее толстопузый хозяин был родом из этого селения, расположенного на северном берегу острова. Вместе с воинами в крепости обитали их крикливые и хозяйственные жены, и бывшие монашеские келий были полны черномазых и полуголых детей.

Олегу отвели полуразрушенный дом, в котором раньше жил настоятель. В его пустынных палатах еще виднелись кое-где на стенах остатки облупившейся росписи.

Вместе с князем в ссылке очутился и неунывающий Борей, а бедного Халкидония заменил новый соглядатай и переводчик по имени Иоанникий, родом болгарин. Он стоял на самой низшей ступени иерархической лестницы, состоял в звании кандидата, но носил титул не без гордости. Он тоже был большим поклонником Бахуса, как говорили о пьяницах языческие поэты, но считался начитанным человеком, так как некоторое время служил у знаменитого патриарха Кируллярия.

Жизнь на острове для Олега и его молодой супруги была не лишена приятности благодаря обилию земных плодов, но не без огорчений. Русскому архонту полагалось известное содержание из Священной сокровищницы, но корабли из Константинополя приходили редко и в неопределенные сроки, поэтому деньги доставлялись с запозданием. Кроме того, переходя из рук в руки, эти и без того довольно скромные суммы таинственным образом еще больше уменьшались, а между тем на них нужно кормить Борей и двух рабынь, так как вместе с Феофанией в изгнание отправились и две ее прислужницы. Впрочем, одна из них, та самая, что однажды сопровождала госпожу в городе, когда Олег встретил Феофанию с матерью, вскоре убежала с каким-то отчаянным корабельщиком, а старая Дула осталась. Приходилось благодарить небеса, что неизменно теплая погода на острове не заставляла думать о меховых покрывалах или о дровах для очага, а варить пищу удавалось с помощью хвороста, кедровых шишек и скорлупы от орехов. Но в зимние месяцы, когда в течение многих дней подряд шумел дождь и по ночам завывал ветер в дымоходе, в старом доме с черными провалинами окон становилось неуютно и горницы наполнялись сыростью и тленом.

Хлеб, овощи, баранину и козий сыр Дула покупала на базаре, и на это не всегда находились средства. Иногда необходимость заставляла отдавать в заклад лихоимцам драгоценности Феофании. Она ничуть не жалела их и говорила с улыбкой своему легкомысленному супругу:

— У тебя нет денег? Так возьми мое ожерелье и продай его. К чему мне оно?

И смеялась, сияющая от женского счастья. Олег уже научился немного понимать детский лепет жены, относился к ней с любовью и не мог не оценить эту нежность, но по ночам в его памяти вставали греховные часы в царских садах.

Борей завел знакомство с местными рыбаками и уходил с ними в море, на рыбную ловлю. По возвращении из лунной ночи эти бедные, но честные люди неизменно выделяли ему часть улова.

На острове длинной чередой тянулись наполненные зноем и скукой медленные дни. Пелицикады. Благоухал лавр. Когда Олег смотрел на зеленое море, или на розоватые скалы, или

на голубеющие к вечеру холмы, покрытые темными рощами, князю казалось, что ему снится тот самый рай, о котором рассказывает Библия. Стоило только поднять взор — и вдруг открывалась зрению все еще непривычная красота гор, манили серебристые оливы, зеленые виноградники. Достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать вкусный плод — смокву или гранатовое яблоко — и утолить голод и жажду. Но с моря веял солоноватый ветер, ласкал теплым дыханием волосы, раздувая русскую рубаху, напоминая, что все это не сонное видение, а земная жизнь. По береговому песку проворно бегали крабы. На горных склонах мирно паслись быки, и среди нагретых солнцем камней всюду извивались и шипели ядовитые змеи.

Внизу, под сенью колонн разрушенного храма, в котором некогда почитали ложных богов, в залитом солнечным светом городке, в домах побогаче жили нотариусы, сборщики налогов и торговцы, а в хижинах, кое-как сложенных из камней, — ремесленники всякого рода, виноградари и рыбаки. Один из местных резчиков по камню сделал для молодой княгини печатку. Он искусно вырезал на сердолике: «Да поможет господь русской архонтисе Феофании Музалон». Этот пышный титул несколько утешал ее, попавшую из беззаботной жизни родительского дома на позабытый богом и василевсом остров. Даже церкви здесь были скромных размеров и бедны священными сосудами.

Жизнь в городе Родосе текла сонливо и медленно. Лишь порой на базаре слышался шум ссоры, если покупатель и продавец не сходились в цене на барана или сосуд с вином. Только изредка улицы наполнялись волнением, когда приходил очередной константинопольский корабль. Люди выбегали из домов и спускались к пристани, чтобы посмотреть на мореходов, приплывших из столицы, и узнать, что они привезли. И тогда они узнали от корабельщиков о смерти василевса.

Олег получил повеление ни под каким видом не покидать отведенный ему для жительства монастырь. За его стены он имел право выходить только в сопровождении вооруженных стражей. Но однурукий сотник часто пил с архонтом вино и, пользуясь его попустительством, а также тем обстоятельством, что в крепости порой не оставалось ни единого воина, так как все они занимались торговыми делишками на базаре, Олег спускался в город и разгуливал в одиночестве везде, где ему нравилось. Странно было смотреть на ушастых ослов, развозивших по городу воду в узкогорлых кувшинах, подвешенных по обеим сторонам хребта. Иногда такой осел вдруг начинал кричать и наполнял ужасным ревом все пространство от языческого храма до пристани. По рассказам стражей, в глубине острова, в дубовых рощах, водились вепри, лисицы и даже олени. Но куда бы князь ни шел, всюду на его пути валялись среди ароматических трав обломки мрамора и шипели ехидны, и все это не походило на Черниговскую землю и половецкие поля.

Зимой, когда Русь засыпало снегом, на острове начинали идти проливные дожди и продолжались до февраля, и тогда звонкие горные ручьи превращались в бурные потоки. Вскоре долины покрывались пестрыми цветами. Феофания плела из них венки, тихо напевая греческую песенку. Не верилось, что в этот час русские дубы покрыты инеем, а люди в Чернигове ходят в медвежьих шубах и ездят на скрипучих санях.

Борей тосковал:

— Не по-нашему здесь живут. Ни ржаного хлеба, ни пенного меда!

С наступлением на острове дождливых дней все спешили спрятаться под благодетельной крышей, а мулов и ослов загоняли под навес. В такую погоду Олег и Феофания проводили время в мрачных покоях монастырского дома. Вероятно, прежние обитатели этого жилища не отличались большой склонностью к постам и воздержанию и соорудили огромный очаг в углу для приготовления пищи. Когда Олег уходил с воинами на охоту и ему удавалось убить вепря, Борей разводил огонь, насаживал на железный прут кровавые куски мяса, и вскоре все

помещение наполнялось едким дымком, смешанным с раздражающим запахом жареной свинины. Сидя на корточках у очага, конюх усердно поворачивал ручку вертела и время от времени поливал жаркое жиром, стекавшим в подставленный медный сосуд.

В ожидании ужина Олег лежал на ковре, подложив под голову шелковую подушку. Так научила его нежиться Феофания. Она сидела рядом и по-прежнему не сводила глаз с любимого. Поблизости от огня разлеглись на красном глинобитном полу две приبلудные собаки. Положив морды между лапами, они порой глубоко вздыхали, терпеливо поджидая, когда будет готова пища, люди утолят свой голод и бросят им вкусные кости.

Как только из монастырского дома начинали плыть во все стороны приятные ароматы, однорукий начальник стражи выходил из своей келий на заросший колючими травами двор и нюхал воздух, стараясь определить, в какой стороне пахнет жареным. Догадываясь, что это пекут вепря, счастливый княжеский трофей сегодняшней охоты, он крякал от удовольствия, предвкушая угощение, и направлялся к дому, в полной уверенности, что получит приглашение к столу.

Мелетий был внушительной наружности воин, но уже полукалека и чрезвычайно ленивый человек. В течение тридцати лет он служил многим василевсам, участвовал в десятках сражений, неоднократно проливал свою кровь, а под Антиохией даже потерял руку и только чудом выжил после ранения, но дослужился только до звания кандидата и был послан на Родос, где ему выпало на долю стеречь русского архонта.

Когда на каменной лестнице раздавались шаги старого воина, собаки вскакивали с пола — сначала одна, а за ней другая, — и шерсть у них на хребтах поднималась дыбом. Они с оглушительным лаем и рычаньем бросались, чтобы разорвать посетителя, а затем возвращались, помахивая хвостами, и с сознанием исполненного долга ложились перед соблазнительным зрелищем. Так собачий лай и запах псины придавал привычную обыденность странной судьбе Олега.

Мелетий опускался на скамью и сообщал самые обыкновенные вещи, — например, рассказывал о том, что на базаре сегодня продавали рыбу по недорогой цене. Сидевший рядом с ним Иоанникий переводил его слова. Потом воин начинал хохотать, глядя на огонь, даже придерживая руками колыхающийся живот.

— Чему он смеется? — спрашивал Олег переводчика.

— Он смеется тому, что ты проколол вепря копьем, а он вращается на вертеле, как живой.

Иоанникий, тоже обычно являвшийся сюда к ужину, был другого склада человек. От него частенько пахло вином, и в этом отношении он мало чем отличался от Мелетия, но он был начинен всякими историями, как сладкий пирог сливами, любил сочинять всякие небылицы и тем снискал любовь Борея. Если бы, например, Иоанникий рассказывал о рыбе, продаваемой на базаре, то оказалось бы, что ее купил повар стратига и, вспоров ей брюхо, нашел во внутренностях номисму или даже написанную на табличке жалобу бедняка на несправедливого судью. Стратиг, не желавший раньше выслушать обиженного, вынужден был теперь прочитать прошение и восстанавливал на земле поправленную справедливость.

Иоанникий тоже с притворным равнодушием ждал, когда ему предложат ломоть хлеба с куском сочного мяса, отдающего желудевой горечью и дымком пахучих трав, обильно посыпанного крупной солью. Челюсти у переводчика приходили в движение, у него развязывался язык, и, запивая пищу густым местным вином, он начинал какую-нибудь занятную повесть. Обильная еда вызывала мысли о голодных. На этот раз история происходила в стране, которую посетил голод.

— Это случилось в селении, где саранча пожрала все посевы. Некий человек сказал своему

сыну: «Чад! Видишь, как мы оскудели? Всем нам грозит голодная смерть. Позволь, я продам тебя. И ты останешься жив, и мы спасемся от гибели». Сын ответил: «Поступи как знаешь». Отец привел отрока к вельможе, и тот, взглянув на красивого мальчика, подумал, что тот будет прилично прислуживать ему за столом, и уплатил за раба что полагалось.

Олег и Борей слушали рассказ с затаенным вниманием. Все это вполне соответствовало истине. Когда случался неурожай, бедняки часто были вынуждены продавать своих детей в рабство. Феофания не понимала языка руссов, но она думала о своем, бледнела от волнения при мысли, что скоро наступит ночь и она останется наедине с супругом в опочивальне. Мелетий тоже не знал русского языка, хотя и смеялся порой без всякой видимой причины. Однако все давно к этому привыкли.

— Отдавая сына вельможе, старец завещал отроку молиться в каждой церкви, которую он встретит на своем пути. И вот что произошло. Однажды молодой слуга увидел, что госпожа творит блуд с другим рабом. Он никому ничего не сказал, но ужаснулся. А госпожа опасалась, что он донесет на нее, и стала так уговаривать мужа: «Этот новый раб злоумышляет против тебя. Не подсыпал ли он яда в твою чашу, когда ты пил вино перед охотой? Разве не почувствовал ты тогда резь в желудке?» Супруг, вернувшийся с лова совсем больным, поверил жене. А она шептала на ложе: «Судья — друг тебе. Попроси его, чтобы он казнил того, кто принесет ему от тебя какую-нибудь вещь, — например, красный плат. Условившись так, пошли с таким даром к судье нового слугу. Потом мы отправим другого раба, чтобы он принес нам голову казненного. Этот вполне достоин твоей награды. Он трудится днем и ночью и всегда готов доставить мне удовольствие».

Олег слушал не без увлечения, но сохранял княжеское достоинство. Зато Борей весь превратился в слух и даже забыл о своих обязанностях повара. Он перестал вращать вертел, и мясо стало подгорать. Олег крикнул:

— Не пренебрегай работой, кухарь!

Борей спохватился, и железный прут снова стал поскрипывать на подпорках.

— Господин послушался злой жены и послал молодого раба к судье, вручив ему красный плат. Но отрок зашел, по своему обыкновению, в церковь, что стояла на его пути, и задержался там на молитве. Между тем уже отправили второго раба за головой того, кого почитали казненным. Этот посланец зашел не в церковь, а в кабак. Там собутыльники сообщили ему, что отрок молится. Раб подумал, что, наверное, получит награду от судьи, если сам отнесет плат, и стал уговаривать юношу: «Ты помолись, а я отнесу судье подарок, а позднее и ты придешь к нему, и мы вместе возвратимся в дом нашего господина». Молодой слуга охотно согласился, и судья велел отрубить голову тому, кто принес платок, как было условлено. А когда явился отрок, ему вручил голову несчастного, завернутую в тряпицу, и он принес ее госпоже, даже не подозревая о том, что несет, и господин с женою были поражены ужасом...

Борей покачал головой. Подобные вещи могут происходить на земле, где все полно случайностей, и ничего чудесного в этом событии не было. Он радовался, что услышал такую поучительную притчу, так как страшная история заставляла подумать о собственной судьбе, а потом снова принимался за свой кусок мяса. Иоанникий, с удовольствием обсасывая пальцы, рассказывал:

— Сегодня я прогуливался в городе и видел, как люди рыли яму, чтобы заложить основание для нового дома. Представьте себе, они нашли в земле мраморную статую какого-то древнего мудреца или законодателя. Это напомнило мне о том, что я прочел в одном сочинении. Якобы в прежние времена на острове стояла огромная статуя языческого бога. Она была так велика, что один палец ее равнялся по величине человеку. Будто бы на отливку

этого истукана пошло пятьсот талантов меди и столько же обыкновенного железа. Его сооружали двенадцать лет. За высоту статуи ее называли Колосс. Правая нога идола стояла на одной стороне входа в корабельное пристанище, а левая на другой, и между ними свободно могли проходить большие морские корабли. Но однажды на острове произошло землетрясение, и статуя упала на землю. Когда сарацины временно захватили остров, их военачальник Моавия разбил истукана на куски и переправил металл в Сирию. Там выставленную для продажи на базаре медь приобрел иудейский купец и нагрузил ее на девяносто верблюдов...

Словоохотливый Иоанникий готов был рассказывать и другие истории, не менее занимательные, но ужин приходил к концу, все вино выпили, и старая Дула уже готовила на ночь постели. Феофания уверяла, что она утомлена и хочет поскорее прилечь. Кандидат и разговорчивый переводчик уходили восвояси, а супруги отправлялись в опочивальню. С некоторых пор положение в этом доме улучшилось, потому что родители Феофании нашли способы помогать несчастной дочери и присылали ей необходимое. Олег спал теперь на пуховой перине. Из окна было видно зеленоватое море. Сладко пахнул лавр. Князю казалось, что он с утра до вечера ест мед.

Так прошел еще один год, и наступил третий. Никто не знал, о чем шепчутся на ночном ложе Олег и Феофания, мешая русские и греческие слова, но в монастыре стали появляться подозрительные странники. Они вели какие-то переговоры с Феофанией и снова покидали монастырь. Все это давно заметили кумушки, занимавшиеся стиркой и пересудами на монастырском дворе, но ни кандидат, ни Иоанникий ничего не замечали, благодушествуя в таверне «Звезда Камира», у старого Киклофора; Мелетий вспоминал свои подвиги, а переводчик рассказывал всем, кто хотел его слушать, неисчерпаемые истории о чудесах и превращениях. Потом неожиданно исчез Борей. Когда удивленный этим обстоятельством Иоанникий спросил архонта о его слуге, ему ответили уклончиво.

— Куда уехал твой слуга? — допытывался соглядатай, и стоявший рядом с ним озабоченный начальник стражи смотрел то на одного, то на другого.

Олег презрительно скривил губы.

— Откуда мне знать? Разве не обычное дело, что рабы убегают от своего господина?

Кандидат и Иоанникий переглянулись и отправились в таверну, чтобы обсудить этот вопрос за кувшином вина. В конце концов, может быть, и не было причин волноваться? Сосланный архонт спокойно проживал в монастыре и не делал никаких попыток к бегству, за что пришлось бы ответить наблюдающим перед высшей властью. Однако в харчевне передавали о странных слухах. Некоторые из посетителей, в том числе таможенные надсмотрщики, утверждали, что прошлой ночью к берегу подошел какой-то черный корабль, долго стоял при лунном освещении, а потом поднял парус и ушел в море, едва лишь занялась заря.

— Сарацины? — с тревогой спрашивал надсмотрщиков Мелетий.

— Или морские разбойники, — объяснял старый Киклофор. — Уже было так раньше. В царствование блаженной памяти Константина, помню, тоже приходил разбойнический корабль и пограбил Камир. Тогда они убили стратига Леонтия.

Но вокруг было так спокойно и тихо, так сияло солнце, что не хотелось утруждать себя излишней мыслительной работой...

Однако спустя некоторое время снова появился в монастыре Борей, так же неожиданно, как и исчез. Иоанникий и Мелетий хотели допросить его с применением пыток, но Олег сказал, что слуга бежал и вернулся, раскаявшись в своем поступке, и поэтому нет никаких оснований наказывать беглеца, и даже пригрозил начальнику стражи и соглядатаю, что Феофания

напишет в Константинополь о неприятностях, какие ему чинят на острове, и царь строго накажет притеснителей. Иоанникию было известно, что в столице считаются с русским пленником и даже неизменно спрашивают о его здоровье, и поэтому он поопасался поступить с Бореем сурово, как в данном случае требовал закон, а ограничился тем, что обо всем доложил стратигу острова. Но, очевидно, здешний райский климат не располагал служителей василевса к большому служебному рвению. Стратиг был еще более ленив и равнодушен к государственной пользе, чем Иоанникий. Разговор длился недолго. Стратиг, ковыряя костяной зубочисткой в зубах, спросил:

— Разве архонт уже покинул остров?

— Не покинул.

— О чем же ты хлопочешь?

— А если он исчезнет как дым?

— Тогда мы и примем соответствующие меры.

— Увы, уже будет поздно.

— Однако не следует и предварять события.

На обед стратигу подавали сегодня мидии, отваренные с чесноком и пахучими травами, и чудесную похлебку из морских рыб. Он совсем не собирался портить себе пищеварение всякими пустяками. Это во-первых. Кроме того, ведь всегда можно найти объяснение любому упущению и составить по этому поводу доклад логофету.

Соглядатай поплелся домой. Но по пути встретил на базаре Борей и опять приступил к допросу.

— Где же ты пропадал столько дней, нечестивец? — спрашивал он, подозрительно осматривая скифа.

Борей неопределенно махнул рукой:

— Там.

— Где там? В Камире?

— В Камире, — охотно согласился Борей, у которого не хватало воображения придумать что-нибудь более правдоподобное.

— Но знаешь ли ты, что стратиг может пытать тебя огнем и железом, чтобы ты открыл истину?

— Не боюсь тебя.

— Князь посылал тебя куда-нибудь?

— Не посылал.

— Ты лжешь. В харчевне говорят, что ты в пьяном состоянии рассказывал, будто путешествовал в Таматарху.

— Ничего не знаю.

— В город, из которого приехал князь Олег.

Впрочем, всем было известно в городке, что Феофания ждет ребенка. Это обстоятельство успокаивало и кандидата и соглядатая. Разве возможно предпринимать что-либо при таких обстоятельствах? Всякое существо на этом острове блистающих звезд и лазури, как любили называть Родос в своих произведениях стихотворцы, мирно занималось своим делом. Даже стражи не столько думали о выполнении служебного долга, сколько о том, чтобы рыбная ловля оказалась удачной и жучок не пожрал виноградные лозы. Все было спокойно вокруг. До заката звенели цикады. В ночном мраке слышнее стрекотали кузнечики. О сарацинах никто ничего не слышал. А между тем начальник стражи и Иоанникий уже находились на склоне своих дней и имели право на отдых после всего, что им пришлось пережить и испытать на жизненном пути.

Возвращаясь с базара в монастырь, Иоанникий заглянул по дороге в таверну старого Киклофора. Там уже сидел Мелетий, предводитель малого воинства, разомлевший от жары. Час обеда еще не наступил, хотя хлопотливая жена, наверное, уже приступила к его приготовлению, переругиваясь с соседками. Подниматься по тропинке в монастырь с каждым днем становилось тяжелее. К чему спешить? Хотелось поговорить о чем-нибудь возвышенном, рассказать еще одну историю, и соглядатая присоединился к однорукому приятелю. Киклофор принес кувшин с холодной, хрустальной водой. Она ценилась здесь чуть не дороже вина.

— Из горного источника, — похвастал старик.

— Что нового на базаре? — осведомился начальник стражи.

— Продают множество куропаток по недорогой цене.

— Почему?

— Обол за пару.

— А рыба?

— Есть и рыба. А о чем говорят в городе?

— Будто бы опять видели черный корабль...

Но в такой жаркий день не хотелось беспокоить себя неприятными предположениями.

16

Дорога, по которой Мономах ехал в Переяславль, выползла на снежную равнину. Изгибаясь как змея, конный отряд стал медленно спускаться по отлогому берегу к скованной льдом реке. Здесь в летнее время действовал перевоз, устроенный по повелению великого князя, а сейчас сама зима построила ледяной мост. Стало холоднее на ветру, и Мономах получше запахнул шубу. Он постарел за последние годы, — может быть, под тяжким бременем государственных забот? Впрочем, немало было у него затруднений и в начале княжения. Когда он сидел в Чернигове, а Олег скитался где-то в греческой земле или обитал на далеком острове, где однажды его видели два монаха из Печерского монастыря, совершавшие паломничество в Иерусалим, страну постигли великие бедствия. Половцы осадили Стародуб. Восстало непокорное племя вятичей. Пришлось усмирять мятежников и гоняться за кочевниками в степях. В одном из этих сражений, вспоминая князь, подремывая в овчинном тепле, он взял в плен двух знаменитых ханов — Асиня и Сакзя, завладел половецкими вежами, взял богатую добычу, коней, верблюдов и рабов. Но опасность не уменьшалась, и

каждый час можно было ожидать нападения со стороны степи. Отец послал его укреплять Переяславль, где беззаботный Ростислав не желал заниматься скучными земляными работами, больше надеясь на острую саблю. Пришлось много трудов положить, чтобы насыпать вокруг города высокие валы, укрепить их частоколом, вырыть ров, срубить грозные бревенчатые башни. Тогда же в городе закончили строительство каменной церкви св. Михаила. Приходилось бороться не только с половцами, но и с бесом. Еще крепко держались в народе языческие предания, всякое суеверие и власть косматых волхвов. Днем как будто все было спокойно на берегах тихих русских рек, где клонились к воде плакучие ивы и трепетали над раkitами синие и зеленые стрекозы, когда же наступала лунная ночь, там, говорят, появлялись зеленоволосые русалки, тревожили ночь серебряным смехом, плескались в речных струях и манили путников в черные омуты. Смерды тайно молились в дымных овинах, целовали сияние месяца на воде, а жены обмывались в корыте и эту воду давали пить своим мужьям, чтобы приворожить их.

Еще один князь погиб от руки убийцы по дьявольскому наущению. Это был Ярополк, сын Изяслава, испытавший на своем веку не менее всяких несчастий, чем его отец. Он тоже скитался по чужим землям и видел Рим. Когда у него вспыхнула вражда с великим князем, Ярополк бежал в Польшу, оставив в Луцке мать и красивую жену, княгиню Ирину, изображенную в греческом наряде на требнике, который приказала написать для себя Гертруды, и в Киеве сохранявшая латинскую веру. Мономах захватил обеих женщин вместе с имуществом и привез в киевский дворец. По прошествии некоторого времени Ярополк помирился с Всеволодом. Наступили мирные дни. Но однажды этот молодой князь ехал на повозке в Звенигород, и его пронзил саблей, спящего, дружинник по имени Нерадец. Князь поднялся, вырвал оружие из раны и воскликнул громким голосом:

— Ох, поймал меня враг...

Но не успел сказать, кого он подразумевает.

Проклятый убийца бежал в Перемышль, а Ярополковы отроки Редко и Вонкина взяли тело своего князя и повезли перед собою на коне во Владимир Волынский, а оттуда в Киев, и навстречу им вышел великий князь со множеством народа. Ярополка похоронили в мраморной гробнице, в церкви святого Петра, которую покойный сам начал строить. Так покинул сей суетный и мятежный свет князь Ярополк, омыв кровью свои грехи.

Страшные небесные знамения устрашали тогда людей. В месяце мае, в 21-й день, солнце сделалось как полумесяц и уже его совсем мало осталось на небе, а потом снова засияло во всей красоте. В тот же год Всеволод и Владимир охотились с дружиной за Вышгородом, в заповедной княжеской дубраве. Едва были закинута тенета и кличане кликнули, чтобы загонять зверя, как вдруг с небес упал огненный змей, и все ужаснулись, спрашивая друг друга, не настал ли уже конец мира. Тогда многие слышали, как земля поколебалась под ногами. Потом в Ростове объявился волхв, но в ту же ночь исчез бесследно, а в древнем городе Полоцке стало твориться невиданное сатанинское наваждение. По ночам на улицах начинался топот и свист, бесы рыскали, словно люди. Жители выходили из своих домов, посмотреть, что происходит, и погибали, поражаемые язвами, и другие уже не осмеливались покидать жилище, а лишь смотрели из оконцев. Были еще иные знаменья. Солнце стояло в огромном круге на небе, и случилась такая засуха, что земля совершенно выгорела, а леса и болота загорались сами собою. От этих пожаров на ночном небосклоне стояло зловещее зарево, и от огня погибало множество зверей и птиц. В довершение несчастья пришли половцы и взяли три города — Песочен, Переволок и Прилуки. В самом Киеве много людей умирало от мора. Продавцы гробов говорили, что только от Филиппова поста до мясопуста они продали семь тысяч домовин.

Вскоре умер и великий князь Всеволод Ярославич. Это произошло на страстной неделе, в четверг. В последние свои годы князь много хворал, совсем ослабел, и, пользуясь его

недугами, молодые дружинники обижали и грабили народ, а старый князь делал вид, что ничего не знает об этом. Когда он окончательно разболелся, то послал в Чернигов за Мономахом, любимым сыном, и в Переяславль за Ростиславом. Владимир тотчас приехал и заплакал, увидев, что отец при последнем издыхании. Когда он скончался, тело великого князя положили под сводами св.Софии, как было завещано Ярославом, и епископ горячо восхвалял христианские добродетели усопшего:

— Сей благоверный князь был с детства боголюбив, оделял бедных и убогих, воздерживался от пития и похоти...

Он еще много говорил об усопшем, и другой епископский голос хвалебно звучал под гулками сводами:

— Он был отличаем отцом своим князем Ярославом, возлюбившим его более прочих детей и повелевшим положить сына рядом с собою...

По зрелом размышлении Владимир решил, что недальновидно садиться на киевский стол, — хотя возможно было это сделать, — жил и здравствовал Святополк, имевший более прав на Киев, который принадлежал его отцу, князю Изяславу, старшему Ярославичу. Поэтому Мономах послал епископа в Туров, где сидел Святополк, чтобы звать его на великое княжение, а сам ушел с молодой супругой в Чернигов. Узнав о смерти старого Всеволода, от руки которого они всегда встречали достойный отпор, половецкие ханы, недовольные, что русские стали преграждать им путь крепостями и нанимать на службу торков и печенегов, снова, как волки, бросились на Русь и обложили со всех сторон Торческ.

Святополк, ободренный прежними победами, решил, что он достаточно силен со своими восьмьюстами отроками, чтобы сразиться с кочевниками. Его дружинники жаждали славы и добычи. Однако бояре посоветовали самонадеянному князю обратиться за помощью к другим городам. Он послушался и послал за Владимиром Мономахом, и тот тотчас пришел на зов со своими воинами. Из Переяславля прибыл с дружиной быстрый на сборы Ростислав.

Эти два брата во многом отличались друг от друга. У них были разные матери и различное воспитание. Владимир вырос среди образованных греческих женщин, не чуждых книжному чтению. В доме Всеволода было много книг, часто приходили послания из Царьграда. После смерти отца Владимир открыл окованный железом ларь, в котором хранились грамоты, стал рыться в нем и читать письма. В одном из них царь Михаил Дука писал киевскому князю:

«Слыша от многих, близко знакомых с твоим образом мышления, что ты основание своей власти положил прежде всего в благочестии и управляешь своей страной в духе правосудия и святости и что ты не любишь кровопролитные брани, а предпочитаешь разрешать все вопросы мирным путем...»

Царь не ошибался... Владимир положил письмо на место и еще раз задумался об отцовских делах. Но что еще писал василевс?

«Я восхищался твоим характером и поставил себе в задачу упрочить с тобою дружбу и сделать тебя своим сродником, соединив в брачном союзе одну из твоих прекрасных дочерей с моим братом киром Константином...»

Речь шла о выдаче замуж сестры Мономаха Янки. Ему было приятно, что цари обращались к его отцу с такими лестными предложениями, хотя нетрудно было догадаться о причинах, заставивших Михаила написать эти выпендренные слова: тогда болгары разгромили царское войско и Корсунь отложилась от Греческой державы. Царь оказался вынужденным прислать на Русь очередного патрикия с дарами и просить помощи против мятежников. За такие услуги Константинополь платил царевнами и пышными титулами. Всеволод, по соглашению со своим братом Святославом, сидевшим тогда на киевском столе, отправил Владимира вместе

с молодым племянником Глебом Святославичем в корсунские пределы. Но вскоре Святослав разболелся и умер. Скончался и царь Михаил, с кем заключили договор. Всеволод к тому же нуждался в присутствии сына и велел ему вернуться на Русь. Мономах выполнил отцовский приказ, а Глеб ушел в Тмутаракань. Именно тогда любознательный князь мерил по льду море от этого города до Корчева, и камнерезец выбил на памятной плите число саженей, обозначавших расстояние. После смерти царя Михаила его брат, жених Янки, был насильственно пострижен в монахи, и сестре не пришлось стать греческой царицей. Обманутая в своих надеждах, невеста ушла добровольно в монастырь, построенный для нее отцом, и, собрав немногих девиц, обучала их чтению и всяким искусствам. Спустя три года Янка бесстрашно отправилась в Царьград, где ее с почетом принимали при дворе царя Алексея Комнина, и, вернувшись оттуда, привезла на Русь нового митрополита, скопца Иоанна. Когда он явился в Киев, все подумали, что из Греческой земли приплыл мертвец. Иоанн оказался человеком недалекого ума, недеятельным и не сильным в священном писании, но сестра, поджимая губы, выразительно смотрела на отца, и оба понимали друг друга. Именно такого митрополита и хотел иметь в Киеве великий князь. Дело святителя — рукополагать русских епископов, а не вмешиваться в государственное управление.

Воспоминание о том, как он впервые увидел синее море, как побывал в Корсуни и в Каффе, и это путешествие Янки в Царьград отвлекли мысли Мономаха от событий, что произошли после смерти отца. Разве он не убеждал тогда Святополка заключить мир с половцами? Однако киевский князь упрямо стоял на своем, и русские дружины двинулись на Треполье. В походе Святополк сокрушался не по своей княгине, а об оставленной в Киеве наложнице, красавице родом из Хазарии. Он был так влюблен в нее, что не мог без слез разлучаться со своей любимой даже на самое краткое время и во всем покорялся ей, за что ему приходилось выслушивать укоры и поношение от князей. Во время похода великий князь был мрачнее тучи и, кусая губы, жаловался Мономаху:

— Вот уже вторую ночь я не лобзаю ее, мою лилию!

Владимиру казалось странным, что зрелый возрастом и умом человек способен убиваться так по любовнице, бывшей рабыне, но, зная слабость человеческой плоти, молчал.

Святополк плакался:

— Верна ли мне она? Подарил ей жемчужное ожерелье. Тысячу сребреников заплатил греческому торговцу...

Киевский князь отличался невероятной скупостью, водил дружбу с ростовщиками, сам, говорят, отдавал деньги в рост через вторые руки, и если потратился на такие деньги, то, значит, очень увлекался этой женщиной. Он был высокого роста, худощав, с черными прямыми волосами и длинной, но узкой бородой. Он любил читать книги, запоминал все почерпнутое в них, так как обладал необыкновенной памятью, однако, несмотря на чтение при свете свечи, сохранил острое зрение. Из-за своих недугов ел он мало, пил редко и только по необходимости, когда нужно было принять участие в торжественном пире.

Владимир вздохнул, вспоминая эту печальную войну. Он и в пути уговаривал князей возвратиться домой или подарками купить мир. Но его не послушали. Пылкий Ростислав рвался в бой, красуясь драгоценным оружием и тяжелой франкской кольчугой.

Перед битвой они отправились с братом в Печерский монастырь. Это была весьма почитаемая обитель, где насчитывалось немало образованных монахов, знавших греческий и латинский языки или даже еврейский. Здесь усердно переписывали книги. Некоторые из иноков стали епископами, славились духовными подвигами, хотя были и такие, что обрели в монастырской келий приятное житие.

Мономах и Ростислав ехали верхами по берегу Днепра, в сопровождении нескольких отроков.

Молодые воины беззаботно смеялись чему-то, а они с братом разговаривали. Владимир вспомнил, что беседовал с иноками, которые знавали старца Еремию, помнившего еще крещение Руси. Ростислав слушал его рассеянно.

Разгоралось раннее утро, полное росистой свежести. Дорога шла недалеко от воды, но пролегла достаточно высоко, чтобы с нее можно было увидеть реку, дуплистые ивы и противоположный берег в голубоватой дымке.

Мономах часто бывал в монастыре и знал его жизнь.

— Спасался в пещерах еще один инок, по имени Матфей, прозорливец. Однажды старец стоял в церкви на своем месте и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться в благочестивых помыслах, а когда вновь открыл вежды, то увидел, к своему ужасу, что дьявол, одетый как лях, обходил иноков, певших на обоих клиросах, и бросал в них цветами, которые называются лепки. Если эти колючки прилипали к кому-нибудь, тот расслаблялся духом и покидал церковь под каким-нибудь благовидным предлогом, те же, к кому они не прицеплялись, отстояли утреню до конца. Однажды Матфей покинул церковь последним, очень устал во время стояния и присел отдохнуть у била. Вдруг он заметил, что кто-то едет верхом на свинье от монастырских ворот, и за нею бежит толпа людей. Это бес ехал за Михалем Тольбековичем. Был такой монах в монастыре. Матфей любопытствовал у келейника, что случилось с этим иноком, и тот объяснил ему, что Михаль вчера перескочил через монастырскую ограду и убежал...

Светило яркое солнце, и было не страшно рассказывать о бесах.

— В другой раз он видел осла, сидевшего на игуменском месте...

— Не люблю монахов, — поморщился Ростислав. — Лучше бы они ниву пахали. А то проводят время в ничегонеделании.

— Они молятся, — пробовал защищать Мономах монашеское сословие.

— Ибо не хотят работать. Видел, какие они упитанные. Им со всех сторон несут дары, мед и брашно.

— Не все. Был в Печерском монастыре инок, купец, родом торопчанин. В миру его звали Чернь, а в обители нарекли Исаакий. Этот роздал все свое имущество и вел подвижническую жизнь. Купил козла, содрал с него шкуру и надел на себя, чтобы она прилипла к телу, и так ходил. Обитал он в малой кельице, размером в четыре локтя. Туда ему просовывали в окошечко немного пищи. Но однажды его искушали бесы.

— В образе блудницы?

— Нет. Исаакию явились два блистающих ангела, так что всю пещеру наполнил необычайный свет. Они сказали монаху, чтобы он поклонился Христу, который идет за ними, но это был не Христос, а дьявол. Когда же Исаакий поклонился, не ведая, что творит, они возликовали, и вся келия наполнилась нечистыми духами. Бесы грянули в сопели, бубны и органы, требуя, чтобы монах пустился в пляс, и он плясал до тех пор, пока не упал на землю. Утром бесы покинули Исаакия едва живого, и после этой ночи он долго хворал...

— Бездельники... — ворчал Ростислав.

Не в пример богомольным гречанкам, брата окружали в детстве женщины, приехавшие из половецких степей, любившие сласти и мягкие подушки, проводившие время не в благочестивых беседах с митрополитом, а в веселой болтовне. Так и возмужал Ростислав, имея перед глазами дурной пример.

Братья уже приближались к монастырю. За дубами послышался звон била, созывающего монахов на молитву. Мономах снял парчовую шапку. Ростислава мало трогали молитвенные настроения. В его груди билось горячее сердце, он жаждал прославить себя на полях сражений.

В тот день на монастырской поварне осквернился деревянный сосуд. В него попала мышь, и настоятель послал одного монаха на реку, чтобы он тщательно вымыл кадушку. Инока звали Григорий. Это был трудолюбивый человек, собиратель книг, а кроме того, он посадил несколько яблонь на своем огороде, плоды с которых часто похищали тати. Монах стоял в воде и возился с кадушкой, и как раз в это время мимо проезжали на конях два брата — Мономах и Ростислав. Владимир хотел успеть к обедне и тотчас поднялся на гору, а Ростислав остановил своего жеребца и стал насмехаться над Григорием. Отроки его уже хлебнули с утра меда и тоже не скупились на безумные слова. Началась перебранка. Старец, по колению в воде, осуждал насмехающихся:

— Вы идете на войну, вам надлежало бы иметь умиление в сердцах, а не злословие на языке. Может быть, некоторые из вас погибнут под половецкими саблями, в реках потонут...

Ростислав смеялся в ответ:

— Я плаваю как рыба.

По наущению молодого князя, отроки соскочили с коней, и столкнули вышедшего на берег монаха в воду, и хохотали до боли в животе, видя, в каком жалком обличье он предстал перед ними. Когда же Григорий стал проклинать их, безумцы привязали несчастному камень на шею и утопили монаха, и деревянная кадка, печально накренившись набок, все быстрее и быстрее уплывала по течению воды.

Мономах чрезвычайно разгневался, когда Ростислав рассказал ему о происшествии, и укорял брата, что тот не помешал глупцам совершить убийство невинного человека. Но, в конце концов, мученик принял царство небесное, как со смехом уверял его молодой князь.

Между тем войско выступило в поход и вскоре очутилось на реке Стугне. Князья собрали старых дружинников на совет. Владимир, и без того расстроенный недавним разговором с братом, был не в духе. Он предлагал:

— Пока мы еще стоим за рекой во всей своей грозе, заключим мир с половцами.

Но киевские дружинники шумно возражали:

— Хотим биться с половцами, перейдем на тот берег!

Такие слова понравились Святополку и особенно Ростиславу, и войско переправилось через Стугну, сильно вздувшуюся от весенних дождей. Очутившись на той стороне, князья построили войско в боевой порядок; на правом крыле стал со своим полком Святополк, на левом — Владимир, а посередине повел воинов Ростислав. В таком построении миновали Треполье. Но половцы первыми напали на русских, выслав вперед множество стрелков из лука. Затем их конница обрушилась на дружину Святополка, и его воины побежали. Жестокий бой произошел и в середине строя. Вскоре обратился в бегство и отряд Ростислава. Мономах велел своим отходить к реке, однако потом и он побежал со своими отроками перед иноплеменными, торопясь перейти Стугну вброд. Это ему удалось. Ростислав пытался спастись вслед за ним, но стал тонуть на глазах у Владимира, упав с коня. Мономах хотел было броситься к брату на помощь, однако у того была слишком тяжелая кольчуга, а бурное течение грозило унести его самого. В конце концов Мономах не без труда выбрался на берег и потом поспешно переправился с остатками дружины через Днепр. Сотни тогда пали на поле битвы или утонули. Мономах заплакал по утонувшему брату и с великой печалью

возвратился в Чернигов. Многие считали, что это случилось по молитве Григория, за грехи веселых дружинников Ростислава. Недаром полководцы, словно неразумные дети, допустили роковые ошибки: чело и крылья стояли без должной связи, не было оставлено конной дружины на случай прорыва.

Это произошло в день Вознесения. На другой день, когда половцы ушли под Торческ, отроки стали искать тело молодого князя в Стугне и принесли его на плаще в город, мать горько рыдала над сыном. Жалели Ростислава ради его молодости.

Спустя немного времени, на память Бориса и Глеба, произошла другая битва с половцами под городом Желанью, и снова русские потерпели жестокое поражение. Святополк вернулся в Киев сам-третий, и Владимир вспомнил слова пророка Амоса: «Обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши — в плач...»

Лукавые сыны Измайловы рассыпались по всей Переяславской земле, жгли амбары и топтали нивы. Одних они убивали, других уводили в рабство. Города и села опустели, поля заросли сорными травами и стали жилищем диких зверей.

17

Дорога извивалась, как прихотливая человеческая судьба. Отряд уже переправился по льду на другой берег и снова совершал свой путь среди дубов и снежных полей, направляясь в Переяславль...

Потом всюду разнеслась весть, что в Тмутаракани появился Олег. Это случилось подобно неожиданно налетевшей буре, и никто толком не знал, как он вернулся на Русь из греческой земли. Разрешившись от бремени мертвым младенцем, Феофания умерла в Родосе от родильной горячки. Ребенка принимала неопытная повивальная бабка, и молодая мать истекла кровью. Пальцы ее, сжимавшие руку князя, слабели с каждым часом. Но и умирая она не спускала своих прекрасных глаз с возлюбленного супруга.

— Поцелуй меня в последний раз, — тихо сказала она по-гречески.

Олег научился от нее многим словам. Он понял и склонился к бескровному лицу. Феофания закрыла глаза, почувствовав еще раз знакомый запах милых русых волос.

К вечеру бедняжка испустила последнее дыхание. Архонтису похоронили в одном гробу с младенцем на солнечном щебнистом кладбище за виноградниками, и Олег, как было принято, пролил слезу над ее могилой.

Теперь уже ничего не удерживало князя от решительных действий. В одну темную ночь, обманув в Боспоре бдительность царских стражей, мимо спящего Константинополя проскользнул черный корабль и вышел в Черное море. Возможно, впрочем, что кое-кто знал о происходящем, но закрывал глаза. Во всяком случае, это входило в планы василевса. Спустя несколько дней корабль, на котором плыли Олег и Борей, нанявший знакомых корабельщиков, подошел к русским берегам, но остановился не у тмутараканских причалов, а у пустынного берега, где его уже поджидали пришедшие на условленное место половцы. Олег ворвался с ними в город, схватил сидевших там Давида Игоревича и Володаря Ростиславича и связал сонных хазар. Князей Олег отпустил, а хазар велел предать смерти, и отроки расстреляли их стрелами. Так сын Святослава стал снова княжить в Тмутаракани.

Святополк незадолго до того взял себе в жены дочь Тугоркана, могущественного половецкого

предводителя, молодую и красивую половчанку. На Руси наступило некоторое затишье. Но вскоре Олег пришел со своими половцами из Тмутаракани и осадил Чернигов. Владимир Мономах затворился в городе. Подступив к самому валу, половцы стали жечь вокруг монастыри и села, и снова пролилась христианская кровь.

Мономах перебирал в памяти год за годом. В Чернигове с ним делила радость и горе молодая жена. При них находилась небольшая дружина. Восемь дней он бился за невысоким городским валом, не пуская врагов в острог. Затем, пожалев людей и город, решил сдать Чернигов. Он велел передать Олегу:

— Пусть язычники не радуются нашей вражде...

Война закончилась миром. Владимир отдал Олегу Чернигов, наследие его отца, а сам ушел в Переяславль, город Всеволода. Это произошло в день Бориса и Глеба. Владимир выходил из черниговских ворот в тесном конном строю, оберегая посреди женщин, детей и возы. До самого вечера пришлось ехать мимо половецких станований. Всего с ним удалилось из города около ста испытанных в бою воинов. Половцы облизывались, как волки, стоя у перевоза и на соседних горах, но не смели нарушить клятву. Так он благополучно привел свою семью в отцовский город.

В Переяславле Мономах и Гита провели с детьми три лета и три зимы, терпя жестокие лишения от голода и войн. В довершение всех бедствий на Переяславскую землю налетела невиданная до тех пор саранча и пожрала траву и жито.

Гита много натерпелась за эти годы. Правда, Переяславль показался ей красивым городом. Он был окружен величественными дубравами. Мономах не жалел средств, чтобы сделать его еще более великолепным. Много потрудился для городского украшения епископ Ефрем, высокий ростом скопец, человек большого ума и вкуса, понимавший толк в строительном деле и в богословии. Он возвел в Переяславле огромную церковь св.Михаила, не уступавшую Десятинной, пристроил к ней приделы, как в св.Софии в Киеве, украсил храм, одарил золотыми сосудами. Кроме того, этот неутомимый строитель обнес внутренний княжеский город стенами и на его воротах поставил церковь св.Феодора, а неподалеку еще одну церковь, во имя апостола Андрея. Он построил также каменное банное здание, чего никогда еще не было на Руси, странноприимный дом и больницу, где каждый мог получать безвозмездно лечебную помощь, подобно тому как он раньше устроил это в своем родном городе Мелитине, откуда вынужден был удалиться в русские пределы, когда безбожные турки наводнили всю Сирию. Несколько позже Владимир Мономах выстроил еще одну церковь, во имя богородицы, и сделал этот храм семейной усыпальницей, где суждено было лежать и Гите. Но этим не исчислялись в городе каменные строения.

Город был сильно укреплен валами. Одно время посадником в нем состоял знаменитый Ратибор. А вокруг лежали многочисленные селения: у самого жерла реки Супоя — Дубница, откуда был родом Илья Дубец, за нею — Остер, а на Десне — Городок и у Днепра — Устье, с каменным храмом и загородным княжеским теремом. В нескольких верстах от города протянулся большой защитный вал и за ним — малый. О них в народе говорили, что эти укрепления

— борозды от чудовищного плуга, которым вскопал здесь землю сказочный змей.

С годами переяславским жителям становилось тесно в городских стенах, и слободы вылезали за валы, поближе к огородам и капустникам. Здесь было много торговцев, русских и иноземных, ремесленников, искусных кузнецов. Обилие лесов давало возможность строить ладьи. Для этой цели с большим терпением выдалбливали колоды огромных деревьев, преимущественно лип или верб, у которых мягкая и удобная для обработки древесина, потом устанавливали мачты, прилаживали борты, уключины и все необходимое для плавания по

морю, а нос украшали причудливой резьбой. Такая ладья стоила три гривны.

Были в городе также звероловы, продававшие купцам драгоценные меха, и пчеловоды, разводившие пчел или занимавшиеся бортничеством в дубравах. Мед и воск тоже находили хороший сбыт.

Мономах с удовольствием подумал, что богатый и благоустроенный город оставил своему сыну Ярополку. Но из тьмы прошлого доносились вопли избиваемых половецких послов. Сколько раз на ночном ложе, в часы одиноких раздумий верхом на коне эти крики беспокоили его совесть. Все происходило на дворе у Ратибора, но эти крики доносились далее до княжеского дворца. Боже милосердный! Сколько раз убеждал он себя, что не собственной корысти ради он решился на такое дело. И все-таки внутренний голос укорял его и говорил: «Разве не в свою сокровищницу ты собираешь дань?»

Как все это случилось? В Переяславскую землю явились ханы Итларь и Китан, уверяя, что хотят мириться с русским князем. Им, очевидно, хотелось получить подарки от Мономаха, который предпочитал откупаться от кочевников, чем воевать с ними. Хань привели с собой множество всадников. Китан остался с ними за далекими валами, и Владимир дал ему в заложенники своего маленького сына Святослава, а Итларь, в полной уверенности, что теперь ему не грозит никакая опасность, вошел с немногими знатными воинами в городские ворота и остановился на дворе у посадника Ратибора.

Босые и полуголые, не привыкшие к теплу русских домов, половцы сидели, скрестив ноги, на коврах, ели мясо, выбирая на серебряном блюде куски пожирнее, и Итларь втайне надеялся, что боярин подарит ему блюдо, когда они станут покидать город, чтобы вернуться в степи. В боярских яствах рот приятно обжигали приправы с перцем, и еду надо было запивать хмельным напитком, приготовленным из пчелиного меда.

Насытившись, воины молча сидели кружком и глядели друг на друга. Посадник разговаривал с Итларем, и хан с удовольствием поддерживал беседу, так как Ратибор знал немного их язык. Ратибор, старая лиса, хорошо знал половецкие повадки. Язычники почитали звезды, верили, что небесные светила влияют на судьбу человека. Они хоронили мертвецов, насыпая над ними высокие курганы и поставив наверху каменную бабу с чашей в руках, и всегда ее лицо обращалось к востоку. Вместе с ханами зарывали их коней и любимых рабынь. Это было еще не все. Кочевники не трудились на нивах, а предпочитали добывать все необходимое для жизни не только от своих многочисленных стад, но и войной, отчего было вечное беспокойство для их соседей. Поэтому хлебопашец ненавидел половца как природного врага, а половцы презирали хлебопашцев.

Когда Ратибор покинул гостей, Ехир, молодой сын Китана, сказал, причмокивая губами:

— Хорошо живут оросы!

Это был первый его поход, он выглядел еще совсем мальчиком.

Итларь, не поворачивая головы, с насмешкой посмотрел на Ехира.

— Что ты понимаешь? Ты — половец, свободный всадник на коне, а завидуешь оросам?

Ехир видел сегодня впервые каменные здания, большие церкви, полные непривычных вещей, каким-то чудом державшиеся в воздухе тяжкие своды, тогда как самый маленький камешек, подброшенный вверх, немедленно падает на землю. Русский пленник, приставленный к ханскому сыну, чтобы обучать его языку врагов, рассказывал ему, что существуют книги, в которых написано о том, как были созданы земля, солнце и звезды...

Спорить со старшими неприлично даже для сына хана, однако он не выдержал и возразил с

мальчишеским упрямством:

— Сегодня я вошел туда, где молятся оросы. И увидел там на стенах изображения старцев и крылатых юношей. Они смотрели на меня со всех сторон зрячими глазами, и нигде нельзя было скрыться от их взоров. Если я отходил направо, они смотрели на меня, налево — они тоже не спускали с меня глаз. Как бы живые люди. Но если подойдешь к стене, то убедишься, что это лишь краски.

Итларь, все так же презрительно скосив глаза на отрока, стал журить его:

— Ехир, ты неразумный жеребенок и прыгаешь по полям жизни, задрыв хвост своей глупости. Ты еще не зарубил ни одного врага, не привел на аркане ни одного пленника, а смеешь рассуждать пред старыми воинами, будто ты умудренный опытом старец. Не твое дело болтать о подобных вещах. Каждому свое. Оросы спят в теплых избах, мы — в кибитках или под открытым небом. Они пашут нивы, мы скитаемся свободно по всей земле. Но враги строят крепости на наших путях, взрывают оралом почву, на которой назначено расти диким злакам для коней и верблюдов, поэтому если ты воин и любишь славу, то должен убивать врагов и жечь их города, чтобы стало больше простора для половецких табунов...

Он окинул взором сидящих вокруг, кивавших головами в знак одобрения, и прибавил:

— ...а не удивляться каменным зданиям и крылатым юношам. Вот побываешь в Судаке или в Каффе и там тоже увидишь другое. Однако не забывай, что твой мир не имеет пределов и напоен запахом полыни.

Мальчик, покрасневший от этого выговора до корней волос, пробормотал себе под нос:

— Разве мы не пришли сюда, чтобы мириться с оросами?

— Зачем мы пришли сюда, — бросил взгляд хан на дверь, — знают старшие. Твой отец и я. Дело юношей — молча исполнять то, что им прикажут.

Молодой Ехир умолк и не возражал более. Самый старший из воинов, по имени Шекри, похвалил Итларя:

— Ты хорошо сказал, мудрый хан. И справедливо!

Итларь ничего не ответил, так как не нуждался в подтверждении своих мнений. Другие тоже молчали, переваривая пищу.

На землю спускался ранний вечер. В такой час в степи распрягают кибитки и поят животных. В горнице было душно под низким деревянным потолком. Пришли слуги и ловко убрали со стола остатки пищи, унесли серебряное блюдо, и Итларь проводил его взглядом, мысленно определяя вес серебра и его цену. Он был уверен, что рано или поздно эта вещь будет лежать в его повозке. Половец привык терпеливо ждать, сидя вот так на ковре, или на простой, конской попоне, или верхом на коне, в долгих переходах среди солончаков.

В тот вечер в Переяславль прискакал с каким-то тайным поручением от великого князя Святополка боярин Славята. Узнав о его прибытии, Мономах вышел из опочивальни, закрыв Псалтирь, которую по обыкновению читал перед сном, Гита спросила тревожно:

— Куда ты? Куда ты?

— Спи, спи... — прикрыл ее одеялом Владимир. — Мне надо поговорить со Славятой. Боярин Славята приехал из Киева.

Гита села на постели.

— Боже, когда все кончится и Святослав вернется ко мне?

— Успокойся, ему ничего не грозит.

— А если его убьют половцы?

— Ни один волос не упадет с его головы.

— Мне страшно, — цеплялась она за мужа.

Он сказал какие-то слова метавшейся на постели супруге, не сомкнувшей глаз в ту ночь, и вышел в сени. Там стоял крепко сбитый человек среднего роста. Золотистые усы сливались у него по обеим сторонам с такой же светлой бородой. Голубые глаза поблескивали. Славята был родом новгородец и, как многие новгородские мужи, отличался предприимчивостью и быстрым умом.

Князь долго совещался с посланцем, поднял среди ночи Ратибора и старших дружинников, и Славята убеждал Мономаха на совете, что ныне представился удобный случай расправиться с ненавистными врагами. Царь только что дал знать в Киев, что по полученным от греческих купцов сведениям, вполне достоверным, Итларь и Китан замыслили обмануть русских князей, и поэтому советовал действовать решительно. Князь Святополк тотчас послал боярина в Переяславль. Но так ли это? Владимир рассуждал сам с собою. Не хочет ли царь поссорить его с половцами? Какая польза грекам, если он схватит послов? Ему и раньше было не до сна, а теперь он позабыл совсем, что близится полночь. Страшно нарушить клятву, даже данную врагам. За это грозили вечные муки в аду. И в сей жизни нет пощады за клятвонарушение. Ни от своей собственной совести, ни от суда людей. Однажды отец Гиты нарушил данное слово. И что же он принял? Ужасную смерть...

Но Славята убеждал проникновенным голосом:

— Князь, в этом нет для тебя греха. Разве половцы, дав клятву, не нарушают ее в тот же день? Клянутся, а потом разоряют нашу землю и проливают христианскую кровь. Но греческий царь знает, что говорит. Неужели ты хочешь, чтобы снова русских людей уводили в рабство?

Старый Ратибор поддерживал его.

В конце концов, опустив голову, Мономах тихо промолвил:

— Пусть будет так, как вы хотите...

На дворе уже давно стояла звездная ночь, и скоро стали петь в городских птичниках первые петухи. Итларь и его люди храпели на дворе Ратибора. Половцы не привыкли спать под крышей и перебрались поближе к своим коням и там устроились под навесом на потниках, завернувшись в русские овчины. У хана был чуткий сон. Вскоре он проснулся и прислушался. Где-то в отдалении прогремел конский топот. Ему даже показалось — вдруг заскрипели городские ворота. Или, может быть, это запел журавль на колодце? Впрочем, кто же ночью черпает воду? На миг в его сердце зародилось сомнение. Но мед и обильная пища сделали свое. Хан повернулся на другой бок, натянул на голову овчину, и к нему опять сошел сладостный на морозе сон.

Славята выехал в поле с небольшой отборной дружиной и преданными торками, ненавидевшими половцев, и направился к валам, где стоял станом Китан. Его всадники беззаботно спали у потухших костров. Расседланные кони бродили по полю, выбивая копытами клочки травы из-под снега. Сам хан тоже почивал в своем шатре, отдыхая после ненасытной любви с молодой наложницей.

Китана убили прежде, чем он успел схватить саблю, лежавшую подле ложа. Русская пленница сидела на постели и, ломая руки, умоляла:

— Возьмите меня отсюда!

— Замолчи, разбудишь других! Где княжич? — тряс ее за нагое плечо Славята с окровавленной саблей в руке.

Девушка указала, где стоит шатер, в котором сторожили Святослава. У входа в вежу сидели два стража. Они погрузились в приятную дремоту и не заметили даже, как подкралась к ним смерть. Только раздался краткий хрип, когда нож черных торков перерезал им горло. То было жестокое время, когда никто не давал пощады врагу, чтобы самому не быть убитым. Ни в степи, ни на Руси, ни в империи ромеев не знали, что такое милосердие...

На становище завязалась недолгая битва. Сонные половцы падали сотнями под саблями торков. Победители хватали коней, разбежавшихся по широкой равнине и ржанием призывавших своих хозяев. Оставшиеся в живых поспешно уходили на юг.

Наутро к Итларю явился отрок по имени Биндюк. Золотоволосый юноша, прислонившись лениво к притолоке низенькой двери, говорил, переглядываясь с Ехиром:

— Светлый князь зовет вас к себе. Он так велел сказать: «Пусть сходят в баню, а потом позавтракают у Ратибора. После этого будет совет у меня».

Скрестив ноги, Итларь сидел на полу. Его ночные страхи рассеялись. Уже давно затопленная баня наполнилась приятным паром. Лишь только половцы, посмеиваясь и предвкушая удовольствие хорошо помыться, разделись и нагие вошли в мойню, как отроки тут же запели дверь. Они тотчас разобрали крышу, и Ольбер Ратиборович, воин, у которого сердце обросло шерстью, натянул тугую тетиву.

Когда половцы увидели среди клубов пара его перекошенное от напряжения лицо и стрелу, направленную в них, они завыли, как волки, в предсмертном ужасе. Дверь сотрясалась под их ударами, но, подпертая прочным бревном, не уступала их усилиям, а в банное оконце едва пролезала рука.

Коротко прошумела первая стрела и поразила Итларя в сердце. Одна за другой они слетали с крыши, вонзаясь в нагие тела. Когда наступила тишина, нарушаемая только стонами умирающих, в баню вошли отроки с обнаженными саблями, чтобы прикончить раненых.

Славята уже доставил в город Святослава. В ту ночь ребенок устал от слез, не понимая, почему его отняли от матери и отдали этим страшным людям. Наконец он уснул, прижимаясь к дядьке, и удивился, разбуженный шумом сражения. Боярин взял его на руки, укутал в бобровую шубу, посадил перед собой на седло и помчался в Переяславль. За конем побежал, крича, спотыкаясь и падая в снег, позабытый в суматохе дядька...

Это произошло в субботу на сыропустной неделе, в первом часу дня. Так бедственно погибли ханы Итларь и Китан, но никому не дано теперь узнать, то ли замышляли они в самом деле вытоптать на земле все нивы, чтобы сделать одно необозримое пастбище от реки Дона до самых Карпат, то ли искали прочного мира с русскими князьями.

душе, как колючки цветов, которые дьявол в образе ляха бросал в сонных монахов. Ничего нельзя изменить в прошлом, и время не смывает горечи клятвопреступления. Грех твой — всегда с тобой, и страх — простит ли его господь...

Вскоре после убийства Итларя и Китана пришли половцы и сожгли Юрьев. Годы шли. Изяслав, третий сын Мономаха, занял с согласия горожан лесной Муром. Молодой князь схватил посадника, присланного в этот город Олегом, и приступил к собиранию дани. Все произошло в то самое лето, когда неведомо откуда на Русь налетела саранча и покрыла землю, так что страшно было смотреть, как она шла на полночь, поедая жито. Наступили трудные времена. Половцы делались с каждым днем более дерзкими и подступали под самые валы русских городов. Надлежало решиться на крайние меры, чтобы не дать окончательно погибнуть христианам.

Видя, что дары уже не оказывают должного действия на половцев, Владимир Мономах обнажил меч, сражался с кочевниками и еще при жизни отца одержал над ними двенадцать побед. Олег, напротив, водил с половцами дружбу и подолгу гостил у ханов в степи. В прежнее время он держал у себя в Чернигове заложником сына Итларя. Святополк потребовал его выдачи. Святославич отказался, не желая нарушить клятву. Но теперь положение сделалось угрожающим, и Святополк и Владимир решили обратиться к черниговскому князю с призывом явиться в Киев и заключить перед епископами и городскими старцами договор о совместной защите Русской земли. Олег с пренебрежением ответил:

— Не пристало судить меня епископу, или игумену, или смерду!

Владимир был вне себя от гнева, что редко случалось с ним. На совещании он выступил против гордеца:

— Видно, Олег не хочет воевать с половцами. Должно быть, он злоумышляет против князей. Тогда пусть бог рассудит нас.

Вскоре разыгрались памятные события под Стародубом. На княжеском совете вынесли решение — наказать непокорного. Святополк и Владимир Мономах подступили к Чернигову, но Олег бежал на север и заперся в Стародубе. Князья осаждали его в этом городе тридцать три дня, однако горожане храбро оборонялись, хотя изнемогали от голода. В конце концов Олег признал себя побежденным, отворил ворота и вышел из города. Он просил мира, и с ним помирились. Владимир сказал:

— Иди к брату своему Давиду и явись с ним в Киев. Это старейший город в нашей земле, и достойно сойтись в нем всем нам, чтобы заключить мир.

Олег обещал явиться в указанное время и целовал крест. Но, придя к брату в Смоленск, взял у него дружину и вместо того, чтобы направиться в Киев, пошел в Муром, имея намерение отнять этот город у молодого Изяслава. Услышав, что Олег идет против него, княжич послал за воинами в Суздаль, в Ростов и на Белоозеро. Вскоре от Святославича прибыл посол с такими словами:

— Изяслав, иди в Ростов, в свою волость, а Муром — волость моего отца. Только здесь я соглашусь заключить договор с тобою и твоим отцом. Ведь это он изгнал меня из Чернигова, а теперь и ты хочешь лишить меня моего хлеба?

Князья смотрели на русские города как на свое достояние, считали, что смердам назначено провидением работать на княжеских нивах, платить оброки и проявлять во всем покорность и смирение. Так учило священное писание. Многие думали, что, борясь за Муром, Олег борется за правду, добывая принадлежащее своему роду, хотя от княжеской правоты не легче делалось смердам, чье жито топтала конница.

Изяслав не послушал Олега, понадеявшись на многочисленность своих воинов. В жестокой битве молодой князь был убит на глазах Олега. Это произошло в сентябре месяце, когда уже поспели красные ягоды на рябинах. Изяслав упал с коня, и его воины побежали — кто в лес, кто в город. Вслед за ними ворвался в Муром Святославич, горожане приняли его, надеясь, что на этом прекратится кровопролитие. Тело же молодого Изяслава нашли на поле сражения и временно положили в монастыре св.Спаса, а потом перевезли в Новгород, к брату Мстиславу, и тот похоронил его в св.Софии.

Возгордившись своей победой, Олег стал хватать ростовцев и заковывать в цепи. Затем устремился в Суздаль. Горожане сдались ему. Здесь он тоже схватил своих противников, одних изгнал, у других отнял имущество. Так же он вел себя и в Ростове. Посадив в этих городах верных людей, князь стал собирать в тамошних диких землях богатую дань.

В Новгороде сидел посадником старший сын Мономаха Мстислав. Он написал Олегу:

«Уходи из Суздали в Муром, не сиди в чужом городе. Я пошлю боярина к отцу и буду просить его, чтобы он помирился с тобой, хотя ты убил в сражении моего брата».

Олег получил послание в глухом погосте, куда лесные жители свозили ему дань. На дворе тиуна лежали кучи мехов, кадушки с медом и бочки со смолою. Погост был расположен на опушке черного леса. С полсотни курных изб раскинулись в беспорядке на отлогом холме; к ним вела песчаная ухабистая дорога. Одна из хижин отличалась от прочих величиной и затейливой резьбой коньков на крыше. В ней жил тиун, а в дни, когда на погост приезжали княжеские мечники, они ночевали здесь, спали на лавках, и каждому из них полагалось по две курицы на день, не считая печеных хлебов, проса, солода и остального довольствия.

На этот раз в избе остановился князь Олег. Когда глаза привыкли к полумраку, можно было разглядеть при мутном свете единственного окошка, затянутого бычьим пузырем, очаг в углу, скамьи вдоль закопченных стен, прочно сбитый стол. На деревянных крюках висели, поблескивая медными бляхами, конские уздечки, а на одном князь повесил свой меч в ножнах из черного скарлата. В низкой избе пахло дымом, кожей, овчинами, железом оружия.

Олег, в голубой рубахе с золотым оплечьем, сидел за столом. Он хлебал деревянной ложкой горох со свиной. Время наступило уже не обеденное, и солнце высоко стояло на небе, но князь только что вернулся из далекой поездки и проголодался. Пища после большого перехода верхом на коне казалась ему слаще царьградских яств, и все-таки он хмурился. На дворе стояла осенняя погода, шел мелкий дождь, из леса тянуло запахом хвои и грибной прели.

Муром, Ростов, Суздаль... Все богатые города с каменными церквями, укрывшиеся за бревенчатые стены. Полные всякого пушного зверья леса. Правда, далеко от великих торговых путей. Но князь знал, что по Волге и Оке лежит прямая дорога в Хвалынское море, в заманчивую Перейду. И вот можно снова выронить из рук все эти богатства по проискам врагов.

На лавке в числе других дружинников сидели Иванко Чудинович, бывший вышгородский посадник, и Борей, старший конюх, княжеский любимец. Все молча наблюдали за тем, как князь ест.

— Что слышали? — спросил Олег, повернув голову в сторону сидящих на лавке, но не отрываясь от еды и глядя угрюмо на земляной пол.

— Слух есть, что к князю Мстиславу новгородцы пришли, — ответил невеселым голосом Иванко. — Только кто знает, правда ли это?

— И ростовцы, — добавил Борей.

Олег, держа кусок мяса в ложке, а в другой руке кусок хлеба, сердито посмотрел на дружинников:

— Устрашились?

Иванко Чудинович, старый боярин с седеющей бородой, вздохнул и ответил за всех:

— Разве мы оставляли тебя одного на поле битвы? Не боимся смерти. Но много воинов у князя Мстислава. О тебе помышляем.

— Что обо мне помышлять?

— Голову свою потерять можешь.

— Горько голове без плеч. У других волости, полные лари серебра. А у меня что? Плохо вы трудитесь на своего князя.

Бояре закашлялись. Олег перестал есть и в сердцах бросил ложку на стол.

— Не укоряй нас, князь, — продолжал Иванко, — мы все делим с тобой, труды и раны. А неудача преследует нас, как злой пес.

В это время на дворе раздался топот конских копыт, слышались голоса. Князь нахмурился и стал прислушиваться, повернув лицо к двери, скосив глаза в противоположную сторону. Борей проворно встал с лавки.

— Пойду посмотрю.

— Иди, — сказал Олег.

Он жил в вечной тревоге. Всего можно было ожидать. Вскоре низенькая дверь снова со скрипом отворилась, и старший конюх вернулся в избу, видимо чем-то взволнованный.

— Князь, вестник к тебе от князя Владимира Всеволодовича.

Олег встрепенулся:

— Какой вестник?

— Поп. Верхом на коне прискакал.

— Что ему надо?

— Грамоту привез. С ним княжеский отрок. Молоко на губах не обсохло.

Борей ждал, что скажет князь. Олег невольно пригладил непокорные кудри, подбоченился и приказал:

— Позови их.

Нагибая голову в двери, в избу вошел рослый человек, пресвитер, судя по его черной одежде под серяком, наброшенным на плечи от дождя. Вперед лезла широкая рыжая борода, и в глаза бросался румянец деревенского лица. За священником перешагнул порог совсем еще юный отрок, тонкий, как девушка, с большими синими глазами. Он был в нарядном синем плаще на красной подкладке, с серебряной запонкой на плече и в розовой шапке, опушенной белым мехом, при мече, слишком тяжелом для его чресел, в серебристых парчовых ножнах. Вероятно, сын какого-нибудь знатного дружинника. Видя, что князь стоит, опираясь обеими руками о стол, Олеговы люди неуклюже встали один за другим, гремя оружием.

Олег мрачно смотрел на послов. Иерей снял лиловую скуфью, и тогда открылся чистый пробор посреди рыжей головы. Отрок остался в шапке. В глазах его светилось мальчишеское любопытство, играла щенячья радость жизни.

Князь, неоднократно наблюдавший преклонение младших перед сильными мира сего, пристально посмотрел на отрока и спросил:

— Как звать тебя?

— Семен.

— Ты чей?

— Сын боярина Славяты.

Олег усмехнулся:

— Боярина Славяты? Или уже не учат вас в Новгороде перед князьями шапку снимать?

— Сниму, — покраснев, по-детски улыбаясь, ответил Семен.

По той неторопливости, с какой отрок стянул с головы розовую шапку, Олег понял, что у Мстислава собрана против него большая сила.

Молодой отрок хотел еще что-то сказать, но священник бросил ему через плечо:

— Умолкни, чадо!

Снова обратившись к князю, он торжественно произнес:

— Прими послов, княже. От князя Владимира Всеволодовича и сына его Мстислава.

Князь рванул правый ус тонкими пальцами. На одном из них сверкал драгоценный перстень. Память о Феофании.

— Послов всегда принимал с честью. Но скоро брат Владимир будет ко мне младенцев слать.

Отрок опять покраснел, стыдясь своей молодости.

— Семена отправили со мной в путь, чтобы боярскому делу научился, — объяснил иерей.

— С чем приехал? — спросил, нахмурившись, Олег священника.

— Эпистолия к тебе от светлого князя Владимира.

Поп подошел поближе и, видя, что Олег не хочет протянуть руку, чтобы принять сложенное в трубку письмо, положил его на стол.

Князь морщился, глядя на послание.

— Все ныне пишут. Будто не князья, а монахи, — зло сказал он, беря пергамен. — Иванко! Накормить надо пресвитера. И этого отрока тоже. Издалека приехали люди.

Боярин пошел-искать жену тиуна.

— А остальные пусть пойдут на коней посмотреть, — приказал князь.

Дружинники полезли один за другим в низенькую дверь.

— Отдохните с дороги, — обратился Олег к послам, и пресвитер уселся на лавку. Отрок продолжал стоять около него, видимо, накопив в своем сердце княжеские обиды. Но тоже смотрел на Олега, в ожидании, как он будет обращаться с грамотой.

Олег сорвал печать красного воска и с шорохом развернул длинный свиток. Насупив брови и едва сдерживая гнев и желчь, он стал читать, беззвучно шевеля губами:

«Послание князю Олегу Святославичу. Будь здоров! О я многострадальный и печальный! Много борется душа моя с сердцем, но оно одолевает, ибо все мы тленны, и потому со страхом помышляю о том, как бы не предстать предо страшным судьей без покаяния и не примирившись о тобою...»

Дальше были выписаны из священных книг изречения о прощении прегрешений и всякие слова о миролюбии старшего сына Мстислава. Олег не любил псалмов. От них князя охватывала скука. Точно вдруг переставало светить солнце и женские глаза потухали. Но Мономах пространно писал о грехах и смертном часе.

«Сегодня мы живы, а завтра — мертвецы, сегодня в славе и почестях, а наутро во гробе и преданы забвенью. И другие разделяют собранное нами...»

Олег всегда с недоверием относился к человеческому смирению. Ему в благостных словах чудились западни и обман. Удачливые люди другим проповедуют покорность воле божьей, сами же присваивают себе лучшие области и богатые города; они обладают серебряными сосудами, табунами коней, каменными палатами. А что разделят после его смерти? Два десятка коней да отцовский меч? Да долги киевским жидовинам?

Олег рассуждал так в сердцах. В действительности у него оставалось еще достаточно серебра и мехов, чтобы заплатить жадным половцам. Он снова уткнулся в послание.

«Посмотри, брат, на отцов наших. Взяли они с собою накопленное, покидая землю? На что им теперь пышные одежды? Теперь то осталось при них, что они сотворили для души своей. С подобными словами надлежало бы, брат, и тебе обратиться ко мне. Ведь когда перед тобою убило мое, да и твое дитя, разве не следовало бы тебе, увидев кровь и тело его, увядшее подобно только что распустившемуся цветку, когда он упал, как агнец закланый, сказать, стоя над ним и вдумываясь в помыслы своей души: „Увы, что сделал!“...»

Олег опустил в руках послание... Мое и твое дитя... Думал ли он, когда держал при крещении на своих руках розовое тельце плакавшего младенца Изяслава, что ему будто суждено узреть и его смерть? Бог свидетель, что не он поразил княжича! Хотя близко находился от того места, где неразумный юноша сражался один против многих врагов, Олег видел, как один из половцев наотмашь ударил молодого князя саблей. У Изяслава, ради щегольства и красования, даже не было в тот день железного шлема на голове, а только парчовая шапка. Княжич склонился на шею коня, уронил меч. Несмотря на суматоху битвы, Олег даже заметил, как он цеплялся за гриву коня, падая на землю вверх ногами и обагрив ее кровью. Подскакав к поляне, где происходила схватка, Олег склонился над поверженным. Княжич лежал с закрытыми глазами, но еще дышал, и вдруг закрыл рукою лицо. Из-под пальцев по щеке потекла струйка крови. За шумом сражения никто не расслышал предсмертного вздоха княжича.

Изяславовы воины беспорядочно убегали в сторону леса, и битва превратилась в безжалостное избиение беглецов. Потом победители стали раздевать трупы, чтобы поживиться оружием и одеждой убитых. Но Олег запретил обнажать юное тело Изяслава. Непристойно лежать княжескому птенцу нагим среди смердов. Они с ним из одного гнезда. Павшего на поле битвы положили под соседним дубом. Княжич покоился в окровавленной белой рубахе, со сложенными на груди руками. Олег сам закрыл ему глаза. Кровь уже перестала течь из раны и казалась теперь черной, как смола. Наступал вечер. Впрочем,

красный плащ княжича все-таки исчез в суме какого-то проворного половца. Когда же смятение битвы несколько успокоилось, княжича повезли в монастырь св.Спаса. Прочих закопали в общей могиле, там, где они пролили кровь. Олег велел сделать так, чтобы не кормить человеческим мясом диких зверей. Половцы похоронили своих и насыпали над могилой высокий курган. Так погиб Изяслав и многие воины вместе с ним. Но ведь Муром не был его волостью!

Князь снова погрузился в чтение письма. Занятие это было для него не из привычных. Легче верхом на коне через ямы перелетать, чем над буквами корпеть. Опять о покаянии? Нет, Мономах обращался к нему с просьбой, убеждал прислать сноху свою, жену убитого.

«Чтобы, обняв ее, я оплакал сына и свадьбу его вместо песен: ибо за грехи свои мне не пришлось видеть ни первых радостей их, ни венчания. Ради бога, отпусти ее ко мне поскорее, с первым же послем, чтобы, поплакав с нею, я поселил печальную в своем доме. И села бы она, горя, как горлица на сухом дереве, а я утешился бы в боге...»

Олег вспомнил обезумевшие от горя серые женские глаза. Его распяляла похоть, когда он смотрел на молодую вдовицу. Но он знал, что ему не будет пощады от Мономаха, если прикоснется к вдове его сына...

«Ведь таким путем шли наши отцы и деды. Значит, настал и для моего сына час суда от бога, а не от тебя. Но если бы ты тогда сделал то, что хотел, то есть занял бы Муром, а Ростова не занимал и послал ко мне кого-нибудь, то мы уладились бы с тобою. Подумай сам: кому было пристойно отправить посла, тебе или мне?..»

Олег даже скрипнул зубами. Все отняли, всего лишили. А теперь Мономах пишет, что отдал бы Муром. Но судьбу правителей решают не послания, а меч. Ныне он господин и в Муроме, и в Ростове, и в Суздале. Что враги могут поделаться с ним? Видно, Мономах понял, что не осилит его, и написал это жалобное письмо...

«Что странного в том, что воин пал на поле битвы! Так умирали лучшие из наших предков. Я знаю, что моему сыну не следовало искать чужого достояния и вводить меня в печаль. Но его уговорили на это дело слуги, чтобы самим имение добыть, а получили для него злую участь. И если ты покаешься перед богом и ко мне будешь добр сердцем, послав епископа или посла, то напиши правдивую грамоту, тогда и волость получишь и наше сердце обратишь к себе, и мы будем жить лучше, чем прежде. Ведь я не враг тебе и не мститель, и не хотел же я видеть твою кровь под Стародубом...»

Князь Олег не послушал Мономаха, ни его сына и даже возмечтал захватить богатый Новгород. Мстислав с благословения отца начал военные действия. Посоветовавшись с новгородскими мужами, он послал впереди себя опытного воеводу Добрыню Рагуиловича. Навстречу этому боярину Олег направил своего брата Ярослава. Добрыня стал хватать Олеговых сборщиков дани, и когда обо всем узнал Ярослав, стоявший на Медведице, он в ту же ночь поскакал к старшему брату и дал ему знать, что приближается новгородское войско. Мстислав действительно вскоре пришел на Волгу и, услышав, что враги повернули к Ростову, погнался за ними. Уходя от преследования, Олег велел зажечь Суздаль, и весь город превратился в пепел, все дома сгорели, кроме Печерского монастыря и каменной церкви св.Дмитрия, построенной епископом Ефремом, великим строителем. Олег побежал в Муром, и Мстислав послал вдогонку письмо, в котором убеждал беспокойного князя прекратить сопротивление.

Он писал в нем:

«Я моложе тебя, но вот что посоветую тебе. Отправь послов к моему отцу и верни захваченных тобою дружинников, и я буду во всем послушен тебе...»

Видя, что Мстислав не жаждет его крови, Олег стал притворно просить о мире, и молодой князь поверил, распустил свою дружину по селам. Но едва настала Федорова неделя великого поста, как пришла весть, что беспокойный князь уже в Клязьме. Доверчивый сын Мономаха сидел за обедом и веселился, когда к нему пришли люди и сообщили о внезапном появлении врагов в окрестностях, а он даже не позаботился об обычной охране. Олег надеялся, что Мстислав устрашится его неожиданного прибытия и убежит. Но на помощь к своему князю явились новгородцы, а несколько позже пришли ростовцы и белоозерцы, и оба князя стали один против другого, построив полки в боевом порядке. На пятый день стало известно, что на поддержку спешит к Мстиславу его брат Вячеслав с нанятыми половцами. Он прибыл в четверг, а в пятницу Олег решил начать сражение. В этой битве Мстислав дал стяг своего отца половчанину Кунюю, и когда вдруг широко развернулось на ветру знакомое всем голубое знамя с изображением крылатого архангела, на воинов Олега напал такой страх, что они побежали. Олег снова помчался в Муром, оставил там брата Ярослава защищать город, а сам ушел в Рязань. Однако и в Рязани Мстислав настиг его и велел сказать незадачливому князю:

— Не беги никуда! Лучше проси своих братьев не лишать тебя доли в Русской земле.

Олег обещал сделать так, как советовал Мстислав, и тогда сын Мономаха прекратил войну по просьбе епископа Никиты и возвратился в Новгород.

19

На другом берегу реки дорога снова поднималась в гору, но сани легко скользили по сухому снегу. Мономах подумал, что на днях Изяславу исполнилось бы ровно сорок лет. Он снял меховую рукавицу с левой руки и вытер стариковские слезы на глазах...

Еще одно страшное преступление совершилось тогда на Руси, которое невозможно забыть до смертного часа. Коварно и жестоко поступили с любезным Васильком. Этот князь был сыном Ростислава, тоже предательски умерщвленного в Тмутаракани царским катепаном, и, должно быть, от отца унаследовал он пламенное сердце и мужество. В царствование Алексея Комнина молодой князь неожиданно для самого себя очутился в Греческой земле. Мономах узнал о том, как он воевал там, со слов самого Василька, любившего за чашей вина вспоминать прошлое.

Где происходила та вечерняя беседа? Да, в Смоленске... Однажды они долго сидели вдвоем в теплой горнице. Поднимая к жестоким небесам свои навеки загубленные очи, слепец брал на ощупь чашу на столе и осторожно подносил к устам, чтобы не расплескать вино. Владимир, с жалостью глядя на Василька, вкладывал ему в руку кусок пирога. Поев и успокоившись немного, ослепленный князь стал рассказывать о том, что произошло в те волнующие дни, еще залитые солнечным светом.

Речь шла о событиях в окрестностях Константинополя. Когда прекратилась грозная борьба стихий и смягчился гнев бурного моря, как изысканно выражалась в своей книге об отце Анна Комнина, дочь императора Алексея, описывая конец зимы и наступление весны 1091 года, под самыми стенами столицы появились неведомо откуда пришедшие дикие печенежские орды. Империя оказалась на краю гибели. В довершение всех несчастий, выпавших на долю ромейского государства, Корсунь, которую греки называли Херсоном, перестала признавать власть царя, и константинопольская торговля терпела от этого немалый ущерб. Кроме того, василевс лишился великолепного наблюдательного поста, чтобы следить за тем, что происходит в далекой Скифии и в соседних с нею странах. Враги угрожали со всех сторон. Успокоившееся с окончанием зимы море благоприятствовало планам турецкого

предводителя Чахи, который готовил корабли, чтобы высадиться в Солуни и соединиться с печенегами. Он был настолько уверен в успехе своего предприятия, что уже стал называть себя царем и велел изготовить пурпуровые башмаки. Разорив окрестности Константинополя, печенеги повернули назад и пошли на запад, в долину реки Марицы, чтобы там соединиться с турками. Так, по крайней мере, думал император Алексей, сменивший на престоле Никифора, и со всей энергией предпринимал решительные меры для спасения ромеев.

По повелению василевса кесарь Никифор Мелиссин объявил набор ратников, вооружив их копьями и всем, что нашлось под руками. Для предотвращения опасности, нависшей, как черная туча, над Константинополем, были подняты болгары Вардара и Струмы. Эти пахари, дровосеки и пастухи считались отличными воинами. Немедленно вызвали из Никомидии отряд фландрских рыцарей, состоявших на императорской службе. Сам Алексей поплыл на корабле на запад и высадился в Эносе. Здесь на него обрушились орды печенегов.

Лагерь был устроен по всем требованиям военного искусства, как это предписывает в своем стратегическом трактате император Никифор Фока. Но сердца ромейских воинов не пылали доблестью, и они с тревогой взирали на неприятеля. Печенежский стан находился в немногих стадиях от греческих укреплений, и с часу на час ожидали внезапного нападения. Каков был ужас греков, когда на четвертый день вдали показались новые полчища. Судя по поднятой на дороге пыли, они пришли в большом количестве. К счастью для василевса, эти всадники оказались союзниками, хотя и не очень надежными. То явились на помощь Алексею половцы, вызванные логофетом в последнюю минуту. Их привели два прославленных хана — Тугоркан и Боняк, два хищника с волчьими сердцами. С ханами пришел и пятитысячный отряд карпатских горцев, вооруженных секирами. В своем сочинении Анна называет их подобными Аресу. Эти мужественные воины жили на далекой окраине Руси, но никогда не забывали, что они русские по крови и вере. Ими предводительствовал князь Василько.

Непроглядная черная ночь со всех сторон окружала несчастного князя, ослепленного по проискам злых людей, и все-таки, когда он рассказывал о прошлом, в его представлении вновь светило солнце, вставали голубые горы, текли серебряные реки и плескалось синее море, возникал из мрака царский шатер, украшенный позолоченными щитами воинов. Слепец говорил и говорил, потому что редко можно было встретить такого внимательного слушателя, как Владимир Мономах.

— Царь позвал нас всех на пир, якобы для дружеской беседы. Ему долго пришлось ждать половцев. Долее всех заставил беспокоиться о себе дерзкий хан Боняк.

— Шелудивый?

— Так прозвали его на Руси за его болячки на лице. Но надо сказать, что редко я видел более храбрых воинов, чем этот хан. И гордыни необычайной. На первое приглашение царя он отвечал отказом. Потом все-таки согласился приехать. Ты ведь знаешь, половец двух шагов не сделает пешком. Боняк подъехал к царскому шатру на великолепном скакуне в богатой греческой сбруе. Алексей кусал губы. Я видел, как лик царя побледнел.

— А ты?

— Я тоже находился среди позванных, увидел всю роскошь греков. Стол ломился от яств, каких я нигде раньше не видел.

Алексей красив, вроде нашего Романа. Он сидел рядом с пожирателями сырого мяса и был весьма любезен с ними. Но все заметили, что он ни одного часа не оставался спокоен. За приветливыми царскими словами скрывались душевная тревога и коварство. За столом нам обильно наливали в стеклянные чаши золотистое вино. Такого питья я больше не попробую. Говорили, что этот сок выжимают из виноградных лоз, произрастающих на каком-то далеком острове...

— На острове Хиосе. Мне говорил митрополит.

— Не знаю. Но это вино пахнет немного фимиамом, и от него приятно кружится голова. После обеда царь лобызал нас и раздавал всем подарки.

— Что же ты получил из рук царя?

— Меч.

— Тот, что носишь на бедре?

Слепой пошарил руками по стене, нащупал меч, повешенный на крюк, с удовольствием погладил его.

— Видишь, как искусно украшены ножны серебром? Царь сказал мне с улыбкой: «Всем известно, что больше всего русские любят красивое оружие!» И протянул мне подарок.

— Разве ты знаешь греческий язык? — удивился Мономах.

Василько не без гордости ответил:

— Знаю.

Владимир спросил, желая испытать Василька:

— Как по-гречески хлеб?

— Псоми, — без запинки ответил слепой князь.

— А небо?

— Небо? Это будет... — замялся он.

— Битва как будет по-гречески?

— Махи. Но там при царе находился человек, который переводил все его слова на наш язык.

— А ханы что получили?

— Золотые и серебряные сосуды. Даже Боняк, что сопел за столом, как вепрь, и тот смягчил свою гордость.

— Ханы упивались вином?

— Все много пили.

— Боняка тоже ласкал царь?

— Лобызал.

Хан уверял, что все сделает для нового друга. Тогда царь взял со всех нас клятву, что мы не покинем его до конца своих дней.

— И ты клялся?

— И я.

Владимир знал раньше эти глаза, полные жизни и мужества, а теперь вместо них на обезображенном лице зияли два гнойных рубца. Василько продолжал рассказ:

— Боняк едва держался на ногах. В опьянении хлопал царя по спине и обещал отдать ему половину своей добычи. Я ведь знаю также некоторые половецкие слова. Боняк, помню, кричал, что за три дня изрубит всех печенегов.

— Велика ли оказалась добыча?

— Что можно взять у печенега? Нам достались кони, челядь, рабыни.

— Что же потом было?

— Еще три дня прошло. Половцы проспались, и царь стал снова опасаться худшего. На лице его опять появилось беспокойство. Я все тебе расскажу, брат. Греческий воевода Никифор послал на помощь Алексею ратников, кое-как вооруженных поселян. Они двигались пешком, а припасы везли на повозках, запряженных волами. Греки увидели это издали и пришли в смятение. Им показалось, что идет еще одна орда. Однако, узнав, в чем дело, успокоились и укрепились духом. Даже вступили в бой с печенегами и одержали над ними победу. Но мне хорошо было известно, что печенеги шлют послов к половцам, чтобы переманить их на свою сторону. Так же они и к царю посылали людей с предложением мира. Он же оттягивал переговоры, чтобы выиграть время.

— Почему медлил? Страшился сразиться?

— Так и я полагаю. А другие говорили, что ждал войско из Италии.

— Из Италии... — протянул Мономах.

— Оттуда, где Рим.

Владимир доходил до Чехии, видел Корсунь и Каффу, а другие князья скитались по всей Европе. Изяслав, сын Ярослава Мудрого, побывал в Польше и в Майнце, а убитый Нерадцем Ярополк ездил в Рим. Сам Васильке стоял под стенами Царьграда.

— Где некогда Август правил, — продолжал он определять местоположение Итальянской земли.

— Знаю. Там ныне папа служит обедни на латинском языке.

Васильке не очень разбирался в церковных делах, но был наделен любопытством к жизни, хотел повидать многие страны и вот лишился самого ценного для человека — способности обзрывать мироздание.

— Когда же произошла битва? — спросил Мономах.

— Половецких ханов не прельщали предложения печенегов. У них были свои планы. Но медлительность царя им тоже не нравилась. Боняк грозил Алексею: «До каких пор будешь откладывать битву? Знай, что мы не хотим ждать более. Завтра с восходом солнца будем или волчье мясо есть, или баранье».

— Волчье мясо — это печенеги.

— Печенеги. А баранье — царские воины. Алексей боялся половцев не менее, чем печенегов, и обещал, что наутро начнет битву. Но это мы тогда спасли его.

— Как вы могли спасти царя?

— А вот так. Накануне сражения мы покинули половцев и перешли в лагерь греков, чтобы стоять рядом с христианами.

Владимир внимательно смотрел на собеседника, принимавшего участие в таких знаменательных событиях.

— Греки обнимали нас, говорили, что мы их избавители от гибели. Помню, половина той ночи прошла в молитве. При свете зажженных смоляных факелов войско распевало псалмы. Кто мог, украсил свое копье лампадой или свечой, и весь греческий стан сиял огнями, как звездное небо в полночь. Воинам дали самый краткий отдых, и с рассветом началась битва. Половцы устремились на печенегов, как волки, и те не выдержали, поспешили укрыться за повозками. Они привезли в них жен и детей.

Владимиру Мономаху все это было хорошо знакомо. В случае неудачного нападения кочевники поворачивают коней и мчатся в узкие проходы, оставленные между возами, чтобы перестроиться под их защитой и снова влететь в бой.

— Печенежские ханы-соглашались прекратить сопротивление, просили половцев помирить их с царем, обещали уйти. Но опытные военачальники не упускают случая уничтожить врагов до последнего человека, если это в их власти. Алексей опасался, что переговоры охладят пыл Тугоркана и Боняка, и велел своему знаменосцу идти впереди половцев. Тогда ханы снова ринулись на печенегов. Началось невиданное избиение.

— А ты где стоял со своими воинами?

— В те часы мы охраняли от опасности шатры царя. Уже взошло солнце и осветило гибель печенежской орды. Руки победителей устали убивать. Тогда царь приказал доставить из соседних деревень сосуды с холодной водой. Утолив жажду, воины снова подняли мечи и копья.

Писательница Анна Комнина отметила по поводу этих событий: «В тот день произошло нечто необычайное: погиб целый народ, вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не десять тысяч человек, а выражалась в огромных цифрах».

В Константинополе по случаю кровавой победы сложили песенку с таким жестоким припевом:

Лишь один денечек не дождался скифы мая...

Битва произошла 29 апреля 1091 года.

Василько не мог остановиться в своем повествовании.

— Избиение печенегов прекратилось только на закате солнца. Те, что уцелели, попали в плен. Пленников оказалось множество. Настолько велико было количество пленных, что греки опасались возмущения, когда те придут в себя, и решили истребить всех до единого человека. Я сидел за столом царя. Тут же находились Тугоркан и Боняк. Явился Синесий. Так зовут одного из царских вельмож. Он предложил царю перерезать пленных печенегов, чтобы не осталось никакого повода для беспокойства.

— Что же ответил царь?

— Со мной сидел какой-то человек, говоривший на нашем языке. Он восхищался великодушием царя. Алексей ответил царедворцу с возмущением: «Хоть они и язычники, но все же люди. Враги тоже достойны жалости...» Царь в гневе отослал искусителя, приказав лишь отобрать у печенегов оружие и приставить к пленникам усиленную стражу. Когда пир кончился, он отошел ко сну.

Василько рассказывал со спокойствием человека, который много перевидал на своем веку:

— А ночью греческие военачальники велели воинам перебить печенегов. Даже половцы были приведены в ужас таким поступком христиан. Опасаясь, что и с ними могут поступить так же, они ночью тайно снялись и побежали в сторону Дуная, не помышляя об обещанной награде. Царю пришлось снарядить за ними погоню, чтобы вручить им подарки и тем расположить ханов к себе на будущее время.

— А ты?

— Я остался со своими ратниками. Нас угощали три дня, а когда мои воины, все простые люди, проспались, нам вручили дары. Мы тоже поспешили уйти. Вокруг была мерзость. Трупное зловоние стояло над полями. Взор отвращался от мертвецов, усеявших равнину. Боняк и Тугоркан уже переправились через Дунай. Мы распрощались с царем и покинули Греческую землю, но в пути на нас напали угры и многих убили. С остальными я возвратился на Русь.

Василько поник головой, вспоминая волнующие дни своей жизни. Владимир тоже вздыхал, сам не зная почему. Из Царьграда приезжали греки. Туда ездили русские купцы и монахи. Они рассказывали о том, что видели, однако повесть слепого князя была особенно страшной и поучительной. По просьбе Мономаха Василько рассказал также о том, что случилось с царевичем Константином...

На Руси верили, что этот человек был подлинным сыном императора Романа Диогена, смелого воина, ставшего жертвой дворцовых интриг, заговоров и коварства Михаила Пселла. Роман попал в плен к туркам, и его не стали выкупать, а, напротив, объявили низложенным. Он вырвался из плена, но греки осадили его в крепости Адане, и он сдался своему противнику Андронику, обещав, что откажется от престола и пострижется в монахи. Его тут же постригли, посадили на деревенскую телегу и повезли в Константинополь. Затем остановили повозку в Котисе, ожидая указаний из столицы. Оттуда последовал приказ ослепить Диогена. Напрасно он ссылался на епископов, клятвенно ручавшихся за его безопасность. Несчастливого потащили в какой-то чулан, и палач, связав императору ноги и руки, придавив ему живот щитом, четырежды погружал железо в глаза, пока тот не перестал видеть. Глаза вытекли. Страдальца посадили на ту же повозку и повезли дальше. Лицо у него распухло, он скорее напоминал разлагавшийся труп, чем живого человека. Спустя несколько дней Роман умер на берегах Пропонтиды. Но, может быть, самое ужасное в этой драме — письмо Пселла, которое он послал ослепленному, хотя известно, что, во всяком случае, этот писатель не захотел помешать казни. Зная, что Диоген будет и его считать виновником своего несчастья, Пселл писал: «Я в полном недоумении, благороднейший и восхитительнейший господин, оплакивать ли мне тебя как самого несчастного человека или восхищаться как самым славным мучеником?..»

Прошли годы, и в Константинополе появился человек, выдававший себя за сына Романа Диогена. Кто он был? Царевич? Или, может быть, безвестный бродяга и обманщик, а настоящий сын Романа пал в сражении с турками под Антиохией и там погребен? Но претендент на престол василевсов утверждал, что он лишь попал в плен к туркам и счастливым образом спасся из неволи. Нашлись многие жители столицы, которые хотели верить ему. Сначала он собирал своих приверженцев тайно, в частных домах, а затем выступил открыто на площадях и в общественных местах. Император не обращал на него большого внимания, считая своего соперника безумцем. Когда рассказы о появлении самозванца достигли слуха вдовы Константина, кончавшей свои дни в одном из константинопольских монастырей, она не признала в нем своего супруга. Тем не менее обманщик упорствовал. Алексей приказал схватить его вместе с приверженцами и назначил для них унижительную казнь: им обрили головы и бороды и поставили у позорных столбов на людной площади, а самого самозванца привязали к виселице. Прохожие мрачно смотрели на злодеев, однако неизвестно было, о чем они думали, созерцая это зрелище, — может быть, о собственных бедах. Затем лжецаревича сослали в Корсунь и заточили в темницу для

государственных преступников. Однако узник нашел способы войти в сношения с половцами, являвшимися в этот город по торговым делам. Они помогли узнику бежать, и Константин очутился в половецких степях. Весть об этом скоро достигла Киева и Переяславля. Степные вожди, в том числе хитрый Тугоркан, тоже отлично понимали, какую выгоду можно извлечь из создавшегося положения, и решили помочь своему гостю завладеть греческим престолом.

Шел 1095 год. В Константинополе царило страшное волнение в связи с переходом половцами Дуная. Был созван синклит. Как обычно, умудренные житейским опытом старцы высказались в пользу осторожных действий, считая, что оборона более разумна в данном случае, чем опрометчивое наступление. Но, окрыленный недавней победой над печенегами, император Алексей рвался в бой. Чтобы испытать волю небес, прибегли к гаданию и положили две запечатанных таблички на престол св.Софии. На одной стояло: «Жди», на другой: «Иди навстречу». По окончании литургии патриарх распечатал одну из них. На этой табличке он прочел призыв идти на куманов. Тотчас во все концы империи помчались вестники.

Главной преградой на пути куманской орды к Константинополю считался Адрианополь, прославленный своими крепкими стенами. Василевс увещевал жителей этого города не верить самозванцу и не жалеть стрел для отражения врагов. Был отдан приказ об усиленной охране горных перевалов. Однако половцы без большого затруднения очутились в греческих пределах. Многие крепости охотно открывали ворота Константину, так как народ надеялся на улучшение своего положения при грядущих переменах. Поощренный успехом, царевич повел свое войско на Анхиал, где в то время находился император Алексей. Но эта крепость оказалась неприступной для кочевников, непривычных к осадным действиям.

Три дня претендент на диадему василевсов стоял под стенами Анхиала, затем повернул на запад и двинулся назад к Адрианополю. Там начальствовал над войсками Никифор Вриенний, старый и опытный стратиг, не пожелавший сдаться тому, кого он считал самозванцем. Константин вызвал его для объяснения на городскую стену. Никифор заявил, что ему точно известно о гибели подлинного царевича под Антиохией и что он даже видел его в гробу.

Здесь половцы тоже ничего не могли предпринять против мощных укреплений и напрасно простояли под городом семь недель. Осажденные производили удачные вылазки и наносили врагу большой ущерб. Во время одной из стычек знатный молодой воин едва не убил самого Тугоркана. Во всяком случае, ему удалось ударить бичом самозванца, облаченного в царские одежды и пурпуровые башмаки, а такой удар, как известно, везде считается позорным.

В конце концов император решил избавиться от опасного соперника. К самозванцу подослали предателя. Человек явился к Константину с обритой головой и уверял, что так поступили с ним по велению царя. Он даже изувечил себе лицо, уверяя, что это следы пыток, и тем вошел в доверие к самозванцу. Теперь оставалось только заманить претендента в какую-нибудь глухую пограничную крепость. Стратиг одного из таких укреплений сделал вид, что перешел на сторону мятежника, и принял у себя Константина с царскими почестями. По этому поводу был устроен пир, оказавшийся концом всего великого мятежа. Когда, опьянев, Константин уснул, с него сняли красные башмаки и заковали в цепи, а его спутников безжалостно перебили. Затем Алексей велел ослепить его. В происшедшей вскоре после этого кровопролитной битве императору Алексею удалось разбить половцев, возможно

— с помощью тех же печенегов, которые были взяты в плен при Эносе, а впоследствии служили в греческой коннице и оказали немало услуг империи. В этом сражении семь тысяч половцев остались на поле, три тысячи попали в плен. С остатками своих орд Тугоркан возвратился в степи и опять появился в русских пределах.

Теребовльский князь Василько больше не принимал никакого участия в греческих событиях, но он мог еще о многом другом рассказать во время той беседы, и Мономах заплакал, вспоминая печальную повесть об ослеплении братьями молодого князя. Ее написал в назидание потомкам поп Василий, и Владимир изумлялся его умению владеть пером. О некоторых подробностях страшного дела он узнал от самого Василька, когда они беседовали в Смоленске.

Половцы все чаще и чаще приходили на Русь, и пока Святополк и Мономах осаждали Стародуб, хан Боняк пробрался, как лисица в птичник, под самый Киев и сжег в Берестовом княжеский летний дворец. Потом хан Куря воевал под Перемышлем и завладел многочисленными табунами коней. Наконец, сам Тугоркан появился в Переяславской земле. Жители заперлись в городе, а Святополк и Владимир незаметно подошли к половецкому стану и так тихо переправились через Трубеж, что враги ничего не заметили и только в последнюю минуту построили свой полк. Но было уже поздно. Не дожидаясь приказа, русские дружины бросились на врагов. В этой битве были зарублены Тугоркан и его сын. Из уважения к жене, Тугоркановой дочери, Святополк привез тело тестя в Берестово и похоронил его между берестовской дорогой и той, что идет к монастырю. Но безбожный Боняк снова пришел к Киеву и в первом часу зажег Стефанов монастырь. Затем приступил к Печерской обители, когда монахи еще сидели по кельям после заутрени. Разбив ворота, половцы подожгли монастырские строения и ворвались в церковь, где стоял гроб Феодосия. Услыхав крики степняков, подобные волчьему вою, некоторые иноки бежали из монастыря, а другие укрылись на хорах, и там враги убили их. После этого половцы рассеялись по келиям и уносили все, что имело хоть малую ценность.

Святополк, Владимир Мономах, Давид Игоревич и Давид Святославич с братом своим Олегом, а также Васильке Ростиславич собрались на княжеском совете в городе Любече, чтобы решить, как — себя не ущемив — устанавливать мир и тишину на Руси. Красно говорил Мономах, увещевая князей:

— Пока мы в распрях губим Русскую землю, приходят половцы и разоряют наши области, радуясь, что между нами вражда. А между тем у нас нет причин ссориться. Поэтому объединимся и будем блюсти Русь от врагов. Пусть каждый владеет своей отчиной: Святополк — Киевом, я — достоянием моего отца, а Давид, Олег и Ярослав — тем, что принадлежало их отцу Святославу. Остальные пусть владеют городами, которые дал им мой отец: Давид Игоревич

— Владимиром, Володарь — Перемышлем, Василько — Теребовлем.

Теребовль был незначительный городок в верховьях реки Серета. Там проходили пути к Дунаю и в Греческую землю, близко жили ляхи, угры, в воздухе чувствовалось вечное беспокойство, и дружинники спали, не расставаясь с оружием.

На съезде князья договорились о мире, целовали на том крест и, распрощавшись, разъехались по своим городам. На прощание Мономах, уже сидя на коне, сказал:

— А если отныне кто пойдет войной на брата, то пусть будет против него вся Русь и святой крест.

Великий князь Святополк вернулся в Киев, и все люди радовались, узнав о том, что было решено на княжеском съезде. Но известно, что дьявол не любит мира и согласия между людьми. На этот раз сатана действовал в образе некоего царского патрикия, приехавшего в те дни на Русь с дарами и с тайным поручением к Святополку. Царедворец вкрадливо

говорил Давиду Игоревичу, прижимая к сердцу белую руку с перстнями на тонких и длинных пальцах:

— Уверяю тебя, что при первом же удобном случае Владимир соединится с Васильком против тебя и князя Святополка.

Давид охотно верил лживым словам, и в душе у него зарождалось сомнение. Он стал в свою очередь нашептывать Святополку, тараща злые глаза:

— Кто убил Ярополка, твоего любимого брата?

— Говорят, Нерадец, — ответил великий князь.

— А кто вложил ему саблю в руку?

— Откуда мне знать?

— Подумай-ка об этом хорошенько.

— Васильке?

— Воистину он.

— Не верится этому.

— Не верится? Скоро узнаешь и другое. Теперь он и против тебя замышляет и хочет соединиться с Владимиром, этим святошей и лицемером. Позаботься же о том, чтобы у тебя голова осталась на плечах.

Святополк был встревожен до глубины души.

— Истина это или ложь? — спрашивал он. — Если правда то, что ты говоришь, пусть бог будет тебе свидетель, а если ложь, пусть будет он судьей для тебя.

Поглаживая в волнении длинную бороду, великий князь перебирал в памяти события. Да, смерть брата, случившаяся так неожиданно. А ведь он мог сесть после него на киевский золотой стол. Еще внимание, какое Мономах всегда оказывал князю Васильку. Любовь теребовльского князя к переменам. В самом деле, по чьему наущению Нерадец заколол Ярополка?

Давид шептал, склоняясь к самому уху великого князя:

— Если мы не схватим Василька, то знай, что ни тебе княжить в Киеве, ни мне во Владимире Волынском.

Святополк хмурился все больше и больше, сверкая острыми очами. Всякий человек цепляется обеими руками за свое достояние, а он, в накоплении серебра видевший смысл жизни, не забыл, что скитался, как бездомный пес, по чужим странам.

Шел месяц, который в языческой древности назывался грудень, а у христиан зовется ноябрь. Возвращаясь из Любеча, Василько направился в свое далекое княжество. Он переправился через Днепр у Выдобичей и поднялся в Михайлов монастырь, чтобы поужинать с монахами, беседуя с ними о небесной и земной жизни. Свой обоз теребовльский князь оставил на Руднице и, когда наступил вечер, вернулся к отрокам, чтобы переночевать там.

На другое утро к нему явился посланец от Святополка и передал приглашение своего господина:

— Великий князь просит тебя не уходить от его именин.

Но Василько торопился вернуться к себе домой.

— Скажи великому князю, что не могу остаться. Боюсь, как бы не случилась у нас война. За Тербовлем беспокойные соседи.

Позднее прискакал сам Давид Игоревич и тоже стал уговаривать молодого князя:

— Не уходи. Не добро послушаться старшего брата.

Однако Василько стоял на своем, и Давид уехал назад ни с чем.

— Вот видишь, — нашептывал он Святополку, — почему-то Василько не хочет остаться, не слушается тебя. Значит, замышляет нечто, хотя ездит по твоей земле. Что же будет, когда он вернется в свою область? Вот увидишь, займет твои города.

— Какие города?

— Туров, и Пинск, и другие. Ты еще вспомнишь мои слова, но будет уже поздно. — Давид постучал золотым перстнем по столу.

— Как же мне поступить? — недоумевал Святополк.

— Как поступить... Позови его, пока есть время...

— А потом?

— Схвати его и выдай мне.

— А крестное целование?

— Разве он не нарушает его первым?

Святополк внял соблазнительным речам и снова послал сказать Васильку:

— Если не можешь остаться до моих именин, то хоть побывай ко мне на короткое время, и мы побеседуем с тобой вместе с Давидом.

Не догадываясь о предательстве, Василько обещал приехать в Киев. Он сел на коня, взял с собой малую дружину и направился к великому князю в гости. Стояло чудесное солнечное утро. Лужицы сковывал легкий мороз. Было приятно дышать прохладным воздухом, от которого розовели щеки у встречаемых девушек. Красногрудые снегири бойко клевали сладкие ягоды на придорожных рябинах. Князь с удовольствием смотрел по сторонам — на птиц, на величественные дубы, на город, вздымавшийся на горе к голубым небесам.

Вдруг на дороге появился за поворотом верный отрок, бывший в Киеве и скакавший, чтобы предупредить своего князя о грозившей ему опасности. Он схватил княжеского коня за узду и, тяжело дыша, умолял:

— Не едь туда, князь! Враги хотят убить тебя!

Не поверил Василько. Уставив свой взор вдаль, он размышлял вслух:

— Как они могут убить меня? Разве не целовали мы крест на верность друг другу?

— Не едь! — настаивал отрок. — Погибнешь во цвете лет.

Впрочем, он ничего не мог сообщить в подтверждение своих опасений, кроме слуха, пущенного в то утро на торжище.

Василько снял парчовую шапку, перекрестился и сказал:

— Да будет на все воля господня.

Вскоре он въехал со своими отроками на великокняжеский двор. Все вокруг казалось спокойным. Перед князем возвышался каменный дворец.

Святополк спустился навстречу гостю по огромным плитам лестницы, покоившейся на толстых столпах, и повел его в горницу, где уже с утра затопили зеленую изразцовую печь. Вслед за ними вошел туда и Давид Игоревич, и все трое уселись за стол. Однако Давид сидел как немой.

Святополк стал опять уговаривать Василька остаться на праздник в Киеве.

Теребовльский князь упорно отказывался:

— Не могу, брат. Я уже велел обозу идти вперед. Нагоню своих в дороге. Надо торопиться.

— Хоть пообедай у меня, — упрашивал великий князь.

Василько согласился, хотя его удивляло крайнее беспокойство Святополка и упорное молчание Давида Игоревича. Великий князь то разглаживал бороду, то потирал руки. То вставал, то снова садился. Давид же сидел с таким видом, точно замышлял злое. Но легкомысленный Василько уже забыл о предостережениях отрока, встреченного в пути под старым дубом, и чувствовал себя превосходно. Он находился у своих братьев.

Наконец Святополк встал и нерешительным голосом произнес:

— Посидите тут. Я сейчас.

Великий князь быстрыми шагами направился к двери, в страхе оглядываясь на Василька. Лицо у него перекопилось от волнения. Молодой князь и тут ничего не заметил и благодушно разговаривал с Давидом. Тот отвечал невпопад, видимо тоже объятый ужасом при мысли о злодействе, какое они, нарушая крестное целование, задумали со Святополком против брата. В сердце Давида гнездился обман, и поэтому у него не было ни голоса, ни слуха.

Посидевши немного, Давид Игоревич вытер рукою пот, выступивший у него на лбу.

— Что с тобою? — спросил его Василько.

— Жарко.

Теребовльский князь кинул взор на печь и полюбовался ее каменной красотой.

— Что-то не возвращается Святополк, — с деланным удивлением заметил Давид.

Василько посмотрел на дверь.

— Отроки! — крикнул Давид Игоревич.

Тотчас явились два отрока, что стояли на страже при дверях.

— Где великий князь? — спросил их Давид.

— Стоит в сенях.

Предатель похлопал Василька по плечу.

— Ты посиди тут немного, а я пойду позову его.

Давид поспешно вышел вон. Как только он перешагнул через порог, отроки по его приказу заперли дверь. Когда Василько убедился в этом, то не знал, что ему и думать. Напрасно князь стучал в дубовые створки, дверь не отпиралась. Оконца оказались слишком малыми, чтобы пролезть в них крупному человеку. Князь стал кричать, в надежде, что его голос услышат теребовльские отроки, приехавшие с ним. Но в горницу уже вбежали Святополковы конюхи, схватили несчастного князя и заковали его в железа. Меча у него не оказалось под рукою: он оставил оружие в снях, чтобы удобнее сесть за стол.

Наутро Святополк созвал чуть свет своих бояр и других советников и рассказал им все, о чем узнал от Давида Игоревича.

— Брата моего злодейски убили, а теперь и на меня замышляют, — закончил он свою речь.

Склонив головы и перебирая пальцами шелковистые бороды, сидевшие на совете бояре думали. Потом один из них, самый старший и важный, сказал под устремленными на него со всех сторон взглядами:

— Если князь Давид сказал правду, то следует, конечно, наказать Василька за его злоумышление. А если солгал, то пусть сам Давид примет наказание от бога и отвечает перед ним на страшном судилище...

Участовавшие в совете игумены стали просить за теребовльского князя. Смягчившись, Святополк ответил им:

— Это Давид Игоревич все замыслил.

Узнав о том, что происходило на совещании, Давид стал подговаривать Святополка на ослепление Василька. Царский патрикий рассказал ему, что так часто поступают в Греческой земле, чтобы избежать пролития христианской крови. Святополк долго не соглашался и хотел отпустить Василька. Однако Давид не позволил ему поступить так, опасаясь Ростиславичей, и в ту же ночь, тайно, под покровом темноты. Василька повезли на телеге в Белгород, древний город, расположенный от Киева в двадцати поприщах. По приезде туда князя стащили с повозки и повели в небольшую горницу. Сидя там, Василько рассмотрел торчина, точившего нож у печки, и понял, что его ждет. Он возопил с великим плачем, когда увидел, как в избу вошли другие палачи — Сновид, конюх Святополка, и Дмитр, конюх Давида, доверенные люди князей. Они начали расстилать на полу ковер, потом схватили князя и пытались повалить его, но Василько так яростно защищался, что злодеи не могли справиться с ним и позвали на помощь других людей. Пришли еще конюхи, связали сопротивлявшегося изо всех сил князя, бросили на ковер и, сняв с печки доску, положили ему на грудь. На ее концы уселись Сновид и Дмитр, но не в состоянии были удержать бившегося на полу князя. В предвидении того страшного, что ожидало его, он напрягал железные мышцы: он не хотел лишиться зрения, божественного дара небес. Конюхи сняли тогда еще одну печную доску и так сильно придавили грудь князю, что у него затрещали кости. И вот торчин по имени Берендей, овчар Святополка, приступил к Васильку с ножом в руках. Он намеревался ударить его в зеницу и вынуть внутреннюю частицу ока, но промахнулся и только поранил князю щеку. Этот рубец остался на лице у слепца до конца его дней. Вторым ударом Берендей выколол правый глаз, а третьим — левый. Васильке потерял сознание и лежал как мертвец, и белая рубаха его вся была залита кровью. Мучители подняли князя вместе с ковром, положили на телегу и повезли во Владимир-на-Волыни, где тогда княжил Давид Игоревич. Когда повозка переехала реку по Воздвиженскому мосту, конюхи свернули на городское торжище и остановились там на дворе у местного священника. Они стащили с князя окровавленную рубашку и отдали постирать попадье. Добрая женщина сделала так, как ей сказали,

оплакивая молодого князя, как мертвого. Он очнулся, услышав плач, и спросил:

— Где я?

— В городе Воздвиженске, — ответила сквозь слезы попадья.

Васильке попросил, чтобы ему дали напиться. Кто-то принес немного воды в деревянном ковше. Князь сделал несколько глотков и окончательно пришел в себя. Он заплакал, укоряя бога и людей:

— Зачем вы сняли с меня кровавую рубаху? Лучше бы я смерть принял в ней...

Пришли Давидовы отроки, опять положили князя на повозку, и она загрохотала по неровному пути. Стоял мороз, и комья земли на дороге сделались как каменья, поэтому телега колыхалась, как корабль, и это причиняло ослепленному невыразимые страдания.

Во Владимир приехали только на шестой день. Явился в свой город и торжествовавший Давид, точно он собрал богатую жатву в житницы. Несчастливого Василька поселили на дворе у некоего Вакея, приставив стеречь его тридцать человек и двух княжеских отроков. Их звали Улан и Колча.

Все это священник Василий описал со слов Василька, но писатель и сам был наделен острым зрением и, например, не забыл упомянуть о замерзших комьях земли на дороге. Когда о случившемся узнал от него Мономах, то не мог сдержать слез и сказал, закрывая руками лицо:

— Такого злодеяния никогда еще не было на Руси, ни при дедах наших, ни при отцах. Брат ослепил брата!

Владимир тотчас послал вестников к Олегу и Давиду Святославичам с такими словами:

— Нашего брата ослепили. Смотрите, что сотворил Игоревич. Поэтому приходите скорее в Городец. Нельзя оставить такое зло без наказания. Если мы будем губить друг друга, то Русская земля пропадет от иноплеменных.

Давид Святославич весьма опечалился. Вместе с братом, собрав воинов, поспешил он к Мономаху, чтобы общими силами наказать Святополка и Игоревича. Владимир Мономах стоял со своей дружиной в дубраве, когда князя нашли его. По совещании все трое отправили своих мужей в Киев. Послы укоряли великого князя:

— Как ты решился на такое злодеяние и посмел ослепить своего брата! Если опасался ты князя Василька, то надлежало тебе обвинить его перед другими князьями и сперва судить, а потом уж наказывать, только после доказательства вины. Но хоть теперь скажи нам, в чем ты считаешь его виновным?

Святополк, мрачный, как ночь, заявил:

— Я узнал от Давида Игоревича, что это по наущению Василька убили моего брата Ярополка и что он и меня замыслил убить, желая завладеть моими областями.

— Какими областями?

— Хотел захватить Туров, Пинск и Берестье. Вся область Погорину, что лежит на реке Горынь. Что он целовал крест с Мономахом, чтобы тому сесть в Киеве, а Васильку — на Волыни. Поневоле мне пришлось подумать о том, как уберечь себя. Но ведь не я ослепил князя, а Давид Игоревич.

Мужи, посланные Владимиром и Святославичами, возразили ему:

— Не говори так. И не сваливай всю вину на одного Давида. Ведь Василько был схвачен и ослеплен не в Давидовом городе, а в твоём.

Сказав великому князю все, что им поручили, послы удалились.

На следующее утро три князя стали готовиться к переходу через Днепр, чтобы покарать Святополка. Он уже собрался бежать из Киева, но горожане не позволили ему покинуть город и остановили коня на улице около Золотых ворот. К Мономаху отправились вдова князя Всеволода, проживавшая в одном из монастырей, и митрополит Николай. Они пришли к разгневанному Владимиру и на коленях умоляли не губить Русскую землю. Князь опять пустил слезу и склонился к просьбам княгини, второй жены отца, которую почитал как родную мать.

Княгиня и митрополит возвратились в Киев и принесли весть о том, что мир не будет нарушен. Три князя, стоявшие на другом берегу, требовали, чтобы Святополк очистился от вины, своей рукой наказав Давида Игоревича за их общее преступление.

Позднее поп Василий рассказывал Мономаху о подробностях ужасного злодеяния и о том, что произошло вслед за тем на Воле ни.

— Уже когда Василько был во Владимире, жил на дворе у Вакея, — говорил священник, — мне тоже случилось приехать в этот город. Приближался великий пост. Князь Давид однажды прислал за мной среди ночи. Я пошел. У князя дружина сидела на совете. Он усадил меня и спрашивал, склоняясь ко мне: «Скажи, не говорил ли князь Василько, что если я захочу, то он будет просить Владимира вернуться и тот воротится и не пойдет дальше? Теперь намерен я послать тебя, Василий, с отроками к Мономаху, но сперва передай князю Васильку вот что. Если он может уговорить Владимира, то пусть берет себе город, какой ему люб. Хочет — Шеполь, а не хочет — Перемышль на реке Стыре». Я пошел к ослепленному и передал ему все, что предлагает Давид. Князь огорчился и очень удивлялся, что ему дают любой город, а его милый Теребовль не хотят вернуть.

— Что еще говорил Василько? — полюбопытствовал Мономах, которого всегда волновала судьба несчастного князя.

— Он тогда велел сказать Давиду, что хочет послать к тебе Кульмея. Но этого человека не оказалось во Владимире в те дни. Тогда Василько сказал, чтобы слуга вышел вон, а сам сел поближе и зашептал: «Слышал я другое. Будто бы Давид хочет меня выдать польскому королю. Я ему в молодости немало вреда причинил, и он на меня зубы точит. Я знаю, Давид еще не насытился моей кровью. Что же, если придется мне умереть, то я не усташусь смерти. Понял я теперь, что все это бог послал мне за мою гордость неимоверную. — И стал говорить еще тише, чтобы никто не мог подслушать: — Я тогда получил весть, что ко мне идут торки, берендеи и печенеги. Кочевники хорошо знали меня и верили, что если поведу их куда-нибудь, то они возвратятся с богатой добычей. А что нужно печенегу или торку? Я же хотел вести их на Дунай или просить Святополка, чтобы отпустил меня на половцев. Я хотел либо одержать великую победу, либо голову свою сложить за Русскую землю. Но клянусь тебе головой, что никакого зла не умышлял ни против Святополка, ни против Игоревича. А казнь я получил за свое высокомерие. За то, что веселилось сердце у меня и радовался ум мой, когда пришло ко мне множество всадников. И вот смирил бог мою гордыню...»

Владимир на всю жизнь запомнил каждое слово из рассказа священника Василия. Неоднократно перечитывал он и его повесть, написанную с таким редким книжным даром. Каждый раз, когда Мономах доходил до того места, где описывается борьба молодого князя с конюхами, сердце у Владимира наполнялось ужасом. Это было хуже смерти. В одно мгновение солнечный свет погас, как задутая свеча, и весь мир погрузился во мрак. Все

померкло: голубые небеса, зеленые дубравы, цветы на лужайках, красота жен. Ничего не осталось, кроме черной ночи. Никогда уже Василько не будет воином, не увидит земной прелести. Но зато он может духовным взором устремиться в небесные сферы, приближаясь к всевышнему.

Мономах следил за жизнью Василька, знал о его дальнейшей участи. Ослепленный князь жил во тьме и молчании. Наступила Пасха. Давиду пришлось на ум захватить область Василька, но ему преградил путь Володарь, брат слепца. У них произошел короткий разговор.

— Почему ты не покаешься, сотворив зло? Вспомни: что сделал? — спрашивал Володарь.

Но Давид Игоревич стал валить вину на Святополка:

— Разве это произошло в моем городе? Я сам опасался, что меня схватят и погубят.

— Пусть бог будет тебе свидетелем, — сказал Володарь, — о том, что ты совершил. Но теперь отпусти моего брата, и я помирюсь с тобой.

Давиду ничего не оставалось, как отпустить Василька, и тот снова сел в своем Теробовле. Но когда наступила весна, Василько и Володарь пошли войной на Давида, и он затворился во Владимире. Братья потребовали, чтобы Давид выдал тех бояр, которые подговаривали его ослепить теробовльского князя. После долгих пререканий им выдали Василия и Лазаря. Третий боярин, по имени Туряк, успел убежать в Киев. В воскресенье заключили мир. На другое утро, на рассвете, отроки Василька повесили Василия и Лазаря на дереве и расстреляли их стрелами.

Мономах вздохнул. Он и теперь считал, что этим поступком Ростиславичи запятнали себя, ибо только совету князей принадлежало право отмщения. Однако смута на Волыни не прекращалась. В борьбу вмешался польский король Владислав. Он взял пятьдесят золотых гривен с Давида и столько же со Святополка, который скрипел зубами, выплачивая эти деньги, но ляхи никому не помогли у Дорогобужа, где встретились Давид и Святополк, победивший в этом сражении. Давид убежал в Польшу, Святополк же пожелал после победы взять себе области Василька и Володаря, но братья вышли против великого князя, и слепой Василько, верхом на коне впереди своих отроков, был страшен для врагов, когда вздымал над головой серебряный крест, тот самый, на котором Святополк давал целованье иметь мир и любовь с братьями.

Битва произошла недалеко от Звенигорода Галицкого. Все слышали, как Василько кричал через поле своему врагу, высоко поднимая крест:

— Ты лобызал его, а потом отнял у меня свет! Теперь хочешь и душу мою взять?

Полки сошлись, гремя оружием. Но Святополк не выдержал и побежал во Владимир, и за ним последовали его сыновья и два сына Ярополка, а также князь Святоша, сын Давида Святославича, богомольный и начитанный человек. Святополк посадил во Владимире сына Мстислава, которого имел от наложницы, а Ярослава отправил к уграм, чтобы привел иноплеменное войско против Володаря, и тот вскоре вернулся вместе с королем Коломаном и двумя епископами. Угры стали около Перемышля, на реке Вагре, а Володарь затворился в городе.

жалости к людям, ни перед чем не останавливался в достижении своих целей и за всю жизнь не построил ни одной церкви, хотя по слабости здоровья его предназначали к духовному званию. В борьбе за власть он ослепил не только своего брата Альму, но и пятилетнего сына его. Своей внешностью он мог пугать детей — был хром, горбат, крив на левый глаз и, кроме того, шепелявил, — и тем не менее стал не епископом, а королем.

Вместе с Коломаном пришла многочисленная конница. На за это время Давид Игоревич уже успел помириться с Володаром и, оставив на его попечение свою жену, поспешил к половцам, чтобы призвать их на помощь против угров. В степи он случайно встретил хана Боняка, которого хорошо знали на Руси, и предложил ему пойти с князьями против Коломана. Тот охотно согласился, в надежде на обильную военную добычу.

Однажды, когда новые союзники остановились по пути к Перемышлю на ночлег, Боняк встал, сел на коня, отъехал от стана далеко в поле, озаренное мутным светом луны, и стал выть по-волчьи. Тотчас откликнулся вдали какой-то одинокий волк, а потом послышалось завывание множества голодных зверей.

Вернувшись, Боняк радостно заявил Давиду:

— Слышал, как волки выли? Победа будет у нас наутро над Коломаном.

Когда возшло солнце, на равнине сверкнуло оружие нарядных угорских полков. Между тем у Боняка было едва триста всадников, а в дружине Давида

— сто. Угров же насчитывалось много тысяч. Но опытный в военном деле хан разделил эти небольшие воинские силы на три отряда и вышел врагу навстречу. Впереди он пустил храбрейшего из храбрых, молодого хана Алтунопу, с пятьюдесятью воинами на злых степных конях. Давида поставил он под главным стягом, а своих всадников отвел в укромные места по обеим сторонам дороги.

Отряд Алтунопы, как это в обычае у половцев, вихрем подлетел к неприятельскому строю; всадники выпустили по стреле и тотчас повернули лошадей. Угры кинулись за ними в погоню. На всем скаку они промчались мимо Боняка, и хитрый степняк ударил на них справа и слева, а воины Алтунопы вернулись, и дружина Давида бросилась в бой. Все это создавало впечатление множества воинов. Давид и Боняк сбили угрских всадников в одну кучу, как сокол сбивает галок, и в этом смятении, не разбирая, с какой стороны нападает неприятель, угры побежали, и многие из них утонули в Вагре и Сане. Они мчались вдоль рек и сталкивали друг друга в воду, а Давид и Боняк гнались за ними два дня и рубили. Говорят, что в этой битве погибло много тысяч угров и среди них епископ Купан и некоторые приближенные короля.

После победы под Перемышлем Давид осадил Мстислава, сына Святополка, во Владимире Волынском и часто ходил на приступ. Но владимирцы мужественно отбивались на стенах, и стрелы летели как дождь. Однажды Мстислав стоял на забрале, наблюдая за действиями врагов. В это время вражеская стрела влетела в щель между бревнами и вонзилась князю в пазуху. Раненого свели под руки вниз, и в ту же ночь он умер. Смерть князя три дня скрывали от горожан, чтобы не упали они духом, и лишь на четвертый сообщили о его гибели на вече. Осажденные решили послать вестника к Святополку. Гонец пробрался в Киев и заявил великому князю:

— Твой сын убит, а мы изнемогаем от голода. Если не поможешь нам, люди сдадутся.

Святополк послал во Владимир воеводу Путятю и князя Святошу. Быстрыми переходами они добрались до стана осаждающих. Это произошло в полдень. Давид спал. Дружина Путяты набросилась на его воинов и стала рубить их, и спросонок князю с большим трудом удалось спастись. Путятя и Святоша вошли в город и посадили в нем воеводой Василя.

Борьба за города и области продолжалась еще три года, напоминая переменным счастьем шахматную игру, когда за доской сидят два упорных противника. Один князь прогонял другого, потом побежденный брал верх, и все одинаково приводили иноплеменников, жгли села смердов, а затем бежали

— кто в Польшу, кто в половецкие степи. В конце концов неугомонного Давида Игоревича посадили в Дорогобуже, где он и нашел свой конец. В тот же год видели все люди знаменье на небе. Три дня подряд на полуденной и полуночной стороне небосклона при восходе солнца и ночью стоял свет, подобный зареву пожара, и казался сильнее сияния полной луны. Потом солнце окружили три дуги, хребтами одна к другой, и никто не знал, к добру ли подобные предзнаменования или к несчастью.

Но у некоторых князей еще теплился государственный смысл в уме, и они все ясней понимали, что только общими силами возможно бороться с кочевниками. К тому времени Владимир Мономах уже приобрел большой опыт в военном деле и хорошо изучил половецкие способы ведения войны. Половцы были страшны неожиданностью нападения. Как удар грома среди ясной погоды, они появлялись там, где их меньше всего ждали, налетали как вихрь, выпускали стрелы и, если враг стоял твердо, обращались в бегство и исчезали в облаках поднятой пыли, чтобы в благоприятный час и в самом удобном для себя месте снова ударить на неприятельский строй. Особенно страдала от их нашествий Переяславская земля, где сидел Мономах, и в его интересах было предпринимать общие походы для разгрома половецких орд в далеких кочевьях.

Гоняться за конницей в степях не легко. Владимир Мономах и другие русские князья применяли иной способ борьбы с половцами. Не вступая в бой с ними, они старались отрезать путь врагу, когда кочевники возвращались в свои становища, отягощенные добычей и пленниками, и делались менее подвижными, чем обычно. Впрочем, к тому времени и княжеские дружины значительно уменьшились в числе; их заменили конные и пешие рати, поставляемые боярами из своих смердов. И само княжеское войско тоже стало неповоротливым, так как воины не добывали теперь пропитание и все необходимое грабежом, не считаясь с нуждами местного населения, а возили припасы на телегах. Таким образом, при полках образовывался громоздкий обоз, и это обстоятельство стесняло их передвижение. Такие изменения в военной обстановке не упускал из виду при проведении своего грандиозного плана Владимир Мономах, стремясь к полному разгрому кочевников, чтобы навсегда освободить русские области от нападений.

Не без труда Мономаху удалось собрать князей на совещание в Долобске. Летописец записал об этом событии: «Вложил бог Владимиру мысль понудить брата его Святополка пойти на поганых весною... И пришел Владимир, и встретились на Долобске, и расположились в одном шатре. Святополк со своею дружиною, а Владимир со своею...»

Но бояре великого князя были против весеннего похода:

— Кони нужны весной на пашне.

Мономах горестно убеждал недальновидных, опасавшихся, что нивы останутся невозделанными и нельзя будет собрать урожай в боярские житницы:

— Странно мне, что вы жалеете коней, которыми пашут, а не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд, но приедет половчанин, застрелит его стрелой и лошадь заберет. А потом, приехав на село, возьмет жену и детей и все имение поселянина. Коня вам жаль, а человека вы не жалеете?

Дружинники Святополка, блюдя свою выгоду, угрюмо молчали.

Владимир снова обращался к ним:

— Надо предпринимать походы на половцев ранней весной, когда их кони ослабели от зимнего голодания. Где половчанину взять корм? У него нет запасов. Половецкий конь разбивает копытом лед и траву ищет под снегом. А много ли он находит там пропитания?

— Отцы наши не ходили далеко в степь, а обороняли свою землю на рубежах, — возражал киевский князь.

— Теперь другое время настало. Надо нам самим ходить на половцев и предупреждать их нападения, — настаивал Владимир.

Греческий вельможа, случайно присутствовавший на совещании, улыбался:

— Для врагов надо строить золотые мосты.

Все вопросительно посмотрели на него.

— Действовать подкупом. Это лучше, чем проливать христианскую кровь.

Мономах ответил:

— Согласен с тобою. Сам предпочитал всегда мир войне. Но я предупреждал ханов. Пусть теперь пеняют на самих себя.

Среди дружинников на совете сидел Илья Дубец. Каждый поход являлся для него событием. Он надеялся, что рано или поздно столкнется на узкой тропе с тем ханом, который отнял у него жену. Прошло немало лет с тех пор, однако он узнал бы его под любыми морщинами и рубцами и среди тысяч людей. Ему было известно имя хана.

По-видимому, слова Мономаха убедили даже медлительного Святополка, потому что он поднялся во весь свой огромный рост и, по привычке поглаживая длинную бороду, окинул острым взором собрание.

— Ты хорошо сказал, брат Владимир. Я готов идти за тобой.

— Великое дело сделаешь ты для всей Русской земли, — обрадовался Мономах.

После совещания послали к Олегу и Давиду Святославичам. Давид немедленно откликнулся на зов и изъявил согласие принять участие в походе. Олег же ответил:

— Мне нездоровится...

В далекий поход, кроме Святополка и Владимира Мономаха, вышли многие другие князья. Среди них оказались Давид Святославич, Давид Всеславич, Мстислав, внук Игоря, Вячеслав Ярополчич, Ярополк Владимирович. Русское войско двинулось на конях и в ладьях, спустилось по Днепру ниже порогов и разбило свой стан у острова Хортицы. Половцы узнали о передвижениях князей, но подумали, что те идут на Корсунь, и не предприняли никаких мер для обороны, а русская конница и пешие воины уже шли на них через поле, построившись в походе в боевой порядок тремя полками. При таком построении кочевники лишались преимущества внезапного нападения, так как везде их мог встретить лес копий. Мономах, потерпевший единственное поражение на Стугне, надолго сохранившей печальную славу у русских певцов, извлек большую пользу из этого кровавого урока. Кроме того, он тоже завел у себя искусных стрелков из лука, и многие воины заменили тяжелые обоюдоострые мечи более удобными в конных сражениях кривыми саблями.

Илья Дубец ехал впереди конной дружины, рядом с Фомой и Ольбером Ратиборовичами. Он не отрываясь смотрел вдаль. Прошло много лет с тех пор, как он навеки разлучился со Светой. Христианину не надлежит жить во блуде, и он женился вторично. Его дочери и сын

подрастали в Переяславле. Но из тьмы далекого прошлого сияли синие заплаканные глаза Светы, порой он слышал вновь ее призывы, видел, как она вырывалась из рук насильников и ее нагие плечи сияли в лохмотьях рубахи. Света погибла, а он остался жить.

Как это произошло?.. Наступила ночь, и половцы остановились в степи на ночлег, зажгли костры, так как научились у русских есть жареное мясо и уже не вялили его больше под седлами, нарезав тонкими кусками. Выполняя строгий приказ хана, двое стражей стерегли пленника, за которого можно было взять на рынке рабов двойную цену. Но в тот вечер они выпили по ковшу хмельного напитка, приготавливаемого оросами из меда и найденного в большом количестве в монастырском погребе. Поэтому их одолел сон. Надеясь на прочность веревки, которой был связан пленник, воины уснули. Впрочем, куда он мог убежать? Вокруг становища ездили взад и вперед сторожевые всадники с луками в руках. Смерть грозила тому, кто пытался хотя бы на несколько шагов отойти в сторону. Тотчас его настигала оперенная стрела, и в степи оставался еще один труп, на добычу диким зверям.

Дубец лежал на спине между двумя сладко храпевшими половцами и даже не имел возможности пошевелиться. Ноги у него тоже были связаны и затекли. Но когда он сделал усилие и повернулся на бок, то мог шевелить пальцами и постепенно ослабил веревку на запястьях. Если человек хочет чего-нибудь со всем пылом души, то достигает своей цели. Дубец с волнением чувствовал, что мало-помалу пути уступают его упрямству. Когда уже стояла полночь и в кибитках хрипло пропели обалдевшие от скуки одинокие петухи, которых половцы возили в степи с единственной целью распределять по их голосам часы ночной стражи, руки у Ильи оказались свободными. Не много потребовалось времени для того, чтобы развязать и ремень на ногах. Дубец повернулся к одному из стражей и осторожно вынул у него саблю из ножен. Для пущей безопасности он обезоружил и другого половца. Потом с божьей помощью расправился с врагами. На несколько мгновений храп перешел в хлюпанье, когда лезвие перерезало горло, и все затихло. Это приснился воинам последний страшный сон.

Дубец лежал с окровавленной саблей в руках и не знал в этом переполохе, как ему поступить дальше. Он находился со своими стражами несколько в стороне от других пленников. Где же была Света? Как найти ее в становище, когда вокруг тысяча вооруженных до зубов половцев? Было бы безумием встать и открыто идти по полю. Вдруг ему пришла в голову мысль надеть на себя половецкую одежду. Поминутно оглядываясь по сторонам и со страхом ожидая, что другие половцы, спавшие неподалеку, могут проснуться и обратить внимание на его движения, Дубец стащил с того мертвеца, который на глаз казался побольше, халат, напялил на свои широкие плечи, а на голову надел широкую лисью шапку. Оставалось только опоясаться саблей. Уже не думая об осторожности, Илья зашагал через спящих к тому месту, где, как скот, спали согнанные в кучу пленники и пленницы. Какой-то половец, попавшийся под ноги, проснулся, стал кричать, возможно, выругался и, не дожидаясь ответа, опять повалился на попону. Конный страж бросил на Дубца мимолетный взгляд, может быть соображая в ночном мраке, где он видел такого рослого сородича, но тотчас затянул унылую песню, чтобы не уснуть на коне:

Кулай самый храбрый воин в улусе, добыл своей милой жене золотой платок.

Вот какой Кулай храбрый воин...

Спать во время стражи не полагалось. За побег рабов, доверенных ему, хан мог покарать смертью. Кто осмелится противостоять ему?

Кулай самый храбрый воин в улусе, добыл своей милой жене золотой платок...

Дубец пробрался к соотечественникам и присел на корточки. Даже в своем ужасном положении, натерпевшись всяких страданий, несчастные спали, измученные долгими

переходами. Только один пленник, полуголый и с вздымавшейся высоко от дыхания грудью, лежал с открытыми глазами. Увидев склонившегося к нему половца, как естественно было предположить при виде лисьей шапки, человек, возможно умирающий, поднял изможденное лицо. Борода его была в запекшейся крови.

— Откуда ты? — тихо спросил Дубец.

Пленник с изумлением посмотрел на него.

— Дай мне напиться...

— Нет у меня воды.

— Половчанин, а говоришь по-нашему...

— Я не половчанин.

— На тебе половецкая шапка.

— С убитого снял. Сейчас двух язычников зарезал. Скажи, ты не из Переяславской земли? Не видел кого-нибудь из Дубницы?

— Не видел. Но как тебе удалось такое? Помоги и мне, брат.

— Трудно помочь. Наступит рассвет, и меня самого зарубят или стрелой убьют. Пока хочу найти, кто из Дубницы. Жену ищу. Не знаешь ее?

— Откуда мне знать твою жену. Я из Песочена. Многих женщин половцы тащили в шатры к ханам. Может быть, и она там.

Дубец вспомнил все то, что произошло утром, и заскрежетал зубами от гнева. Всякий другой на его месте покорился бы неизбежному, он же решил, что сделает все, чтобы узнать об участии Светы и покарать за ее позор.

Кулай самый храбрый воин в улусе, добыл своей милой жене золотой платок...

Косматый всадник на этот раз проехал совсем близко, так, что донесся запах конского пота. Когда половец снова удалился в темноту, Илья прошептал:

— Есть ли правда на земле?

Незнакомец из Песочена дышал все чаще и чаще, и грудь его судорожно вздымалась при каждом вздохе. У него нашлось силы сказать:

— Нет правды на земле. Покинул нас христианский бог.

— Не знаешь ли, как найти мне кого-нибудь из Дубницы? — не терял надежды Илья узнать что-нибудь о Свете.

— Как могу знать людей из другой веси?

— Куда гонят нас?

— В рабство. Еще горшие муки примешь впереди, если не умрешь, как я. А мне уже настал час умереть.

Снова медленно проехал всадник. Он вдруг перестал петь и остановил коня, затем, точно в сомнении, подъехал поближе. Даже в темноте можно было разглядеть, что лицо его

выражало изумление. Вдруг он завыл, как волк, призывая к себе других стражей. Очевидно, он успел разглядеть своими зоркими глазами обман. Дубец вскочил на ноги. Но половец уже обнажил со зловещим лязгом саблю и, бросив коня рывком повода вперед, очутился около пленника и так широко занес клинок для удара, что кисть его руки очутилась за левым ухом.

Дубец не размышлял ни одного мгновения. Воистину за храбрых воинов думают их ангелы-хранители. Половецкая сабля просвистела над самой головой Ильи, но он спасся, уклонившись от удара. Во второй раз половец уже не имел времени поднять оружие — Дубец сам ударил его снизу под подбородок. Всадник вскрикнул и, как мешок, стал сползать с седла, обливаясь кровью. Сабля со звоном упала на землю. Илья схватил коня за уздечку и решил сесть на него. Злой жеребец не давался, не слушался чужого человека, крутился на одном месте, но в конце концов железная рука Дубца добилась своего. Подчиняясь жестоким ударам сабли плашмя по крупу, конь помчался туда, куда его направил всадник, безжалостно разрывавший конские нежные губы.

Уже смятение охватило все становье, хотя еще никто толком не знал, в чем дело. Позади слышались крики и топот погони. Половецкие всадники натыкались один на другого, расспрашивая, что случилось, и даже осыпали друг друга бранью. Пленники проснулись, и стражи кричали на них, угрожая копьями. Просвистела стрела, догоняя какого-то беглеца, пытавшегося скрыться в ночном мраке, пользуясь суматохой...

22

Когда половцы примчались на место события и увидели, что тут только что произошло смертоубийство и возмущение, Дубец уже ускакал во мрак ночи, не зная, что творится у него за спиной. Ветер свистел в ушах. Илья ушел в пахучую ночную степь, спустился в первый попавшийся на пути овраг, поросший кустарником, где он мог сломать ноги своему коню, повернул направо, чтобы обмануть преследователей, уже догонявших его с волчьим воем, и полетел дальше, благодаря судьбу за саблю, сжатую крепко в руке.

Шум погони затихал вдали. Илья понял, что на этот раз он спас свою жизнь, и остановил коня. Успокоившись немного и все время прислушиваясь, не гонятся ли за ним, беглец стал соображать, как поступить дальше. Конь по-прежнему не слушался Илью, вставал на дыбы, норовил даже укусить своего нового хозяина за ляжку. Но Дубец догадался, как справиться с конским норовом, — не слезая с седла, выломал гибкий прут и стал хлестать непокорного по ушам. Это был не его конь, а половецкий, и его не хотелось пожалеть, как свою сивую кобылу. Потом он с силой натягивал поводья, и наконец жеребец смирился.

Но где в этот час томилась Света? Может быть, рыдала в шатре толстопузого хана? От пленников он узнал, что его звали Урусоба, и навеки запомнил это имя. Впервые в жизни Илья заплакал.

Дубец посмотрел на небо. Русь лежала в той стороне, где поблескивала Полночная звезда. Следуя за нею, нельзя сбиться с пути даже в бескрайней пустыни. Но невыразимая сила любви, что сильнее привязывает человека к человеку, чем железные цепи, влекла его в другую сторону. Света осталась там, где уже начинался едва заметный рассвет.

Это было бессмысленно и безнадежно, но три дня и три ночи без пищи и почти без питья, с трудом разжевывая порой горькие ягоды рябины или какой-нибудь знакомый с детства кисловатый листок, Дубец кружил по степи, следуя на далеком расстоянии за ордой, то прячась в оврагах, то скрываясь в зарослях тростника на берегу высохшего степного потока, отлично понимая, что приближение к половецкому стану означает смерть. Конь стал бы

ржать, почуяв своих, и это выдало бы беглеца врагам. Не книги, а жизнь учила этого человека, труд хлебопашца заставлял его думать и размышлять о мире, о признаках хорошей и дурной погоды, с твердостью переносить несчастья и бедствия, что выпадают на долю земледельца. Суждения его были здравы, как пословицы, он знал, что надежды нет. Но этого сильного человека влекла нежность и заставляла забывать об опасности.

Орда стремительно шла на юг, в город Судак, где уже поджидали добычу работорговцы, доставив сюда для обмена на молодых невольниц и невольников греческие ткани, серебряные чаши и амфоры с вином, любезным для каждого храброго воина. Хлопали бичи. Пронзительно скрипели огромные колеса, грубо сколоченные из досок, сплошные, как днища бочек, без спиц, с деревянными осями. Не разбирая дороги, неуклюжие повозки двигались безостановочно к морю. Между двумя рядами телег гнали беспорядочным стадом пленников, и путь был усеян мертвыми телами тех из них, кто падал от усталости или истощения. Нагие тела оставались на съедение степным волкам. Они следовали за ордой, поджимая хвосты, и низко в небесах летели стаи черных воронов, отяжелевших от обильной пищи.

Дубец тоже неотступно следовал за половцами, надеясь, что в поле вдруг появятся княжеские дружины и преградят путь врагам или каким-нибудь чудом удастся пробраться во время ночлега к пленникам. Когда же орда уходила дальше, Илья осматривал оставленное становье, тлеющие костры, от которых низко стлался дым по земле, и порой находил около них баранью кость. Нож старательно срезал с нее почти все мясо, но ее еще можно грызть, чтобы умерить муки голода.

Прошел четвертый день, и наступил пятый. Понимая, что уже ни на что нельзя больше надеяться, Илья все-таки продвигался на полдень, пока еще хватало силы сидеть на коне, то готовый разделить рабство со Светой, то ужасаясь при мысли, что она умерла для него навеки на ложе хана. На шестой день измученный жеребец отказался идти дальше, не слушался ни понуканий, ни ударов, и бока его тяжело раздувались. Тогда Дубец разумом, а не каким-то темным чувством, таящимся в глубине души, постиг, что надо остановиться. Он стреножил коня своим поясом и пустил пастись, а сам улегся в первой попавшейся яме, обнажив на всякий случай половецкую саблю.

Весь день он спал как убитый и затем всю ночь напролет; наутро, проснувшись на заре, когда в степи уже закудахтали перепела, увидел, что конь мирно пасется на том же месте и даже повернул голову к человеку, заржал, может быть просясь на водопой. Дубец прежде всего посмотрел в ту сторону, куда ушла орда, но уже покорился своей участи. Взяв жеребца за повод, он повел его в соседний овраг, надеясь найти там воду, оставшуюся от последнего дождя. Надежда не обманула Илью. На дне длинного оврага поблескивала лужица. Человек и конь напились из нее, утолив огненную жажду.

Голод не очень сильно терзал Дубца. Все же кровь наполняла стучом уши, порой перед глазами появлялись красные круги и наступала темнота. Под вечер он увидел далеко в степи отставшего по какой-то причине от орды всадника, спешившего через необозримое поле к своим. Половец доверчиво подскочил к Дубцу, приняв по одежде за сородича. Но, поняв ошибку, с размаху остановил коня и вытаращил изумленные глаза, разглядывая встречного и медленно сдвигая шапку на затылок. Он даже не успел сообразить, что тут произошло, как Илья убил его и, поймав коня, хотел уже зарезать животное, чтобы напиться кровью, но заметил, что у седла привязана торба. Трясущимися руками он стал развязывать ремешок, страшась, что найдет в суме серебро или какие-нибудь другие бесполезные вещи. К счастью, в ней оказался ячмень. Дубец брал зерно горстями, сыпал в пересохший рот и жадно жевал...

С тех пор прошло немало лет. Дубец участвовал во многих походах с князем Владимиром Мономахом и теперь еще раз собирался сразиться с половцами.

Смятение воцарилось в половецких кочевьях, когда ханы узнали о появлении оросов, идущих не в Корсунь, а в степи. Орда кочевала далеко за Доном. Услышав о приближении врагов, ханы совещались. Урусоба безучастно говорил старому половцу, прискакавшему на заре с сообщением, что русские уже в дневном переходе от улуса:

— Скажи, Асуп, ты смотрел, как шли оросы? Что же ты видел?

— Сначала я видел горящие костры.

— Еще что ты видел?

— Множество воинов, конных и пеших.

— Слышите? — обратился Урусоба к ханам. — Почему оросы пришли к нам? Потому, что чувствуют свою силу. Такого никогда не было раньше. Мы много причинили им зла. Теперь они будут биться с нами до самой смерти. Оросы — как медведи. Если их не трогать, можно в безопасности ходить по лесным тропинкам. Но горе охотнику, если он ранит этого зверя. Полагаю, что нет большой выгоды для нас сражаться с оросами.

— Чего же ты хочешь? — нетерпеливо спросил Алтунопа, самый храбрый из ханов.

— Лучше уйти подальше в степи, пока не поздно. Или будем просить мира у оросов?

Скрестив ноги, старый Урусоба сидел на войлочной попоне, на почетном месте, как самый старый. На ногах у него виднелись зеленые сапоги, снятые после какого-то боя с убитого русского боярина. Прищуренные глаза уверенно смотрели на мир. Человек рождается, живет, умирает. Пахарь сеет и жнет, кочевник пасет скот и с оружием в руках добывает все необходимое для пропитания своих детей. В мире царит порядок, выгодный для Урусобы. Но враг силен. Не лучше ли отложить битву до более благоприятного времени?

Урусоба обвел взглядом собравшихся в его шатре.

Алтунопа, нарушая обычай почитания старших, стал спорить, даже не спросив позволения говорить у старого хана. Пререкаясь с ним, храбрец спрашивал:

— С каких пор ты стал уклоняться от битв? Не боишься ли русского князя, которого зовут Мономах?

— Я не боюсь Мономаха, — отвечал Урусоба. — Ты брешешь, как вонючая лисица.

— А ты отяжелел, как старый верблюд.

— Я еще крепко держу саблю в руках.

Алтунопа в свою очередь оглядел старых воинов, позванных на совещание.

— Тогда веди нас на оросов. Или у тебя болит брюхо от кумыса?

Некоторые улыбались, пряча веселье в морщинках около глаз. Этот Алтунопа всегда скажет что-нибудь смешное. Урусоба молчал, презрительно пожевывая губами. Но молодой хан не оставлял его в покое:

— Если ты страшишься врагов, то мы никого не боимся. Уничтожим тех оросов, что пришли к нам, а потом пойдем в их землю и завладеем женами и богатством врагов.

— Глупец! Наши кони отощали за зиму, едва стоят на ногах.

— Отощали и не годятся для дальнего похода, а короткий бой выдержат. Когда же они

наберут сил, мы двинемся на Русь.

Старый хан помолчал еще некоторое время. В голове у него текли невеселые мысли. Настал конец всему, если молодой половец не уважает старика. Это был плохой признак.

Потом Урусоба бросил:

— Пусть будет так, как вы хотите.

Воины бодро поднялись с попон и ковров. Все это были ловкие всадники, с кривыми ногами от многолетней верховой езды, но стройные и с легкой походкой.

— Седлайте коней! — приказал Урусоба. — Ты, Алтунопа, разведаеть силы врагов и то, что они замышляют против нас.

Он снова стал непререкаемым владыкой, с того самого часа, как удовлетворил желание молодых воинов. Прошло столько времени, сколько требуется для того, чтобы обуться, повязать себя саблей, оседлать коня и, склоняясь с седла, потрепать по нежной щеке молоденькую жену. Рабы поспешно запрягли в повозки верблюдов. Орда снялась с места и грозно двинулась навстречу русским дружинам...

В христианском стане воины молились и давали благочестивые обеты. Один обещал вклад в монастырь, другой — милостыню убогим, третий — кутью. Мономах всем своим существом чувствовал приближение грозы и послал Илью Дубца с немногими отроками разузнать о намерениях неприятеля. На заре малая дружина ушла в степь, набухшую от весенней влаги. Кони не без труда передвигались по вязкой земле, но дул восточный ветер, сушил почву, и с восходом солнца пение жаворонков рассыпалось в небесах серебряным горохом.

Вскоре Дубец и его отроки увидели вдали всадников, а сами оставались невидимыми для врагов, так как укрылись в кустах, на которых уже набухли весенние почки. Потом они убедились, что это вышел на разведку прославленный своей храбростью молодой хан. Опрометчивость помешала ему разглядеть опасность, нависшую над его головой.

Алтунопа считался во всем улусе лучшим наездником. Преимущество Ильи над этим стремительным всадником заключалось даже не в том, что он был выше его на голову, тяжелее и потому сильнее, а в страшном спокойствии при нанесении удара мечом. Он мог промахнуться, как всякий воин в суматохе конной стычки, но если меч опускался на голову противника, это означало смерть. Очень мало насчитывалось среди половцев, кто мог бы похвастать, что ему удалось уцелеть в поединке с богатырем. Только краткое время, равное мгновению ока или взмаху птичьего крыла, жил Алтунопа, когда его поразило русское железо. Пальцы хана разжались и выронили саблю, и сам он, еще цепляясь за гриву, упал к ногам вражеского коня. Потеряв всадника, конь умчался в степь, высоко выбрасывая копытами задних ног комья земли, и, поворачивая голову, косил обезумевшим глазом в ту сторону, где остался лежать на земле его господин.

Ни один из половцев алтунопского отряда не вернулся в свое кочевье. Урусоба оказался прав — русские кони без труда настигали противника. Когда в гибели Алтунопы не приходилось больше сомневаться, старый хан покачал головой, размышляя над неразумием молодости:

— Жил храбрец, и нет его больше на свете.

Теперь для половцев не оставалось выбора. Русское войско неумолимо двигалось на них сплошным строем, с развевающимися знаменами. Ханы понимали, что уже поздно искать спасения в бегстве, — в таком случае пришлось бы бросить вежи, и весь скот достался бы русским. Надеясь на численное превосходство, кочевники решили принять бой. Два строя сошлись, и грохот сражения наполнил широкое поле.

Дубец орудовал мечом там, где рубилась конная княжеская дружина. Уже один половец свалился от его удара, второй получил удар в грудь и рухнул, широко раскинув руки. Вдруг перед Ильей появился, точно из далекого сновидения выплыл, толстый хан в зеленых сапогах, малиново-желтом полосатом халате, украшенном золотым позументом и со следами бараньего жира на драгоценной материи. Несмотря на свою толщину, старик еще крепко бился на саблях, и, только изловчившись с особенным проворством, Дубец обрушил на хана свой меч. Удар пришелся поперек груди. Урусоба осел в седле, и голова у него запрокинулась. Перед Ильей блеснули белки закатившихся глаз...

По окончании битвы Дубец долго рассматривал лицо убитого. Успел ли хан в последнее мгновение своей жизни подумать о том, что пришел его конец, что все останется на земле, как и было, — золото и радость победы, ласки молодых рабынь, а его уже не будет, и даже над его трупом побежденные половцы не насыпят памятный курган? Сегодня ты победитель, а завтра сам лежишь во прахе и твое достояние досталось врагам.

Кто-то уже снял с убитого хана пестрое одеяние и стянул с ног зеленые сапоги. Вспоминал ли он иногда, пока был жив, ту молодую женщину? Как билась она, не желая покориться его вожделению, когда рабы со смехом привели ее в шатер и оставили наедине со сладострастным ханом. Не знал Дубец, что она пыталась удавиться и тогда хан оставил пленницу и продал вместе с другими рабынями в Судаке.

В том кровопролитном сражении кроме Урусобы и Алтунопы погибли еще двадцать других ханов. Страшного хана Бельдюза взяли в плен. Когда после окончания битвы русские князья совещались в шатре у Святополка, как поступить теперь, преследовать ли остатки в степях или возвращаться на Русь, Дубец привел к ним половецкого вождя.

На совете старшим считался Святополк. Хан со связанными за спиной руками стал умолять его:

— Подари мне жизнь — и я дам тебе сколько хочешь золота и коней!

Но Святополк отослал хана к Мономаху, у которого были свои особые счеты с этим жестоким волком. Это он убивал в Песочене младенцев. Отроки стали искать князя Владимира. Он объезжал поле битвы. Когда к нему приволокли Бельдюза, пленный хан стал опять умолять о пощаде. Мономах остался непреклонен. Он сказал:

— Теперь ты просишь о жизни. А сколько раз я отпускал тебя и ты давал мне клятву на обнаженной сабле, что больше не поднимешь оружие на христиан? Ты думаешь, мне не печально смотреть на моих воинов, погибших далеко от своей земли? Завтра по ним заплачут русские матери, когда узнают о смерти милых сыновей. Почему же ты сам нарушил обещание и своих не научил быть верными данному слову?

Во имя миролюбия князь махнул рукой, и отроки зарубили хана.

Приехав затем на княжеский совет, удрученный кровопролитием, но радуясь победе, Владимир опустился на ковер и произнес, снимая шлем с головы:

— Возвеселимся в этот день, в который бог сокрушил под своей пятой змеиные главы!

Победа была блестящая. Слух о ней прошел по всей земле и до самого Рима. Князья взяли тогда огромное количество челяди, коней, всякого скота и верблюдов, захватили половецкие вежи и взяли много добычи. Они возвратились в свои города с великой славой.

Санный путь, скрип полозьев на снегу... Это напоминало Мономаху о смерти, о том последнем часе, когда он закроет глаза и, по древнему обычаю, его повезут на санях в св.Софию, чтобы положить там, невзирая на все его прегрешения, в мраморной гробнице, рядом с возлюбленным отцом. Но эти печальные мысли уже не вызывали в душе страха, как бывало прежде, на полях битв или опасных ловах, в страшные минуты, когда ему грозила гибель и все существо его, полное жизненных сил, сопротивлялось врагам или дикому зверю. Жизнь человеческую можно сравнить с величественной бурей. Она бушует и ломает дубы, мечет молнии страстей, а потом вдруг затихает — и наступает успокоение и тишина.

Это сравнение, может быть вычитанное в какой-нибудь душеполезной книге, вызвало в памяти образ несчастной сестры Евпраксии, скончавшейся недавно и погребенной в Печерском монастыре. Вот уж чью душу воистину потрясали ужасные бури, пока она не укрылась от мирских соблазнов за монастырской стеной, подобно кораблю, приплывшему к пристани с разорванными ветрилами и сломанным кормилом.

Евпраксию еще двенадцатилетней девочкой предназначили выдать замуж за саксонского графа. Она родилась от второй жены Всеволода, половчанки Анны. С приездом молодой ханши в великокняжеском доме стало несколько меньше пахнуть церковным фимиамом. Две ее дочери, Евпраксия и Екатерина, белотелые и рыжеволосые красавицы, не любили ходить к утрням и вечерням, а предпочитали нежиться в пуховых постелях и болтать с любимыми рабынями о красивых княжичах. Их брат Ростислав, позднее утонувший в реке Стугне, тоже не отличался благочестием и вечно ссорился с монахами.

Дядя Евпраксии, князь Святослав, великий книголюб и собиратель серебряных сосудов, был женат на саксонке Оде, дочери графа Литпольда Штаденского и графини Иды Эльсторп, племянницы по отцу императора Генриха III, а с материнской стороны — папы Льва X. Но когда князь умер, Ода возвратилась с малолетним сыном Ярославом в Саксонию, закопав в землю до лучших дней сокровища мужа. Очутившись снова в Саксонии, вдова завела знакомство с одним своим родственником, маркграфом Уданом Штаденским. Однако вскоре этот властитель умер, и его марку унаследовал сын Удана Генрих, по прозванию Длинный. За него-то и собиралась Ода выдать прелестную Евпраксию, о которой гуслиры и скальды слагали песни на Руси.

Великий князь Всеволод, дальновидный правитель и человек широких взглядов на жизнь, ничего против такого брака не имел. Одну из своих дочерей он уже выдал за греческого царевича Леона, другую, по имени Янка, девицу с предприимчивым характером, что совершила позднее трудное путешествие в Царьград, просватал за царского брата Константина Дуку. Родство с германским кесарем тоже обещало важные связи. Запад мог пригодиться для отпора греческим домогательствам.

Евпраксии было двенадцать лет, когда ее отправили с приближенными женщинами и караваном верблюдов, нагруженным греческими тканями, парчой, ценными русскими мехами, в Саксонскую землю, где она очутилась в непривычной обстановке. В холодных каменных церквях звенели непонятные латинские молитвы. Люди здесь носили странные одежды и следовали незнакомым обычаям, хотя графы и епископы с такой же жадностью пожирали на пирах мясо, заправленное перцем, как и киевские бояре, и так же много пили вина и меда. Евпраксии надлежало изучить язык будущего мужа и его страну.

Саксонские графы жили в хорошо укрепленных замках, построенных из камня и дубовых бревен, а пахари — в жалких хижинах. Когда Евпраксия выезжала на охоту с соколами, она проносилась порой на коне мимо этих хибарок, на пороге которых стояли простодушные женщины с кучей ребят, цеплявшихся ручонками за материнское платье. Молодая княжна посвящала свое время не только развлечениям. Она прилежно изучала немецкий язык и

латынь. Занятия происходили в школе Кведлинбургского монастыря, где аббатиссой состояла сестра самого императора, по имени Адельгейда, образованная женщина, одна из тех, что читали не только Псалтирь, а и стихи Вергилия и Горация.

Молодой маркграф Генрих Длинный вскоре умер. Евпраксия уже собиралась возвратиться в родные пределы и так бы, вероятно, и поступила, если бы кведлинбургская аббатисса не удержала ее возле себя, лелея какие-то тайные планы. Постепенно западный воздух и всеобщее преклонение отравили молодую женщину. Она осталась в Германии, под покровительством Адельгейды, в монастыре, где она имела случай встретить однажды кесаря Генриха IV. Император стоял в рефектории, облаченный в черное бархатное одеяние, с тяжелой золотой цепью на груди, и за его спиной теснились придворные и епископы. Адельгейда уже успела наговорить ей об уме брата, о древности его рода и величественных предприятиях. Евпраксия успела рассмотреть, что это был человек невысокого роста, но стройный, с огненными глазами и красиво подстриженной черной бородой. Она видела порой императора, когда он выезжал на охоту в сопровождении своих графов и сокольничих или появлялся перед народом во время рыцарских состязаний, верхом на коне. Красная мантия Генриха, так называемая славоника, была такой длины, что закрывала круп белого императорского коня, а на ногах у кесаря поблескивали позолоченные шпоры. Евпраксии еще не приходило в голову, что за этой торжественностью таилась душевная растерянность и судорожная борьба за власть, основанная на призрачных правах. Империя была непрочна, как сон, хотя люди, свободно изъяснявшиеся по-латыни, и убеждали Генриха, что он является центром мироздания и хранит божественный римский закон среди варварской тьмы. Кесарь охотно верил им, хотя его царство могло рухнуть каждый час, как дом, построенный на песке.

Видимо, император оценил своеобразную красоту молодой вдовы — ее рыжеватые косы, нежный румянец на щеках, миндалеобразные, как бы слегка поднятые к вискам глаза и свежий маленький рот.

— Кто эта женщина? — спросил он у сестры, когда увидел впервые маркграфиню.

— Вдова маркграфа Генриха.

— Благочестивая чужестранка?

— Она прибыла к нам из русской страны.

— Как же она намерена теперь поступить?

— Помышляет о том, чтобы вернуться на родину. Но я не хочу расставаться с таким сокровищем. Выдам ее замуж за какого-нибудь не очень молодого графа.

Евпраксия заметила, что ее рассматривают. Император милостиво улыбался вдове.

— Ты права, — сказал он со смехом, — это весьма редкая жемчужина. Береги ее.

— Она могла бы украсить даже императорскую корону, — ответила ему сестра. — Поговори с ней — и ты убедишься в ее природном уме и начитанности.

Аббатисса поманила Евпраксию пальцем. Та приблизилась и от смущения потупила глаза. На ней было узкое голубое платье, обтягивающее грудь.

— Ты греческой веры, дочь моя? — спросил ее Генрих.

Она вскинула на него прекрасные серые глаза.

— Люди исповедуют разные веры, но бог один в небесах, — прошептала она, опять опуская долу глаза под пронизывающим взглядом императора.

Адельгейда многозначительно посмотрела на брата и сказала:

— Ты слышал? Что я тебе говорила...

Он тоже покачал головой, удивляясь быстрому ответу Евпраксии и еще более — восточной красоте. И, уже не в силах сдержать себя, стал в лицо восхищаться прелестью маркграфини.

Евпраксия снова вскинула глаза на императора, осмелев посмотреть на него в упор. Тот день был полон для нее огромного волнения, и она не могла забыть о нем до конца своих дней. Ей казалось тогда, что на земле возможно счастье. Все наперебой высказывали ей похвалы. За столом император посадил Евпраксию рядом с собой и любезно угощал вином.

Как известно, недавно скончалась императрица Берта, супруга кесаря. Но, видимо, Генрих не очень-то скорбел по усопшей, если судить по его поведению на том пиру. Во всяком случае, он не сводил глаз с Евпраксии, то и дело поднимал чашу за ее красоту, и тогда все вставали, с грохотом отодвигая скамьи, и громкими криками приветствовали маркграфиню. Император сидел вполоборота к своей соседке, и колени их касались под столом.

— Ты придешь сегодня в мою опочивальню? — тихо прошептал он, склоняясь к обольстительной красавице.

Евпраксия вспыхнула, как копна сухих снопов, зажженная молнией на холме. Вскочив со своего места и устремив взоры к небесам, где искала защиты, так как вокруг были чужие и неприятные лица, она спросила:

— Разве я не достойна твоего уважения?

Глаза ее наполнились слезами.

— Почему ты плачешь? — удивился Генрих, не привыкший к тому, чтобы ему отказывали.

— Я плачу от оскорбления.

Видя происходящее, сидевшие за столом графы умолкли и смотрели во все глаза на императора и его соседку. Он нахмурился и махнул рукой на любопытных. Тогда зеваки опустили глаза в свои кубки.

— Ты не хочешь любить меня? — спросил он Евпраксию снова.

— Почему ты спрашиваешь меня о любви?

— Я хочу, чтобы ты была моей этой ночью.

— Я только тогда буду твоей, если наш союз благословит епископ.

— О, мне тяжело ждать так долго, пылая страстью к тебе.

— Это не страсть, а похоть.

Императору казалось, — может быть, под влиянием выпитого вина, — что он влюблен, как юный оруженосец, и он черпал в этом не испытанном никогда чувстве неизъяснимую сладость. Он не разгневался и не посягнул на Евпраксию. Его сердце подобрело, и какие-то новые пути открывались в неожиданно вспыхнувшей любви к молодой вдове.

Вскоре Кведлинбург осадили восставшие на императора рыцари. В аббатство, где под опекой Адельгейды проживала Евпраксия, доносился шум перебранок, которые горожане затевали на городских стенах с пьяными рыцарями. Иногда глухо бил о камень медный таран. В такие минуты воздух был насыщен тревогой. Казалось, что вот рухнет башня и тогда произойдет

что-то страшное. Генрих часто появлялся в монастыре. Еще более бледный, чем всегда, он часами просиживал в кресле, о чем-то размышляя. О чем он думал? Евпраксия страшилась оставаться с ним наедине, хотя придворные уже называли ее в глаза и за глаза невестой императора. Действительно, императорские войска освободили крепость от осады, Генрих обвенчался с маркграфиней и издал манифест, в котором предписывал молиться во всех церквях за новую императрицу, — а ей тогда едва ли исполнилось двадцать лет.

В те дни в Киеве пас Христово стадо греческий митрополит Иоанн Продром, ученый муж и красноречивый оратор, дядя Феодора Продрома, небезызвестного стихотворца и автора «Комментариев к канонам Иоанна Дамаскина», того самого, что был так пламенно влюблен в Феофанию, дочь магистра Музалона. Поэт не мог позабыть ее и после того, как она стала супругой князя Олега и удалилась на остров Родос, ни в самые благополучные свои дни, наполненные царскими милостями, когда он пользовался покровительством императрицы Ирины, богомольной супруги Алексея, и считался в Константинополе самым любимым поэтом, ни в самые горестные, хотя бы во время этой ужасной болезни, когда он заразился оспой, потерял все свои волосы и стал совершенно рябым, или когда его обвиняли повсюду, что он не верит в бога, за что стихотворец и был уволен из школы св.Павла. Может быть, только в припадке зубной боли, — так как надо сказать, что Продром очень страдал зубами, и до такой степени, что незначительного роста зубодер, хотя и вооруженный щипцами, какими можно было бы вырвать даже клыки у вепря, казался ему Гераклом, — этот человек забывал о той, кому тайно посвящал свои стихи. Однако, выйдя от врача на улицу, он уже снова вспоминал о ней, держась за щеку и вызывая смех у прохожих своим искривленным ликом...

Но все то, что имеет отношение к жизнеописанию его дяди, митрополита Иоанна, связано только с высокими помыслами. На Руси этого иерарха звали пророком Христа, и у него учился литературному мастерству черноризец Иаков, автор жития Бориса и Глеба, один из тех, кто украшал свой слог метафорами и привычное для слуха название города Новгорода заменял выражением «полуночные страны» или чем-нибудь подобным. По поводу брака Евпраксии с саксонским графом митрополит написал небольшое сочинение, в котором осуждал совершающих литургию на опресноках и увещевал русских князей не отдавать своих дочерей в западные страны. Впрочем, некашанный хлеб, на котором совершали евхаристию, был только предлогом. Здесь в борьбу вступали два разных мира, два разных мировоззрения.

Владимир Мономах с неизменной почтительностью выслушивал советы митрополитов, а поступал всегда так, как считал нужным. Так же действовал и его отец, великий князь Всеволод. Как бы там ни было, но Евпраксия очутилась в самой гуще мировых событий. Как раз тогда Константинополь порвал с Генрихом IV и его ставленником папой Климентом (его называли в Италии «антипапой») и завязал переговоры с папой Урбаном II. Последний преуспел в борьбе за обладание Римом и торжественно вступил в Вечный город. Антипапа вынужден был удалиться в тихую Равенну. Энергичному Урбану даже удалось посредством брака герцога Вельфа с Матильдой Тосканской объединить военные силы Южной Германии и Северной Италии. Чтобы пресечь эти козни, император Генрих IV поспешил со своими рыцарями перейти через Альпы. Его местопребыванием сделался небольшой городок Верона. Несколько позднее туда явилась по вызову супруга и императрица Евпраксия и впервые в жизни увидела южное небо, голубеющие холмы Италии, розовые миндальные деревья в цвету, лазурное море...

Но все это было заманчиво только в поэмах итальянских стихотворцев или даже в латинских сочинениях, а в действительности жизнь Евпраксии напоминала ад. Надменность императора вызывала общее недовольство. Его обвиняли даже в том, что он совратился в ересь николаитов и не только принимал участие в мессах, на которых взывали к Вельзевулу, но и вынуждал к этому свою невинную и юную супругу.

Уже много лет спустя, когда истерзанная и опозоренная на весь мир, от киевского торжища до

Рима, Евпраксия возвратилась в отчий дом и сестра Янка приняла ее в свой монастырь, она рассказала обо всем в порыве покаяния. Властная, не знающая снисхождения к человеческим слабостям и грехам, считающая, что всякая христианка имеет полную возможность оградить себя от козней дьявола, прибегая к посту и молитве, Янка испытывала Евпраксию, заставив сестру вывернуть наизнанку всю свою потрясенную женскую душу.

Жилищем для Янки служила бревенчатая келия, и эта маленькая избушка под яблоней не походила на прочные каменные дома в Кведлинбургском аббатстве. Вместо черного распятия в углу горела розовая лампада перед печальной греческой богородицей. Сердце Янки можно было бы сравнить с неуступчивым резцу мрамором. В черном одеянии, с неподвижным восковым лицом и пухлыми руками, игуменья торжественно восседала в кресле, как имела обыкновение делать, когда читала наставления какой-нибудь провинившейся монахини. Евпраксия устроилась напротив, на неудобной деревянной скамье у самой стены, и смотрела через голову Янки на икону, страшась неумолимых глаз сестры. Монахиня расспрашивала ее без всякой пощады, безжалостно касаясь самых болезненных душевных ран.

Речь шла о ночных бдениях в мрачной веронской церкви, сложенной из грубого камня и древних римских плит, куда собирались в великой тайне император и некоторые приближенные графы, а вместе с ними и простые конюхи и грубые воины, совращенные в новую веру. В этих мессах принимал участие даже один толстый епископ, осмелившийся заглянуть в самые глубины преисподней.

Евпраксия на всю жизнь запомнила те страшные ночи. В низенькой, сыроватой и освещенной только немногими тусклыми светильниками церкви люди переходили с места на место, как тени. Даже эти безумцы не осмеливались совершать подобные дела при солнечном свете. Они стояли перед алтарем в черных плащах, опустив на лица куколи, точно стыдились друг друга. Так это и было. У Евпраксии сильно и глухо билось сердце. Все вокруг казалось страшным и соблазнительным. Любое нечаянное прикосновение к телу вызывало дрожь, озноб, желание закричать. Незримо среди этого греховного наваждения присутствовал сатана. Не преобразился ли он в облик кесаря?

— Что ты видела там? — допытывалась Янка, спустив одну ногу в черном башмаке со скамеечки на пол и вцепившись обеими руками в подлокотники. — Что ты творила там?

— Стыд не позволяет мне говорить об этом.

— А тогда ты не стыдилась?

— Я поступала так по принуждению, слабое существо.

— Мучениц тоже принуждали. Но они предпочитали претерпевать великие мучения, чем отречься от Христовой веры. К чему принуждали тебя?

Евпраксия закрыла лицо руками и зарыдала. Она была еще в светском одеянии. На ней жалко висело красное платье иноземного покроя, донашиваемое в Киеве.

Монахине стало жаль эту несчастную женщину, которая была ее родной сестрой, находившуюся в каком-то ином мире.

— Плачь! Плачь! — сказала она горестно. — Слезы очищают душу. Когда ты расскажешь мне, что сотворила, покаешься в своих грехах, то облегчишь свои плечи от тяжелой ноши. Я сестра твоя, желающая тебе добра.

Вытирая платком слезы, Евпраксия, за эти десять лет превратившаяся в старую женщину, начала перед Янкой свою печальную повесть, спотыкаясь на каждом слове:

— Эти обедни служили не богу, а сатане... Я не знаю, кто первый помыслил о подобном. Может быть, сам кесарь. Или его соблазнил тот епископ, что держал в руке не крест, а ногу козла с черным копытцем и ею благословлял нас...

От этого рассказа Янка отпрянула, как от страшного видения, и схватилась рукою за сердце, точно со своей неприступной и благодной высоты заглянула в некую черную пропасть, где гнездились ехидны и василиски.

Такие же чувства испытывала и ее сестра.

— Я ужасалась так, как если бы спустилась в преисподнюю, где царствует дьявол. Все во мне трепетало от страха, и в этом ужасе я испытывала неизъяснимую сладость. В церкви было почти темно. Люди тихо пели. Я не постигала смысла слов, плохо зная латынь. Мне сказали, что это были христианские молитвы, которые произносились наоборот. Начиная с последнего слова и кончая первым.

— Не молитвы, а заклятья, — прошипела в изнеможении Янка.

— Не знаю... Меня поили вином из причастной чаши. Должно быть, в него были примешаны ароматические снадобья. От них у меня кружилась голова. Помню лик кесаря. У него глаза горели адским огнем. Он сказал мне с сатанинской улыбкой: «Пей! Ты ведь любишь меня!» Губы у него дрожали. И борода. Как у дьявола...

Евпраксия уже не могла остановиться и рассказывала о своем падении в бездну. Перед ней пылали очи Генриха. Их нельзя было забыть. Потом издали донесся дьявольский смех жирного, розовощекого епископа, осмелившегося, в полном облачении и в золотой митре на голове, коснуться ее с похотливым желанием.

— Когда я очнулась, то увидела, что лежу на алтаре. Епископ, который помогал моему мужу возложить меня на алтарный мрамор, шептал мне, что я вечерняя жертва...

— Что еще было? — шепотом спросила Янка.

— Меня вынуждали к разврату. Однажды в день пятидесятницы Генрих привел в мою опочивальню молодых людей и требовал, чтобы я отдавалась им. И еще худшие мерзости испытала я. Это был сам дьявол в образе человека. О кесаре рассказывали...

— Что рассказывали о кесаре?

— Не знаю, истина это или клевета. Будто бы когда некий граф совершил насилие над его сестрой, то Генрих помогал ему в этом преступлении... Грехи его так велики, что обо всех невозможно рассказать тебе... Но пощади меня! Пощади!

С этими словами Евпраксия упала на колени и обнимала ноги сестры, умоляя ее о жалости. Янка гладила рыжеватые волосы грешницы. В этом золоте уже было много белых нитей. Монахиня сама стала всхлипывать. Слишком страшной оказалась та бездна, в которую она должна была заглянуть. А что же переживали люди, побывавшие там? Будет ли прощение за подобные страсти?

Все осталось так далеко. Кведлинбург... Майнц... Кельн... Потом блаженные небеса Италии... Верона... Замок Монтевеглио... Каносса... Непривычные названия ничего не говорили Янке, но Евпраксии они напоминали о потрясающих переживаниях, о чудовищных муках, о попранном женском стыде. И в то же время ее жизнь на единый миг озарилась небесной любовью. Горше срама, который она испытала, ничего не может быть на земле. Но что осветило эту мерзость? Улыбка Конрада, прекрасного сына императора, хотя краткое счастье этой встречи запятнали грязные помыслы кесаря. Однажды он потребовал, чтоб

Евпраксия отдалась Конраду на его глазах. Влюбленный тогда в императрицу, чистый юноша не посмел осквернить ложе отца, Генрих кричал ему в исступлении:

— Ты не сын мой! Ты отродье того швабского графа, с которым спала Берта, пока я воевал с саксонцами...

24

Евпраксия считала бы, что человеческая жизнь сплошной ад, если бы не было тех сладостных поцелуев. Ей всегда казалось странным, что нежная душа Конрада могла родиться в стенах королевского дворца, искусно сложенных из грубых камней, среди едких запахов конюшни и вони, доносившейся порой из подвальной темницы. Она в первую же встречу отличила его от тысячи других рыцарей. Кажется, граф Конрад был единственным среди них, кто даже в отсутствие кесаря не кидал на нее похотливых взглядов. Кроме того, граф с большим чувством играл на виоле и любил говорить о необыденных вещах и уже тем одним не походил на остальных людей.

Впервые молодая императрица увидела Конрада на пиру. Генрих в тот день сидел за столом в мрачном расположении духа и хмуро грыз куриную ножку. Место Евпраксии всегда было рядом с ним. Напротив, по другую сторону стола, белокурый Конрад ел вареные яйца, очищая их тонкими пальцами от скорлупы и макая в солонку. За вторым, более длинным, столом насыщались графы и епископы. Дело происходило в одном из замков, где, кроме императрицы, не было ни одной знатной женщины.

Вдруг двое из присутствующих затеяли ссору. Они сидели на дальнем конце большого стола, и Евпраксия не слышала, с чего все началось. Один из споривших был граф Мейссенский, другой барон Карл. Генрих перестал есть и с интересом следил за перебранкой, но не остановил крикунов. Видимо, он даже испытывал тайное удовольствие оттого, что рыцари готовы вцепиться друг другу в космы, надавать один другому оплеух. Это предвещало, что завтра оба придут к нему с жалобами и тогда можно будет узнать любопытные подробности о том, как эти люди относятся к своему императору и что замышляют против него. Но ссора зашла на этот раз слишком далеко и превратилась в драку. Краснорожий граф разорвал барону рубашку на груди, повалил старика на пол и стал бить его оловянным кубком по голове. Тот вопил. Все это за одно какое-то глупое слово, показавшееся обидным гордому саксонцу. Император смеялся, глядя на эту картину, и все вторили ему громким ржанием, потому что лежавший на полу барон продолжал кричать, смешно задирая тощие ноги. Конрад вскочил, его красивое лицо потемнело от гнева, и, сжимая кулаки, он бросился на помощь избиваемому.

Евпраксия перепугалась, когда началась драка. Ей казалось, что рыцари схватятся за мечи, висевшие на стене за их головами, и с волнением смотрела на Конрада. Действительно, юноша совсем не походил на кесаря. Может быть, от матери унаследовал он эти льняные волосы, падавшие длинными волнистыми локонами на узкие плечи? Евпраксия услышала его голос:

— Остановись, граф! Неужели тебе не стыдно поднять руку на старика?

Она подумала, что Конрад был единственным человеком за столом, который понял, что поступать так недостойно, и прекратил избиение. Барон Карл поднялся, вытирая пальцем кровь на разбитой губе. Потом стал приводить в порядок одежду, сердито оглядывая врага и заодно всех сидевших за столом. Но что он мог поделать с этим саксонским великаном, способным побороться с быком? А теперь у него уже не было сыновей, которые защитили бы

его.

Конрад помог барону подняться с земли и сказал:

— Сядь на скамью и выпей меду, это подкрепит тебя.

Обращаясь к тяжело отдувавшемуся графу, он прибавил:

— Разве не стыдно тебе обижать человека, у которого три сына погибли в сражениях за своего императора?

Граф Мейссенский отвернулся.

Между тем старик уже отдышался и снова как ни в чем не бывало тянулся за пищей. Кесарь нахмурился. Вероятно, ему стало стыдно, что не он прекратил нелепую ссору и упустил случай показать свое благородство. У него были на то особые соображения, а этот молокосос осмелился наводить порядок в его присутствии! Генрих не знал, что сказать сыну, чтобы поставить его на место, однако он понял, что много потерял в глазах Евпраксии. В ее глазах он прочел благоволение к Конраду и едва скрытое презрение к себе самому. Как бы то ни было, трапеза продолжалась. Слуги поспешили принести еще несколько кувшинов вина.

На другой день, неожиданно услышав грохот подков, Евпраксия выглянула из окна на глубокий замковый двор. Внизу, у широко распахнутых ворот конюшни, откуда вечно долетал запах навоза, на белом жеребце сидел Конрад, в скромном сером плаще, без шляпы. За спиной у него висела на широком ремне знакомая ей виола. Два молодых рыцаря только что вывели коней, и те волновались, прядали на задние ноги, быстро перебирая передними, в нетерпении от предстоящей поездки. Она знала обоих. Одного звали Сигизмунд, другого — Рудольф. Первый, с рыбьими глазами, длинноносый, был и молчалив как рыба, второй любил рассказывать на пирах про монахов и монахинь легкомысленные притчи. Он и теперь рассказывал что-то смешное, размахивая одной рукой, пока конюх укрощал его коня, и пятнадцатилетний паж Лоренцо, родом итальянец, звонко смеялся.

Евпраксия не выдержала и крикнула, приложив руку ко рту:

— Конрад!

Граф поднял изумленные глаза, и то же сделали остальные. Ослепительно сияли белоснежные зубы на смуглом лице пажа.

— Милый Конрад! Куда ты собрался? — спросила она.

Прежде чем ответить императрице, он весь просиял в улыбке, и ей показалось, что среди этих унылых каменных стен и круглых башен с черными бойницами вдруг стало светлее, повеяло чем-то чистым, точно на тесный замковый двор прилетел ветер с горных лугов, где уже распустились весенние цветы.

— Мы отправляемся на прогулку. Не желаешь ли поехать с нами?

Приближался вечер, жара спала. От слов, долетевших до нее, у Евпраксии потеплело на сердце. Как приятно подышать свежим воздухом! Но что скажут люди? Кесарь был в Вероне и не мог вернуться раньше завтрашнего утра, и представилось, что она имеет право совершить прогулку, верхом на коне, когда весна расцвела на зеленых лужайках. Как девчонка, оглядываясь по сторонам, как будто бы императрица могла спрятаться от любопытствующих взглядов, со всех сторон следящих за каждым ее движением, она крикнула:

— Подожди меня!

— Я сам оседлаю твою лошадь! — ответил радостно Конрад.

Евпраксия кивнула ему головой и побежала, вся раскрасневшаяся от волнения, к ларю, где хранились ее платья.

— Эльза! Эльза! — звала она служанку, но та не откликнулась.

Наконец на лестнице послышались шаги прислужницы.

— Где ты пропала?

Выбрасывая на пол разноцветным ворохом ненужные одежды, Евпраксия выбрала самое любимое свое платье, из красной материи с золотыми украшениями на поясе. В таком трудно было сидеть на коне. Но ведь она отправлялась не на охоту, где требуется свобода движений.

Переодевшись, императрица быстро сбежала по лестнице, с такой поспешностью, что за нею едва успевала следовать служанка, а старая графиня Эльвира, делившая ее одиночество в замке, всплеснула руками от изумления.

— Вот и я, — сказала она, глядя на одного Конрада.

Граф склонился, скрестил пальцы... Евпраксия поставила на них ногу в зеленом башмачке, и он помог ей вскочить на лошадь. Чувствуя ногами теплый бок гнедой кобылицы, молодая женщина с удовольствием покачивалась в седле. Рядом с нею ехал Конрад. Они переговаривались о незначительных вещах — о хорошей погоде, о том, что жеребец графа перестал хромать, благодарение богу. За ними двинулись в путь рыцари и смешливый итальянский паж. С железным скрежетом и в лязге цепей опустился подъемный мост и тяжело лег над пропастью крепостного рва. Подковы четко простучали по деревянному настилу. Упираясь кулаками в бока, конюхи с удовольствием смотрели на коней, на богатую сбрую, на ловких наездников.

От замковых ворот по холму змеей извивалась дорога. Вскоре всадники спустились по ней в долину и переехали через другой мост, каменный и горбатый, еще от римских времен перекинутый над горным потоком. Дальше серебрились оливы. Евпраксия оглянулась на замок. Он молчаливо и грозно стоял на возвышенном месте.

За оливковой рощей, проезжая улицей бедного селения, мимо жалких хижин, крытых тростником, Евпраксия увидела, что около деревенской капеллы собралась толпа людей. Мужчины и женщины были одинаково скромно одеты, в домотканом полотне и овчинах. Первые — в коротких коричневых штанах и некогда белых рубашках, вторые — в серых и зеленых платьях, с красными платками на головах. Тут же шныряли под ногами у взрослых стайки полуголых детей с перепачканными рожицами. Бритый старый монах с розоватым гуменцом на седой голове и в черной одежде, подпоясанной ремешком, отдавал распоряжения землекопам, что трудились, как муравьи, в яме с кирками и лопатами в руках.

— Что они делают? — спросила Евпраксия у Конрада.

— Может быть, строят новую капеллу? — ответил он вопросом. — Но я спрошу.

Он крикнул по-итальянски, обращаясь к монаху:

— Отец, над чем вы трудитесь здесь?

Только тогда люди, занятые работой, обернулись и увидели нарядных всадников и среди них супругу императора.

Монах, кланяясь непрестанно, твердил:

— Мы производим земляные работы, чтобы положить основание нового храма.

Из любопытства Евпраксия направила лошадь в толпу и подъехала ближе к яме, вырытой около капеллы. Поселяне расступились перед императрицей, и женщины улыбались ее великолепию. Монах продолжал униженно кланяться.

Она увидела под ногами кобылицы глубокий ров, очевидно приготовленный для того, чтобы укрепить в нем краеугольный камень здания. Но двое землекопов с трудом вытаскивали из земли беломраморную статую, изображавшую нагую женщину. Несколько веков, проведенных в кромешной тьме, в сырости и вместе с червями, нисколько не угасили сияние ее тела и томную улыбку на устах.

Монах воскликнул, всплеснув руками:

— Венера!

Все с изумлением взирали на это вдруг появившееся из праха чудесное творение художника.

— Венера на месте построения святого храма! — негодовал монах.

Послышались непристойные шутки и женский смех. Суровый монашеский голос приказал:

— Джулио, разбей киркой непотребную девку!

Молодой поселянин, белокурый, нагой до пояса, один из тех, что только что вытащил статую на дневной свет, взглянул на монаха веселыми глазами и, поплевав на руки, ударил киркой по мрамору.

— Еще! Еще! — требовал монах.

Землекоп пришел в раж. Мраморная голова с волнистыми волосами отлетела в сторону, все так же храня блаженную улыбку на чувственных губах. Женщины, видимо, одобряли гнев монаха. Перед их взорами лежала бесстыдно обнаженная женщина. Евпраксия тоже узнала в ней свои ноги, бедра, грудь, чрево и все свое женское существо. Ни она, ни Конрад не нашли нужным остановить уничтожение статуи. Ведь ее нашли на том месте, которое предназначено для построения храма. Это создание дьявола было великим соблазном для христиан. Но ей почему-то стало грустно, когда кирка окончательно уничтожила статую и все увидели, что красота превратилась в обломки обыкновенного камня. Переглянувшись с Конрадом, они поехали дальше. Уже вдали начали голубеть вечерние холмы.

Евпраксия чувствовала, что молодой граф не презирает свою мачеху, несмотря на всю мерзость, в какую ввергли ее люди. Императрица видела это по его почтительным взглядам. Когда они остались вдвоем на дороге, потому что итальянский паж стал осматривать ногу своего споткнувшегося коня и оба рыцаря тоже слезли со своих жеребцов, чтобы достойным образом обсудить этот интересный случай, она тихо спросила спутника:

— Конрад, что ты думаешь обо мне?

Граф ответил не сразу, — очевидно, не хотел отделаться пустячной фразой. Он окинул долгим взором голубые холмы на краю неба и замок на горе, уже ставший розоватым от лучей солнца, приближающегося к закату. Может быть вспоминая какие-нибудь примеры из священного писания, он вдруг ответил по-книжному:

— Жертва вечерняя...

Она не поняла, что он хочет сказать, и переспросила:

— Не презираешь ли ты меня?

Из женской стыдливости и гордости Евпраксия никому не рассказывала о том, что ей приходится переживать по воле своего безумного супруга. Только значительно позднее, уже будучи не в силах нести в одиночестве страшное бремя, императрица открылась на исповеди духовнику в непотребстве своей жизни. Однако она страшилась, что многим известно — ведь людей нельзя заставить молчать, — в каких ужасных пороках она невольно принимала участие. Должен был слышать об этом и Конрад.

— Не презираю, — наконец промолвил он. — Как брошу в тебя камень, когда, может быть, и я нахожусь во власти сатаны? В императора вселился бес. Я говорю тебе, как нежно любимой сестре: беги из этого ада, или ты погубишь свою душу навеки.

— А ты?

— Он отец мне. Куда мне бежать от него? Я наследую престол.

— Мне тоже некуда бежать.

— Беги куда угодно, лишь бы спастись от греха. Вернись в свою страну.

— Разве это так просто? Меня схватят на дороге и обвинят в измене.

Конрад поник головой.

— Я знаю, что это не легко. Но моим отцом все больше и больше овладевает безумие.

Холмы сделались совсем голубыми. Сигизмунд и Рудольф вздумали состязаться в быстроте боевых коней и умчались в далекие поля, усыпанные белыми и розовыми цветами. За ними увязался маленький паж, горланя во всю глотку.

— Конрад, пожалей меня!

Он впервые заглянул ей в глаза.

— Если не пожалеешь, я удавлюсь.

— Императрица, это великий грех! — взволнованно зашептал принц. — Обещай мне, что никогда не посягнешь на свою жизнь. Я буду помогать тебе во всем, не щадя сил. Но разве позволено поднять руку на отца?

— Кто говорит тебе об этом?

— Меня толкают на отцеубийство. Я знаю. Вся Германия шатается, как ярмарочный плясун на канате. Вот-вот все рухнет и распадется. Людям становится страшно жить на земле.

Евпраксия никогда не поднималась до такой высоты, откуда становятся ясными государственные соображения. Ей просто хотелось ощутить тепло человеческого участия в своей страшной судьбе.

Конрад мечтательно смотрел вдаль. Точно отчаявшись в возможности разрешить земные противоречия в этой греховной жизни, он произнес со вздохом:

— О, если бы мир был другим!

— Что ты говоришь? — не поняла императрица.

— Если бы мы все стали бесплотными...

Она расширила глаза и, глядя прямо перед собой, не поворачивая к Конраду лицо, спросила:

— Как ангелы?

— Подобно ангелам.

— Разве это возможно?

— Если бы мы сделались бесплотными, у нас не было бы нужды принимать пищу, утолять жажду, испытывать греховные страсти.

— Но такой мир обрек бы себя на гибель.

— Немногого стоит этот мир с его грехами и проклятьем в поте лица добывать свой хлеб! — воскликнул граф.

Евпраксия подумала, что это не соответствует истине. Тысячи крестьян трудились на нивах, чтобы пропитать семью императора и его двор, прихлебателей, шутов и слуг. Но ей не хотелось осуждать Конрада, искать неправду в его словах или уличать его в ошибках. Лицо молодого графа светилось редкой красотой. Белый высокий лоб, прямой нос, хорошо очерченный рот. И эти льняные волнистые волосы, падавшие на самые плечи. Он вздыхал о бесплотности людей. А юная императрица всем своим женским существом тянулась к нему. Она не привыкла размышлять о первопричинах, зато явственно чувствовала, что без своей плоти не могла бы испытать того сладостного волнения, что наполняло всю ее душу в эти мгновения.

— Конрад! Конрад!

Евпраксия закрыла руками лицо и бурно расплакалась.

Но Конрад только говорил, что хотел быть бесплотным. Придвинув своего коня вплотную к кобылице Евпраксии, он стал отнимать ее руки от лица. Слезы текли по ее щекам, как алмазы. Уже не отдавая себе отчета в том, что делает, граф обнял спутницу и с волнением почувствовал в своих объятиях горячее женское тело. Конрад приник к устам императрицы...

Уже ночной мрак спустился на землю. Там была росистая лужайка, покрытая цветами. Конрад разостлал свой серый плащ. Издали долетали голоса Сигизмунда и Рудольфа, разыскивавших в темноте исчезнувших спутников. Но самым звонким был голос итальянского пажа. Видимо, он кричал, приложив руки корабликом ко рту...

Все снова встретились у замковых ворот около полуночи. Воины, несшие стражу, держали в руках зажженные смоляные факелы. Лоренцо испытующе вглядывался в лицо императрицы. Конрад объяснил рыцарям, что они заблудились в ночных полях.

Ту ночь император вынужден был провести в Вероне, где происходило важное совещание с некоторыми итальянскими графами. Весь день Генрих советовался с ними, под каким предлогом снова начать борьбу с Матильдой. Он устал от этого непрерывного напряжения и не имел достаточно сил, чтобы до наступления ночной темноты вернуться в свою резиденцию. Но наутро, увидев припухшие губы императрицы, язвительно спросил:

— Что с твоим ртом? Не укусила ли тебя золотая пчелка?

Снова началась прежняя жизнь. К счастью, императрица забеременела. Ей хотелось, чтобы ребенок был от Конрада и походил на него глазами, локонами, ростом, нежными руками. Однако даже появление на свет младенца не избавило Евпраксию от унижений. Кесарь так

грубо издевался над нею, что монахи и поэты не осмеливались записывать в своих хрониках и поэмах, в которых воспевали красоту императрицы и оплакивали ее участь, его ругательства, а ограничивались стыдливymi намеками, страшись сатаны. Когда же ребенок умер вскоре после рождения и его похоронили, Евпраксия решила бежать от дьявола, каким ей представлялся теперь супруг, страшный человек в черном одеянии до пят и с золотой цепью на впалой груди. Служанки донесли о ее планах, и Генрих заточил императрицу в замковую башню.

Почти три года Евпраксия томилась в высокой каменной башне как бы между небом и землей, поблизости от облаков и в лазури, где скользили легкие ласточки и не было слышно человеческих голосов. В узкую бойницу она могла видеть извилистую дорогу, спускающуюся с холма. Порой по ней двигалась деревенская повозка на двух высоких колесах, проезжали всадники с поджарыми охотничьими псами, шел одинокий путник с посохом в руках. Но окошко на двор не выходило, и узница не знала, что там творится. А между тем сюда часто приезжал Конрад. Два или три раза Евпраксия узнавала его на дороге, и у нее начинало сильнее биться сердце. Ему никогда не удавалось подняться по лестнице на башню, передать заключенной записку с утешительными словами. У дверей днем и ночью стояли на страже преданные кесарю, неподкупные воины.

Генрих одерживал победу за победой, и Евпраксия уже оставила всякую надежду на освобождение. Пала неприступная Мантуя, оплот Матильды, и папа Климент вновь занял Рим. Но на этом и закончились успехи германского императора. В довершение всего Конрад, его нелюбимый сын, уже будучи не в силах переносить грубые насилия над своей совестью, перешел на сторону тосканской герцогини.

Генрих удалился в один из своих неприступных замков и проводил там время в полном бездействии, жил как во сне, порой помышляя о том, чтобы покончить все расчеты с жизнью. Она сделалась безрадостной и одинокой, император нес ее теперь как тяжелое бремя. У него не оставалось даже желания бороться за власть.

Между тем, когда стали производить расследование по делу об измене Конрада, допрашивая под пыткой конюхов и служанок, монахов и всех, кто попадался под руку, выяснились его подозрительные связи с супругой кесаря. Тогда ее тоже подвергли тщательному допросу.

Императорский нотариус добивался от Евпраксии:

— Скажи всю истину — и всемилостивый господин наш простит тебя, так как обладает благородным сердцем и справедливостью.

— Мне нечего сказать, — отвечала измученная узница.

Но опытный в подобных делах нотариус, бритый, преждевременно полысевший, курносый, провел не один год в застенках и судилищах, поэтому не прекращал допроса, надеясь добиться своей цели. Он был в длинной темно-зеленой мантии и маленькой черной шапочке, едва прикрывавшей розовую лысину, и представлялось невозможным вообразить его в другом наряде.

— Скажи, не прелюбодействовала ли ты с графом Конрадом? — допытывался нотариус.

Евпраксия молчала, опустив голову. Краткие встречи с сыном кесаря остались для нее единственным светлым воспоминанием в страшной жизни, и она не хотела запятнать эти мгновения признанием перед палачами.

— Скажи, не посещал ли тебя граф Конрад в твоей опочивальне?

— Не посещал.

— Не прикасался ли он к тебе в какой-нибудь иной горнице?

Ответа опять не последовало.

— Почему же ты молчишь? Может быть, ты откроешь нам, что тебе было известно о намерении графа бежать и изменить своему отцу и государю?

— Я ничего не знала о намерениях Конрада, — чистосердечно ответила Евпраксия.

— Странно, странно... — тянул нотариус, поглаживая бритый подбородок и не спуская с допрашиваемой маленьких оловянных глаз.

Во всяком случае, стражу у дверей башни, в которой сидела в заключении императрица, усилили. Она все-таки нашла возможность войти в сношения с Матильдой и обратилась к ней с просьбой о помощи. Никто не знал, каким образом Евпраксии удалось переслать письмо. Однако для честолюбивой тосканской правительницы обращение Евпраксии было большим козырем в этой игре не на жизнь, а на смерть. Оно давало ей возможность окончательно опозорить кесаря и показать всему миру его грязную душу. После соответствующей подготовки, разведав обо всем, что касалось охраны заключенной, граф Вельф отправился с отрядом испытанных воинов на выручку несчастной и освободил ее. Евпраксия благополучно прибыла в Каноссу.

Мономах был прав, когда сравнивал жизнь сестры с бурей или с челном в житейском море. Подобные сравнения использовали и те поэты, что сочиняли целые поэмы о супруге безумного императора. Но разве думала она, покидая в слезах милый Киев, что ей назначено судьбой носить императорскую корону и вместе с тем стать притчей во языцех всей Европы, принимать участие во всех мерзостях кесаря и в конце концов послужить причиной его гибели?

Евпраксию встретили в стане Матильды как мученицу и оказали ей императорские почести. Авторы латинских хроник называли тосканскую герцогиню новой Деборой, сравнивали ее военные успехи с победами Израиля над амалекитянами. Во всяком случае, это была очень деятельная женщина. Она решила воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы нанести Генриху последний удар. В Констанце и Пьяченце были созваны соборы, на которых обсуждались жалобы Евпраксии. Уже не щадя себя, императрица поведала о всех гнусных пороках, в каких против своей воли принимала участие. Ей верили. Настолько необычной казалась судьба этой женщины, что на Евпраксию даже не наложили епитимий, посчитав, что она только уступала насилию. Публичные признания ее окончательно подорвали у Генриха возможность оказывать сопротивление папе. Все было использовано, чтобы растоптать кесаря. Он вызывал теперь у всех благомыслящих людей гнев и отвращение. Так слабая женщина отомстила ему за поругание души и тела.

Генрих все-таки попытался вымолить прощение у папы и отправился в покаянное паломничество под стены неприступной Каноссы. Стояла зима, и в горах выпал снег. Босой, в одежде кающегося грешника, кесарь смиренно просил прощения, замерзая под молчаливыми стенами, за которыми схоронилась и его бывшая супруга. Но напрасно он ждал примирения. Папа Урбан даже не потрудился взглянуть на него с высоты каносской твердыни. Только Евпраксия, закутавшись в мужской плащ с капюшоном и в сопровождении верной прислужницы, вошла на башню. Скоро ее глаза привыкли к темноте и стали различать отдельные предметы. Она увидела на снегу одинокую человеческую фигуру. Это стоял, в черном плаще, император Генрих, ее муж. Евпраксия прошептала:

— Зачем я встретила с тобою?

Еще раз перед нею возникли белые своды кведлинбургского рефектория. Император милостиво улыбался ей, одетый в черное одеяние, с золотой цепью на груди...

Порвав с кесарем, Евпраксия поселилась во дворце Конрада. Он и его супруга, нормандская принцесса Констанция, приняли самое теплое участие в судьбе изгнанницы. Но кто узнает, о чем она думала в одинокие итальянские вечера, когда перебирала в памяти все пережитое или старалась позабыть обо всем? Душа ее стала как ночь. Королева исподтишка смотрела на Конрада, спрашивая его недоуменными взглядами, как поступить с несчастной императрицей. Когда о ней заходила речь, мужчины ухмылялись, кумушки перешептывались, указывая пальцами на эту увядшую красавицу, когда она тихо брела в церковь или по делам благотворительности, чтобы замолить свои грехи. Даже священники приходили в ужас в часы ее покаяния. Ей уже ничего не оставалось, как похоронить себя в монастыре.

Вскоре она покинула прекрасную Италию и перебралась к своей тетке Анастасии Ярославне, бывшей королеве угров. Однако в те дни в Венгрии произошла смута, король Соломон, сын Анастасии, укрыл свою мать и жену в замке Агмунд, и там старуха закончила свои земные дни. На престол взошел Коломан. К нему однажды прибыло посольство с Руси, и Евпраксия, воспользовавшись этим случаем, возвратилась на родину.

Связь между Русью и Венгрией в те годы была довольно оживленной. Все время из угорской земли приходили в Киев торговцы, странники, порой послы, и рассказы о том, что произошло с Евпраксией на чужбине, проникли в русские хоромы, докатились до торжища, даже до кабаков, где потешали народ скоморохи. Когда пронесся слух, что кесарь Генрих IV умер, его вдова постриглась в монастыре Янки. Два года спустя скончалась и Евпраксия и была погребена в Печерском монастыре. Над гробом своей сестры Владимир Мономах воздвиг великолепный терем, зная о ее высоком звании. Но простым людям, не книжным, молившимся у часовни, не приходило на ум, что в этой гробнице лежит императрица Священной римской империи.

25

Дубы уплывали в зимнюю мглу и таяли, сливаясь с голубоватым туманом, постепенно наполнявшим солнечный день. По-стариковски помогая себе руками, Мономах повернулся в санях и поманил красной рукавицей Дубца. Дружинник тотчас подъехал и склонился с коня, вопросительно глядя на старого князя.

— Не вспомнишь, какой был день, когда убили Урусобу? — спросил Владимир, проверяя свои мысли.

Илья Дубец на всю жизнь сохранил в памяти ту битву.

— Апреля в четвертый день, князь.

В подтверждение того, что это именно так, Мономах молча закивал головой, как бы говоря:

«Совершенно верно, апреля в четвертый день».

Войско двинулось в путь на второй неделе великого поста и в пятницу уже очутилось на Суле, а в субботу на Хороле, где бросили ненужные больше сани, так как началась распутица. В воскресенье пришли на Псел, а оттуда направились к реке Ворскле и там со слезами целовали крест на том, что все готовы испытать смертную чашу.

Как всегда, Илья находился при князе Владимире, в его конной дружине. Но знатные воины еще не забыли, что Дубец родом из простых смердов и только по милости князя носит меч на бедре, и поэтому порой смотрели на него с пренебрежением, особенно на пирах, хотя никто

не затевал с ним ссор, зная тяжкую руку дружинника, ни перед кем не потуплявшего своих очей. Впрочем, когда дружина выходила в поле и начинала петь перед битвой серебряная труба, лица у всех обращались к нему. Мономах говорил про Дубца:

— За его спиной могут спать без заботы.

Когда княжеский конный полк строился клином, чтобы врезаться в полчища врагов, Дубец неизменно занимал в нем краеугольное место, и меч его не знал пощады.

На этот раз князья решили пойти северным путем и реки переходили в верховьях.

Во вторник на шестой неделе поста русские перешли по льду Ворсклу и приблизились к Северному Донцу. Дальше уже лежало Дикое поле. Мономах надеялся, что найдет половцев среди зимних становищ, прежде чем они успеют откочевать на юг, на свои весенние пастбища в солончаках на берегу моря.

Подобно многим другим воинам, Дубец, видевший немало испытаний на своем пути, закалился в борьбе и привык терпеливо переносить стужу и голод, раны и болезни. Как и князь Владимир, он отличался умеренностью в еде и не предавался похоти.

Илья вышел в поход с деловитым спокойствием, сам осмотрел оружие и коней, позаботился, чтобы ни в чем не оказалось изъяну, проверил каждый ремень на сбруе, провел пальцем по обоим лезвиям своего меча. Однако и от холопов Дубец требовал, чтобы все в его хозяйстве содержалось в полном порядке, и в этом отношении тоже походил на своего князя. Время настало трудное, и приходилось быть строгим к самому себе и другим. Каждый час могли появиться половцы, а за всякое упущение приходилось платить христианской кровью.

На берегу Северного Донца князья построили войско в боевой порядок, и в таком построении полки направились через степь, к таинственному городу Шаруканю. Вскоре воины увидели среди ровной местности поселение, обнесенное невысоким валом и укрепленное частоколом. Над двумя воротами возвышались приземистые бревенчатые башни. Город точно вымер. Но чувствовалось, что за оградой стоят люди и наблюдают прибытие русского войска.

Князья остановились, выехав вперед живописной кучкой всадников, на разномастных конях и все в красивых корзнах, в парчовых шапках, опущенных мехом, и тоже смотрели на странный город. Дубец, бывший с ними, слышал, как они переговаривались между собою:

— Там живут половцы, принявшие христианскую веру, — говорил Святополк.

— Не половцы, а беглецы, ушедшие от бояр, — спорил с ним другой князь.

— Не половцы и не беглецы, — утверждал третий, — а живут в Шарукане пленники, знающие какое-нибудь ремесло, нужное для половецких ханов.

Было известно, что город раньше назывался Аснев, по имени того хана, на дочери которого Мономах женил своего сына Юрия. Вероятно, обитали там и пленники, и беглецы от боярского гнета, и также половцы, может быть действительно принявшие христианскую веру.

Илья Дубец думал, что город придется брать приступом. Но у Мономаха родился в уме другой план. Он велел попам и монахам, сопровождавшим войско в походе, выйти вперед с крестами в руках и петь тропари. К удивлению русских воинов, городские ворота вдруг растворились и оттуда вышли жители, неся князьям на вышитых полотенцах рыбу и вино.

К сожалению, не так благоприятно обошлось со вторым городом, попавшимся на пути. Он назывался Сугров, по имени другого прославленного хана, взятого однажды русскими в плен во время набега половцев на Переяславскую землю и отпущенного за большой выкуп. Жители Сугрова отказались отворить ворота. Князья вопросительно смотрели на Владимира

Мономаха, который считался начальником всех воинских сил.

Князь долго не мог успокоить плясавшего коня. Наконец, натянув поводья, с искривленным от усилия ртом, и, не отрывая глаз от безмолвных валов, на которых замечалось какое-то движение людей, проговорил хмуро:

— Дорог каждый день. Не можем долго стоять под городом.

— Как же нам поступить? — спросил Святополк.

— Возьмем на шит.

Город был взят приступом и сожжен, в наказание за то, что стал на пути к русской победе.

Войско по-прежнему двигалось вперед в боевом порядке, развернутым широко строем, тремя полками. Такое построение замедляло поход, но князья могли при нем легче отразить неожиданные наскоки половцев. Откуда бы они ни появились, всюду их ждал отпор.

Дубец слышал, как ехавший на сивой кобыле пожилой монах, от непривычки к верховой езде вцепившийся в гриву, объяснял любителю разговоров о божественном и странном Мстиславу Владимировичу:

— Половцы вышли вместе с другими племенами из Еттивской пустыни между востоком солнца и полуночью. Таились там четыре колена. Одно из них и есть половцы. Так свидетельствует Мефодий Патарский.

— Мефодий Патарский... — видимо, не без удовольствия, повторил князь Мстислав, первенец Мономаха.

Ехавшие поблизости дружинники слушали рассказ монаха тоже с почтительным вниманием. Но в это время труба подала знак остановиться на ночлег. Всадники легко спрыгнули с коней, с удовольствием разминая ноги. Монах неуклюже сполз на животе с коня и отдал лошадь княжескому конюху, радуясь, что избавился от нее. Началась обычная суета, как бывает при устройстве стана. Воины ставили шатры для князей, прилаживали коновязи, перекликаясь между собою и ссорясь из-за места; другие повели коней на водопой; третьи стали собирать все, что годилось для огня, чтобы развести костры. Монах присел у одного из них, где на ковре полулежал князь Мстислав, еще молодой человек. Ему хотелось возобновить книжную беседу. Инок не заставил просить себя дважды.

— Неправильно утверждают некоторые, — поводит он перстом в воздухе, — будто половцы — сыны Амона. Болгары, живущие на Волге, и хвалисы — те родились от дочерей Лота, зачавших от отца своего. Сарацины же происходят от Измаила, рожденного от рабыни, хотя и выдают себя за детей Сары и поэтому и называют себя так. Ведь это значит: мы Сарины сыновья.

Мстислав чувствовал, что он следит за ходом мировых событий и сам участвует в них. Вот завтра он обнажит свой меч и будет сражаться с теми, о ком писал Мефодий Патарский!

— А половцы? — спросил он.

— От них и половцы. Однако после этих четырех колен выйдут при конце мира еще многие другие племена, заклепанные Александром Македонским в горе.

Дубец слушал этого тщедушного человека, такого жалкого верхом на кобыле, но обладающего великими познаниями о народах, стараясь не проронить ни одного слова. Перед книжником были открыты все тайны мира. Таких людей надлежало хранить как зеницу ока. Впервые Илья пожалел, что книжная премудрость недоступна для него. Он сказал

монаху:

— Отче, сядь поближе к огню. Ночь сыра.

Костер разгорался, и от него шло приятное тепло. Зажав в руке мочальную бороденку, поглядывая на жарящееся на углях мясо, инок, которого звали Поликарп, уселся поудобнее на конской попоне рядом с Ильей.

Мстислав мечтательно смотрел на огонь. О чем думал этот женолюб и читатель книг? Вспоминал о своей последней победе? Кто мог устоять перед его красотой, княжеским положением, богатством? Сколько раз он перелезал через частокол боярского двора, а преданный отрок ждал его всю ночь с конями в темном переулке. Псы в такие ночи предусмотрительно сажались на цепь, а сторож спал, упившись медом. Но, может быть, завтра его поразит половецкая сабля и уже ничего не будет, ни пламенных лобзаний, ни соловьиной песни в саду, ни шелеста книжных страниц?

— Не готово ли брашно? — с деланным равнодушием спросил Поликарп. В походе, на свежем воздухе, святой отец проголодался и хотел разрешить себе вкушение запретной для монахов мясной пищи.

Один воин поспешил потыкать ножом в кусок конины. Княжеские отроки убили вчера дикую лошадь стрелами.

— Еще не готово, — ответил воин.

В ожидании ужина монах продолжал свои захватывающие рассказы о племенах и коленах.

— Что еще написано в книгах о наших временах? — вздохнул Дубец. — Когда же выйдут эти народы из горы?

— Никто не знает ни часа, ни дня.

— И тогда наступит конец мира?

— Небо свернется, как свиток, а землю пожрет огонь.

Дубец тоже чувствовал с трепетом, что прикасается к страшным тайнам мироздания.

Монах отличался словоохотливостью.

— Могу еще рассказать о том, что сам слышал из уст новгородца Гюряты Роговича. Он так говорил мне: «Послал я своего отрока в Печеру, к людям, дающим дань Новгороду. Отрок пробыл там некоторое время, а потом направился в землю Югры. Язык этого народа непонятен для нас. Соседствует Югра с самоедьей, что обитает в дальних полуночных странах. Ловцы сообщили там отроку о странном чуде. Будто бы это началось три года тому назад. В тех странах стоят высокие горы, заходящие за морскую луку, и в них слышен глухой говор. Какие-то люди секут камень секирами, желая выйти из горы. Они уже прорубили малое оконце и что-то кричат оттуда и машут руками, показывая на железо. Если кто им дает нож или топор, тому они дарят драгоценные меха».

Дубец подумал, что немало всяких чудес на земле, и сказал со вздохом:

— Хотел бы и я посмотреть на такое.

Монах покачал головой.

— Путь в те страны преграждают снег, пропасти и тернии. Так меня уверял Гюрята. Но

полагаю, что это и суть люди, заклепанные македонским царем.

И он многозначительно поднял перст.

Илья слышал, что был некогда царь, завоевавший весь мир и собравший огромные богатства, но завидовавший бедняку, которому жилищем служила бочка. Об этом рассказывал однажды на княжеском пиру один воин, проживший много лет в греческой земле и научившийся там языку греков.

Но инока занимали и земные дела.

— Теперь уже испеклось, — заметил он, с некоторым нетерпением поглядывая на пламеневшие уголья.

— Еще надо попечь немного, — вежливо возразил ратник, занимавшийся приготовлением ужина и приученный жизнью к терпению.

— По какой причине заклепаны эти народы в горе? — спросил Мстислав, оторвавшись от приятных воспоминаний.

Монах стал объяснять:

— Александр Македонский дошел в своих походах до восточных пределов земли и там встретил нечистых людей из племени Иафета. Они пожирали всякую скверну. Комаров и мух, кошек и змей. Мертвецов те люди не погребали, а питались трупами. Увидев это, царь Александр устрасился, что подобные человеки могут размножиться на земле и осквернить ее, поэтому загнал их в отдаленнейшие страны. По божьему повелению горы сдвинулись со своих мест и сошлись так, что заперли эти народы, как в темнице. Остался только проход шириной в двенадцать локтей. Царь велел поставить там медные ворота и помазать их синклитом...

— Синклитом? — повторил с почтением Илья.

— Синклитом. Свойство его таково: если помочить этим снадобьем что-либо, то такую вещь невозможно ни огнем сжечь, ни железом уничтожить.

— Ныне эти скотоподобные люди сидят за медными воротами? — удивлялся старый дружинник. — Почему же они не ломают их?

— Столпы воротные необыкновенной прочности.

— Не перелезут через них или не откроют запоры?

— Полагаю, что сделать это невозможно, ибо все предусмотрел царь. Может быть, нельзя прикоснуться к тому, что помазано синклитом?

Монах потянул длинным носом воздух.

— Теперь уже готово, — сказал он в предвкушении вкусной еды.

Дружинники, молчавшие во время беседы, пока речь шла о трудных для них явлениях, теперь засуетились. Один из воинов вынул копьем обуглившееся, но сохранившее свой сок мясо; другой ловко отрезал от него кусок и прежде всего протянул князю Мстиславу на ломте хлеба. Второй достался монаху, из уважения к книжной учености.

— Тебе, отче, — сказал воин.

Проголодавшиеся дружинники вонзили крепкие зубы в пахнувшую дымком конину. Соль

заменял пепел, прилипший к мясу. Меду в обозе уже не оставалось. Впрочем, это был не пир, а походный ужин для подкрепления сил. Приходилось торопиться с едой, чтобы отдохнуть немного, а на заре снова выступить в путь. Ночь уже давно покрыла мраком безмолвные поля. Звонко журчал в соседнем овраге весенний ручей. Под ногами хлюпали лужи. Сотня всадников, вытянувшись гуськом, ушла в ночное охранение. Оставшиеся в стане воины перед тем, как прилечь на часок, говорили о самых обыденных вещах. Чему быть, тому не миновать, и цари в битвах погибают. Один из ратников просил друга:

— Жив не буду — побереги, Иване, мою овчину.

И тот смеялся в ответ:

— А если я не вернусь, скажешь в Переяславле, что жил на земле воин Лыко и нет его больше на свете.

Где-то далеко, по ту сторону степи, стояли половецкие вежи. Слухи о походе русских князей уже пронесли с быстротою оленя из одного улуса в другой. Но какая-то сонливость охватила половецких ханов, и они все не могли принять окончательного решения: уходить ли поскорее к морю или выступить против оросов? Уже многих отважных воинов не насчитывалось в половецком становье. Погиб Алтунопа, храбрый из храбрых, пал Урусоба. Много других ханов полегли в степи под русскими мечами. Только хан Боняк еще лелеял в своем сердце злую месть князю Владимиру Мономаху.

Как и во время первого разгрома половцев, Мономах использовал все благоприятные обстоятельства: зима была на исходе, половецкие кони отощали. Но у Боняка билось в груди горячее сердце, ему не терпелось отомстить за гибель братьев. Хан сидел в своем шатре, с удовольствием расположившись на приятных подушках. Нет ничего хуже для воина, как мягкое ложе, шелковые одежды, обильная пища. А рядом сидела на ковре молодая ханша, которую он отыскал, как жемчужину в навозе, в дальнем становье. Лицо Зелги было белее снега, глаза полны огня, а лобзания ее слаще меда. За спиной любимицы стояли другие жены, некоторые с детьми на руках; сыновья приехали в тот день в шатер отца, молчаливо расположились на ковре. Посреди вежи, как положено от древних предков, тлел огонь в очаге, сложенном из полевых камней. Его поддерживали верблюжьим навозом, смешанным с прошлогодними злаками, и синий дымок поднимался к отверстию, проделанному вверху юрты.

Повторилось все то, что было в прошлый раз. Всадники примчались на взмыленных конях, чтобы сообщить потрясающую новость. Один из них, старик с морщинистым лицом, сидел перед ханом. Щуря глаза на огонь, он рассказывал:

— Я ехал день и ночь и еще полдня. Я молил звезды, чтобы они помогли мне разыскать прославленного хана. Ибо нет более знаменитых воинов на земле, чем хан Боняк и его сыны. О них знают даже в том городе, где живет патриарх.

И звезды привели меня к твоему шатру, великий хан.

— Что еще расскажешь, старая лисица? — улыбался Боняк, польщенный хвалебными словами. Он был доволен, что в тот день все собрались вокруг него — сыновья и жены, старые и молодые, весь род, все потомство, которое прославит его подвигами и завоеваниями.

Хан, уже немолодой человек, с лицом до того обветренным степными вьюгами, что оно стало цвета меди, еще сохранил силу и мужество. На лбу и щеках у него виднелись болячки, от которых его не могли излечить самые старые знахари.

— Я насчитал много, много оросов, — докладывал старый половчанин. — Остановившись у

одного водополя, я слышал от торков, что князь Владимир ведет огромное войско. Они видели ночью зарево от вражеских костров. Много крови прольется на земле.

Боняк помрачнел. Подтверждались степные слухи, бежавшие, подобно зайцам, из улуса в улус.

— Что еще говорили тебе эти собаки? — спросил он, презирая торков, как своих рабов.

— Говорили, что у оросов сильные кони и множество пеших воинов.

— Но правда ли это? — удивлялся хан. — Оросы всегда ходят с западной стороны.

— На этот раз они идут с восточной. Будь бдительным, великий хан!

Боняк задумался. Мономах хочет отрезать его от моря? Этот князь окидывает орлиным взором течение рек и пространство между ними и выбирает ту дорогу, которая нужна ему. В глубине души хану не хотелось еще раз садиться на коня. На очаге варился вкусный рис, доставленный в степь на верблюдах из той далекой страны, где водятся зеленые птицы, по рассказам купцов. Там плещется теплое море. Но есть своеобразная сладость и в степной жизни. Вежа полна мягких подушек. Зелга шуршит шелком при каждом своем томном движении, и ее золотые серьги слегка покачиваются в маленьких розоватых ушах, когда она смеется. Поистине она подобна редкостному цветку. Один путешественник, проезжавший степью в страну серов, самых справедливых людей на земле, почитающих законы, рассказывал хану, что красоту половецких женщин воспевают персидские поэты, сравнивая их с нежными розами Ширази, а очи половчанок с глазами газели. Если бы они видели его Зелгу, эти стихотворцы, они, наверное, сложили бы в ее честь не одну песню.

Боняк задумался о своей жизни. У него было все, что только может пожелать человек. Власть и богатство, здоровье, — ведь от болячек его обещали исцелить, наконец, молодая жена, осветившая его жизненный путь своею утренней зарей. Он владеет табунами горячих коней, стадами скота, верблюдами и рабами. Всем известно, что повелитель степей свободен, как птица, может передвигаться от высоких гор, из-за которых восходит солнце, до богатых рыбою русских рек. На эти берега половцев манили тучные пастбища, обилие воды, множество всякого зверя и возможность распахнуть на богатые города.

Зелга улыбалась ему, шелк женственно обтягивал ее бедра. Сердце хана наполняла до краев старческая нежность. Ему казалось, что никого на земле не любил он так, как Зелгу. За одно прикосновение к ее телу он готов пойти на смерть. Он льстил себя надеждой, что и маленькая ханша любит его, хотя бы за славу и богатство. Ну что ж! Пусть она знает, что ее повелитель еще в состоянии держать саблю в руке и вести конницу к победам. Этот проклятый князь всюду настроил бревенчатые остроги, насыпал валы, устроил сторожевые вышки. Стоит только появиться вблизи от русских пределов, как дымы начинают подниматься с них к небесам и уже русские кони наполняют топотом степь. Теперь он покажет ему, что нельзя безнаказанно приходить в половецкие степи. Старый Боняк еще раз победит врагов и тогда подарит Зелге новых рабынь, а на деньги, вырученные от продажи военной добычи, купит для нее у греческих купцов еще больше шелковых одежд и золотых запястий, обует ее маленькие ноги в башмачки из зеленого сафьяна. Надо платить за краткое человеческое счастье...

Русские лазутчики, выехавшие ночью далеко в степь и приблизившиеся к половецкому становью на опасное расстояние, слышали, как вдаль закрипели колеса, заржали кони и закричали верблюды. Очевидно, это поднялась с насиженных зимних становищ половецкая орда. Дубец жадно втягивал ноздрями воздух. Ему показалось, что он чувствует запах дыма. Значит, враги близко и только что затоптали свои костры. Каждая минута промедления могла быть роковой. Необходимо было тотчас повернуть коней и предупредить князя. Вместе с Ильей выехали в ночное поле несколько храбрых отроков. Разбрызгивая лужи, всадники

понеслись по направлению к русскому стану.

Жестокая битва произошла в марте месяце, в 24-й день, в пятницу, на речке Дегее. За всю свою жизнь Дубец не видел более кровопролитного сражения. Вновь половцы потерпели страшный разгром. Тысячи их легли на поле. Целые табуны гривастых коней носились по степи, призывая тревожным ржанием своих мертвых хозяев. Многие половцы пытались бежать пешими, оставив на произвол судьбы вежи, но беглецов достигали на сытых конях княжеские отроки, рубили их или вязали и приводили пленниками в свой стан.

В полном отчаянии, направо и налево хлеща плетью и опасаясь, что враги могут захватить вежи с женщинами и детьми, а вместе с ними и его Зелгу, Боняк еще раз собрал всю свою конницу и сам повел ее на русских. Он надеялся на численное превосходство орды, и когда сошлись два строя, раздался грохот, подобный небесному грому.

Половцы, как черные тучи, обложили со всех сторон русские полки, но воины не дрогнули и стойко выдержали удар. В это время на агарян с обеих сторон ударила княжеская конница и стала рубить их на реке Сальнице, пока у отроков не устали руки. Их кони были откормлены тучным ячменем, а половецкие не имели силы в ногах, и монах Поликарп даже утверждал, когда миновала всякая опасность и он снова вылез на свет божий, что своими собственными глазами видел, как ангелы принимали участие в битве и поражали врагов огненными мечами.

Немало и русских воинов легло в этом сражении. Увидев такое множество бездыханных тел, Мономах снял с головы позолоченный шлем и помолился о душах убиенных.

В тот день русские захватили половецкие вежи, и Зелга досталась Мстиславу. Боняк едва спас свою жизнь, скитался где-то, оплакивая бедственную судьбу побежденных.

Слушая рассказы Ильи Дубца об этой битве, Злат сложил песню о ней. Он пел ее на княжеских пирах, перебирая золотые струны:

В тот день светлый князь Владимир, по прозванию Мономах, сын Всеволода, внук Ярослава, великую победу одержал над врагами, множество скота захватил, коней и верблюдов, и половецкие вежи взял с большим богатством, тысячи пленников привел на Русь и возвратился с победой, и слава, подобно грому, по всей земле о нем гремела, до самого Рима...

26

Каждый думал о своем в этом долгом зимнем пути под заиндевевшими дубами

— кто о славе, а кто о горячей гороховой похлебке с солониной. Перед глазами Злата вдруг предстал боярский двор. Но странно. Вспомнилась не пламенная боярыня, а девушка, несшая два ведра на коромысле. Он радовался, надеясь скоро увидеть старую кузницу у Епископских ворот. Что пожелает Лада, то и будет с человеком. Так сказал ему старый волхв, встреченный однажды на лесной муромской дороге.

Князь Ярополк послал тогда Злата и еще одного отрока, которого звали Никола, в Муром, к своему отцу, князю Мономаху, пребывавшему там временно, чтобы обсудить с местными пресвитерами строительство каменной церкви. Отправили отроков со спешным извещением, что в Переяславле преставился епископ Сильвестр, прославленный летописатель. Вокруг пахло смолистой хвоей. Синие мухи летали в зеленоватой лесной полутьме. Юноши ехали

верхами, не очень сокрушаясь о смерти иерарха, по узкой дороге в глухом лесу. О чем убиваться? Такая участь людям: старикам умирать, молодым жить. Вдруг, уже недалеко от города, попался им на тропе странного вида человек преклонных лет. Это был старец с длинной и уже позеленевшей бородой, одетый в домотканую рубаху до колен и порты, босой. В руке он держал узловатую палку. Путник сошел с дороги, чтобы уступить проезд богато одетым юношам, которых он, может быть, принял за княжичей, и смотрел на них из-под косматых седых бровей. Никола рассмеялся:

— А ведь ты колдун. Вот убьем тебя, и греха нам за это не будет.

Но Злат сказал:

— Зачем убивать старца? Что он сделал тебе?

И, обратившись к лесному жителю, попросил:

— Если ты действительно волхв, то лучше открой нам: что станется с нами завтра и потом?

Старик медленно поднял костлявую руку, когтистую, как орлиная лапа, отчего у отроков, несмотря на летний день, мурашки забегали по спине, и произнес глухим и как бы загробным голосом, обращаясь к Злату:

— С тобой будет, что Лада пожелает...

— Что Лада пожелает?

— Будешь много чад иметь.

— Добрый тебе путь, человек, — поблагодарил гусяр за благоприятное предсказание.

— А со мной что будет? — самоуверенно спросил Никола, долговязый и прыщавый сын знатного боярина и толстой надменной боярыни, считавшей, что все лучшее на свете должно принадлежать ее бестолковому отпрыску.

— Тебе голову отсечет секира... — тихо проговорил волхв, все так же сумрачно глядя из-под кустистых страшных бровей.

Эти слова привели отрока Николу в негодование.

— Вот я тебя сейчас самого мечом проколю, — вскрикнул в сердцах обиженный в лучших своих чувствах дружинник, хватаясь за оружие, — убью тебя, как старого пса!

— Не убьешь, — возразил волхв и безбоязненно смотрел на разгневанного отрока.

— Кто мне помешает сделать так?

— Еще не пришел мой час.

Никола был вне себя. Если бы не Злат, удержавший его руку, то, наверное, старец закончил бы свои дни в тот час на глухой лесной дороге от железа. Но гусяр сказал приятелю:

— Не видишь разве, что человек уже ума лишился от старости? Велика честь — старца безоружного поразить мечом.

Ругая на чем свет стоит колдуна, Никола вложил оружие в ножны с красивым медным наконечником и поехал дальше, оглядываясь со злобой на старика. Тот тоже долго смотрел им вслед, опираясь на посох. Этот человек водил знакомство с бесами, знал, что предстоит завтра людям, какая погода и какой урожай будет, и лучше было бы Николе не сердить его.

Злат и сам тогда еще не знал, что белоzubая девчонка с двумя ведрами на коромысле спустя два года обратится в красавицу.

Любава видела, что на заре мимо кузницы проехали дружинники, направляясь на полночь по черниговской дороге, и успела рассмотреть среди них того самого отрока, с которым она разговаривала на боярском дворе. Тот же белый полушубок, подпоясанный ремешком с серебряными украшениями, и сабля на бедре. Молодой воин красовался на коне, как сокол на горделиво поднятой рукавице ловчего. Всякий раз, когда девушка приходила на тот двор за водой, она вспоминала встречу с отроком и сегодня все ждала, не поедут ли всадники в обратный путь, возвращаясь в свой город. Беспоконная жизнь была у этого гусяра! Кому он пел песни? Кому играл на звонких струнах? При этой мысли на сердце у Любавы делалось так грустно и в то же время так сладко, что она возвращалась домой с улыбкой, мерно ступая под тяжестью ведер, до краев наполненных водой.

— Чему радуешься? — спрашивали ее недоуменно встречные на улице.

— Как же мне не радоваться, — отвечала она, — вот весна стучится уже в наши ворота.

А сама думала, что весна — это тот золотокудрый отрок, с которым она говорила на боярском дворе, отрок с гусями за плечами, в красном корзне, на сером коне в яблоках.

Люди только покачивали головами. Кто разгадает, что у пятнадцатилетней девицы на уме? Но улыбка освещала не только девическое лицо, а и все, что попадалось на пути Любаве, весь мир. А вернувшись в хижину, она ставила ведра на земляную скамью и долго глядела в воду, рассматривая свое отражение на черной глади, колеблемой при всяком движении деревянного сосуда. Малейшая зыбь искажала ее черты. Когда водная поверхность успокаивалась, Любава видела там, как в заманчивом страшном омуте, свою красоту.

— Вот я какая... — шептала она.

Любава жила с отцом и матерью, другие ее сестры умерли во время мора. Мать, суровая и богомольная, если видела убогого или странника, выносила ему с молитвой из хижины кусок каравая. Отец Любавы был прославленный на весь город кузнец. Он не только подковывал коней и чинил повозки, но и ковал мечи и мог выполнять всякое медное и даже серебряное художество. Этот сильный и бесстрашный человек, сын Сварога, как его называл поп Серапион от святого Михаила, обличавший кузнеца во многих прегрешениях, любил веселие и порой приходил в свою хижину с песнями, хлебнув меда в корчме, которую держал на черниговской дороге странный человек родом не то из Сурожа, не то из Персиды и, по словам того же священника, знакомый с волшебством. Возвращаясь однажды домой со свадебного пира у боярина Фомы, но увлеченный дьявольским наваждением за городские ворота, случайно не запертые в тот поздний час, Серапион явственно видел, как из двери корчмы вырвалось зеленое пламя с дымом и мохнатый бес омерзительного вида, быстро перебирая в воздухе копытцами, помчался в город и проскользнул в воротную щель, оставив после себя легкий запах серы. Серапион побежал за чертом, надеясь молитвой обратить его в ничто, но тот исчез по направлению епископского двора. По правде говоря, у корчмаря было такое темное лицо и глаза так напоминали адские уголья, что некоторые его самого принимали за исчадие преисподней.

В праздничные дни Любава ходила с матерью в храм, где покоилась в мраморной гробнице княгиня, о которой рассказывали, что она приехала на Русь из-за моря. Девушка надевала свой нарядный сарафан, голубой, с серебряным позументом и медными пуговичками в виде бубенчиков. Когда она шла по улице, шарики звенели едва слышно и напоминали людям о ее молодости и нежности. Мать, отправляясь к обедне, обвязывала голову красным повоем, а дочь украшала свои волосы цвета спелого ореха широким серебряным обручем с подвесками из сребреников и витых колец. Отец говорил, чтобы они шли и что он вот-вот догонит их по

дороге, но часто сворачивал назад к Епископским воротам и направлялся к корчме Сахира, где его уже поджидали приятели — отрок Даниил, простого происхождения, хотя и весьма начитанный человек и любитель всяких греческих басен, и гончары из соседнего посада. Пока кузнец проводил время греховным образом, хотя ему за это попадало от сварливой жены, Любава с матерью слушали божественное служение. Держа в руках какой-нибудь благоуханный цветок, она стояла в прохладном храме, и ее душу охватывала странная церковная красота, какой не было в обыденной, ежедневной жизни. Высоко над головой повисли легкие как дым своды; оттуда на нее смотрели огромные глаза богоматери, ей улыбались ангелы в розовых и голубых одеждах, с широкими лебедиными крылами, строго взирали седобородые пророки с развернутыми свитками в руках, и казалось, что пройдет еще мгновение — и все они оживут и заговорят с нею, а голоса певчих рассыпались бисером в гулком воздухе. Впереди стояли нарядные горожанки, позади — жены бедных людей. Но никогда Любава не встречала в церкви молодого гусяря.

Злат часто появлялся у кузницы. Иногда он подъезжал к навесу и просил подковать своего серого коня в яблоках. Кузнец Коста хорошо знал свое ремесло, с большим удовольствием ковал мечи или серебряные водолеи и крепко прибывал подковы. Но у гусяря то и дело терялось железо. Однажды Любава даже слышала, как отец спросил у отрока:

— Часто теряет твой конь подковы. По каким горам едешь?

Отрок беззаботно тряхнул кудрями:

— Я потеряю, — другие найдут.

— Всякому хочется найти подкову на дороге.

— Пусть радуется путник своей находке.

— А ты разоришься.

— Зачем беречь богатство? Оно как дым.

— Не напасешься на тебя железа.

— Скоро серебряными подковами буду коня подковывать...

Кузнец выпустил из черных рук крепкую, но обтянутую нежной, гладкой кожей конскую ногу и задумчиво посмотрел вдаль. Только гусярям дан дар говорить так красиво. Из таких слов они складывают свои песни.

Любава, сидевшая в своей избушке за прялкой, слышала весь разговор настороженным ухом, притаясь за оконцем и улыбаясь сама себе. Необоримая сила толкала ее встать и посмотреть на молодого отрока. Она положила веретено на скамью и потянулась, зарумянившаяся, как заря. Но мать строго окликнула ее:

— Почему работу покинула?

Любава прятала волну для торгового человека, что раздавал шерсть по домам.

— Хочу на улицу посмотреть.

— На улице все как было. Пряди прилежнее.

Любава вздохнула, и снова ее ловкие пальцы стали крутить послушное пряслице. В утешение себе она запела тихим голосом:

Крутись, крутись, мое веретено, тянись, тянись, волна.

Длинной будет моя нить, девичья судьба...

Ей только украдкой удавалось иногда поговорить с гусяром, и то лишь в присутствии подружки Настаси, дочери другого кузнеца. Настася завидовала Любаве:

— У твоего гусяра голубая рубаха и корзно, как у княжича. Он зеленые сапоги носит, и сабля у него на бедре.

— Разве он мой?

— Захочет судьба — и будет.

— А ты?

— Мне быть с кузнецом, дышать кузнечным дымом.

— Твой Дмитр бьет молотом по железу. Он тебе большое счастье скует.

— Кто знает, где найдем счастье.

Порой мать говорила Любаве:

— Чего ты смотришь в оконце? Кого ждешь?

— Хотела бы я птицей быть.

— Зачем тебе пернатой стать?

— Чтобы далеко улететь.

Мать покачивала головой в ответ на неразумные речи дочери.

— Не даны крылья человекам.

— А хорошо птицам. Летят, куда пожелают.

— Но придет стрелец, выпустит стрелу и убьет летунью.

Любава останавливала бег веретена и опять украдкой бросала взоры в скудное оконце. Зимой отверстие затягивали бычьим пузырем, а летом отсюда была видна часть дороги и люди, проезжавшие верхом или на повозках, путники, шедшие в дальние страны с сумой и посохом в руках. Она ждала, что вот опять застучат копыта серого коня и гусяр крикнет веселым голосом:

«Кузнец, опять я потерял подкову!»

Но гусяр не появлялся.

Пришла весна и вновь осыпала лужайки желтыми цветами. В соседних дубравах за городскими воротами соловьи всю ночь рассыпали голосистый жемчуг. В ту весну Владимир Мономах посылал Фому Ратиборовича в Корсунь. В греческих пределах русский купеческий корабль подвергся разбойному нападению, торговцы пострадали, лишившись своего достояния, и едва спасли жизнь. В прежнее время князь за подобные поступки карал вооруженной рукой. На Руси еще не забыли, как он ходил с Глебом Святославичем на Корсунь, когда жители этого города отложились от царя и творили бесчинства над чужестранными купцами. Но с годами Мономах пришел к убеждению, что обо всем можно

договориться мирным путем, без пролития крови, и ныне он отправил своего боярина в далекое плавание на трех больших ладьях, чтобы тот говорил с царским катепаном о том, как охранять торговые пути, а также получил возмещение за разграбленные товары. Так как князь был рачительным хозяином, то на тех же ладьях он отправил на продажу меха, собранные в Муромской земле, и запасы меда и воска в липовых долбленых сосудах.

До самых порогов ладьи сопровождала конная дружина, а когда их перетащили в том месте посуху на катках и снова столкнули в воду, конница возвратилась восвояси. Но гусляр Злат спросил Фому взять и его с собою:

— Хочу посмотреть на синее море.

Боярин взглянул вопрошающе на Илью Дубца, тоже отправленного в поездку. Тот погладил бороду и пожалел своего любимца:

— У молодости крылья за плечами — охота летать. Возьмем его с собою.

— Ладно, возьмем тебя, — сказал Фома отроку.

Злат многое увидел в этом плавании. Как вода бурлит на порогах, наполняя воздух грохотом и радужней пылью, вселяя в сердце веселую тревогу; как странные птицы с огромными зобами гнездятся среди скал и питаются рыбой, в изобилии водящейся в реке; как по вечерам костры дымят на берегу и плещутся рыбины, хватая мошек. Было суеливо и шумно в пути. Потом в одно прекрасное утро боярин Фома сказал:

— Вот и море перед нами!

Злат посмотрел в ту сторону, куда показывал рукой воевода, и увидел блеснувшую за камышами морскую синеву. Он плыл на первой ладье, вместе с Фомой. Когда корабли очутились на широкой воде и пошли на Корсунь, трудно было оторвать взоры от моря и берегов. Там росли невиданные деревья, тянувшиеся к небесам, как черные свечи, порой белели развалины и возвышались мраморные столпы. Наконец показался странный город. Сначала Злат увидел башню, сложенную из желтоватого камня. За ней, другую, третью и еще. Они медленно подплывали. Вдруг открылся вход в тихую пристань, в которой стояло несколько кораблей с высокими мачтами. Злат рассмотрел также, что из городских ворот к воде спускается широкая мраморная лестница. Каменные стены в некоторых местах то поднимались, то опускались по холмам. На берегу, как муравьи, суетились люди. Одни поднимали тюки по ступеням, уже поврежденным временем, другие разгружали глиняные сосуды с кораблей, все одинаковой величины и формы, с узкими горлышками и двумя ручками по бокам. Некоторые просто глазели на трудившихся. Какой-то восторг охватил Злата, он взял гусли, и слова песни сами полились над морем:

В Корсунь мы приплыли по синему морю, а в Переяславле кузница стоит за воротами, и тяжкий молот бьет о наковальню.

Там я любовь свою оставил...

Заплаканная Любава говорила в те дни Настасе:

— Почему княжеским отрокам не сидится на месте? Вечно они скитаются по чужим странам. На ладьях плавают, на конях куда-то едут. А ты сиди и жди, когда твой милый вернется!

Фома Ратиборович привез послание к корсунскому катепану. В этом городе и в его окрестностях давно не соблюдалось порядка, морские разбойники грабили купцов, и у греков не было достаточно сил, чтобы положить конец этому беззаконию. Поэтому прибытие русских людей вызвало у местных жителей большое волнение. Толпы народа сбегали по лестнице,

спеша увидеть северных воинов и их товары. Даже на киевском торжище Злат не наблюдал такой суеты и оживления, различия языков и одежд. Тут были люди из многих стран — хазары и половцы, греки и жидовины, сарацины и латыняне. Они все одинаково спорили и размахивали руками, взвешивали на ручных весах сребреники. Но когда появились русские корабли, некоторые из наиболее предприимчивых тотчас пытались разузнать, какие товары привезли из Руси, и приценивались к ним или сами назначали обидные цены. Однако Фома знал обычай. Его гребцы спокойно стояли на ладьях, скрестив на груди руки, и терпеливо ждали прибытия катепана.

Вскоре появился градоначальник. Протоспафарий Лев оказался весьма дородным человеком, с одышкой и свистящим дыханием. Он был в коротком красном плаще, передняя пола которого свисала острым клином. Вокруг его желтоватого и широкого, как луна, лица росла редкая черная борода. За катепаном следовал еще один греческий чин, с медной чернильницей, привешенной у пояса. Этот человек, наоборот, отличался крайней худобой, глазки у него бегали, как мыши, и он носил длинное черное одеяние, напоминавшее монашескую одежду. Но так как самое важное отличие каждого мужа борода, то следует сказать, что у нотариуса, каково было его звание, она росла только на подбородке и напоминала клочок мочалы.

Некоторые из сопровождавших Фому торговых людей знали немного язык греков, и катепан тоже изъяснялся, хотя и не без труда, по-русски. Однако для большей верности люди прибегали к знакам на пальцах, когда дело дошло до пересчитывания и проверки товаров. Меха лежали кучами на помосте, мед — в липовых сосудах, воск — пудовыми кусками. Он очень ценился в Греческой земле, где много церквей и каменных палат, освещаемых множеством свечей. Катепан самолично осматривал товары, иногда поднимая на вытянутой руке какую-нибудь черно-бурую лису и любуясь ее мехом или поглаживая пушистые волосы, с удовольствием чувствуя под пальцами дикую нежность зверя.

— Добро, добро... — говорил он, показывая мелкие зубы.

— Тысяча лис, тысяча бобров... — объяснял ему Фома.

— Добро, добро...

Но, потирая большой палец об указательный, протоспафарий с трудом подыскивал нужные слова.

— По договору...

Фома спокойно смотрел ему в лицо.

— Пошлина...

Боярин помахал перстом перед самым носом у катепана.

— По договору не платим пошлин... Мы клялись, и греки клялись...

— Добро... — грустно повторял одно и то же хорошо знакомое слово протоспафарий, видя, что эти люди знают обычаи и законы.

Старый торговый человек жаловался Злату:

— Бди каждый час, или обманут катепаны. У них за все плати пошлину. За прибытие в городское затишье — пошлина, за стоянку корабля — пошлина, за товары...

Нотарий с мышиными глазами уже обмакнул заостренный тростник в чернильницу и, примостившись на носу ладьи, вырезанном в виде огромной птичьей головы с устрашающими

красно-зелеными глазами, приготовился писать, сколько мехов привезли, сколько сосудов с медом и прочее. Это требовалось для отчетности, доставляемой в определенные сроки в Константинополь вместе с сушеной рыбой и другими товарами.

Злат впервые в жизни посещал греческий город. Каменные дома в Корсуни тянулись на улицах сплошными стенами, вперемежку с бедными хижинами, сплетенными из глины, смешанной с соломой, или построенными из необожженного кирпича. Кое-где стояли обветшалые церкви с выщербленными мраморными полами, некогда богатой, но почерневшей от кадильного дыма и свечей росписью, с медными светильниками под сводами. Стены были кое-где прорезаны скупыми оконцами в железных решетках. На площадях виднелись покалеченные мраморные статуи, порой даже изображавшие женщин, постыдно показывающих прохожим свою наготу, к которой все давно уже пригляделись. Дубец плюнул от негодования на землю. Но катепан объяснял:

— Греческое искусство... Стоит много сребреников.

Злат смотрел на все с любопытством, на церкви и на статуи, и эти женские изображения пробуждали в нем смутный восторг перед многообразием бытия, хотя не было у него ни слов, ни мыслей, чтобы постичь все это с ясностью. С тем же ощущением любовался он с городской стены великолепием моря, залитого солнечными блестками. С Понта веял приятный ветерок, и от всего увиденного сердце наполнялось необъяснимой грустью. Где-то Любава? Прядет волну в черной избушке или ходит с ведрами за водой на боярский двор?

Отрок Даниил как-то говорил ему:

— Тебя боярин Дубец любит, князь отличает. Подожди, когда у боярина дочка подрастет. А ты у кузницы крутишься. Или думаешь дочь кузнеца соблазнить? Светлоглазую девчонку?

Злат ничего ему не ответил. Разве легко самому себе объяснить, что у тебя в сердце? Светлоглазая и босая. А вот тянет — как в омут...

Отроки целый день бродили по городским улицам, ощупывали материи, прицениваясь к другим товарам в многочисленных, но не очень богатых лавках. Один из торговцев, знавший язык, на котором говорят на Руси, разводил руками и жаловался:

— Худо в Корсуни стало... Товаров мало, серебра мало.

Потом Злат пил с отроками вино в грязной харчевне и спьяну затеял драку с прохожими. Это были латыняне, что ходят в короткой одежде и причащаются опресноками. Нарушение общественного спокойствия случайно обнаружил писец с медной чернильницей у пояса, явившийся на ладьи с катепаном. Он некоторое время неодобрительно смотрел на препиравшихся, а затем, опасаясь, что дело может дойти до кровопролития, побежал предупредить русского военачальника. Оглядываясь на вступивших в драку чужеземцев, одной рукой поднимая полы длинного одеяния, так что стали видны голые волосатые ноги, а другой придерживая чернильницу, нотариус помчался по улице. Но когда Фома и Илья Дубец явились на место событий, драчуны уже помирились, клялись друг другу в дружбе — каждый на своем языке — и обнимались по-братски. Все кончилось тем, что они вместе с Фомой и Дубцом ввалились снова в харчевню, где разошедшийся Злат метал на стол сребреники.

По прошествии некоторого времени Фома Ратиборович, Илья Дубец и еще несколько отроков, а в их числе, конечно, Злат, которого всюду брал с собой старый дружинник, пировали у катепана, занимавшего с семьей тот самый дворец, где, по словам старцев, хранивших в памяти городские предания, некогда жил русский князь Владимир, когда завоевывал Корсунь. Не без некоторого смущения гуслер вступил в этот новый для него мир, с любопытством разглядывая повисшие над головой голубые своды с золотыми, хотя и потускневшими, звездами, на толстые каменные столпы, в возглавиях которых хитро переплелись кресты,

птицы и цветы, на медные курильницы, поблескивавшие на мраморном полу. Служитель приподнял крышку одной из них, бросил на тлеющие уголья горсточку фимиама, и тотчас из прорезей сосуда стал подниматься струйками голубоватый дым и наполнил палату церковным благоуханием.

У дальней стены находился длинный стол, покрытый серебряной парчой, а вдоль двух других стен выстроились слуги в длинных одеждах и держали в руках кто блюда с мясом или рыбой, кто корзины с хлебцами, кто глиняные кувшины с вином. Сами катепан и его супруга стояли за столом, и протоспафарий кланялся и руками показывал, что приглашает гостей садиться. Место Фоме и Дубцу он указал около себя. Гуслир очутился напротив хозяина и хозяйки. На столе поблескивали начищенные песком невысокие серебряные чаши, вероятно очень давно находившиеся в употреблении — они покривились и погнулись.

Катепан весьма любезно принимал руссов, но, видимо, тревожился, таил какие-то задние мысли, временами криво улыбался и вздыхал, и вообще у него был такой вид, точно он чувствовал себя неуверенно в собственном своем доме. Рядом с ним сидела его супруга, очень набеленная и нарумяненная женщина, красивая и с большими огненными глазами. На ней шумел от малейшего движения греческий наряд из синего шелка. Злат рассмотрел, что ее шею опутывал длинный золотой плат, обвивавший грудь и проходивший за спину. Конец его был перекинут через руку. Он с удивлением наблюдал, как ловко эта красавица обращалась с такой неудобной одеждой. В ушах у нее покачивались жемчужные подвески. Заметив, что молодой русский воин не сводит с нее глаз, супруга катепана улыбнулась ему. Ее звали Елена.

Катепан тоже нарядился в неудобное дворцовое одеяние, в присвоенный его званию плащ, и обливался потом, то и дело вытирая голубым платком лысый лоб. Он разговаривал с Фомой о торговых делах. Злат слышал, как грек жаловался, точно сговорившись с человеком, которого они встретили на торжище:

— Кораблей мало... Серебра мало...

Это был точно припев какой-то очень печальной песни.

Елена пила вино и протягивала Злату то кусок мяса побольше, то розоватую жареную рыбу с мертвыми глазами, то горсть сушеных смокв. Улыбаясь, она тут же вытирала руки о полотенце, которое ей подавал раб. Жена катепана не знала языка руссов, обращалась к отроку по-гречески и смеялась, когда он вскидывал недоуменные глаза в ответ на ее любезные слова. Протоспафарий Лев, очевидно привыкший к вольному обращению своей супруги с мужчинами, не обращал никакого внимания на ее заигрывания с молодым скифом и деловито продолжал разговор с Фомой. Иногда до рассеянного слуха гуслира доносилось:

— Серебра мало и царских милостей мало. А что может поделаться катепан?

Согласно договору, заключенному еще в прежние времена, на русские ладьи доставили положенное иждивение: хлебы, мясо, рыбы, вино, различное зелие, соль, а также корабельные снасти и принадлежности. Все это служители принесли под наблюдением самого катепана. Пришла взглянуть на скифские корабли и его супруга в сопровождении дочери, облезлого сивого евнуха и двух молодых служанок.

Елена была в том же синем одеянии, но золотой узкий плат заменила парчовой повязкой на голове. Жемчужные серьги все так же трепетали при каждом взрыве звонкого смеха. Она искала глазами Злата.

Дочь катепана, в розовой шелковой одежде и в черных башмачках и тоже нарумяненная, хотя ей едва ли минуло четырнадцать лет, наоборот, смотрела на все с полным равнодушием. Ее бледное личико с розами румян на щеках и завитые волосы, падавшие черными локонами на

худенькие плечи, напоминали об ангелах, что изображаются на церковных столпах; в этих глазах не замечалось никакого оживления, и безвольный детский рот никому не улыбался, когда мужчины косились на ее призрачную красоту, девушка опускала ресницы, как того требовало константинопольское воспитание, полученное в доме дальней родственницы Елены, выпросившей для своего мужа этот почтенный, но беспокойный пост корсунского катепана.

Смеясь и притворно вскрикивая от страха, стараясь уравновесить тяжесть своего тела широко раскинутыми руками, Елена поднялась по зыбкой доске на ладью. Ее подхватил в свои объятия сильный Злат. По-видимому, она была в восторге и не спешила найти точку опоры на помосте. Другой отрок помог дочери, закрывшей от страха глаза. Старый евнух не чаял, что останется жив после перехода над этой страшной бездной. Но служанки уже рылись с восторженными восклицаниями в куче мехов, выбирая лучшие для своей госпожи, и Фома предлагал катепану:

— Возьми, что любо.

Тот просиял и твердил одно и то же:

— Добро, добро...

Тем не менее возмещения, которое требовал русский князь от греков в пользу пострадавших купцов, пока добиться боярину не удалось. Протоспафарий объяснял, что удовлетворение подобных требований может последовать только с позволения логофета и что он уже уведомил самым подробным образом всемогущего вельможу, а тот в свою очередь сообщит обо всем царю. Катепан уверял, что прискорбный случай будет рассмотрен своевременно и вопрос о возмещении получит, ко всеобщему удовольствию, достойное разрешение.

Переговоры велись в той самой палате с голубыми сводами, где за три дня до того был устроен пир. Фома и Дубец сидели за столом с катепаном, а остальные воины стояли позади старших дружинников, скрестив на груди руки, и это, по-видимому, беспокоило протоспафария. Елена тоже присутствовала на совещании, красивая, как царица, рядом со своим сопящим супругом и тщедушным нотарием. Казалось, не они, а она правит городом и прилегающей областью, приемлет дары и награждает.

27

Злат ходил как в тумане, иногда сам не замечал, как оказывался около палат катепана, и однажды видел, что Елена смотрела из окна и смеялась. Он остановился как очарованный, забыв обо всем на свете, а потом побрел дальше. Но Фоме требовалось выполнить еще одно поручение великого князя. Оно заключалось в том, чтобы приобрести для любимого княжеского монастыря на реке Альте драгоценные церковные сосуды. В Корсуни не оказалось подобных золотых изделий, и Протоспафарий Лев со вздохом посоветовал Фоме отправиться в Каффу, где хозяйничали теперь итальянские купцы. Он ворчал по своему обыкновению:

— Каффа торгует и радуется, а мы плачем горькими слезами.

Было решено побывать в Каффе. Новый город, выросший на развалинах древнего поселения, расцветал с каждым годом и сделался соперником некогда богатой Корсуни. Сюда доставлялись товары со всего Востока — из Багдада и Александрии и даже из далекой страны серов. Кроме того, здесь открылся большой рынок невольников. Мономах велел Фоме

узнать, много ли томится христиан и возможно ли выкупить их.

В Каффу поплыл только один корабль, на котором пустились в путь Фома Ратиборович, Илья Дубец, Злат и тридцать самых сильных гребцов. Погода стояла безветренная, и море радостно сияло. Мерно нагибались и откидывались мускулистые нагие спины, и длинные весла бурно пенили воду. Злат сидел на корме и любовался мимо плывущими берегами. Кое-где виднелись каменные башни, столпы языческих храмов, стада белых овец на дальних холмах. Было приятно и печально смотреть на все это. Один из гребцов обернулся и сказал:

— Гуслляр, спой песню!

Злат взял гусли, положил на колени и тронул пальцами поблескивавшие на солнце струны. Он запел:

С синего моря приходила буря, мачты ломала, ветрила разрывала, червлёный корабль топила.

На берегу стоит каменный город, там ни царя нет, ни патриарха, а правит греческая царица, берет с кораблей пошлину.

Корабль ветрила опускает — плати пошлину, корабль якорь бросит — плати пошлину, корабль к пристани пристаёт — плати пошлину!..

Никакой бури не было и не предвиделось. Море блистало тихое и радостное, а слева тянулись мирные берега. Но у Злата камень лежал на сердце, и ему хотелось воспеть морскую бурю, перемены своей жизни, чтобы удивлять всех такой песней на переяславских пирах, где и князь, и его молодая жена, и княжеский отрок Даниил хвалили его искусство.

В Каффу прибыли благополучно. Уже приплывая к пристани, можно было рассмотреть, что в этом городе царит не меньшая суета, чем в Корсуни. У берега стояли высокие латинские корабли с вырезными кормами и позолоченными светильниками. Всюду громоздились тюки и бочки. Когда отроки сошли на берег, оставив при себе мечи под плащами, то увидели, что на узких вонючих улицах толкается множество народу, а в полутёмных лавках продаются самые различные товары. Всюду пахло соленой рыбой, дубленой кожей, специями. Глаза у русских людей разбегались, и сам Злат не знал, на что смотреть — на великолепную зеленую юфть или на диковинные орехи, величиной с баранью голову, на парчу или на ценное оружие с серебряными украшениями. Привязчивые купцы с оживлением предлагали красивые седла с красными и желтыми кистями, уздечки с бирюзой, сабли. Но Фома искал золотой потир.

Церковных сосудов и здесь не нашлось. На помощь пришел какой-то незнакомый человек в восточном длинном одеянии, с накрученной на голове зеленой тряпицей. Одежда его была грязная и ветхая, кое-где в заплатках, да и сам он тоже не отличался цветущим видом, и все вместе взятое служило доказательством, что дела этого торговца далеко не блестящи. Зато он мог объясниться с русскими на их языке. По его словам, Аскандер, как звали нового знакомца, был родом не то из Трапезунда, не то из Амастриды и очень много потерпел от злых людей. Названия упомянутых в разговоре городов ничего не говорили русским воинам. Им хотелось узнать, какой человек веры, но и тут они узнали не больше и махнули рукой, озабоченные приобретением потира.

Аскандер крутил завитки черной бороды и недоуменно спрашивал:

— Для чего служит подобная вещь?

Когда Фома соответствующими жестами объяснил, что это чаша, из которой причащаются христиане, он радостно закивал головой:

— Понимаю. У меня нет такого сосуда. Однако я знаю купца, у которого вы, наверное, найдете то, что вам нужно.

Он поманил спутников обеими руками, предлагая им последовать за собой, и все углубились в лабиринт кривых и запутанных улиц. На каждом шагу толкались прохожие. Некоторые ехали на лошадях или на осликах. Здесь говорили на многих языках и торговали самыми разнообразными товарами. Опять запахло пряностями, потом кожей. Торговец восточными ароматами поставил у порога своей лавчонки медную курильницу, чтобы запахом фимиама привлечь покупателей, и спокойно сидел на коврике, очевидно зная по опыту, что благовония покупают люди с тонкой душой, которых нельзя тащить за полу. Борода у купца была ярко-красного цвета. Рядом другой человек, продававший перец и еще какие-то приправы, пробовал на зубах, хорошего ли качества ему дал покупатель монету. Еще дальше два половца держали в руках вонючие лисьи шкурки. Увидев русских и узнав в них своих врагов, они исподлобья посмотрели на них, но ничем другим не проявили своих чувств. Поблескивая выразительно глазами, провожатый останавливался иногда на мгновение, чтобы обменяться с встречными двумя-тремя словами, показывая большим пальцем на своих спутников. Его знакомцы с любопытством оглядывали русских воинов, причмокивали языком, как бы поздравляя Аскандера с хорошим уловом, или с завистью покачивали головами.

Наконец провожатый привел Фому и его товарищей в грязную харчевню, где в медном котле варился рис с кусочками баранины и с чесноком, а на прилавке лежали куски белого сыра и вареная требуха, над которой кружились рои черных мух. За единственным столом сидели посетители и, придерживая из опрятности широкие рукава, брали руками из глиняной миски рис и горстями клали пищу в рот, запрокинув голову. Полногрудая женщина резала мясо на мраморной доске, на которой еще виднелись два младенца с крылышками как у бабочек. Множество других предметов возникало перед глазами Злата, и он наблюдал все это с удовольствием, будучи наделен любопытством к жизни и острым зрением. Ему казалось, что он очутился в каком-то подводном царстве, где все такое непривычное, что напоминает странный сон.

Аскандер стал переговариваться с хозяином харчевни, о чем-то расспрашивал его на непонятном языке, а женщина, в полосатом черно-голубом одеянии и с серебряными запястьями на полных руках, перестала резать мясо, подошла к воинам и предложила им выпить вина, показывая это красноречивыми и всем понятными жестами. Но Фома и Дубец, опытные люди, понимали, что покупка золотого потира очень важное дело, а человеку, находящемуся в опьянении, легко могут всучить медный, ярко начищенный сосуд, и за это потом придется отвечать перед князем, который не прощал таких проступков. От вина отказались.

Впрочем, провожатый уже куда-то звал русских дальше.

— Скоро ли конец нашим плутаниям? — сердито спросил Фома, чувствовавший себя в этих закоулках хуже, чем в лесу.

— Теперь уже скоро, — ответил Аскандер. — Я все узнал, что мне нужно, и теперь мы направимся к продавцу. Не забудь тогда, господин, твоего слугу!

Вскоре все очутились на улице, где весело постукивали молоточки медников. В одной из лавок молчаливый человек болезненного вида изготавливал серебряные водолеи, светильники и всякого рода сосуды. Проводник поговорил с ним, и тот встал, направился в заднее темное помещение и наконец вынес оттуда сосуд, завернутый в белую тряпицу. Когда медник развернул плат, в нем оказался блистающий металлом золотой потир необыкновенной красоты, на высокой ножке и украшенный на кованых стенках драгоценными камнями. Вынув сосуд из тряпицы, он высоко поднял его перед покупателями и стал вращать, все так же грустно улыбаясь. Лицо у проводника тоже засияло, как луна. Аскандер смотрел то на чашу,

то на воинов, с волнением наблюдая, какое впечатление производит на них эта великолепная вещь.

— Чудная работа! — сказал он и сложил указательные и большие пальцы на обеих руках.

Продавец продолжал поворачивать потир и вдруг сказал на понятном языке:

— Такой чаши вы не найдете и в Константинополе!

Злат уже привык ничему не удивляться в этом путешествии, принимая как должное даже разговор с чужестранцами на своем языке, и все-таки не выдержал:

— Такой чаши не видано на Руси!

Фома, более знакомый с торговыми обычаями и приготовившийся торговаться за этот сосуд, бросил на него недовольный взгляд. Зачем хвалить еще не приобретенную вещь?

Охватив подбородок рукой, он спросил:

— Сколько же весу в этой чаше?

— Восемьдесят два золотника с половиной. Но разве дело в весе? Посмотри на эти изображения!

Он опять стал вращать чашу. На ней были прикреплены среди красных и голубых камней четыре медальона с фигурами евангелистов, выполненных эмалью, и их четыре символа, вырезанные с большим искусством на розовой раковине, — тонкая работа какого-то художника. Телец, овен, лев и орел — знаки евангелистов — были сделаны со всем правдоподобием, с замечательно вырезанной шерстью или оперением.

Фома взял чашу у продавца и, взвешивая ее в руках, старался определить вес и цену, но продающий с грустной улыбкой нарушил его расчеты необыкновенным рассказом:

— Эта золотая чаша стояла на престоле знаменитого константинопольского храма. Из нее некогда причащались царь и патриарх. Нечестивые воры похитили сосуд и были пойманы на месте преступления. Им лили в горло расплавленное олово за святотатство, а потом отрубили головы. Однако, вместо того чтобы возратить чашу по принадлежности, судья утаил ее. Когда однажды он вез эту вещь в свой загородный дом, на него напали разбойники, изранили его, а чашу отняли и продали ее за гроши в Амастриду, какому-то скупщику краденого. Там ее приобрел богатый человек, истративший на покупку значительную часть своего состояния, чтобы пожертвовать сосуд в монастырь святого Саввы в Иерусалиме, с условием, что монахи будут молиться о спасении его души. Но это еще не все. Преданный раб, посланный туда с сокровищем, соблазнился красотой вещи и бежал с нею в армянские пределы. Там он закопал чашу в укромном месте в землю, опасаясь, что люди будут допытываться у него, откуда он взял такую драгоценность. Но конец своей жизни он провел как праведник. Когда и для него наступил последний час, он послал за мною, так как мы часто проводили вместе время за душевспасительными беседами, и открыл мне свою тайну со словами: «Пойди в город Каффу и займись там своим ремеслом. Вскоре к тебе явятся благородные воины из полуночной страны. Продай им сосуд, который ты откопаешь по моим указаниям, за тысячу сребреников». Сказав так, он умер. Я пошел в дикое место, где водятся львы, нашел в земле чашу и переселился в этот город. Видите, несмотря на продолжительное лежание в земле, она не утратила своего первоначального блеска, что говорит о чистоте металла, без всякой примеси...

Воины слушали развесив уши. Наконец Фома, почесав затылок, с некоторым сомнением спросил:

— Но не слишком ли высокую цену назначил за сосуд этот праведный человек?

— Он точно знал, сколько стоит священная чаша. И разве не удивительно, что старец провидел все перед своей смертью? Такие вещи случаются не каждый день на земле.

— Все это достойно удивления, — согласился Фома, — но не перепутал ли ты чего-нибудь? Наверное, он назначил цену в пятьсот сребреников.

Начался торг. Воевода обратился к своим спутникам за помощью, однако они оказались плохими советниками в таком деле. Злат не знал цены ни золоту, ни серебру. Когда его награждали князья или бояре за песни, он тут же щедро раздавал пенязи всем, кто протягивал руку, расходовал вознаграждение на вино, покупал оружие или рубаху с серебряным оплечьем. Однако повесть о том, как чаша чудесным образом переходила из рук в руки, чтобы в конце концов очутиться в Каффе и попасть им в руки, взволновала его. Это сокровище действительно было связано с великой тайной. Подобная вещь не имеет цены.

После продолжительного торга потир был приобретен вместе с другими серебряными сосудами, найденными в лавке медника. Правда, они во многом уступали чаше с евангелистами, тем не менее все это представляло собою полновесное серебро. Фома бережно завернул потир в тряпицу, а Злат и отроки положили другие сосуды в мешок, довольные, что под плащами у них висели мечи, на тот случай, если бы Злые люди попытались в одной из этих подозрительных улиц завладеть таким богатством. Все обошлось вполне благополучно, проводник доставил их на пристань, получил изрядную мзду, которую он потребовал за услугу, так как, по его словам, русские никогда бы не купили такую чашу без его помощи, и обещал на другой день сводить Фому на невольничий рынок. Но там была тишина и безлюдие. Торговцы рабами жаловались, что нет войны и им нечем торговать, и этот застой вызывал у них уныние.

Теперь уже ничто не мешало возвращению на Русь. Однако, когда стали считать гребцов, двух из них не оказалось. Фома остался еще на один день. Воины как сквозь землю провалились. Озабоченный воевода смотрел на Илью. Старый дружинник отвечал:

— Кто знает? Может, бежали воины в поисках лучшей участи или их убили в ссоре за какую-нибудь блудницу?

На третий день Фома велел поставить в гнездо, мачту, закрепить ее и готовиться к отплытию. В тот вечер на пристань явилась какая-то сгорбленная старуха в черном дырявом покрывале, босая, с седыми космами. Она стояла в отдалении и жалостливо смотрела на горделивый русский корабль, приплывший из полуночной страны.

В это время мимо проходил Злат вместе с другим отроком, возвращаясь из города, где приобрели на остатки денег по куску серского шелка и по амфоре вина, а кроме того, набили карманы штанов греческими орехами. Отроки переговаривались между собою, и, услышав русскую речь, старая женщина уцепилась за рукав Злата и спросила, шамкая беззубым ртом:

— Не воины ли вы с русской ладьи?

— И ты говоришь по-нашему! — удивился гусяр. — Да, мы с Руси.

— С Руси...

Второй отрок равнодушно оглядел убогую и пошел дальше — мало ли старух на свете, — а Злат остановился. Ему стало жаль нищенку. Он вынул из кармана горсть орехов, потому что у него уже не осталось ни одного сребреника.

Старуха покачала головой:

— Не надо мне.

— Что же тебе нужно от меня? — спросил Злат.

Почувствовав в его голосе жалость, она опять уцепилась за его руку.

— Откуда ты, отрок?

— Из Переяславля Русского, что стоит на Трубеже.

— И я в той стороне родилась.

— Значит, ты полонянка?

— Не по своей воле пришла сюда.

— Половцы увели?

— Одних убили, других увели.

Злат горестно вспомнил:

— Много горя было тогда на Руси.

— Земля кровью и слезами поливалась.

— И муж у тебя был, и детей родила?

Старуха поникла головой, судорожно перебирая костлявыми пальцами край покрывала.

— Мужа моего уже давно на земле нет. И дитя мое не долго жило на свете. Лежат его косточки в чертополохе Дикого поля. Их дожди моют, ветер сушит. Некому поплакать над ними.

— Послушай, убогая! — обратился к ней Злат. — Не хочешь ли с нами на Русь пойти?

— Как сделаю это?

— Мы тебя на ладье спрячем.

— Куда я понесу свой позор?

— Будешь в монастыре грехи замаливать.

— В монастыре вклад нужен. Нет, видно, такая мне судьба — умереть на чужбине.

— Чей тут хлеб ешь? — любопытствовал Злат.

— У правителя Каффы раньше детей выхаживала, а теперь на поварне горшки мою.

Отрок вздохнул:

— Плохо тебе, старая!

Она промолвила, вытирая краем черного платя слезы:

— Услышала, господин говорил, что русская ладья приплыла, и захотелось в последний раз посмотреть. Завтра мне умирать.

— Смерть за всеми приходит.

Рабыня еще посмотрела немного на отрока, на ладью и сказала:

— Будь здоров, сын.

— Будь здорова и ты.

Злат видел, как старуха побрела в сторону города и потом исчезла на многолюдной пристани, где было много суеты. Его занимали свои дела и заботы, и вскоре он забыл об этой печальной встрече. Кафзой правил консул латинской веры. В его доме, очевидно, и трудилась эта старая рабыня, у которой уже ничего не осталось в душе, кроме равнодушного ожидания смерти. В ней она, может быть, видела освобождение от своих мучений.

Поднявшись на ладью, отрок рассказал о том, что он встретил старую женщину родом из их земли.

Дубец хмуро заметил:

— Немало их было в Судаке, и в Царьграде, и в других местах, а тысячи умерли. Князья ссорились из-за маленькой выгоды, а половцы угоняли людей.

28

Фома вернулся на Русь уже под осень, когда молотили жито на гумнах, и благополучно привез князю драгоценный потир и другие церковные сосуды. Вместе с ним вернулся и Злат. Перед его мысленным взором за дубами, мимо которых ехали всадники, плескалось синее море и вставал тот солнечный день, когда он смотрел с городской стены на морские пространства. Красивая, как голубая церковь в позолоте, по каменной лестнице из города спускалась белолицая супруга катепана. Печально было тогда, что по ночам греческие дома на запоре и у дворца стоит стража, а теперь все растаяло, как дым или как наваждение. Дорога опять извивалась змеей среди дубов в серебристом инее. Огромные деревья выплывали из тумана и снова таяли в голубоватой мгле по мере того, как продвигался обоз. Уже недалеко было до Переяславля.

Очутившись вскоре после поездки в Корсунь на Трубеже, Злат по своему обыкновению побывал у кузнеца Косты и еще раз уплатил за подкову.

— Где же ты ее потерял? — спрашивал кузнец.

— На черниговской дороге, — ответил отрок, чтобы сказать что-нибудь.

Тревожно поводя глазом, серый конь в яблоках терпеливо стоял у навеса, чуя привычный кузнечный дымок.

Любавы не было дома. Она ушла с подружками в дальние дубравы собирать грибы. Но в первое же воскресенье Злат стоял в церкви Богородицы, так как ему стало известно, что дочка кузнеца ходит с матерью в эту церковь, где служит поп Серапион. Однако в тот день кузнечиха занемогла, и Любава отправилась к утрени с Настасей, обе в пышных сарафанах, одна в синем, другая в красном, с серебряными подвесками на голове. Должно быть, Злат уродился удачником. Строгая мать охала дома у очага, а девушки, вольные, как птицы, стояли впереди гусяра, перешептывались и с лукавыми взглядами оборачивались на отрока, что красовался в церкви в новой розовой рубашке с серебряным оплечьем, подпоясанный

тонким ремешком, на котором висел костяной гребень затейливой работы.

На хорах, где молились знатные люда, Злат рассмотрел также знакомую боярыню, супругу посадника Гордея. Стоявший рядом с ним Даниил толкнул его локтем:

— Смотри! Горделивая, как башня, увешанная золотыми щитами, о которой сказано в священном писании!

На Анастасии было два платья, нижнее — желтое, верхнее — красное, покороче, и много золота на шее и на голове. Она вскоре покинула хоры, спустилась вниз по каменной лесенке и покинула храм, пройдя близко мимо Злата и даже не заметив его. На лице ее была печаль. Но разве узнаешь, что творится в женском сердце? Да и страшно, казалось, заговорить с такой после того, что случилось. Не колдунья ли она?

Серапион поднял перед народом ту самую чашу, которую они привезли с Фомой из Каффы. Сосуд еще не отправили на реку Альту. Осеннее солнце прорезывало косыми лучами из узких окон купола дымок фимиама.

Когда обедня отошла и женщины пестрой толпой вышли из церкви на зеленую лужайку, гусляр увидел, что смешливые подружки, все так же оглядываясь на него, повернули на Княжескую улицу, направляясь к каменным воротам, над которыми стояла белая церковь св.Феодора, увенчанная золотым куполом, чтобы Переяславль был не хуже Киева. Злат поспешил за ними. В длинном воротном проходе теплоту тела приятно охладил под шелковой рубахой прохладный сквозной ветерок, но за воротами снова пригрело солнце, жаркое не по-осеннему. Сразу же открылся вид на поля и рощи. Среди них знакомая дорога бежала на полдень. По ней можно было доехать до самой Тмутаракани, если в пути путника пощадит половецкая сабля. На желтом жнивье особенно ярко зеленели дубы. В прозрачном воздухе с полей летели липкие паутинки. Пчелы гудели над последними цветами. Синий и красный сарафаны уже мелькали в дубраве, и отрок помчался туда. Но девушки заметили преследование и, быстро оглянувшись еще раз, побежали. Беглянкам мешала длинная одежда, и скоро гусляр нагнал их под дубами. Испуганно улыбаясь и тяжело дыша, Любава припала к вековому дереву, словно ища у него защиты, а Настася бросилась на траву и сидела, опираясь обеими руками о землю, исподлобья глядя на отрока.

Злат остановился перед ними и горделиво подбоченился:

— Бегают, как зайцы. Не догнать.

Девушки смотрели на него и переглядывались, но молчали, и он, не зная, с чего начать разговор, стал расчесывать белым гребнем свои золотые кудри.

— Зачем пугаешь нас? — сказала Настася, не опуская перед отроком смелых глаз.

Он был красив, в розовой рубахе с широкой серебряной вышивкой на плечах, вокруг шеи и с таким же шитьем на рукавах повыше локтей.

— Вас двое, а я один. Чего вам страшиться?

— Ты ястреб, а мы бедные птицы.

— Зачем по дубравам бродите? Волков не боитесь?

— Мы к реке шли.

— Миновало время купания. Уже олень в воде золотые рога омочил.

Любава молчала, кусая белыми зубами сухую былинку. Потом вдруг спросила:

— Вернулся? Где же лучше, за морем или в Переяславле?

— За морем греческие орехи растут.

Злат вынул горсть орехов и потом другую, протянул девушкам. Любава не взяла, в смущении. Но Настася завладела ими и спрятала в плат, снятый с головы.

— Расскажи, каких ты там царевен встретил? — смеялась она.

Злат тряхнул кудрями.

— Расскажу, если будете слушать.

— Будем.

Настася лукаво блеснула глазами. Любава же опустила в тревоге ресницы. Лицо ее стало как неживое. Девушка тихо спросила:

— По морю плавал?

— По синему морю плыл.

— В Корсуни бывал?

— И этот город видел.

— А еще что ты встретил на пути?

— Когда по морю плыл, буря на нем поднялась. Наш корабль как щепку бросало. Морские пучины под ним как страшные бездны разверзались. Тридцать дней бушевала погода. Волны выше этих дубов вздымались.

Он поднял руку, чтобы показать величие бури, и глаза Любавы широко раскрылись от страха за своего возлюбленного.

— А потом что еще видел?

— Когда буря утихла, мы поплыли в Корсунь. Там день и ночь море тихо плещется о брег, и большой белый город стоит на горе. По каменной лестнице царица спускалась к нам в голубом одеянии и золотом венце. За нею шли прислужницы с опахалами из перьев стрикуса.

— Царица... — прижала руку Любава к доверчивому девичьему сердцу, что вдруг забилось чаще.

— На лбу у нее сиял серебряный полумесяц, а глаза ее были как звезды.

— Что ты рассказываешь? — встрепенулась Настася. — Царица не в Корсуни живет, а в Царьграде. Она венец носит. Это все знают.

Злат смутился. Пойманный на слове, он делал вид, что ничего не слышит, смотрел, прищурившись, на белые облака, медленно плывшие по счастливому небу.

— Что же ты молчишь? — приставала бойкая девица.

— Царица... Это чтобы песня была красивой... Если бы я вам все рассказал, что от нее услышал!

— Что же она тебе говорила?

— Она меня в палату звала, за свой стол усадила, вкусными яствами угощала с серебряного блюда, и чашник мне сладкое вино цедил.

— А потом?

— Потом загадала три гаданья.

Злат уже лежал на блеклой осенней траве, лениво подбирая слова, выдумывая свой мир, в котором все было по-другому, чем наяву. В одно мгновение веселая женщина превратилась у него в царицу, а грязная Корсунь, где пахнет соленой рыбой, в сказочный град с золотыми главами церквей и серебряными петушками на башнях.

— Какие гаданья? — полюбопытствовала Настася.

— Царица меня хотела своей любовью подарить, если отгадаю. Или голову отрубить, если ума не хватит отгадать.

— Жестокое сердце у той царицы! — всплеснула руками Любава.

— Какие же были загадки? — смеялась недоверчивая Настася.

Злат окинул взглядом дубы, посмотрел на небо, как бы в поисках вдохновения. Птица выдумки уже понесла его на своих легких крылах. Все преобразилось в мире, и обыкновенный камень стал алмазом.

— Наутро собрались в палате патрикии и стратилаты, а у двери стали воины в золоченых бронях. Царица сидела...

— Царица... — насмешливо пожала плечом Настася.

— Не все ли тебе равно? — оправдывался Злат.

Любава потянула подружку за белый рукав рубашки:

— Молчи, молчи...

— Царица сидела на престоле. Над нею серебряные птицы пели райскими голосами. Я стал перед повелительницей...

Слушательницы застыли в напряженном внимании.

— Царица посмотрела на меня...

— Какое же было первое гаданье? — не вытерпела Настася.

— Первое гаданье? Много ли времени надо, чтобы всю землю от востока до запада обойти?

Девушки ждали ответа, что это значит.

Злат рассмеялся:

— Один день.

Настася не понимала и переглядывалась с Любовью. Та же была во власти своей любви, в сладком тумане своего чувства. Оно наполняло не только ее душу, но и весь мир, эти рощи и дубравы, поля и жнивье. А как выразить это словами?

Злат объяснил:

— Небесное светило всю землю с утра до вечера обходит, а потом опускается в океан и прячется за высокой горой на полуночной стороне вселенной.

Он слышал об этом круговращении солнца от Даниила, читавшего по ночам книгу, в которой рассказывается о тайнах мироздания. Ее написал человек по имени Индикоплов.

Любава качала головой, изумляясь человеческой хитрости.

— А второе гаданье? — спросила она.

— Чего десятая часть за день убывает, а ночью на десятую часть прибавляется?

Девушки молчали.

— Не знаете? А не трудно отгадать.

Злат самодовольно улыбнулся, гордясь своим умом, хотя эти загадки не сам придумал, а услышал от того же отрока Даниила.

— Вода, — сказал он.

Это было непонятно.

— Вода за день из моря и рек на десятую часть от солнца высыхает, а ночью, когда солнце спит, снова на столько же прибавляется. Поэтому и не уменьшаются реки, питаемые дождями, и море не убывает в глубине и не отходит от своих берегов.

Подружки опять переглянулись, пораженные догадливостью и книжной мудростью этого человека, который столько видел на земле.

— Теперь скажи нам третье гаданье, — попросила Настася.

— Царица спросила меня, что слаще всего на свете.

— Мед? — в один голос ответили подруги.

— Так и я сказал. Но царица нахмурила соболиные брови и сказала, что я не отгадал.

— Что же слаще всего на свете? — спросила Любава.

— Любовь. Царица велела, чтобы мне голову отрубили. Меня схватили ее слуги и бросили в темницу.

Любава от волнения закрыла рот рукою, точно хотела удержать крик своей души. Все это была сказка, и в то же время ее любимый ходил как на острие ножа.

— Темница в Корсуни — высокая каменная башня. Только одно оконце в ней за железной решеткой.

— Невозможно убежать оттуда? — волновалась Любава.

— Мышь не может ускользнуть из этой башни, так стерегут ее греческие воины. Там я томился семь дней и семь ночей. На восьмой день взял гусли и запел печально. В тот час мимо темницы проходила дочь царицы, красивая, как ангел. Она услышала мое пение, сжалилась надо мною и подкупила стражу. Мне передали веревку. Когда уже луна взошла над спящим городом и все уснуло, я выломал в оконце решетку и спустился с огромной

высоты на землю. Здесь ожидала меня царица с волосами, как лен, с глазами, как бирюза на мече у князя Ярополка.

Обнимая одна другую, девушки ждали продолжения. Но Злат сам не знал, как теперь выбраться из дебрей запутанного повествования. Он забрался слишком далеко.

— Что же случилось потом? — добивалась Любава.

— Что случилось...

— Как ты поступил с царицей?

— Я взял ее на руки и понес на свой корабль, а царица послала против нас половцев, и тогда была кровопролитная битва. Я убил половецкого хана.

— А после битвы что было?

— Что же было дальше...

Злат заложил руки за голову и, глядя на облака, старался придумать что-нибудь.

— Я заманил хитростью царицу на корабль, сказав ей, что она может выбрать любые меха. Она явилась со своими вельможами. Тогда я велел поднять парус и увез ее в море.

— А царицу?

Злат подумал немного и ответил:

— Царицу? Ее я отпустил.

— Что же с царицей случилось?

К счастью для отрока, у которого окончательно иссяк источник вдохновения, а руки тянулись к Любаве, в роще послышалось гнусавое пение. До слуха донеслось:

Течет огненная река Иордан от востока на запад солнца, пожрет она землю и камень, древесина, зверей и птиц пернатых.

Голоса приближались и делались более устрашающими:

Тогда солнце и месяц померкнули от великого страха и гнева, и с неба упали звезды, как листья с осенних деревьев, и вся земля поколеблется...

Теперь можно было рассмотреть, что среди деревьев идут три странника в монашеском одеянии, с посохами в руках. Когда они подошли поближе, по их красным носам стало отчетливо видно, что все трое любители греческого вина и не очень соблюдают монашеские посты. Один был высокий, двое других пониже. У всех трех на головах виднелись черные скуфейки. Приблизившись, странники остановились, и тот, что казался повыше других, дороднее и, видимо, даже почитался двумя остальными за наставника, произнес:

— Благословен господь!

Девушки смотрели на монахов со страхом и почтением.

— Куда направляете стопы, святые отцы? — спросил Злат.

— В град Иерусалим, — ответил высокий инок.

Злат удивился:

— Откуда же вы шествуете?

— Из Воиня, на реке Суле.

— Давно ли вы идете в святой град?

— Второе лето, — отвечали хором странники. — Второе лето.

Злат почесал в затылке.

— По этой дороге вы никогда не дойдете до Иерусалима.

— Почему так? — недоумевал высокий.

— Вы идете на полночь, а Иерусалим лежит на полдень. Поверните вспять и тогда достигнете своей цели. Или попросите купцов, чтобы вас в ладье до моря доставили. В Корсуни вы сядете на морской корабль и поплывете в Царьград. Но Иерусалим стоит еще дальше, за великим морем.

Так говорил гусяру Даниил, любимый отрок князя Ярополка.

Очевидно, такой путь в настоящее время монахов не устраивал. Те, двое, что были пониже, помалкивали, но высокий ответил:

— Мы в Переяславль пришли, чтобы благословение взять у епископа и путевую грамоту к патриарху.

— Тогда ваш путь правильный. А что за Сулой слышно?

— За Сулой торки шумят, хотят реку перейти.

— Какие торки?

— Что на княжеской службе.

Злат встrepенулся и вскочил на ноги.

— Сидит в Воине бездельный воевода и только пироги ест, а вести о том, что там творится, не подает. Важную новость вы принесли, отцы.

— Всюду ходим, и если увидим что, примечаем, — ответил один из монахов, опираясь на посох.

— Пойдемте к посаднику. Расскажите ему обо всем.

Монахи изобразили на лицах неудовольствие.

— Нам к епископу, дорога, а не к посаднику.

— Сначала к посаднику. Большие дела творятся на Суле. Как зовут тебя, отец?

— Лаврентий.

— Пойдем, отец.

Злат ушел, и за ним поплелись монахи. Когда все они скрылись за деревьями, Любава закрыла лицо рукавом белой рубашки и расплакалась.

— Что с тобой? — удивилась верная подруга.

— Царицу на корабль заманил...

Но Настася всплеснула руками:

— Не плачь, глупая. Ничего этого не было. Разве ты не знаешь, что люди, играющие на гусях, первые лгуны на свете?

29

Последний дуб у дороги, сто лет тому назад, еще при великом князе Владимире Святославиче, искалеченный страшной бурей и обожженный молниями Перуна, но все еще полный величия в своем зимнем уборе, медленно уплыл во мглу. Время приближалось к вечеру. Мономах подумал, что еще немного часов

— и он будет в теплой горнице, увидит сына и молодую сноху, попробует горячей пищи. Но на ум по-прежнему приходили печальные мысли, и прошлое никак не хотело оставить его душу в покое.

В Киеве в то время правил великий князь Святополк. Его не любили в народе. Всем было известно, что великий князь не только покровительствовал киевским ростовщикам, но и сам отдавал деньги в рост через посредство своих приближенных и за мзду оказывал злодеям всякие милости. Своей жадностью и сребролюбием он отталкивал даже близких.

Незадолго до смерти великого князя, когда в Галицком княжестве происходили военные действия (Святополк в те дни пошел с Володарем и Васильком на Давида Игоревича, чтобы покарать его за ослепление тербовльского князя), на киевском торжище не стало соли. Ее привозили раньше на волах из Галича и Перемышля, но теперь воюющие убивали мирных животных стрелами, и купцы не решались на такое путешествие. Подвоз соли прекратился, и этим воспользовались торговцы, припрятавшие соляные запасы, и стали продавать свой товар втридорога. Даже великий князь не удержался от того, чтобы не нажиться на торговле солью, и захватил ее склад в Печерском монастыре. Была тогда большая скудость на Руси, и бедные люди, не имевшие возможности платить огромные деньги за эту необходимую приправу, стали ходить в монастырь, к иноку Прохору, который раздавал им пепел, прибавляя в него немного соли, может быть, для того, чтобы его доброта походила на христианское чудо. Однако это вызвало неудовольствие торговцев, и сам великий князь разгневался, потому что хотели разжиться на народном бедствии.

Мономах хорошо знал этого старца. Вспоминая в санях прошлое, он подумал и о нем. Прохор был родом из Смоленска, его прозвали Лебедником. Инок не ел хлеба, не питался просфорами, как это делали многие монахи, а действительно отличался воздержанием среди других печерских иноков, не отказывавшихся обычно от обильных боярских приношений. Он питался только лебедью, собирая горький злак на полях. Монах растирал его на ручном жернове, потом пек некое подобие хлебов, и таким образом жито росло для него как бы на непаханой ниве. Прохор даже делал для себя запасы лебеды на зиму и жил так, не приобретая ни весей, ни имения, подобно тем птицам небесным, о которых в Евангелии сказано, что они не сеют, не жнут и не собирают в житницы. Подражая им, он каждый день отправлялся туда, где в изобилии росла лебеда, и приносил ее, как на крыльях, в келию. Когда в Киеве наступил голод, бедняки увидели монаха за таким занятием и тоже стали собирать лебеду, хотя испеченные из нее лепешки отличаются горьким вкусом.

Мономах вспомнил, как однажды беседовал с этим монахом. Игумен Иоанн смело обличал великого князя Святополка, и разгневанный правитель велел отвезти его в Туров и там заточить в погреб. Только благодаря вмешательству Владимира старца освободили и вернули в монастырь. В связи с этим Мономах посетил тогда обитель и встретился с Прохором. Когда он вошел в келию, перед ним сидел на скамье пожилой инок с веселыми глазами.

— Правда ли, что ты не ищешь никакого богатства? — спросил князь, так как слышал уже рассказы о его нестяжании и о том, что якобы пепел чудесным образом превращается в руках монаха в драгоценную соль.

Прохор, поблескивая беззаботно глазами, ответил:

— Для чего мне оно? «Я даже лебеду собираю только на одну зиму. Вот прилетят в эту ночь ангелы и возьмут мою душу. К чему же мне тогда запасы? Кому достанется приготовленное мною?»

Князь дивился подобному отношению к жизни, но подумал, что хорошо так поступать человеку, у которого за плечами нет никакой ответственности. У него единственная забота — спасти свою душу. К таким радость приходит после печали. Как сказано в Псалтири: «Вечером водворяется плач, а наутро радость». А сколько всяких обязанностей у человека, который живет в миру и устраивает государство...

Все проходит на земле. Не было больше ни игумена Иоанна, ни Прохора. Вскоре после них скончался и сам Святополк.

Мономах не забыл, как все это произошло. Однажды под утро в Переяславль, где он тогда княжил, прискакал переодетый в крестьянское платье сын боярина Путяты и со страхом в глазах, а не с печалью сообщил о горестном событии. Около Успенской церкви пономарь звонил в било, созывая христиан к ранней утрени, и поп Серапион шел в ризницу облачаться, когда мимо проскакал киевский отрок. Взмыленный конь его выглядел так, точно на нем возили бочку с водой в гору. Всадник тоже был не в лучшем состоянии. Священник узнал вестника в лицо и понял, что в Киеве не тихо.

Переяславский князь уже заседал с дружиной. В тот день решались важные судебные дела, и предстояло договориться с боярами об очередном большом лове. Во время совета в палату вошел на носках желтых сапог сокольничий Иван и шепнул князю на ухо, что к нему прискакал из стольного города отрок с важным известием, стоит в сенях. Мономах, сказав боярам, чтобы обсуждали дело о краже княжеского перевеса без него, покинул палату. В жарко натопленных сенях он увидел сына Путяты. У отрока был взволнованный вид, он вытирал шапкой потное лицо.

— Что с тобою, отрок? — спросил удивленный Владимир, разглядывая странное одеяние юноши.

— Горе, князь... Великий князь преставился, и народ возмутился, — со слезами в голосе отвечал сын Путяты.

— Помер Святополк Святославич?

Мономах стал креститься.

— Помер!

— Как же это случилось? — воздел горестно руки князь.

— Когда приспел праздник Пасхи, великий князь казался совсем здоровым, но вскоре

разболелся. Вчера он преставился в Вышгороде, апреля шестнадцатого дня, пятидесяти четырех лет от роду. Тогда его тело положили на сани и привезли в Киев, и отец мой послал меня к тебе. Люди вышли на улицы, и совершилось великое смертоубийство на торгу.

Мономах заплакал не потому, что сильно любил Святополка, а по давно утвердившейся привычке слезами провожать усопших. А может быть, потому, что сердце становилось слабее к старости и все чаще думалось о собственной кончине. Поплакав, однако ж вернулся к делам, ибо необходимо было что-то предпринять, если в Киеве началось возмущение.

— Что же теперь в городе? — спросил князь.

— Большая смута, князь. Народ разграбил двор моего отца и других бояр, пожег дома многих ростовщиков. Кричат, что, мол, жида да бояре во всем виноваты — и град от них, и засуха. Если ты не придешь тотчас в Киев, то немало людей погибнет, не одни только ростовщики, но и бояре и даже митрополит. Народ против всех поднял руку. Некоторые из чужеземцев уже бегут из города, и их убивают на дорогах, никому не давая пощады, а имение берут себе. Так велел сказать тебе отец.

Надо было спешить, а князь все не мог принять решения. Оттягивая время, спросил:

— Как же посетила смерть великого князя? Болел ли он?

— Не болел. Правда, случилось у него огненное жжение. Но и это прошло. А вчера ночью великий князь схватился рукой за сердце и помер. Недаром все видели зимою небесное знамение. Солнце остановилось, как серп месяца, рогами книзу. Теперь понятно, что это смерть правителю предвещало.

— Как тать в ноши... — прошептал Мономах, представляя себе образ Святополка в гробу, с закрытыми глазами, бездыханного, бессловесного.

— Что решили бояре с митрополитом? — опять спросил князь.

Отрок махнул рукой в отчаянии.

— Бояре по своим дворам заперлись, холопам сабли раздали. Но разве холоп защитник боярской чести? А люди грозятся всех истребить, забыли божий страх.

— Что же митрополит думает?

— Тоже укрылся на митрополичьем дворе и молчит. Что может сделать грек?

Мономах обдумывал создавшееся положение. В Киеве находилось в те дни много чужестранцев — венецианские и генуэзские гости, греки, сарацины. Если смута продлится, торговые люди в страхе за свои товары покинут Русь и от этого произойдет большой ущерб для всей земли. Кому тогда он сам станет продавать запасенные меха?

Князь велел накормить отрока и вернулся в совет, и тогда все тридцать бород, седых, рыжих или светлых, повернулись к нему вопросительно. Бояре хотели прочитать на лице у князя, какое известие он получил из Киева, о войне или о мире. Тут сидели все старые дружинники, знаменитый Ратибор и оба его сына — Фома и Ольбер, а также переяславский тысяцкий Станислав, по прозванию Добрый, по отцу Тудкович, и боярин Нажир, а рядом с ним Илья Дубец, боярин Мирослав и другие советники.

Мономах не сел на свое место, а, вытирая пальцами слезы на глазах, обвел присутствующих взором и сказал:

— Бояре, великий князь Святополк Святославич вчера в Киеве преставился... В стольном

городе не тихо. Вот какую новость мне сообщил отрок, прискакавший оттуда.

В палате пронесся шелест голосов. Некоторые стали креститься.

— Ратибор, — обратился Мономах к своему старому сподвижнику, — тотчас собирайся в Киев. Возьми кого хочешь и установи там тишину. Особенно береги митрополита. Иначе в Царьграде скажут, что мы злодеи.

Пока князь рассказывал о том, что происходит в стольном городе, и отдавал распоряжения, бояре перешептывались между собою. У некоторых дружинников помрачнели лица, косматые брови насупились, выдавая тайные страхи. У других шевелились бороды. Эти шептали молитвы, поминая новопреставленного великого князя, с которым имели денежные дела.

Ратибор слушал, кивая седою головой, запоминая княжеские приказы. Мономах не хотел сам ехать в Киев, дальновидно соображая, что легче восстановить в городе спокойствие вооруженной рукой, нежели удержать власть на продолжительное время. Необходимо было предварительно погасить народное неудовольствие и потом уже думать о господстве над стольным городом.

Спустя некоторое время после этого в Переяславль стали прибывать другие посланцы из Киева, от митрополита и от бояр, с просьбой занять киевский золотой стол. Собравшись в св.Софии и надеясь, что взбунтовавшийся народ согласится с этим приглашением, они выбрали Владимира как самого деятельного русского князя. Слава о его подвигах и победах гремела до краев земли, и бояре расписывали его разумную распорядительность и готовность ради Русской земли не щадить своего живота. Горожанам в Киеве, где в последние годы хозяйничали наушники князя Святополка, и в числе их боярин Путята Вышатич, а его легкомысленная дочь, которую скоморохи прозвали Забавой, прославилась на весь город своими любовными похождениями, Владимир Мономах внезапно представился праведным правителем, защитником бедных и угнетенных.

Ратибор въехал в притихший Киев с большой конной дружиной. Все хорошо знали, что Мономах не любит шутить и не зря прислал в стольный город своего воеводу. Жители не без страха смотрели на седого боярина, по старинному обычаю носившего длинные усы. Он ехал впереди отряда на тяжелом рыжем жеребце, важно поведившем лоснящимся крупом, на котором тяжко легли черные ремни сбруи, украшенные серебряными бляхами. На боярских плечах перекосилось красное корзно. На голове виднелась соболья шапка, подаренная ему Мономахом, на груди поблескивала золотая гривна на цепи. Позади воеводы старый торчин Кунгуй держал развернутое княжеское знамя — голубое, широкое, с крылатым архангелом Михаилом в легких греческих сапожках и с огненным красно-желтым мечом в руке. Этот стяг был свидетелем многих русских побед на половецких полях и на Дунае, под Корсунью и в других местах, вплоть до немецкой земли. За знаменем ехали, бряцая уздечками и саблями, многочисленные отроки, поглядывавшие на горожан с высоты своих коней. В первом ряду — Илья Дубец и молодой Злат, гусяр. Видя такое воинство, все чувствовали, что в Киеве восстановилась твердая власть, только не всем было ясно, кому это выгодно. Во всяком случае, довольны были чужестранцы, опасавшиеся на Подоле за свои товары и весы, за кожаные и парчовые кошель с серебром.

Заняв вооруженными силами Киев, Мономах созвал в Берестовском загородном дворце совещание, в котором приняли участие самые знатные бояре, в том числе белгородский тысяцкий Прокопий и представитель князя Олега Святославича боярин Иванко Чудинович, человек богатый жизненным опытом. Как всегда на таких советах, было немало споров, и оказалось нелегко склонить бояр к мысли о государственной пользе, так как каждый представлял ее по-своему. Но в конце концов Мономах убедил этих упрямец, что для них же выгоднее принять то, что переяславский князь считал полезным для государства. Советовал Мономах поберечь смердов, не доводить до разорения, до грозного мятежа. Затем зашла

речь о резании, или о ростовщичестве. Уже устав от препирания, Мономах говорил, простирая вперед руки, в одной из которых был зажат красный шелковый платок:

— Десять кун в лето от гривны — это справедливые резы. Но ведь некоторые требуют пятьдесят! И так люди, платящие долги, изнемогают, ведь среди них немало достойных.

Постановили, что должник, уже уплативший дважды по пятьдесят кун резов, то есть тот, кто в действительности выплатил свой долг заимодавцу, не должен платить прирост в третий раз.

Мономах старался беречь купцов:

— Неправильно, что люди обращают должников в рабов, даже не спросив их, в чем заключается причина, что те не возвращают взятое. Надо разбираться в каждом случае. Бывает так, что на купца нападают разбойники или тати похитят товары его. Случается пожар от злого умысла или корабль потонет с ценным грузом во время ужасной бури. Мало ли чего бывает... В таких случаях следует подождать, пока потерпевший придет в силу и будет в состоянии возратить свой долг. Другое дело, если торговец пропьет доверенное ему, или проиграет в кости, или по легкомыслию потеряет порученные ему деньги и товар. Такого нужно сдать в рабство, ибо он заслужил это. Или обратимся к другому вопросу, — продолжал князь, — разве все смерды в состоянии приобрести боевого коня? Откуда ему взять средства для этого? Так пусть же сражаются пешими.

— Если смерда жалеть, князь, — ворчал старый боярин Воронин, — то скоро нами рабы повелевать будут. Еще скажешь, что и бить смерда нельзя?

— Бить можно, но за дело, — поддержал его один из участвовавших в совете, боярин Мирослав, благочестивый человек, любитель священного писания. — Сказано: исправляй раба твоего жезлом!

— Кто же докажет, когда бьют за дело, а когда по пустой злобе? — спросил Мономах, повернувшись к нему в кресле.

— Это решит судья, — сказал за Мирослава Иванко Чудинович.

Раздался гул одобрения. Бояре знали, что судить будут они сами, а не смерды бояр.

30

На Киевском торжище уже стало известно, что князь Владимир составляет с советниками новые законы. Событие обсуждалось оживленно иноземными купцами, считавшими, что от этого может быть большая польза для торговли. Народ же присмирел, не ожидая ничего доброго. Впрочем, все равно податься бедным людям было некуда, со всех сторон угрожали им нужда, бедность, разорение, рабство. Бедняки приходили в Киев из дальних селений и внимательно слушали, о чем говорят на торгу. Им рассказывали, что новый великий князь станет заботиться о нищих и убогих. Что ж, этот правитель, которого им приходилось видеть порой на ловах в крестьянской одежде, был ближе им, чем красавцы в парчовых корзнях, с золотыми ожерельями, с саблями и позолоченными шпорами, как у угрских вельмож. Злат слышал однажды в детстве, как простолюдины говорили:

— Будто немного легче стало нам дышать на земле.

Другие подтверждали:

— Ныне и мы можем найти суд на богатых.

Но те, что не верили в хорошие перемены, горько смеялись:

— А где ты видел праведного и неподкупного судью?

— Иди к самому Мономаху с жалобой.

— К Мономаху? Он скажет тебе доброе слово и горе твое пожалеет, а вернешься в свою весь — и тиун с тебя все сторицею возьмет. Нет правды на земле для бедных.

Торговец, только что купивший у зверолова по дешевке заячьи шкурки, убеждал его:

— Вот ты уловляешь силками зайцев...

— Что тебе до того?

— Прибрати на эти деньги наконечник для копья. Враг придет — чем будешь защищать своего князя?

Зверолов, обросший весь волосами, без шапки и босой, мрачно отвечал:

— Что мне до князя? Даст он мне хлеба из своей житницы, когда голод настанет? Так пусть за него борются дети бояр.

И все-таки хлебопашцы теперь с большей уверенностью сеяли жито, в надежде, что, страшась Мономаха, половецкая конница не будет больше топтать русские нивы, как в прежние времена. На всей земле как будто бы стало тише. На дорогах спокойнее поскрипывали возы торговцев. На них везли греческие ткани, меха, мед, соль, перец, сушеные плоды из предела Симова...

Лесной житель, продавший шкурки, положил сребреник за щеку, чтобы не потерять свое богатство, и направился в ту сторону, где стояли медуши. Рядом виднелись харчевни. Над одной из них висел на шесте ячменный сноп, в знак того, что здесь можно поспать на соломе в холодную ночь.

Здесь, на Подолии, находились за дубовым тыном подворья иноземных торговых гостей, лавки менял, притоны всякого рода, избушки и землянки бедняков. Здесь было больше шума, чем в половецком становище, сюда стекались со всех сторон беглые холопы и беднота, здесь рядом с нарядным торговцем из латинской страны встречались полунагие люди, возле боярина в бобровой шапке — монах в отрепьях, здесь происходили кражи и смертоубийства, и княжеские бирючи ходили сюда с мечами под полой. В расположенных около торжища корчмах ютились пьяницы и игроки в кости, и можно было купить краденный у боярина мех или нож, чтобы спрятать его за пазуху. Сюда приходили крадучись люди из далеких лесов и далее волхвы.

Злат пришел тогда в Киев со своим дедом, веселым человеком, любителем всяких басен и притчей, к родственникам. Но они все за эти годы померли, и пришлось искать приюта в корчме, где десятилетний мальчик насмотрелся и наслушался всего.

Лохматый пьянчужка, в длинной разорванной рубахе, с выдранной в драке бородой, держа в обеих руках деревянный ковш с черным медом, уверял своих слушателей:

— Это все знают в Киеве. Есть остров на синем море. На нем стоит торговый город Леденец. Оттуда приехал к нам гость по прозванию Соловей Будимирович. С ним забавляется молодая вдова Евпраксия Путятишна. Недаром ее зовут в народе Забава.

— Забава... — смеялись окружающие. — Если знаешь что, Расскажи. У тебя длинный язык.

— Что могу рассказать? По боярскому повелению разорял вороньи гнезда на деревьях и с высоты в оконце смотрел...

Мужем Евпраксии был Алеша Попович, один из старых дружинников Мономаха, сын ростовского попа, красавец собою в молодости и храбрый воин на ловах и на поле брани. Однажды во время отсутствия князя он отстоял Киев от неожиданно появившихся половцев и получил от Мономаха золотую гривну на шею, стал, как некоторые другие, вельможей в его палате. Но вскоре он умер, и молодая его вдовица, красивая как церковь в позолоте, стала притчей на языках у всех киевлянок.

— Что же ты увидел в оконце? — приставали к пьянчужке слушатели.

— Увидел, как Забава в горнице нагая стояла и в ручное зеркало смотрелась. Белая вся как снег, с распущенными волосами как золото.

— А кто еще там был?

— Соловей. Заморский гость.

— Почему так прозвали?

— Когда песни поет, люди плачут. Такой у него голос.

— Целовал Забаву?

— Вино пил из стеклянной чаши, а через нее весь свет виден. Потом на кифаре играл.

— А еще что видел?

Пьяница захохотал.

— Надо мною воронье кружилось и каркало. Я с дерева упал на землю. Ничего больше не видел, а если видел, то мне еще жизнь мила, пока мед есть в медуше.

В корчме сидел старый гусяр, забредший сюда после того, как его прогнал священник от церкви. Пьяница сказал ему:

— Вот сыграй нам на гусях!

Но другой махнул на старика рукой:

— Они боярам любят услаждать слух.

Кто-то спросил:

— О чем же он поет, старик?

— О правде.

Сидевший рядом с гусяром на обрубке дерева княжеский отрок Даниил, любитель всяких повестей, вечно слонявшийся по торжищам и людным местам, слушая всюду, о чем говорит народ, сказал:

— Правда ныне как бисер в кале. Не мечите его перед свиньями.

— А тебе что надо здесь? — грозно обратился к нему пьяница. — Твое место в палатах, а не

в корчме, где бедняки собрались.

Отрок примирительно ответил:

— Что расшумелся? Гневающийся человек подобен корабельщику, который в печали мечет все свое достояние в море, а когда утихает буря, жалеет то, что бросил в пучину. Так и ты. Что тебе надо от меня?

— В боярских корзинах ходите! — ворчал пьянчужка.

Но в это время кто-то стал с волнением рассказывать:

— Чудо великое совершилось в Киеве.

— Какое чудо? — слышались вопросы. — Что сотворилось?

— Никола совершил чудесное явление.

— Может, монахи придумали?

— Разве я знаю.

— А что говорят?

— Будто некто плыл в ладье из Вышгорода в Киев, а жена того человека держала на руках младенца, но утомилась в пути, уснула и уронила дитя в воду, и оно утонуло. Тогда отец стал укорять Николу. Он выговаривал, что не только ему зло причинил, а и себе: кто же теперь его будет считать чудотворцем?

— И что же случилось?

— А вот что: дитя нашли в святой Софии, и вся икона Николы была мокрая от днепровской воды! Сейчас об этом объявляли на торгу, и муж прибежал к жене. Она его при всех бранила, что не верил в святого.

Но за ковшом меда беседа клонилась к веселию. Людям хотелось позабыть о своей бедности. Дед, веселый человек, обнимая внука, сказал ему:

— Спой нам про Моревну.

Соседи удивились:

— Так мал — и поет про Моревну?

— Голос ему дан, как соловью.

— Тогда спой, отрок!

Злату тогда было едва десять лет. Он смущался среди чужих. Но дед попросил опять:

— Спой про Моревну.

Злат запел, глядя в небеса, которыми в корчме был закопченный потолок из бревен:

Моревна — это цветы на поле, звезды на небесах, соловьиное пение.

Моревна жила за синим морем, замуж за царевича вышла.

Была она воительница, Моревна, но уходя на войну, просила:

«Муж, ходи по всем палатам, только в одну клеть не спускайся!

Там Кощей к стене прикован на двенадцать цепей!»

Царевич забрел и в клеть от скуки, и упросил его враг, чтобы дал напиться воды.

И тогда Кощей разорвал все цепи и Моревну похитил, унес в подземное царство.

А там — сон, зима, оцепененье.

Но царевич отправился в путь, искать Моревну по свету.

Он в подземное царство спустился, разбудил там Моревну звоном золотых гуслей и вернул ее к людям, на землю.

Так весна возвратилась, усыпая лужайки цветами.

Перун, Сварожич!

Молнии — твои стрелы, радуга — лук, тучи — одежды, громы — глагол, ветры и бури — дыханье...

Все ссоры затихли, люди слушали древнюю песню. Злат научился петь ее у старого деда. Седоусый гуслир перебирал струны. Наверху жил митрополит и стояли церкви, а здесь, на Подолии, еще хранилась память о древних богах.

Потом гуслир сказал:

— Великий ты будешь певец и прославишь Русскую землю!

Отрок Даниил погладил Злата по голове:

— Горазд ты петь. Не знал, что у нас в Переяславле такой певец растет. Ты чей?

Дед за него ответил:

— Мы с Княжеской улицы. Знаешь плотника Вокшу?

— Вспомнил. Видел тебя с внуком в церкви Михаила. Надо будет князю о тебе сказать.

Отрок пил с дедом мед из одного ковша. Вспоминая песню, Даниил, любитель книжных изречений, сказал:

— Весна есть дева, украшенная цветами, сладостна для зрения.

— А лето? — спросил дед.

— Лето? Муж богатый и трудолюбивый, питающий плодами рук своих и прилежный во всякой работе. Он без лености встает завтра и трудится до вечера, не зная покоя. Осень же подобна многочадной жене, то радующейся от обилия, то печалющейся и сетующей на скудость земных плодов.

— А зима — лютая мачеха, — прибавил пьяница, уже примирившийся с отроком и растроганный песней.

К нему обращались:

— Расскажи еще что-нибудь про Забаву.

— Слышали, что случилось с серебряной чашей?

— Не слышали.

— Вот что случилось, — вытер мокрые усы пьянчужка. — Однажды остановились у нас на дворе калики, шедшие в Иерусалим. Но среди них был один молодой, редкой приятности юноша, по имени Касьян...

Вскоре это стало известно всему Киеву. Странники шли в Иерусалим, питаясь в пути христианским подаянием. Среди этих людей почтенного возраста оказался и Касьян, совсем юный монашек, похожий на архангела со своими длинными кудрями. Проходя городом, они очутились на дворе у Путятишны. По обычаю, их кормили рыбной похлебкой и пирогами в черной избе, когда молодая вдова, бродившая от скуки по всему дому, неожиданно спустилась на поварню и увидела странников. По большей части это были монахи, изгнанные из разных монастырей за пьянство и блуд. Но ее глаза приметили среди них красивого юношу в смешно сидевшем на нем монашеском одеянии. Такому носить бы корзно и парчовую шапку с бобровой опушкой!

Боярыня была в шелковой одежде, голубой с золотом, с запястьями на руках, в маленьких башмачках из зеленого сафьяна. Она слушала, как странники пели после трапезы:

Течет огненная река Иордан, от востока на запад солнца пожрет она землю и камень,
древеса, зверей и птиц пернатых!

Тогда солнце и месяц померкнут от великого страха и гнева и с небес упадут звезды, как
листы с осенних деревьев, и вся земля поколеблется...

В громком хоре грубых монашеских голосов Касьян пел как серебряная труба. Его зубы особенно ярко блестели на лице, покрытом ровным загаром.

Боярыня слушала пение по-женски, подпирая рукой щеку.

— Юноша, — сказала Евпраксия, — чудно поешь ты! Слушать тебя большая радость для людей.

И она ушла прочь с поварни, оглядываясь на его красоту.

В двери вдова остановилась и поманила пальцем стряпуху Цветку. Вытирая на ходу руки грязной тряпицей, та проворно побежала к боярыне. Они о чем-то зашептались за порогом. Потом повариха вернулась, красная, как мак. Присев на кончик скамьи к странникам, она уговаривала их, жирная, как свинья:

— Куда вам спешить? Иерусалим еще тысячу лет будет стоять на своем месте. Отдохните получше на нашем дворе. У нас много душистого сена. Для всех найдется место.

Улучив час, когда Касьян, имевший привычку молиться на сон грядущий, удалился от остальных, толстая баба пробралась к нему и стала искушать, как сатана, юного инока:

— А когда настанет ночь, поднимись к боярыне. Покажу в сенях лесенку. Сладко тебе будет с нею, как в раю. Зацелует тебя до смерти...

Но юноша чист был помыслами и девственник. Боярыня напрасно ждала, что вот-вот скрипнет ступенька на лестнице. На пуховой перине было жарко, сердце колотилось в груди, боярыню томила женская пламенная любовь. И вот уже заря занялась на востоке...

Накинув на себя кое-какую одежду, разгневанная Евпраксия спустилась на поварню и разбудила стряпуху. В руке она держала серебряную чашу, из которой в свое время любил

пить вино ее покойный муж Алеша Попович.

— Где странники? — спросила боярыня.

Протирая руками глаза, повариха не знала спросонья, что отвечать.

— Где странники, спрашиваю тебя? — еще больше рассердилась Евпраксия Путятишна, трясая повариху за пухлое плечо.

— Странники... — едва соображала та.

— Проснись же, глупая!

— Странники сейчас отправятся в путь. Кормить их буду.

— Послушай меня. Возьмешь эту чашу и сунешь ее в суму молодого монаха. Поняла ты меня?

— Поняла, госпожа.

— Положи ее в самый низ, а поверх наложишь куски хлеба, чтобы не было видно. Сделай все так, как я тебе сказала.

Цветка ничего не понимала. Такой подарок ничтожному монаху? На что ему чаша? Вот он не захотел прийти к госпоже, а ее ласк домогались сыновья бояр и даже княжичи. Этот глупец проспал всю ночь на сене, вместо того чтобы утонуть в лебяжьей перине! Недаром гневалась боярыня.

Путятишна смотрела из высокого оконца, как монахи ушли со двора и направились по улице в сторону Южных ворот. Но спустя полчаса вдогонку им помчались три конных отрока. Они нагнали монахов уже за городом, на дороге, проходившей тенистой дубовой рощей. Иноки посторонились, желая дать проезд конным людям, с мечами на бедре, в развевающихся плащах. Но отроки остановили горячих коней перед ними, и один из них крикнул:

— Стой!

Странники с удивлением задрали бороды, глядя на всадников. Касьян тоже с улыбкой смотрел на старшего из отроков, у которого нос был как целая репа.

— Кто похитил у боярыни серебряную чашу? — со злобой в голосе спросил отрок. — Разве так поступают люди, идущие в Святую землю? Теперь мы знаем, кто вы такие! Вы не калики, а воры!

Монахи загалдели, обиженные в лучших своих чувствах. Случалось, что порой они похищали поросенка или какую-нибудь другую живность, или жбан меда могли украсть. Или что-нибудь другое нужное для путника. Но серебряных чаш никогда не воровали.

Высокий монах, у которого был такой вид, что он здесь настоятель, бранился и плевался:

— Мы не воры, а странники божий...

— Обыскать всех! — приказал старший отрок.

Двое других ловко соскочили с коней и приступили к монахам:

— Показывайте ваши сумы!

Те охотно сняли заплечные мешки.

— Смотрите! — предлагал высокий инок, покрасневший, как вареный рак.

И вдруг в руке того отрока, что рылся в суме Касьяна, блеснул серебряный сосуд, сверкнуло на солнце его позолоченное доньшко.

— Вот она, чаша! — крикнул старший отрок. — Разве вы не тати?

Монахи остолбенели и со страхом смотрели на Касьяна. Юноша побледнел и стоял, как истукан, с разведенными руками и открытым ртом.

— Касьян! Ты ли это?! Как ты посмел?! — сыпались на него со всех сторон упреки.

Отрок, нашедший сосуд, ударил чашей молодого монаха по голове. По лицу побежала тонкая струйка крови.

— Так тебе и надо! — гневался высокий монах, по имени Лаврентий.

Он сам ударил юношу кулаком. Еще один монах с искаженным от злобы и негодования лицом замахнулся на Касьяна посохом. Тот закрывал голову руками и плакал:

— Не повинен я в похищении серебряной чаши! Пусть сам бог будет мне свидетелем!

Но теперь удары обрушились на него как град. У людей все больше разгорался гнев на похитителя, и никто не хотел слушать его жалких оправданий.

Старший отрок тупо смотрел с коня на избиение несчастного. Касьян кричал и молил о пощаде. Потом упал на дорогу, и его били уже лежащего... Прошло еще некоторое время. Юноша затих. На дороге остался лежать окровавленный труп. Монахи тяжело дышали, смотрели друг на друга и на свои окровавленные руки, как бы спрашивая молча:

«Что мы сотворили, братья?»

Старший отрок снял шапку и перекрестился. У него задрожала нижняя челюсть.

— А ведь боярыня велела нам его живым доставить, чтобы он получил от нее заслуженное наказание за покражу... — проговорил он.

Когда отроки вернулись в город, привезли серебряную чашу госпоже и рассказали ей обо всем, что случилось на дороге в дубраве, она всплеснула руками, как безумная, и закричала на весь терем:

— Что вы сотворили! Что вы сотворили с ним!

Она рвала волосы на себе, упала на пол, билась, как в трясовице.

— Прости меня, боярыня, — повторял многократно старший отрок, вертя в руках красную шапку.

Немного успокоившись, Путятишна спросила его:

— Где же калики?

— Ушли в Иерусалим.

— А тело его?

— Зарыли в роще.

Боярыня снова забилась в рыданиях на постели. Откуда-то из загробного мира до нее долетал серебряный голос:

Тогда солнце и месяц померкнут от великого страха и гнева и с небес упадут звезды...

— Касьян! Касьян! — шептала она, кусая руки.

...как листья с осенних деревьев, и вся земля поколеблется...

31

Когда страсти в Киеве успокоились, Владимир Мономах, мудро выждав время в Переяславле, с большим торжеством и при звуках серебряных труб въехал в город. У Золотых ворот нового великого князя встретил митрополит Никифор с пресвитерами, державшими зажженные свечи в руках, при пении псалмов. Но, несмотря на всю эту пышность и богатые одежды, вид у Мономаха был озабоченный. Что сулило ему великое княжение? На звуки трубы сбегался народ, и все смотрели на князя. Только что сшитое корзно топорщилось на его плечах, как церковная риза. Он поглядывал на горожан из-под насупленных бровей. На Большой улице, что шла от ворот к св.Софии, теснилось множество людей с волнением, страхом и надеждой смотревших на великого князя. Над толпою как бы плыло красное корзно с черными орлами в золотых кругах, чередовавшихся с зелеными крестами. Весело цокали подковы о камень. За князем ехали рядами отроки, румяные, золотокудрые, счастливые оттого, что вступали в стольный город.

В великокняжеских палатах, пустовавших после смерти Святополка, было страшно и тихо. Слуги бродили по покоям и переходам, прижимаясь к стене, страшась расправы за разворованное имущество. Все знали, что князь Владимир суров и требователен.

Вскоре по прибытии в Киев Мономах посетил митрополита и тем доставил честолюбивому греку большое удовольствие. Князь был уверен, что Никифор при каждом удобном случае пишет в Царьград донесения не только патриарху, но и царю, и поэтому обдумывал каждое слово во время беседы в митрополичьих покоях, чтобы не портить отношений с константинопольскими властями. К сожалению, митрополит не говорил по-русски, и это затрудняло беседу. Великий князь и иерарх сидели в тяжелых креслах, а между ними стоял переводчик, монах из Печерского монастыря, знавший не только греческий язык, но даже латынь и язык евреев. Завистники говорили о нем, что его обучили этому бесы. Мономах тоже понимал по-гречески, но многое забыл и стеснялся объясняться на этом наречии. Инок, вытирая вспотевшую от волнения лысину неопрятным красным платком со следами елея, старательно переводил вопросы и ответы.

Беседа носила отвлеченный и богословский характер. По константинопольскому обычаю, черноглазые прислужники в монашеском одеянии приносили на серебряном подносе различные сласти и вино в плоских серебряных чашах, разбавленное теплой водой. Митрополит улыбался всем своим лицом светлomu гостю. Глаза его излучали медовую ласковость. Когда Никифор хотел что-нибудь сказать, он тянул за рукав переводчика, весьма смущенного тем, что он находится в обществе таких важных особ. Это случалось не каждый день.

Чтобы доставить удовольствие митрополиту и расположить его к себе. Мономах заговорил о нарушении латынянами христианской веры. Обращаясь к переводчику, князь только слегка поднимал палец.

Никифор, снова потрепав монаха за рясу, объяснял:

— Прегрешения эти велики и многообразны. Во-первых, они совершают таинство причащения на опресноках и тем самым уподобляются иудеям, вкушающим пресный хлеб на Пасху. Тебе это известно. В то время как апостолы совершали Тайную вечерю...

Князя для большей торжественности сопровождали на митрополичье подворье два боярина — Ратибор и Мирослав. Оба сидели в нарядных плащах. Им тотчас стало жарко. Но приличие требовало, чтобы они оставались в невыносимо пышном одеянии. Только князь сбросил свое корзно в передней горнице и остался в красной широкой рубахе с золотым оплечьем. Старым дружинникам не очень-то было удобно сидеть на жесткой скамье, держа в одной руке за коротенькую ручку серебряную чашу с теплым вином, какое дают после причастия, а в другой — орех, сваренный в меду. На лове или в походе, верхом на коне, эти воины чувствовали себя значительно увереннее и свободнее. Там все было привычно и движения не связаны непонятными греческими обычаями. Даже на княжеском совете разрешалось вставать с места, ударять кулаком в ладонь или воздеть руки. А здесь они очутились в совсем ином мире, да и речь шла о возвышенных вещах.

Загибая белые пальцы опрятных рук с коротко остриженными розоватыми ногтями, митрополит продолжал пересчитывать грехи латынян:

— Во-вторых, они едят давленину, что возбраняется апостольскими постановлениями. В-третьих, бреют головы и бороды, что тоже запрещено даже Моисеевым законом.

Все так же вытирая потное лицо, ученый монах переводил, спотыкаясь порой от непривычки и невольно волнуясь в присутствии великого князя, а Никифор вызывал в памяти все новые и новые латинские прегрешения:

— Пост соблюдают в субботу... Чернецы едят свиное сало, что при коже, и мясо запрещенных животных. Сыпят соль в рот крещаемым и крестят в единое погружение, как ариане. Еще епископы у них ходят на войну и оскверняют руки человеческой кровью...

Митрополит говорил также об исхождении духа от сына, и Мономах вежливо слушал. Подобные разговоры возвышали его в собственных глазах: он беседовал о церковных тонкостях с образованным греком.

Позади Никифора поместились два греческих священника и какой-то царский чин, явившийся из Царьграда. Он был в коротком плаще придворного покроя, с нелепой острой полкой спереди, предназначенной не столько для того, чтобы согреть человеческое тело, сколько указывать звание чиновника. Вельможа делал вид, что тоже не понимает язык руссов, хотя Мономах отлично знал, что в Киев не присылают таких, и уклонялся от вопросов Никифора, старавшегося свести беседу к мыслям о значении царя ромеев. Митрополит намекал на зависимость всех христиан от власти василевса. Но Владимир в душе посмеивался: какая может быть зависимость от власти, которая не располагает достаточными средствами, чтобы заставить повиноваться даже своих собственных людей.

Так как в своей речи митрополит употребил слово «истина», то Мономах спросил, подражая Пилату:

— Как же можно определить, что истина, а что ложь?

Никифор, посвящавший свои досуги в этой скифской глуши философским размышлениям, с удовольствием приготовился ответить на этот вопрос.

— Ты спрашиваешь, как человек может отличить истину от лжи? Но ведь всем в жизни руководит разум или душа, являющаяся у нас духовным началом, в отличие от плоти. Она

состоит из трех проявлений.

Владимир внимательно слушал перевод.

— Ее выражают ум, чувство и воля. Что такое ум? Он управляет нашими поступками, если мы желаем идти по пути праведных. Но не следует человеку возноситься своим умом паче меры. Мы знаем, что однажды случилось так. Ангел денницы, сиявший божественным светом, возгордился и захотел стать равным богу. И что же произошло? Его лик стал темен, как у эфиопа, и как бы озарился адским пламенем. Многие другие, слепо доверявшие разуму, дошли до того, что начали поклоняться козлицам, крокодилам или змею.

Сидевший в глубоком молчании константинопольский грек, оказавшийся родственником митрополита и некогда посещавший школу св.Павла, знакомый с тем же Италом и Феодором Продромом, известным стихотворцем, ничего особенного в этих высказываниях не видел. Но для Мономаха, занятого левами и походами на половцев, что отвлекало его от книжного чтения, подобные слова казались настоящим откровением. Они объясняли ему сущность жизни и отношение к мирозданию, вводили в прекрасный мир философии.

— Как видишь, благородный князь, еще недостаточно разума, чтобы человек мог получить вечное блаженство и стать совершенным в своих поступках. К счастью, кроме разума человеку даны его чувства. Да будет тебе известно, что в нашем теле обитают и правитель и его слуги. Первый — душа, она витает в главе.

Митрополит даже постучал слегка пальцами по лбу.

— Душа — как светлое око. Она руководит нашим телом и наполняет его жизнью до кончиков пальцев. Вот так и ты, благородный князь, сидишь в своей палате и приказываешь слугам, и они тотчас выполняют твои повеления. Душа говорит ногам: «Идите!» И они идут.

Князь взволнованно кивал головой в знак того, что понимает эти важные мысли.

— Или, скажем...

Никифор прикрыл рот рукою и с озабоченным видом нужный ему пример стал искать где-то у зеленых сапог Ратибора. Потом вдруг поднял с удовлетворением перст:

— Да, вот... Не знаем ли мы все, что огонь жжет и опалает, причиняя боль человекам? Но разуму нашему известно это свойство пламени, и он удерживает наши руки от прикосновения к раскаленному железу или к горячей свече. Не так ли? Ведь и ты не велишь своему отроку ехать в неприятельский лагерь, зная, что там могут убить его стрелой. Так мы воспринимаем весь мир, и для этого в распоряжении души пять верных слуг. А служители эти: очи, слух...

Митрополит соответственно своим словам трогал пальцами глаза, или уши, или нос. Он у него был мясистый и в красноватых жилках.

— Обоняние. При посредстве ноздрей. Вкус и осязание... Но обрати внимание на следующее. Зрение никогда не обманывает нас. Все то, что мы видим, в действительности существует и осязаемо. Другое дело — слух.

Мономах насторожился. Митрополит объяснял ему:

— Иногда слух сообщает нам истину, иногда же обманывает нас злобно. Почему это так, я сам недоумеваю. Вероятно, потому, что глаза видят только то, что находится перед нами, и поэтому ты всегда можешь проверить обман, а слух воспринимает и слова... — Никифор опять поднял многозначительно перст, — ...и слова, порой нашептанные нам человеком, стоящим позади. Ты слушаешь его. Но не верь всему, о чем он вопиет, если не проверишь предварительно сказанное испытанием. А бывает и так, что ты внимаешь другим и в слух

твой вонзается стрела...

Мономаху показалось, что митрополит намекает на обыкновение правителей слушать доносы. Однако как же обойтись без них в государственных делах?

— А что тебе известно об обонянии? — спросил князь, чтобы снова перевести разговор на отвлеченные предметы.

Никифор, сияя глазами от радости, что в данном случае может дать самый любезный ответ на подобный вопрос, широко развел руки.

— Что мне говорить о благоухании такому князю, который чаще спит на земле, завернувшись в вонючую овчину, чем в мягкой постели и среди фимиама, и не любит проводить время в украшенных палатах, а предпочитает бродить по лесам, выслеживая зверя на ловах или собирая законную дань? Ведь ты носишь часто простую одежду и, только въезжая в город, надеваешь ради величия власти светлые ризы. Как полагается правителю. Благовония же предоставим изнеженным женщинам...

Митрополит тихо смеялся в кулак, вспоминая накрашенных константинопольских красавиц.

Но Никифору опять пришло на ум воспользоваться случаем и сказать князю еще что-нибудь приятное. Он даже подался вперед в своем кресле.

— Или вкус! О, мы все хорошо знаем, что когда ты устраиваешь пир, то угощаешь одинаково радушно званых и незваных и не гнушаешься служить другим, а сам даже не притрагиваешься к вкусным яствам. Ты охотно раздаешь золото и серебро, но сокровищница твоя от этого не скудеет...

Мономах понял, куда клонит митрополит. Ну что ж! Он согласен и впредь оделять митрополита и епископов. Пусть молятся о его грешной душе.

Ратибор относился к подобным беседам с полнейшим равнодушием, и ему уже надоело держать неудобную чашу. Он не знал, что это один из приемов греческого воспитания. Человек, имеющий в руках какой-нибудь предмет, тем самым лишается возможности размахивать ими, как в уличной драке, поэтому его движения тем самым становятся изящными, и вместе с ними так же пристойно развивается его мысль. Кроме того, митрополит считал, что ни к чему напрасно расходовать деньги на угощение людей, и без того ежедневно обжираться мясом. Не лучше ли эти средства потратить на бедных, сирот и вдов? Хотя что-то никто не замечал, чтобы бедняки получали много милостыни на митрополическом дворе. Но ведь на иерархе лежали более высокие и ответственные обязанности: вести свою паству к небесному спасению. Во всяком случае, угощение у митрополита неизменно ограничивалось чашей красного вина, разбавленного водой и сваренного с пряностями, и горстью грецких орехов в меду или сушеных смокв.

Не в пример Ратибору, боярин Мирослав, наоборот, ценил подобные посещения. Отпивая крошечными глотками вино, чтобы показать митрополиту всю свою благопристойность, он с удовольствием слушал беседу о душе, хотя мало что постигал в ней. Ему доставляло удовольствие уже одно то, что он переступил во время этого разговора порог, за который могут ступать только избранные, не такие грубые мужи, как какой-нибудь Ольбер Ратиборович или даже его брат Фома.

Настало время прощания. Мономах спросил:

— Еще хотелось бы мне знать...

— Слушаю тебя, благородный князь.

— Что есть рай мысленный? Есть ли в нем сады, а на их деревьях плоды, которые можно вкушать?

Никифор задумался на минуту.

— Существует книга. Она называется «Диоптра». Это плач и рыдания одного странного инока. Она написана неким Филиппом, а предисловие к ней составил не кто иной, как сам Михаил Пселл. Я пришлю тебе эту книгу. Ты почерпнешь в ней и ответ на твои вопрос и многое другое узнаешь о своей душе. У этого писателя плоть называет душу своей владычицей, а себя — рабыней души. Очень занимательная книга в вопросах и ответах...

Князь благодарил.

— И не забудь, благородный, — провозжая до дверей высокого гостя, говорил митрополит, — что только смерть льет воду в печь наших воспаленных желаний.

Перед самым расставанием, уже на лестнице, Никифор спросил Мирослава, желая и этому гостю сказать что-нибудь приятное:

— Слышал, ты на свои средства отправил инока Дионисия в Иерусалим?

Этот вопрос действительно пощекотал самолюбие тщеславного боярина. Ему доставила удовольствие мысль, что о его благочестивой затее знает и митрополит, а может быть, известно даже в Царьграде. Дионисий привез ему кусок камня от гроба Христа.

— Какая цель руководила тобой? — дружески расспрашивал Никифор.

Боярин потирал руки.

— Сам я уже не в том возрасте, чтобы пуститься в такое далекое путешествие, и поэтому мне пришлось на ум отправить кого-нибудь, чтобы этот человек все увидел своими глазами и, возвратясь в свое отечество, рассказал мне обо всем как очевидец...

— Умно, умно... — одобрял митрополит.

Владимир Мономах прибавил с улыбкой:

— Боярин намерен и в Царьград послать другого инока. Писец Григорий сделал для него Евангелие, и теперь требуется переплести его достойным образом, а в Греческой земле умеют оковывать книги в серебро.

— Умно и это, — повторял Никифор. — Ты там найдешь прекрасных художников, которые выполнят твое желание.

На дворе отроки уже держали под уздцы коней, плясавших от нетерпения, вызывая восхищенные взгляды греческих монахов.

32

Позади последний дуб растаял в зимней мгле. Тесно перебирая ногами, так что было видно, как на его лядвях напрягались железные мышцы, огромный конь втащил сани на косогор. Отсюда к Переяславлю спускалась уже прямая и ровная дорога. Город виднелся вдали. Мономах прикрыл рукой глаза и еще раз увидел места, где столько пережил и передумал. Слева раскинулись в беспорядке хижины слободы, кузницы и гумна. Справа, по обоим

берегам Альты, что впадала здесь в Трубеж, голубела дубовая роща. Город был расположен дальше, и его окружали высокие валы с частоколом. Мономаху показалось, что он узнает вдали приземистую башню над Епископскими воротами, с нахлобученной снежной шапкой.

Князь усмехнулся: в Царьграде хорошо знали этот крепкий русский орех. В языческие времена, когда предки еще клялись Перуном и Белесом и приносили клятву на своих обнаженных мечах, в договорах с греками неизменно требовалась часть добычи и на Переяславскую землю. Потом Владимир вздохнул при мысли, что едва ли патриарх причтет его к сонму святых после тех неприятностей, какие он причинил царям в последние годы, невзирая на знаменитое прозвище и Мономахову кровь в своих жилах. Там хорошо знали, как вел себя переяславский князь, когда Алексей Комнин пытался использовать Олега в своих дальновидных целях. Ничего из этих попыток не вышло, так как Мономах тоже внимательно следил за игрой хитроумных вельмож. Все переплелось и перемешалось в этих событиях: установленные вселенскими соборами церковные догматы, и притязания греческих царей на всемирное руководство, торговля мехами, шелком или пурпуром, а в то же время — судьба тысяч людей, которых никогда не следует доводить до отчаяния.

В те дни купцы, приходившие из греков, рассказывали, что там происходит большая смута. Никифор Вотаниат не сумел расположить к себе константинопольский народ, легкомысленно опустошал государственную сокровищницу, щедро раздавал награды своим приверженцам и любовницам, но этим только возбуждал неудовольствие у тех, кому ничего не досталось. Супруга царя Мария благоволила к великому domestiку Алексею Комнину, глаза которого, по словам Анны, не жалевшей красок в своей книге для портрета отца, блистали, как звезды, когда он победоносно крутил шелковистые усы. Этот блистательный воин победил Вриенния, носившегося на коне, подобно новому Аресу, возвышавшегося головой над другими людьми на целый локоть. Когда закованные с ног до головы в железо отборные воины — катафракты — побежали без оглядки перед дружиной Вриенния, Алексей остановил их мощной рукой и одержал победу. Другой опасный мятежник, по имени Васибеки, едва не убил великого domestiка. Однажды Васибеки уже ворвался в его шатер, но нашел там только трепещущего от страха инока Иоанникия, всюду сопровождавшего Алексея по настойчивой просьбе его матери. В горячей схватке каппадокиец по имени Гул ударил предводителя мятежников мечом по голове, однако потерпел, как пишет Анна Комнина, ту же самую неудачу, что и Менелай с Парисом. Если перевести эту пышную метафору на обыкновенный язык, каким описываются битвы, то у Гула попросту сломался клинок. С Васибеки domestiк сражался с таким же упорством, с каким лев борется против дикого кабана, вооруженного смертоносными клыками. Победенного мятежника немедленно ослепили. За эти подвиги Алексей получил звание севаста, а его брата Исаака сделали дукой Антиохии, совершенно неприступной крепости. Царь Никифор прижимал обоих к своей груди, и Борил и Герман, двое всесильных временщиков, скрипели зубами от зависти. Описывая события тех лет, греческая писательница презрительно называет этих царедворцев рабами.

Но назревали события. Никифор приближался к концу своих дней и имел намерение передать престол сыну царицы Марии. Однажды Алексей и Исаак явились к ней, чтобы условиться о том, как поступить при таких обстоятельствах. Царица не дала определенного ответа, хотя братья намекали, что предлагают свои услуги. Следуя придворному ритуалу, они отступили назад и, не произнося ни одного слова, но опустив глаза долу и сложив руки на груди, что тоже требовалось сложным ромейским церемониалом, постояли некоторое время в задумчивости и потом, сделав обычный глубокий поклон, удалились почтительно, но с тревожным чувством в душе. Однако у них уже созрел в уме тайный план, который они пока никому не открывали, опасаясь, подобно рыбакам, выходящим в море на ловитву, спугнуть добычу. С тех пор они всячески старались приобрести расположение царицы Марии. Между тем Борил донес болящему царю, что великий domestiк ведет себя крайне подозрительно и стягивает к Константинополю значительные воинские силы. Теперь Комнинам нужно было действовать быстро и решительно. Алексей, человек очень щедрый, во всяком случае не из

тех, кто скупится, по константинопольской поговорке, на тмин в похлебку, привлек на свою сторону многих знатных людей.

Наступила ночь сырного воскресенья. Едва пропели первые петухи, братья Комнины, захватив боевых жеребцов на императорской конюшне, покинули вместе с другими заговорщиками спящую столицу. Потом об этой знаменательной ночи в Константинополе сложили веселую песенку:

В эту сырную субботу догадался Алексей, он из клетки золоченой, словно сокол, улетел...

Среди других на сторону Комнинов стал могущественный вельможа Георгий Палеолог и кесарь Иоанн Дука. Алексей, как умный человек, притворно отказывался принять царскую власть, но Исаак насильно надел на брата пурпуровые сапожки. Никифор Вотаниат, всеми оставленный и уже сделавшийся робким в старости, пытался сговориться с мятежниками, предлагая сделать Алексея своим соправителем, но в конце концов вынужден был сменить царский пурпур на монашеские одежды. Его спросили:

— Не тяжело ли переносить подобную перемену судьбы?

Низложенный царь хмуро ответил:

— Меня только огорчает теперь воздержание от мяса.

Такие слова говорят о том, каким ничтожным являлся этот человек во всей пышности своего положения.

На престол вступил Алексей Комнин и положил начало блистательной династии. Впрочем, немало трудов и огорчений было у Алексея Комнина. Лицо Востока к тому времени претерпело большие изменения. В Багдаде, в Египте и даже в далекой Испании халифы постепенно утратили воинственный пыл Магометовой веры и предпочли вкушать мудрый покой под шорох прохладных фонтанов, перечитывая астрономические альманахи. Они уже забыли, что такое упоение конной битвы и блеск мечей под зелеными знаменами пророка. В Багдадской земле царило разделение. Эмиры ссорились друг с другом, как горшечники на базаре или продавцы баранов. На исторической сцене появилась новая сила. Это были турки-сельджуки, принявшие к тому времени ислам. Уже в 1071 году турецкий султан Алп-Арслан разгромил греческое войско и взял в плен самого императора Романа Диогена, как трагически закончившего свои земные дни.

Почти вся христианская земля от Иерусалима до Мелитины подверглась разграблению. Двести турецких кораблей бороздили Пропонтиду во всех направлениях. Их влекли к себе богатства св.Софии, с жемчугами и золотом которой могли поспорить только сокровища храма Соломона.

А между тем Алексей потерпел страшное поражение от печенегов и спасся только в постыдном бегстве. Константинополю угрожал турецкий пират Чаха. Алексей находился порой на краю бездны и переживал настоящее отчаянье.

В жестокой борьбе за Константинополь, которому уже угрожала непосредственная опасность, Алексей вынужден был изъять из храмов священные сосуды, чтобы иметь возможность заплатить наемникам и приобрести оружие. Когда его обвиняли в святотатстве, образованный император с горечью отвечал:

— Я нашел царство ромеев, окруженное со всех сторон варварами, и, не имея ничего для борьбы с приближавшимися врагами, без всяких средств и без оружия в хранилищах, я использовал взятое в церквах на самые необходимые расходы. Так поступил в свое время Перикл в минуту опасности для Эллады и сам царь Давид, разрешивший своим воинам

вкусить от священных хлебов, когда они взалкали после битвы...

Чтобы выйти из трудного положения, император стал выпускать вместо золотой монеты медную, едва покрывая ее золотым слоем. Но и это не помогло восстановить расстроенные средства государства.

Тем временем в Западной Европе все более настойчиво возникала идея крестового похода. Одни хотели освободить гроб господень в Иерусалиме от насильников — мусульман, другие мечтали о плодородных землях в далекой Сирии, третьи хотели прибрать к рукам богатые торговые города Востока. Говорили, будто сам Алексей Комнин просил о помощи западных рыцарей, — но на самом деле василевс не знал, как ему избавиться от полчищ незваных помощников, когда они — кто морем, кто посуху — внезапно появились у стен греческой столицы.

33

Уже предчувствуя тепло конюшни и вкусный ячмень на зубах, белый жеребец, везший княжеские сани, екая селезенкой, бодро шел рысью по ровной дороге, потряхивая на спине возницу. Далеко впереди и за санями гарцевали отроки, раздумываясь на легком морозе во время этого длительного перехода. Наступали сумерки. Справа, над деревьями дубовой рощи, кружилось черное воронье, устраиваясь на ночлег. Мирный город тоже готовился отойти ко сну, и Любава заплетала на ночь при свете масляного светильника золотистую косу.

Родом из Переяславля были и те двое юношей — имена их не сохранились для потомства, — что отправились однажды со странниками на поклонение гробу Христа и, захваченные в Сирии событиями, взяли в руки оружие, чтобы сражаться в христианских рядах; они пали где-то под Антиохией, в безводной пустыне, в то время как их соотечественники сражались в степях с половцами. Весь Восток был залит тогда кровью.

Владимир Мономах только в общих чертах мог иметь представление о том, что происходит в его дни в Западной Европе, когда там началось движение, известное в истории под названием Первого крестового похода. Но ему, конечно, было известно, что тысячи христиан двинулись на Восток и после кровопролитных битв освободили Иерусалим от агарян.

Пилигримы, ходившие на поклонение христианским святыням в Палестину, возвращаясь на родину, если им удавалось возвратиться из этого опасного путешествия, приносили с собой не только увядшие пальмовые ветви или иорданские камушки, но и восторженные рассказы о богатых восточных городах, обильных товарами и торговой суетой базарах, великолепных дворцах, фонтанах и прочих чудесах сарацинской жизни. В Сирии в изобилии росли пальмы, виноградная лоза, хлопок, оливковые деревья, смоковницы, персики, миндаль, лимоны, бананы и великолепная пшеница. Эти сады и огороды орошались дождевой водой, которой в период зимних ливней предусмотрительно наполнялись вместительные цистерны. Торговля в сирийских и палестинских городах процветала. Приморские поселения являлись портами, из которых вывозились шелковые ткани, сухие плоды, стеклянные изделия, оружие, а также скот и пшеница. Здесь строились корабли и добывались металлы и мрамор. Все это происходило на глазах у паломников.

В ноябре 1095 года был созван Клермо некий собор. Он происходил под открытым небом, так как во всем городе не нашлось такого обширного помещения, чтобы вместить под своей крышей толпы его участников. Папа Урбан произносил зажигательные речи, призывая христиан отправиться в Палестину, на освобождение гроба Христа. Кроме вечного

блаженства погибшим за святое предприятие, он обещал живым:

— Кто здесь беден, там будет богатым!

Тысячи людей, влачивших в европейских странах жалкое существование, мечтали о лучшей доле, поэтому не приходится удивляться тому, что многие поселяне бросили свои хижины, подковали мирных волов, как это делали рыцари с боевыми конями, погрузили на повозки детей и скудное свое имущество и, нашив на лохмотья красные кресты, двинулись на Восток. Перед каждым большим городом они останавливались и спрашивали встречных, указывая корявыми пальцами на незнакомые башни и церкви:

— Не Иерусалим ли это?

Трудно себе представить, на что они могли надеяться, так как у них не было ни организации, ни оружия, а человек, который вел их на верную гибель, Петр Пустынник, оказался беспочвенным мечтателем и бросил несчастных в трудную минуту. В пути эти люди вынуждены были жить грабежом, поэтому жители стран и областей, по которым они проходили, безжалостно уничтожали нежелательных бродяг. В Трире, Майнце и Вормсе они в свой черед избивали евреев, считая, что мстят за распятие Христа. В Венгрии их поджидал на границе король Коломан и потребовал, чтобы они не грабили его землю. В Чехии большой отряд крестьянских крестоносцев был уничтожен войсками князя Брячислава. В конце концов так же поступил с ними и венгерский король.

Но все-таки около двухсот тысяч человек добралось до Константинополя. Эти безоружные люди представляли собою жалкий и никому не нужный сброд. Император Алексей, опытный воин, по собственному опыту знавший, какой страшный враг ждет крестоносцев в Азии, уговаривал Петра Пустынника не торопиться с переправой на другой берег. Крестьяне послушались совета и весьма удивлялись богатству Константинополя, а потом начали грабить лавки, что вызвало вмешательство местных властей. В конце концов, чтобы избавиться от этих беспокойных гостей, греки переправили их через Босфор. Это произошло в октябре 1096 года. Увы, вскоре почти все принявшие участие в походе были перебиты турками или обращены в рабство. Но в это время уже двинулись в путь рыцарские ополчения.

Во главе воинственного нормандского рыцарства стал герцог Роберт, родной брат Вильгельма Завоевателя; из Лотарингии рыцарей повел Готфрид Бульонский, из Южной Франции — граф Раймунд Тулузский, из Италии — Боэмунд Тарентский. Эти могущественные феодалы надеялись возместить свои потери в Европе новыми завоеваниями в восточных богатых странах. Так, например, рассуждал Готфрид, заложивший свои владения епископу города Льежа, чтобы иметь возможность нанять семьдесят тысяч воинов и предпринять этот рискованный поход. С ним двинулись также два брата — Евстафий и Балдуин, впоследствии ставший королем иерусалимским. Французских рыцарей возглавил граф Гуго Вермандуа, брат короля Филиппа I, сын Анны Ярославны. Этот рыцарь очень гордился своим происхождением. Менестрели называли его вторым Роландом.

Все эти закованные в железо воины, двинулись через Италию, и граф Гуго Вермандуа получил из рук папы Урбана священную хоругвь. Были своевременно уведомлены о приближении рыцарей и в Константинополе. На тамошних рынках о них говорили:

— Латынян больше, чем звезд на небе, они многочисленнее песка на морском берегу.

Во всяком случае, Алексей Комнин решил принять соответствующие меры. Первый из крестоносцев, с кем познакомился император, и был граф Гуго. Он написал Алексею еще из Италии. Но встреча Алексея с братом французского короля произошла при неблагоприятных обстоятельствах и без всякой пышности. Дело в том, что корабль, на котором плыл Гуго, попал в жестокую бурю и потерпел крушение. Волны выбросили его на греческий берег.

Здесь графа и нашла в самом жалком состоянии береговая стража. Знатного рыцаря немедленно доставили в столицу и поселили в роскошном дворце. Император был очень любезен с ним. Однако само собою разумеется, что за каждым шагом Гуго следили особо приставленные для этой цели люди и обо всем доносили кому следует. Поэтому даже распространились слухи, что граф содержится в качестве пленника, и Готфрид Бульонский стал разорять Грецию, требуя освобождения брата французского короля.

Между тем наступила зима, и, как писала с обычной склонностью своей к пышности слога Анна Комнина, солнце уже стало склоняться к северным кругам. По ее словам, греческий император честно выполнял взятые на себя обязательства, поставляя рыцарским войскам обещанные съестные припасы. Но он, конечно, сделал все, что было в его силах, чтобы поскорее переправить неприятных пришельцев в Азию и там использовать их оружие в собственных целях. Поэтому он просил графа Гуго переговорить с Готфридом Бульонским, не согласен ли тот выступить на театре военных действий как подчиненный ромейскому императору. Готфрид, оттопырив нижнюю губу, презрительно спросил:

— Ты сам стал рабом и меня хочешь сделать таким же, как ты?

Тем не менее Готфриду, очутившемуся в затруднительном положении, пришлось коленопреклоненно принести присягу в ленной верности схизматику. Алексей позолотил пилюлю тем, что льстиво поговорил с каждым влиятельным рыцарем и восхвалял доблесть и знатность их предков. Нашлись среди гостей и грубияны. Например, один из рыцарей бесцеремонно уселся на императорский трон, и когда Балдуин потянул его за рукав, призывая к порядку, то он упирался и, бросая сердитые взгляды в сторону царя, бранился:

— А он воспитанный человек? Сидит развалившись, когда благородные рыцари стоят!

Наконец крестоносцы благополучно переправились на азиатский берег. Всего там оказалось около трехсот тысяч вооруженных воинов и почти столько же слуг, женщин и вообще всякого рода людей, сопровождающих войска в походе. Турецкий султан находился в древней Никее, его владения простирались до самого Евфрата, однако на этой территории насчитывалось больше христиан, чем мусульман, и все эти сирийцы и греки, сохранившие верность христианскому учению, само собою разумеется, ждали крестоносцев как освободителей. Но когда Никея была взята, в нее вошел отряд императорских войск. Латыняне протестовали. Тогда греческий стратиг напомнил им о ленной присяге: согласно заключенному договору с крестоносцами и во исполнение данных клятв, все взятые ими города переходили во власть императора и не должны были подвергаться разграблению. Готфрид Бульонский и на этот раз подчинился царю.

После взятия Никее крестоносное воинство разделилось: часть рыцарей пошли к Тарсу, остальные направились к Антиохии. На берегу Средиземного моря с последними соединились армянские отряды. В ноябре 1097 года крестоносцы подступили к Антиохии, чудовищно укрепленному городу, на стенах которого могла свободно проезжать повозка, запряженная четверкой лошадей. Достаточно сказать, что число городских башен достигало четырехсот пятидесяти. Распоряжался теперь в рыцарском войске на правах полномочного начальника Бозмунд, и когда греческий стратиг Татикий бежал, он потребовал, чтобы его признали верховным вождем.

Началась осада Антиохии. Но благодаря измене одного из военачальников турецкой армии, армянина Фируза, крепость была взята. Увы, вскоре победители сами оказались в осаде, которую повел против города эмир Кербога, пришедший с большим турецким войском. Для поддержания духа у крестоносцев придумали рассказ о чудесном сневидении. Некий монах уверял, что ему явился во сне апостол Андрей и повелел найти копье, которым был прободен Христос на кресте. Копье это якобы находилось в городе. Начались поиски священной реликвии. Разумеется, в указанном месте нашли старую, заржавленную пику и решили, что

это и есть бесценная христианская святыня. Как раз в это время в лагере осаждающих начались ужасные раздоры. Крестоносцы воспользовались этим, сделали удачную вылазку и разгромили табор Кербоги. Конечно, все было приписано божественной помощи.

Впрочем, и у самих крестоносцев начинались споры о власти. Раймунд Тулузский требовал, чтобы во исполнение данной клятвы город был передан греческому царю. Для переговоров с ним послали Гуго Вермандуа. Но граф не вернулся в Антиохию, а сел на корабль и отплыл в милую Францию. В это время император Алексей находился со своими мощными осадными машинами совсем недалеко от антиохийских пределов, однако, по-видимому, не имел большого желания помогать крестоносцам, а, пользуясь тем, что они оттягивают силы турок, без особенных усилий занимал прибрежные города, среди которых были Эфес и Милет.

В Антиохии начался мор, во время которого умер папский легат. Простые воины стали роптать и требовали идти дальше. Вождям пришлось уступить, и крестоносная армия пошла под стены Иерусалима. Город решили взять штурмом. Наконец 15 июля 1099 года священный град пал, после отчаянного сопротивления мусульман. Существенную помощь оказали крестоносцам пизанцы и генуэзцы, доставившие лесные материалы, необходимые для сооружения стенобитных машин. Взяв город, рыцари залили его кровью. Хронисты не без удовольствия рассказывают о лужах крови, по которым ходили воины. Не было пощады ни женщинам, ни младенцам.

Затем в Иерусалиме устроили королевство. Возглавил его Готфрид Бульонский, отказавшийся от титула короля, а назвавший себя только «защитником гроба господня». В его распоряжении осталось всего двести рыцарей и две тысячи простых воинов. Зато у Боэмунда в войске насчитывалось около двадцати тысяч человек. Этот граф ненавидел императора Алексея и, едва освободившись из плена, в который попал во время сражения с турками, поспешил в Европу за новыми подкреплениями. Узнав о его возвращении, греки приложили все усилия, чтобы захватить его корабль, и существует легенда, что Боэмунд велел положить себя в гроб и обманул бдительность императорских соглядатаев, искусно притворившись мертвецом. Весною 1107 года ему, во всяком случае, удалось собрать в Италии еще тридцать тысяч воинов. Папа Пасхалий вручил графу благословительные грамоты, а король Франции выдал за него свою дочь Констанцию.

В это время, невзирая на все свои недуги, император Алексей деятельно продолжал борьбу с турками. Однако, кроме болезней, последние годы его царствования омрачались семейными огорчениями. Царь считал, что наследовать ему должен старший сын Иоанн. Между тем многие предпочитали бы видеть на троне образованную дочь Анну и ее мужа. Алексей знал об этих интригах, в которых была замешана и императрица. В молодые годы часто изменявший своей прелестной супруге, теперь он всюду возил ее за собой, может быть опасаясь, что в его отсутствие она может устроить дворцовый переворот, а царь великолепно знал, что это делается в Священном дворце без особых затруднений. В 1118 году, присутствуя во время какой-то торжественной церемонии на Ипподроме, Алексей почувствовал себя плохо, и его унесли в Большой дворец, а потом в Манганы, вероятно считая, что там, на берегу моря, где веют зефиры, больному будет лучше. Лечил царя медик Николай Калликл, к тому же отличный стихотворец. Но, несмотря на самый внимательный уход, император скончался. На престол вступил Иоанн...

О Балдуине, который сделался царем в Иерусалиме, с симпатией рассказывал Владимиру Мономаху игумен Даниил. Когда однажды король отправлялся в поход на Дамаск, ему сказали, что его хочет видеть русский монах. Балдуин спустился из своего дворца по каменной лестнице, чтобы сесть на коня, которого уже держал под уздцы один из оруженосцев, и к нему подвели одетого на греческий образец священника. Он вспомнил, что где-то видел этого монаха.

Король, высокий человек со светлой бородой, подстриженной по константинопольской моде,

был уже в кольчуге, но поверх ее носил, как делали это и все другие рыцари, чтобы предохранить железо брони от раскаленных лучей солнца, длинное полотняное одеяние, до самых пят, с красным крестом на груди. На голове у Балдуина поблескивала серебристая кольчужка, оставлявшая открытым только лицо. Тяжелый его шлем нес молодой оруженосец с черной челкой на лбу. Такие шлемы только начали входить тогда в употребление и представляли собой нечто вроде ведра с узкими прорезями для глаз. Шлем короля завершали резная золотая корона и три страусовых пера — розовое, белое и голубое.

Балдуин до конца своих дней оставался человеком, лишенным преувеличенной гордыни, свойственной многим знатым рыцарям того времени. Лицо его как будто бы даже выражало некоторое удивление, что он царствует и живет во дворце, окруженный вельможами и слугами, хотя ничем не отличается от любого из знатных воинов. С таким несколько удивленным выражением глаз король спускался и по лестнице, кидая растерянные взоры направо и налево, и вдруг улыбнулся, увидев, что внизу стоит русский аббат, окруженный своими спутниками. Балдуин остановился перед ним. Даниил, за год пребывания в монастыре св.Саввы немного освоившийся с местными обычаями и с этой латинской жизнью, столь не похожей на черниговские нравы, приблизился к королю с поклоном.

— Что ты хочешь, русский игумен? — спросил его король на плохом греческом языке.

Рядом с Даниилом стояли люди, пришедшие сюда из Новгорода и Киева, богатые купцы Седеслав Иванькович и Горислав Михалкович, также два брата Кашкичи и некоторые другие паломники. Обязанности переводчика во время странствований Даниила по достопримечательным местам исполнял обычно один монах из монастыря св.Саввы, где проживал черниговский игумен. Но этот человек, пришедший сюда из славянской страны, хорошо говорил только по-гречески, а языка латынчан не знал. Поэтому объясняться с королем Балдуином было затруднительно. Балдуин понял, что аббат имеет намерение отправиться вместе со своими спутниками в Галилею и просит позволения совершить этот небезопасный путь под защитой королевского войска. Король разрешил Даниилу и его спутникам это предприятие, поручив пажам всячески заботиться о нуждах русских путешественников. Отдав эти распоряжения на странно звучащем для слуха черниговца наречии, Балдуин протянул руки к шлему, чтобы надеть его на голову. Другой паж тотчас подвел боевого коня под длинным, до самых бабок, покрывалом из красной шелковой ткани, с вышитым на боку геральдическим сухопарым львом, вставшим на дыбы и высунувшим волнообразно длинный язык. Для большой конской головы в покрывале был искусно выкроен особый мешок с двумя широкими отверстиями для глаз, непривычными для русских. Король не без труда влез на седло с помощью оруженосцев и, еще раз улыбнувшись Даниилу, тронулся в путь. Он очень уважал русского аббата за его скромность и умение держаться с достоинством. В такт конскому шагу мерно покачивались страусовые перья на королевском шлеме. Розовое, белое и голубое.

Так как король велел предоставить монаху выносливого мула, а его спутникам коней, то оруженосец повел Даниила на конюшню, ласково предлагая, чтобы он выбрал там животное по своему вкусу. Надо было торопиться, потому что передовые части войска выступили уже на заре и двинулись по щебнистой дороге вдоль берега Иордана на север.

Русские паломники хотели побывать в Тивериаде, Назарете и подняться на гору Фавор, чтобы потом рассказать об этом на Руси. Путешествие из Иерусалима в Галилею продолжалось три дня. Путь в Галилею часто проходил среди каменистых гор, в безлюдной и безводной местности, и русские люди с любопытством, смешанным отчасти со страхом перед непривычностью этого зрелища, взирали на страшные кручи. Кое-где попадались становища с населением, имевшим разбойничий вид, но войска Балдуина служили залогом безопасности. Поселяне придорожных деревень смотрели на проходившее войско без большой нежности и предусмотрительно прятали своих коз и ослов в укромных местах. Наконец среди бесплодных и как бы лунных гор блеснуло Генисаретское озеро, синее, как

сапфир, и из груди у путников вырвался тогда вздох восхищения. Король Балдуин тоже остановил коня, чтобы полюбоваться открывшимся зрелищем...

Даниилу уже не в первый раз приходилось пользоваться любезностью иерусалимского короля. Он являлся для Балдуина представителем той таинственной страны, родом из которой была Анна — мать Филиппа и Гуго. Граф Вермандуа неожиданно покинул Палестину и отправился во Францию. Но когда его обвинили в трусости, он вторично вернулся в Святую землю, был ранен при осаде Антиохии и умер от полученных увечий в Тарсе, где и был похоронен, как подобает рыцарю и брату французского короля.

Однажды Даниил явился к королю. Как всегда, у дверей дворца стояла вооруженная стража, а в переднем покое, где надо было подождать, когда позовут к королю, толпились рыцари, пришедшие сюда с жалобами и просьбами о вознаграждении.

— Что тебе надобно, русский игумен? — по своему обыкновению спросил Балдуин.

Даниил любил свою землю и не мог забыть о ней на чужбине.

— Господин, — сказал он, — я пришел к тебе от имени русских князей, чтобы ты позволил поставить на гроб Христа лампаду за Русскую землю и всех ее христиан...

Король охотно разрешил. Он всегда был особенно любезен с этим аббатом, пришедшим из далекой страны.

Игумен Даниил спешно отправился на городской базар, в то место, где находились лавки медников и продавцов стеклянных изделий, с денежной помощью своих богатых спутников приобрел в одной из греческих лавок большую стеклянную лампаду и наполнил ее чистым елеем, без примеси воды. Король послал с игуменом одного из своих рыцарей к эконому храма Воскресения, наблюдавшему за христианскими святынями, и тот, попросив, чтобы Даниил и его сопровождающие сняли калиги, повел всех в священную пещеру.

Черниговский монах рассказывал об этом по возвращении на Русь Владимиру Мономаху:

— Это случилось уже к вечеру. Я принес лампаду в церковь и своими грешными руками поставил ее в ногах гроба. В изголовье уже стояла греческая лампада, а посреди — от монастыря святого Саввы. Латинские же светильники висят на цепочках над гробом.

Подперев голову рукой, князь слушал рассказ о далеком Иерусалиме, где находится пуп земли и другие чудеса.

— Наутро перед храмом собралось множество народу, так как наступила Пасха. Пришли сюда не только местные жители, но и из далеких стран. Из Греческой земли и Египта, из Вавилона и Антиохии. Сделалась такая теснота, что сам король не имел возможности войти в церковь, и его отроки вынуждены были расталкивать людей. Тогда он прошел как бы по живой улице, и вместе с ним шел я, а позади нас двигалась его дружина. Король стал на предоставленном ему месте и прослезился, ибо даже человек с каменным сердцем не может удержаться от слез в этом месте. Меня он поставил наверху, откуда я мог все видеть...

Дальше следовал рассказ, как таинственным образом зажглись светильники и горели огнем, подобным киновари. Мономах знал, что в иерусалимских церквях на великой ектении поминается и его имя.

Мономах совершил путь из Чернигова в Переяславль совершенно неожиданно, просто потому, что вдруг у него родилось желание побывать в этом городе. Он сказал:

— Хочу навестить милого сына Ярополка и молодую сноху, поклониться гробницам близких своих...

Князь велел свернуть с дороги, что вела в Киев, на переяславскую, и вот уже путешествие приближалось к концу, а никто не встречал старого князя у городских ворот, ибо не получили уведомления.

В тихий и богоспасаемый город на реке Трубеже прибыли, когда на снежные поля уже опустились голубые сумерки и вечерняя заря угасла за белыми дубами. С этой стороны въезжали в Переяславль через древние Епископские ворота. Все тут было знакомо Мономаху с юных лет. Слобода гончаров вдоль оврага, где они брали глину для горшков и мисок. Хижины еврейских ремесленников. Иудейское кладбище. Слева от дороги черные кузницы, и одна из них — Косты. Но час наступил поздний, и в горнах уже потушили огонь. Впереди зияли чернотой ворота приземистой дубовой башни. С обеих ее сторон тянулись засыпанные снегом валы с дубовым частоколом наверху. Над городом летало шумное воронье...

Люди уже вечеряли, и на пути не попадалось встречных. Сам князь Ярополк ничего не знал о приезде отца, веселился в палате со своей супругой, а не вылетел из ворот навстречу родителю, на склонившемся набок от быстрого хода коне, шибко выбрасывающем комья снега подковами задних ног. Не ожидая никаких событий, на склоне дня, епископ Лазарь тоже спокойно читал в теплой горнице увлекательную книгу под названием «Зерцало, или Плачеве и рыдания странного и грешного инок». Хлебал деревянной ложкой щи с курятиной тысяцкий Станислав. При распахнутых настезь воротах никого не оказалось.

Передовые отроки, прихорашиваясь и поправляя шапки, уже въезжали в город.

— Где вратные стражи? — сердито спросил Мономах ехавшего рядом с санями Илью Дубца.
— Никого не вижу.

Илья огляделся, но стражей тоже не обнаружил.

— Бросили ворота, псы, — проворчал он. — Но вот идет кто-то, спрошу его.

Действительно, со стороны города в ворота вошел человек в черной медвежьей шубе и в такой же косматой шапке. Увидев, что приехали на откормленных конях вооруженные люди, прохожий понял, что это явился какой-нибудь важный боярин или князь, и прижался к бревенчатой стене воротного проезда.

— Ты кто? — спросил его с коня Илья.

— Гончар.

— Как звать тебя?

— Лепок.

— Ты воротный страж?

— Не я.

Старый князь тоже сурово посмотрел на гончара, от смущения даже не снявшего перед ним шапку, на что Мономах большого внимания не обратил, но сам стал производить допрос:

— Почему нет никого у башни и ворота не заперты, а близок уже ночной час?

— Стражи сегодня Козьма и Коста. Кузнецы.

Гончар бесстрашно смотрел в лицо князю.

— Где же они?

— Козьма в Устье уехал. Это я знаю. А где Коста...

По своему обыкновению Мономах входил во всякую малость, все хотел знать, иметь полное представление о том, что творится в каждом городе, в каждой веси.

— Зачем этот человек поехал в Устье?

— Сапоги покупать у богородицкого дьяка.

— Далеко поехал за сапогами.

— Услышал, что дьяк дешево продает.

— Значит, есть деньги у кузнеца, — сказал князь.

— Говорят, гривну на дороге нашел.

— Гривну? На какой дороге?

— На киевской.

— О потере кто-нибудь на торге заявлял?

— Не слышали.

Мономах остался недоволен сторожевой службой в Переяславле и уже грозился в душе, что строго взыщет с тысяцкого и от сына Ярополка потребует отчета.

— А другой кузнец где? — спросил он.

Прохожий почесал за ухом.

— Другой кузнец — Коста. Он тут должен быть.

— Почему же он не при воротах?

Злат наострил уши, чтобы лучше слышать, что будут говорить о кузнеце Косте.

Ежедневно к каждому городским воротам назначались из жителей по два стража. Они должны были охранять въезд в город, а с наступлением темноты запирали дубовые створки на железные запоры. Но в последние годы в Переяславской земле стояла тишина, люди забыли об опасности и стали пренебрегать сторожевой службой.

Мономах подумал опять, что непременно взыщет с тысяцкого, на обязанности которого лежало наблюдать за всеми военными делами. Но в это время из корчмы вышел кузнец Коста. Он постоял мгновение на пороге и бросился к башне, увидев, что там столпились конные отроки, судя по знакомым коням и одежде. Прохожий, что носил медвежью шубу, указал на него перстом:

— Вот спешит Коста!

Кузнец пробрался между конями к воротам и очутился лицом к лицу со старым князем.

— Ты страж при воротах? Почему свое место покинул? — строго спросил Владимир.

Коста снял заячью шапку и тут же придумал оправдание для себя:

— Вот прибежал ворота запирать. А ходил домой за куском пирога на ночь. Да твоя дружина всю дорогу загородила. Едва пробрался между лошадиных боков.

Мономах сделал вид, что поверил.

— Ты кузнец? — спросил он.

— Кузнец.

— Не ты ли мне меч ковал?

— Я, князь.

— Починишь мое оружие. Что-то рукоять расшаталась.

— Починю, княже.

— Придешь завтра на княжеский двор.

Так они смотрели друг на друга, два человека, один уверенный в силе своих рук, привыкших к тяжкому молоту, другой во всей крепости своей души, повелевая всей Русской землей. Наконец князь нахмурил брови и произнес:

— Приехали на ночь глядя. Чего ждешь? Пора запирать ворота!

Румяный возница на коне, с наслаждением слушавший разговор князя с горожанами про сапоги и о том, что Коста должен меч чинить, встрепенулся и понял, что надо ехать дальше. Он тронул коня, и весь обоз стал въезжать в город. Сани снова закрипели на снегу.

Позабыв о голоде, возница переживал историю с найденной гривной. Чего не слушаешься, когда возишь старого князя!

Когда последний конь, помахивая хвостом, точно радуясь, что скоро он отдохнет в теплой конюшне, очутился за воротами, кузнец Коста, упершись в дубовые створки, затворил скрипучие ворота и задвинул скрежещущие железные запоры, пристроенные еще Владимиром Мономахом. Потом снял рукавицу и очистил нос. Теперь граждане могли спокойно спать до третьих петухов.

Конный отряд, вызывая тревогу в темных хижинах, проехал по Большой улице, направляясь к княжескому двору. В палатах не ждали приезда дорогого гостя. Ярополк и молодая княгиня, смугловатая, с лукавыми черными глазами, только что встали из-за стола и, потягиваясь, собирались лечь в постель. Наутро князь должен был ехать на медвежий лов. Вдруг на дворе послышались голоса, раздался топот ног по лестницам. Приезд отца расстроил все намерения князя, и началась радостная суeta. Слуги уже вносили в горницу длинный ларь с оружием Мономаха и его торжественными одеждами и другой, обитый запотевшей с мороза медью, где хранились любимые книги старого князя, с которыми он не расставался даже в путешествиях, и всякие принадлежности для писания. Улыбаясь и вытирая красным платком усы и бороду после поцелуев, он сам вошел в горницу, сопровождаемый Ярополком и молодой княгиней, всячески старавшейся показаться приятной старику. От зеленой изразцовой печи в углу шло тепло. Князь приложил к ней озябшие руки и спросил:

— Как живешь, милый сын? И ты, красавица?

Княгиня вся расцвела в улыбке.

Мономах поговорил некоторое время со своими и, отказавшись от еды, лег в прохладную постель, так как устал с дороги и разомлел от крепкого зимнего воздуха. Помолившись и по привычке подумав о том, что сделал за день и что предстоит совершить наутро, князь повздыхал немного о том, как обманчиво все в этой суетной жизни и что все земное преходяще и протекает как вода. Не лучше ли последовать примеру князя Святоши, оставившего княжение и славу и власть и ушедшего в монастырь? Три года он пробыл на поварне, своими руками колот дрова и сам носил их с берега, хотя братья, Изяслав и Всеволод, удерживали его от подобного занятия. Но здравый смысл, притаившийся где-то в глубине, говорил, что он правильно провел свою жизнь, посвящая время не только молитвам, а и защите своей земли от врагов и устройению государства. Он похал еще немного, и тотчас сон охватил его душу. Однако ночью, когда еще не пропели вторые петухи, князь проснулся и кликнул слугу, имевшего обыкновение спать перед дверью княжеской опочивальни на старой овчине, где бы великий князь ни находился. Мономах трижды позвал:

— Кунгуй!

Это был старый раб, торчин родом, преданный, как пес. Но Мономах не знал, что все нуждавшиеся в благоприятном решении своего дела или тяжбы давали этому человеку деньги, приносили ему тайно подарки, чтобы с помощью серебролюбца добиться своей цели. Когда Кунгуй одевал господина или просто снимал вечером сапоги с его ног, он говорил тихим голосом все то, чего хотели бояре или епископ, и таким образом князь порой выполнял их желания, думая, что творит суд по своему разумению. Торчин готов был умереть за своего князя, но это не мешало ему хранить в укромном месте кожаный кошель, в котором он копил серебряные монеты, перстни и прочие сокровища, полученные за услуги, оказанные просителям.

— Кунгуй!

Слуга отворил дверь и появился на пороге, приводя в порядок одежду.

— Вот я, господин!

Старый слуга смотрел на князя с тревогой. Он страшился, что скоро настанет день, когда его господин покинет земной мир, и тогда он сам лишится возможности обогащаться и класть в кошель серебро. О своей собственной смерти торчин не помышлял. Может быть, потому, что каждый человек надеется жить долго, или боясь подумать о том, что рано или поздно придется расстаться с накопленным богатством.

— Вот я пришел, — повторил торчин, прикрывая тайком зевок, хотя в горнице было темно.

Мономах приподнялся на ложе, опираясь о него обеими руками.

— Зажги свечу!

Кунгуй стал высекать кресалом огонь, раздул трут и запалил клочок пакли. Потом зажег толстую восковую свечу, одну из тех, что князь всегда возил с собою, и поставил серебряный светильник на стол. Лампады в горнице не было.

Князь сказал:

— Открой ларь с книгами.

Торчин исполнил и это приказание, поставил ларь у постели и стоял так в ожидании новых повелений. Но Мономах отпустил слугу мановением руки:

— Теперь иди спать, еще далеко до рассвета.

Оставшись один, старик тяжело опустился на колени перед ларем, — в белой рубаше и таких же портах, босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, как он ходил дома и спал, чтобы не портить и не мять дорогие одежды, — и начал перебирать свои книжные сокровища.

Первой ему попала в руки «Палея». В этой книге можно было найти самые волнующие выборки из Ветхого завета. Мономах стал перелистывать ее, отыскивая то место, которое очень любил читать, — где праотец Иуда рассказывает о своем мужестве и крепости мышц. Князь шепотом перечел еще раз:

— «Лия, мать моя, назвала меня Иудой... В юности своей я был быстр на движения, имел мужество в персях и быстроту в ногах и множество воинов убивал своей десницей, разрушая твердыни городов, не покорявшихся мне...»

Мономах с увлечением шептал знакомые строки:

— «Настигая лань, я ловил ее и готовил обед для моего отца. Я охотился также на серн и на всех зверей, что находились в полях, а диких кобылиц ловил и укрощал, и однажды убил льва, вырвав из его пасти козленка, медведя ухватил за ногу и сбросил с берега, и так расправлялся со всяким зверем, что нападал на меня, разрывая его, как пса. В другой раз я загнал дикого вепря и свалил его. В Хевроне рысь вскочила на моего пса, но я взял ее за шею и ударил о землю. В пределе Газском я убил дикого буйвола, ядущего ниву. Взяв его за рога, я закрутил животное, поверг на землю и зарезал...»

35

Когда Мономаху впервые попались на глаза подобные строчки, он поразился. Ему показалось, что все это написано о нем самом, — настолько его жизнь была похожа на жизнь Иуды, одного из библейских патриархов. Но в ту ночь Владимир искал в ларе свои собственные записи — небольшую книжицу, величиной немного более ладони, сшитую из листков желтоватого пергамента, на которых уже порыжели от времени чернила прежних писаний.

Двадцать лет тому назад... Старый князь хорошо помнил, как в день великомученика Феодора Стратилата и Феодора Тирона, в первую неделю великого поста, он очутился в большом погосте, расположенном на левом берегу Волги, недалеко от города Ростова, готовясь к тому, чтобы собирать там дань мехами, медом и воском. Погост был древний и богатый, с деревянной церковью, в которую он сам пожертвовал золотую чашу. Селение основал, по рассказам стариков, хранивших в уме предания, псковитянин Ян, брат княгини Ольги, ставившей здесь некогда перевесы. В этих лесах наводила порядки и сама просветительница язычников и определяла заботливо границы княжеских ловов. Неподалеку проходила старинная дорога, на которой однажды споткнулся конь княжича Глеба, когда он спешил к своему умирающему отцу, святому князю Владимиру, в Киев.

Мономах припомнил, что на том погосте его застиг великий пост и он захотел очистить душу покаянием. Но вдруг явились послы от князя Святополка с предложением пойти вместе с Олегом и Давидом Святославичами против Рюрика, Володаря и Василька, молодых сыновей князя Ростислава Тмутараканского, чтобы без больших усилий захватить их области и поделить богатую добычу.

Олег... Он однажды поручился за этого легкомысленного бродягу перед великим князем, своим блаженной памяти отцом, и внес в виде обеспечения триста золотых гривен. Это являлось огромным богатством для русского князя. Но Олег на третий же день праздника сбежал, предоставив Мономаху расплачиваться за него своим достоянием. Жаль было не потерянного золота. Нет, рана в сердце осталась навеки от предательства друга и брата, от человеческого обмана. Князь постыдно надсмеялся над ним, а Мономаху тогда едва исполнилось двадцать пять лет, и он еще верил в княжескую честность и благородство, и этот презренный поступок Олега оскорбил в нем самые лучшие чувства.

Мономах отослал послов ни с чем, не желая нарушить крестное целование, и когда они покинули погост, гневаясь, что должны везти отказ своему князю, Владимир, в большой печали, развернул Псалтирь и стал читать священную книгу, в надежде, что небо укажет ему путь, по которому следует идти, чтобы не стыдиться своей совести и не потерять уважение к самому себе. Так он делал иногда, как бы гадая по прочитанным наугад строкам. На этот раз глаза остановились на следующем месте:

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?»

Именно в тот день, намереваясь оставить после своей смерти поучение для сыновей, как это неоднократно уже делали многие прославленные мужи, он и начал вести эти записи. Но государственные дела и житейская суета часто отвлекали его от книжных занятий. Сегодня, приехав в Переяславль и уже чувствуя, что бессонница помешает ему уснуть до утра, князь решил закончить грамоту, раз невозможно смежить вежды.

Мономах взял книжицу в руки, сел на постели и прочел при свете свечи начало своего повествования:

«Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным и славным, нареченный в крещении Василием, а русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов...»

Но едва он прочел эти строки, как воспоминания снова закружились перед ним. Время летит, как оперенная стрела. Ни единого мгновения невозможно вернуть из того, что кануло в вечность, и никого из любимых нельзя воскресить ни на один час, чтобы сказать то, чего не успел выразить при жизни, о своей любви или улыбнуться с нежностью.

Мономах стал читать дальше:

«Что такое человек, как подумаешь о нем?»

В своей юности он, как Иуда Маккавей, отличался необыкновенной силой и все-таки чувствовал себя тростью, ветром колеблемой, перед этим величием мироздания, перед дубравами и бурными реками, ночными звездами и грозными, как одеяния Перуна, облаками. Его жизнь была так заполнена трудами, что в продолжении долгих лет некогда было подумать о небесах. Но на склоне жизненного пути его душу снова охватывали благочестивые настроения. Вдыхая, Мономах взял в руку гусиное перо, омакнул его в глиняную чернильницу и стал медленно писать. Искривленные возрастом пальцы уже не очень слушались старого князя, и однако он старательно выводил букву за буквой, и строки заполняли желтоватую страницу.

«Взгляните, как небо устроено, или солнце, или луна, или звезды! Тьма и свет! И земля положена на водах, господи, твоим промыслом! Звери различные, птицы и рыбы украшены твоим промышленном! Подивимся и такому чуду, что из праха сотворен человек и что разнообразны человеческие лица: если собрать всех людей, то не один облик у них, а у каждого свой особенный. Подивимся также тому, как небесные птицы приходят из рая и прежде всего попадают в наши руки. Они не поселяются в одной стране, а разлетаются,

слабые и сильные, по всем землям, по божьему повелению, чтобы наполнились рощи и поля...»

Князю вспомнилось, как сладостно щелкал соловей в ночной дубраве, когда они ехали однажды вдвоем с Гитой из Смоленска, в ту душную ночь, когда перестал идти дождь. Сегодня сороки летали среди белых деревьев...

Мономах чувствовал, что настают его последние дни. Ну что ж! Он оставлял своим сыновьям сильное государство, простирающееся от половецких степей до Карпат. Никто не посмеет посягнуть на Русь. Во всех княжеских конюшнях стоят огненные боевые кони. Разбойные племена далеко загнаны в степи, рассеяны, как листья, которые гонит в полях осенний ветер. Но сколько это стоило трудов, крови и сколько золота! Он мог бы умереть спокойно, если бы знал, что князья будут слушаться его старшего сына. Мстислав достоин того, чтобы водить полки к победам, но надо также, чтобы в сердце у него были чистые помышления. Злоба, ненависть и низкие чувства никогда не приводят ни к чему доброму, и завоевания, достигнутые ими, непрочны. Сколько ханов приходило на Русь, однако от них не осталось даже земной славы среди людей и самые имена их предаются забвению.

Мономах опять омакнул перо и писал:

«Всего же более убогих не забывайте, но поскольку можете, кормите их и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте, не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убивать. Если даже будет повинен смерти, и тогда не губите никакую христианскую душу...»

А сколько он сам пролил крови на своем веку в горячности или в ожесточении битвы в те годы, когда враги считали, что могут безнаказанно разорять Русскую землю. В то же время как приходилось лукавить и скрывать свои подлинные чувства, чтобы достичь цели без кровопролития. Немало проявлено предусмотрительности в беседах с митрополитами.

Перед Мономахом возникли блестящие глаза Никифора. Одной рукой прижимая к столу пергамен, а в другой держа в воздухе гусиное перо, он задумался на мгновение, спрашивая себя, не надо ли упомянуть о нем, и решил, что этого не следует делать. Митрополиты были по большей части чужие люди, полные высокомерия и учености, но не заботившиеся о судьбе народа, а высматривавшие, как соглядатаи, во всем пользу греческих царей. Сколько в нем самом пылало гордыни, когда он возвращался с победой и добычей в свои пределы! А между тем какая цена брэнной славе?

Снова стало поскрипывать перо:

«Паче же всего гордости не имейте в своем сердце и уме, но скажите себе: „Все мы смертны, сегодня живы, а завтра в гробу, и все, что ты дал нам, это — не наше, но твое, лишь порученное нам на мало дней“. И в земле ничего не сохраняйте, ибо это великий грех...»

Он хорошо знал, что некоторые бояре и даже торговые люди, подобные нерадивым евангельским рабам, вместо того чтобы использовать свое богатство на благо людям, строить на эти деньги прочные палаты, церкви или заказывать переписчикам книги, закапывают золото и серебряные сосуды в землю, опасаясь татей или пожара. Однако часто случается так, что человек, закопавший сокровища, неожиданно умирает и уносит с собою тайну того места, где в темное, глухое время рыл ямы глухонемой раб или посланный потом на верную смерть, чтобы замести все следы, и вот все это богатство пропадает втуне.

Мономах смотрел на пламя свечи и искал, о чем он еще должен написать. Ему приятно было подумать, что он оставляет после себя на земле многих сыновей. Хотелось бы, чтобы дети его оказались такими же трудолюбивыми, как и он сам.

«В дому своем не ленитесь, но за всем смотрите, не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; не потворствуйте ни питью, ни еде, ни сну; сторожевую охрану сами наряжайте, и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано вставайте; а оружия снимать с себя не торопитесь, не оглядевшись, из-за лености внезапно ведь человек погибает...»

На несколько мгновений перед его глазами возникла знакомая картина ночного лагеря. Дымок костров, запах примятой травы, ржание коней в поле, легкий тревожный сон перед битвой под ночными звездами...

«Лжи остерегайся, и пьянства и блуда, оттого ведь от них душа погибает и тело. Куда бы вы ни шли походом по своим землям, не давайте отрокам, ни своим, ни чужим, причинять вред ни жилищам, ни посевам, чтобы не стали вас проклинять...»

Мономаху хотелось думать, что всякое его приказание будет тотчас исполнено. Стоит ему повелеть — и воины в любой час дня и ночи возьмут оружие в руки и пойдут туда, куда он укажет. Когда его не станет на свете, приказывать будет Мстислав. Так решено на княжеском совете, и все братья клялись повиноваться ему как отцу.

Размышляя о сыновьях, он писал: «Не забывайте того хорошего, что вы умеете, а чего не умеете, тому учитесь. Как отец мой, дома сидя, научился пяти языкам, отсюда ведь честь от других стран. Лениность ведь — всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится...»

Теперь, когда силы уже на исходе, казалось удивления достойным, что молодые и здоровые отроки могут предаваться безделию. Мономах особенно старательно выписывал буквы:

«Пусть не застанет вас солнце в постели...»

Как приятно проснуться среди росистого поля, когда первая птица запоеет в роще, или, лежа под деревом, к которому привязан твой конь, смотреть, как звезды угасают в небесах и веет предутренний ветерок. И вдруг раздается чистый голос серебряной трубы!

«Так поступал отец мой...»

Об отце он не мог вспоминать без слез, и в мыслях о смерти утешало сознание, что и его прах будет лежать рядом с отцовским гробом, под сводами Софии.

Но рука уже устала писать. Мономах опустил перо в чернильницу. Ночь приближалась к концу...

36

Наутро Мономах выразил желание слушать утреню в церкви Успения, где в прошлом году с ужасающим грохотом рухнул купол. Строители уже вновь возвели его осенью. Для того чтобы попасть в храм, надо было только перейти через широкий княжеский двор по протоптанной в снегу дорожке. Но когда старый князь вышел по нужде из палаты, то почувствовал себя совсем больным. Вдруг его охватил озноб, и вода, принесенная Кунгуем для утреннего умывания, показалась необычайно студеной. Мономах снова прилег, укрывшись потеплее, и так дремал, слыша сквозь полусон, как торчин шептался с какими-то людьми за дверью. Когда слуга сказал, что это явился тысяцкий, князь не пожелал его видеть и промолвил со старческим кашлем:

— Пусть помедлит немного...

Плоть стала немощной. Мономах вспомнил, как немало лет тому назад, когда был значительно моложе, он простудился однажды под проливным дождем, во время длительной осады Минска. Ему пришлось даже распорядиться, чтобы срубили избу, так как больному трудно было проводить холодные осенние ночи в полевом шатре, где гулял ветер.

Опять появился в дверях Кунгуй и доложил, что пришел кузнец Коста. Князь оживился и велел позвать его в горницу. Этот сильный и спокойный человек понравился ему. Тем более что князь не видел, что Коста прибежал к воротам из корчмы, не знал, что кузнец любит мед и всякие небылицы.

Коста стоял в дверях и исподлобья оглядывал княжеское помещение, зеленую изразцовую печь, ковры и серебряные сосуды на столе. Мономах приподнялся на локте и приказал Кунгую:

— Достань меч.

Торчин опустился на колени перед длинным ларем, откинул его горбатую крышку, и тогда кузнец увидел внутри княжеское оружие — тяжелый меч в ножнах из лилового скарлата, с серебряными украшениями и позолоченной рукояткой, а рядом с ним великолепный боевой топор с чернью, иверийский нож, половецкую саблю, снятую некогда с пленного хана Асадука, после счастливого сражения.

— Поддай-ка мне его, — сказал князь, протягивая руку к мечу, и пошатал рукоять с поперечиной. Ему пришло на ум, что, вероятно, уже не придется обнажить этот клинок в битве с врагами, но оружие полагается хранить в хорошем состоянии, чтобы в надлежащем виде передать сыну. Кому он вручит его? Мстиславу? Юрию?

— Вот посмотри, — протянул Мономах меч кузнецу, — рукоять ослабла. Надо закрепить.

Коста взял оружие из рук князя, и лицо его сразу стало серьезным, потому что дело касалось работы. Он обнажил наполовину клинок и, поворачивая меч, чтобы рассмотреть с обеих сторон, оценил холодную синеву стали.

— Сделаю, как велишь, — проговорил кузнец. — Такой меч еще сто лет служить будет.

До полудня Мономах лежал, скорбя, что не может пойти в церковь, а когда настало время обеда, поел горячей ухи и читал псалмы. Жена Ярополка поила его горячей водой с медом, и от этого врачевания князю стало легче. Он накинул на плечи полушубок и снова присел к столу, чтобы продолжать свое писание при дневном свете.

«А теперь я поведаю вам, дети мои, о своих трудах, о том, как я трудился в разъездах и на ловах с тринадцати лет. Первый мой путь был сквозь землю вятичей к Ростову. Отец послал меня туда, а сам пошел в Курск...»

Вдруг снова встали шумные и пахучие леса вятичской области, появились под сенью деревьев люди, еще не просвещенные христианским учением и со злобой смотревшие на княжеское красное корзно, на пахнувший медью крест в руках испуганного священника...

Потом была поездка со Ставком Гордятичем в Смоленск, а из этого города во Владимир Волынский. Так вспоминались путешествия за путешествиями, лов за ловом, град за градом. В том же году он ходил в Берестье, сожженное ляхами, и на пожарище правил утишенным городом. Оттуда на Пасху поспешил к отцу в милый Переяславль, а после праздников снова очутился в Волынской земле и заключил в Сутейске мир с ляхами. Вскоре после этого — далекий поход в Чешский лес, когда он взял тысячу гривен дани, а потом снова поездки: из

Турова в Переяславль, из него — в Новгород, в Смоленск. Верхом, по лесным тропам, под дождем, а в зимнюю стужу — на санях, на которых по снегу везде можно проехать.

Отец стал княжить в Чернигове. Он тоже приехал туда в гости и угощал проживавшего в Чернигове Олега вкусными обедами на Красном дворе. Тогда-то он и дал отцу в залог за неверного князя те самые триста золотых гривен. Тогда же, зимою, половцы пожгли Стародуб, и он во главе черниговцев и союзных половцев взял на Десне в плен двух ханов, Асадука и Саука, а воинов их перебил до единого человека.

Глядя в темный потолок, старый Мономах вспоминал прежние походы и все, что случалось во время поездок и схваток с врагами, во время погони за половцами в беспредельных степях. Все перемешалось в его воспоминаниях: дым и шум половецких становищ, заплаканные пленницы, чудовищные верблюды, а над всем этим — пушистые ночные звезды. Битвы под Стародубом и Ростовом. Сражения с половецкими ханами. Боняк, Урусоба, Лепа, Тугоркан. Снова походы и ловы. Двадцать раз без одного он заключал мир с половцами, двести ханов изрубил, предал смерти или потопил в реках, а некоторых отпускал из оков за большой выкуп. Еще походы — на Дон и за Супой, не считая поездок к отцу в Киев, которые он проделывал за один день, до вечерни. Всего таких путей было сто.

Во время этих путей и трудов, в походах и на ловах, Мономах никогда не давал себе отдыха и покоя. Не полагаясь на посадников и бирючей, он сам всюду устанавливал порядок, в доме и у конюхов, заботился о ястребах и соколах и самолично наблюдал за церковными службами.

И на третий день недуг не оставил старого князя. С утра пошел мелкий снег, на дворе, широко, как поле, крутилась метель, и Мономах поопасался выходить из теплой горницы. Ярополк и сноха ухаживали за болящим, уговаривали поесть того или другого, предлагали самые вкусные яства. Но князь, прикрывшись по воинской привычке стареньким полушубком, лежал в постели и от всего отказывался, как это делают псы, когда болеют. Еще раз он оказался прав — на четвертый день недуг оставил его, и, одевшись потеплее, Мономах взял в руки высокий жезл из черного дерева с серебряным шаром, спустился по каменным ступеням крыльца. Посох гулко стучал по полу, на лестнице звук его стал другим...

Ярополк последовал за отцом и вместе с ним некоторые бояре, желая оказать старому князю честь. Но Мономах не оглядываясь махнул на них рукой в красной меховой рукавице, требуя, чтобы они оставили его одного, и прошествовал в одиночестве к храму Успения, который воздвиг на собственные средства. Озабоченный сын остался стоять на дворе и видел, как старик терпеливо ждал у храма, пока церковный сторож без шапки, не то из почтения к князю, не то в спешке, и в длинной рубахе, без полушубка, звенел ключами, открывая обитую железом дверь. Мономах снял бобровую шапку и, перешагнув через порог, исчез во мраке притвора, а привратник побежал к воротам княжеского двора, может быть, за священником Серапионом или предупредить епископа Лазаря о прибытии великого князя в церковь.

В Успенской церкви за престолом находилась икона, написанная прославленным художником Алимпием, еще в детстве отданным учиться этому искусству у греческих зографов, в дни князя Всеволода пришедших на Русь из Царьграда при печерском игумене Никоне. При этом настоятеле Алимпий и очутился в монастыре еще отроком. Когда греки расписывали монастырскую церковь, он растирал для них краски на мраморной доске и внимательно наблюдал, как трудятся иконописцы, но вскоре превзошел в этом деле своих учителей, и все в Киеве удивлялись красоте его икон. Алимпий горел желанием изобразить на доске тот небесный мир, какой таился в его душе. Так, взяв в руку кисть, он создал икону, похожую на печальный и прекрасный сон. На ней можно было видеть Марию, лежащую на одре, и вокруг ложа склонившихся к ней со скрещенными на груди руками апостолов и пророков. Выше их витали в небесах крылатые ангелы. Богородица лежала в белых одеждах, в голубом мафории на голове, окруженная как бы тройной, желто-зелено-розовой радугой, а над нею склонялось в печали дерево с пурпуровыми райскими цветами. Иконы Алимпия были полны

такой прелести, что людям представлялось, будто их едят для него ангелы. Мономах приобрел некоторые из них, за дорогую цену, когда на Подоле сгорела церковь, где они находились. Иконы удалось вынести из огня, и Владимир одну послал в недавно построенную каменную церковь в Ростове, другую — в храм Успения в Переяславле.

Об Алимпий ходили удивительные рассказы. По-видимому, этот человек был не от мира сего. Порой более ловкие монахи пользовались его простотой и обманывали художника, беря деньги у мирян якобы с тем, чтобы уплатить Алимпию за труд, а на самом деле присваивая их себе и даже требуя, чтобы заказчик дал еще более серебра. Однако все раскрылось, и эти обманщики и пьянчужки были с позором изгнаны из монастыря.

Был такой случай. Однажды в Печерскую церковь залетел голубь и метался под сводами, ища выхода. Он то бился за алтарной преградой, то, изнемогая от безумного хлопанья крыльев, садился где-нибудь, а потом снова порхал под самым куполом. Монахи принесли лестницу, чтобы поймать птицу, и кричали, взбираясь по перекладинам:

— Ловите его! Ловите!

Но голубь в конце концов улетел в открытое окно и скрылся, но после этого в монастыре распространился слух, что этот голубь вылетел из уст Христа, нарисованного Алимпием.

Мономах прошел за ограду алтаря и полюбовался на икону. Она все так же была полна странного очарования, хотя за эти годы несколько потемнела от свечной копоти. Мономах смотрел на произведение художника и удивлялся способности человека создавать при помощи кисти и красок подобные картины, и у него обильно потекли слезы из глаз.

Однажды он имел случай разговаривать с Алимпием. Художник оказался монахом довольно необычного вида, с растерянной улыбкой, с довольно нелепой бородой, с глазами, устремленными куда-то вдаль, через голову собеседника. Князь спросил тогда, глядя на незаконченную икону, на которой уже рождались смутные образы людей, розовых зданий и темно-зеленых деревьев:

— Откуда у тебя все это?

Монах в одной руке держал кисть, в другой — горшочек с киноварью. На лице у него светилась какая-то детская радость. Он проговорил:

— А я не знаю. Сам не могу постичь.

Алимпий поставил глиняный горшочек на стол и положил руку на то место у себя на груди, где бьется человеческое беспокойное сердце, и Мономах подумал, что, может быть, в нем и заключены те сокровища, какие иконописец выражает в светлых красках, а певец, под звон золотых струн, в стихах о Перуне и его голубых молниях.

Старый князь явился в церковь с другим намерением на уме и быстро прошел в левый придел. Там можно было спуститься по каменной лесенке в усыпальницу. Заботами епископа Ефрема в храме устроили печи, чтобы согреть воздух, но когда Мономах прикоснулся к мраморной гробнице Гиты и погладил гладкую поверхность камня, он пронзил его руку смертным холодком. Под этой великолепной тяжестью лежала женщина, любившая его и целовавшая в соловьиные переяславские ночи. Что же ныне осталось от нее? Может быть, жалкая горсть праха, пожелтевший череп с оскаленными зубами, пепел одежд и красные шарики любимого ожерелья, с которым Гита просила похоронить ее. Он подарил эту вещь своей невесте в первый день знакомства, когда она приплыла из Новгорода под охраной князя Глеба, которого тоже давно уже не было в живых. Где теперь красота княгини, горячее дыхание и радостный голос? Только в воспоминаниях других людей, еще живущих на земле. Перестанет биться его сердце, и тогда погаснет навеки и то, что осталось от ее прелести в

памяти мужа. Странно и печально было думать об этом.

Когда молодая супруга выезжала с ним зимою на ловы или в какой-нибудь далекий путь, она носила розовую шубку с горностаевой опушкой и шапку из серебряной парчи. Такой он и вспоминал Гиту всегда, раздумывая на морозе, с белыми зубами. Все казалось милым ему в молодой супруге. Даже то, как она ела хлеб, макая его в миску с медом.

Мономах постоял еще долгое время у гробницы, вспоминая сладостное прошлое, потом вздохнул и подошел к тому месту, где был похоронен под каменной плитой сын Святослав, чтобы поклониться и его праху. Совсем ребенком он отдал этого сына заложником половецким ханам. Славята убили Китана и привез Святослава, закутанного в красный плащ, в Переяславль, а Ольбер застрелил стрелой Итларя. В глазах мальчика застыл ужас от всего, что ему пришлось увидеть в ту страшную ночь. С тех пор он рос болезненным и слабым и преждевременно покинул землю. Мономах пожалел, что и другой сын, убитый в сражении под Муромом, не лежит здесь, а покоится в далеком Новгороде, в Софии, с левой стороны. Лучше бы и ему самому лечь рядом с Гитой и всей семьей ждать, когда раздастся звук архангельской трубы. Но обычай требовал, чтобы его, великого князя, хоронили в киевской Софии.

У дверей храма уже собралось много народа. Ярополк беспокоился, почему так долго не выходил отец из церкви, и священник Серапион заглядывал в темноту здания, прикрывая ладонью глаза, но не осмеливаясь переступить порог. Вдруг явился епископ Лазарь, предупрежденный о посещении великим князем церкви Успения. Под соболиной шубой иерарх носил мантию василькового цвета. Так называемые «источники» на ней были вышиты белым и желтым шелком, а первосвященнические скрижали на груди сделаны из красного скарлата с серебряными украшениями. На голове у Лазаря епископская шапка из малиновой шелковой ткани с золотыми херувимами и белой меховой опушкой. По сравнению с этим пышным одеянием простой полушубок Мономаха и его старенькая шапка из потертого меха казались одеждой смерда. Епископ получил мантию в наследство от своего знаменитого предшественника Сильвестра, скончавшегося два года тому назад. Это он прославлял Мономаха в летописном своде, который читался от Тмутаракани до Ладоги, где были вдохновенно описаны деяния князя и судьбы русских людей.

Сбросив шубу на руки пономаря, епископ Лазарь вошел в церковь и, постукивая посохом, спустился в усыпальницу. Мономах поднял голову, услышав шорох шелковой мантии. Епископ благословил его со слезами на глазах, точно предчувствуя, что приближается расставание с этим великим человеком, которого книжники дерзали называть царем. Но взор князя непрестанно обращался во время тихой беседы к гробнице, где покоилась супруга, и когда Лазарь умолк, он спросил его:

— Поистине ли мы все восстанем из гробов? Увидим ли мы ушедших ранее нас?

Епископ отпрянул, пораженный таким сомнением.

— Мы все восстанем из праха...

Князь вздохнул и стал подниматься по лесенке. Ничего другого ему и не мог сказать епископ. Об этом он сам читал в разных книгах. Однако ему приходилось читать о людях, которые думали, что участь всякого человека подобна участи подошедшего пса и ничем не отлична от нее. Еретики они или невежды? На сердце лежал тяжелый камень. На одно бы только мгновение увидеть Гиту, чтобы сказать ей:

«Я не забыл о тебе, помню и все храню в памяти».

Он сказал бы ей еще:

«Вот и я пришел к тебе!»

«Что же делается у вас на земле?» — спросила бы она, простирая к нему руки с супружеским целомудрием.

«Все по-прежнему на земле».

«Светит ли солнце?»

«Светит».

«И все так же серебряные реки текут?»

«И серебряные реки текут».

«И птицы поют в дубравах?»

«И птицы поют».

«Приди же ко мне», — сказала бы она, обнимая его седую голову нежными руками, ибо покинула землю молодой.

Но разве это возможно?

Мономах смахнул слезу рукой и с лестницы посмотрел в темный провал, где осталась лежать Гита под холодным мрамором. Он видел в битвах рассеченные на части тела, отрубленные саблей человеческие головы, белые людские кости в степи, омытые дождями. Все это восстанет в день страшного судилища? Или воскреснут только христиане, а половцы останутся лежать в бурьяне до скончания века? Почему же епископ отворачивает свой лик, говоря с уверенностью о воскресении?

Мономах вышел из церкви и огляделся по сторонам. Снег после церковного мрака резал глаза белизной. Надо было бы осмотреть и проверить клетки и погреба, медуши и конюшни, чтобы убедиться, хорошо ли ведет хозяйство его сын Ярополк, и в случае надобности помочь ему советом или даже отеческим внушением. Но как будто бы все находилось в порядке. На прочных дверях висели тяжелые железные замки. Всюду бежали тропы по снегу, и это говорило, что здесь не ленятся. У ворот княжеского двора стоял страж в медвежьей шубе. Созерцание Алимпиевой иконы и час, проведенный у гробницы супруги, наполнили душу князя печальным умилением, и не хотелось расточать сердце на пустые житейские заботы.

37

Это произошло во время возвращения из далекой поездки в древлянские дебри. Как почти все дороги на Руси, путь в Киев проходил через лес. Они торопились домой с княгиней, потому что из Переяславля приходили тревожные вести. Гита чувствовала себя больной, жаловалась на сильную головную боль. Стояла поздняя осень. Ночь выдалась такая темная, что отроки не видели наконечников своих копий. Не переставая шел дождь. Мономах и его спутники ехали верхами, и он изредка обменивался несколькими словами с продрогшей до мозга костей женою. Душа князя была полна тревоги.

На ночлег остановились в большом селении, куда прибыли из-за плохой дороги в полночь. Люди спали в бревенчатых, вросших в землю хижинах. Скучно лаяли собаки. Когда отроки стали стучать кулаками в двери в поисках подходящего ночлега для князя и его супруги,

повсюду началась суета. Жители спросонья думали, что неприятель пришел на Русь. В конце концов удалось кое-как устроиться в избушке, более приглядной, чем остальные. Княгиню уложили поскорее посреди низкого помещения, отроки принесли для постели охапки душистой соломы. Гита, как ребенок, прижалась к мужу, но стонала, жалуясь на боли в голове, порой страдальчески сжимала ее руками.

Мономах послал одного из отроков поискать в селении какую-нибудь знахарку, за неимением ничего лучшего. Потому что найти в этой глуши ученого сирийского врача не представлялось никакой возможности. Спустя некоторое время в избу привели среди ночи страшную старуху. Седые косматые волосы свешивались ей на морщинистое лицо. При свете зажженной свечи среди этих морщин мелькал в острых глазах странный огонек. Было в этой женщине что-то птичье: когтистые пальцы, привычка смотреть одним глазом — правым в одну сторону, левым в другую.

«Колдунья...» — подумал князь.

Но разве может помочь даже ведьма, если недуг гнездится где-то в самом существе человека, в его непонятных внутренностях? Старуха пошептала над деревянным корцом воды и дала пить болящей, отстраняя рукой князя, у которого на груди висела на золотой цепочке гривна с изображением крылатого архангела. Знахарка, видимо, опасалась, что церковное изображение может лишить ее снадобье врачебной силы. Змеевик привезла с собою его мать, гречанка Мария, одинаково верившая в троицу и в заклинания, и он носил эту драгоценность как память о своей родительнице, хотя не любил украшать себя ожерельями и перстнями.

Гита сама вешала этот талисман на шею мужу, надеясь, что он уберезет Владимира от вражеской стрелы и всякого злого умысления. Три года спустя он потерял гривну, когда охотился на реке Белоусе, недалеко от Чернигова. Все поиски пропавшей вещи не привели ни к чему, гривна осталась лежать под каким-то кустом на вечные времена.

Мономах склонялся к больной жене, надеясь прочесть на ее лице, что недуг не представляет смертельной опасности, и тогда гривна свешивалась на цепи. На одной стороне круглого талисмана был изображен архангел, державший в руке лабарум, или древнее римское знамя, а в другой — яблоко, увенчанное крестом. Вокруг шла греческая надпись. Мономах достаточно знал по-гречески, чтобы прочесть ее, эти несколько слов молитвы. На обороте златокузнец выбил таинственное женское существо. Женщина была нагая. Вместо рук у нее росли ушастые змеиные головы, а ноги закручивались как змеиные хвосты. Ученый митрополит Никифор объяснил князю, по его просьбе, что она является символом страшного внутреннего недуга, который поражает то печень, то чрево, когда все гниет в человеке. Носящий подобную гривну будет навеки избавлен от болезней. Вокруг страшного чудовища виднелась славянская молитвенная надпись, и ее охватывала греческая, заключающая в себе заклятие человеческого нутра, его сокровенных тайн. В древней бессмысленности заклятия чувствовалось предупреждение, угроза, нечто сатанинское, и в то же время к кому он мог обратиться среди этой древлянской тьмы? Казалось, что христианский бог не имел власти в затерянной среди лесов деревне. Мономах снял цепь с себя и надел на Гиту, приподняв рукою ее горячую, пышущую жаром голову.

Косматая старуха шептала древние слова на том языке, на каком в этих лесных местах говорили во времена князя Мала, о котором книжник писал, как он погубил Игоря, хотел жениться на княгине Ольге и как она обманула его, умертвив древлянских послов в ладье, а город Искоростень предав огню с помощью домашних голубей. Знахарка обеими руками сжимала почерневший от времени корец, и опять ее пальцы напомнили когтистые, птичьи лапы.

— Пей! — сказала она хриплым голосом больной княгине.

Гите стало страшно. Она застонала и потянулась к Владимиру, потому что в этой тьме, на краю христианской земли, в запахе соломы и в дыму лучины муж был единственным прибежищем. Он сам хотел напоить жену, но колдунья зашипела на него, как змея.

Мономах привез жену в Переяславль совсем разболевшейся. Тотчас поскакал отрок в Киев, держа на поводу еще одного жеребца, чтобы немедленно доставить того сирийского врача, который лечил князя Святошу. Его звали Петр. Гита металась на постели, раскинув пышные волосы на подушке, и что-то говорила на своем языке. Она сама уже позабыла его, а теперь вдруг вспомнила в жару. Порой она приходила в себя, с плачем обнимала мужа, когда он присаживался к ней на кровать, как будто цепляясь за земное существование.

Гита умирала... Между тем с часу на час ждали прибытия врача. На дворе стояла глубокая осень, дороги стали непроезжими, дождевые потоки сносили мосты, перевозки перестали действовать. Но Мономах надеялся, что на коне врач приедет скорее, чем в тяжелой ладье, и послал за ним конного человека. И вот он опаздывал, а жизнь уже угасала в молодом и прекрасном теле супруги. Истекали ее последние часы на земле. Пальцы Гиты, сжимавшие руку мужа, уже слабели с каждой минутой.

— Как ты останешься без меня?.. — тихо прошептала она.

Мономах склонился к умирающей, все еще не веря, что она покидает его навеки, прижался губами к раскаленным, как пустыня, устам.

Но дыхание Гиты становилось трудным, и сознание покидало ее. Как во сне она увидела близко от себя золотую чашу. Лязгнула лжица... Священник Серапион произносил какие-то слова... Последняя мысль была о том, чтобы поскорее, пока не поздно, найти руку Владимира.

— Супруг мой!

Перед вечерней она испустила последний свой вздох, и голова бессильно упала на плечо. Тогда этот мужественный человек зарыдал, как ребенок. В горницу торопливо вошел епископ в васильковой мантии и остановился, увидев, что он опоздал со своим желанием прочитать напутственные молитвы. Как раз в это время врач ворвался в городские ворота и, вцепившись в гриву разъяренного жеребца, топча всех на узкой улице, помчался к княжескому двору, и взволнованные люди бежали вслед за ним, размахивая руками и крича, чтобы он торопился, хотя Петр и без того знал, что дорого каждое мгновение. Еще не слыша женского рыдания, наполнившего весь дом, сириец взбежал по ступеням, провожаемый взглядом отрока, уводившего коней, покрытых пеной от быстрого бега.

— Приехал, светлый наш князь, — сказал врач, тяжело переводя дыхание.

Мономах, вытирая красным платком слезы, которые невозможно было остановить, с горечью сказал:

— Теперь уже поздно! Ее нет больше с нами!

Он смотрел в оконце, за которым шел дождь. Потом прибавил:

— Почему ты так замедлил?

Около усопшей княгини пристойно суетились женщины, убирая ее холодеющее тело. Они зажгли свечи, и пресвитер Серапион уже читал глухим голосом Псалтирь:

— «Начальнику хора... Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, боже!»

Князь опустил на колени у одра смерти и смотрел на мертвенно-бледное лицо, такое

близкое и в то же время такое далекое, уже пребывающее в ином мире. Ему казалось, что все это только снится. Не может быть, чтобы нить, связывающая их, порвалась безвозвратно. Вот губы Гиты снова зашевелились, раскроются в улыбке, затрепещут ресницы, блеснут зеленым морем глаза... Но все оставалось мертвым и беззвучным, как камень. На дворе долбили дубовую колоду, чтобы приготовить для умершей княгини достойную домовину. Ее не могли разбудить даже эти печальные и мерные удары секиры.

Всю ночь однообразно звенела секира. Наутро Мономах своими сильными руками положил легкое тело супруги во гроб, уже обитый серебряной парчой, предназначенной на то, чтобы сделать из нее еще одно платье, но нашедшей другое применение. И все даже в последнем жилище умершей любовались ее чертами, а Мономах не отходил от нее ни на один шаг, то гладил волосы усопшей, украшенные константинопольской жемчужной диадемой, извлеченной для такого печального случая из таинственного ларя, то поправлял складки ее платья.

Наступил второй вечер после смерти Гиты, солнце уже склонялось к закату. Палата была наполнена фимиамным дымом. Даже не сняв мокрое от дождевых капель корзно, сквозь толпу молящихся пробирался Ольбер Ратиборович, и лицо у него было озабоченным, но не смертью княгини, а по какой-то другой причине. Этот человек равнодушно относился к тому, что люди умирают, хотя перекрестился перед гробом. Он стоял около князя, мял лисью шапку в нетерпении, видимо торопясь сообщить нечто чрезвычайно важное.

Мономах заметил это и шепотом спросил:

— Что надобно тебе от меня, Ольбер?

Воевода зашептал, из почтения к усопшей прикрывая рот шапкой:

— Плохие вести привез тебе, князь!

Теперь сам епископ в васильковой мантии читал нараспев:

— «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами...»

Мономах с перекосившимся лицом преклонил ухо к словам дружинника.

— Половцы Сулу перешли.

Князю показалось, что небеса обрушили на него все земные несчастья. Половцы перешли Сулу! Он шепнул:

— Как могло случиться такое? Река разлилась от осенних вод.

— Половецкие кони плавают, как рыбы. Сам знаешь.

Мономах обдумывал положение, прикидывал в уме расстояния и длительность конных переходов, оторвавшись на минуту от своего горя. Потом тихо сказал, беря дружинника за рукав:

— Возьми немедленно отроков...

Но Ольбер в крайнем волнении не дал даже ему закончить свою речь:

— Не хотят отроки-без тебя идти.

— Как! Разве не знают они, какое горе меня посетило и в какой печали нахожусь в этот час?

Мономах нахмурил брови, и глаза его метнули грозную молнию. Неповиновение воинское

надо жестоко покарать...

— Они говорят... — зашептал Ольбер Ратиборович.

— Что говорят?

— Они говорят: «Нас сотни, а половцев тысячи. Надо, чтобы князь с нами выступил. Хотим умирать у него на глазах».

— А где Дубец?

— Дубец эту весть передал.

— Был на Суле?

— Говорит, на добрых конях идут. Уже Кснятин загорелся.

— Откуда приближаются?

— От Псела, минуя Хорол. Надо навстречу врагам идти, пока они еще не за Супоем.

Князь ясно представил себе, что случится, если пропустить половцев за эту реку. Тогда опять запылают многочисленные русские селения. Враги рассыплются по Переяславской земле, и тогда уже не отразить их.

Ольбер торопил:

— Нельзя, князь, медлить. Что велишь сказать отрокам?

Мономах сам понимал, что дорог каждый час. Но как покинуть умершую, оставить этот гроб? Он сказал, поникнув головой:

— Разве можно расстаться мне с нею?

Ольбер шептал ему на ухо:

— Всем известна твоя горесть. Нет для человека более печали, чем потерять навеки любимую супругу. Но дружина ждет тебя, прежде чем обнажить сабли. Или половцы наутро Супой...

Мономах молчал, хмурясь.

— Когда хоронить будешь княгиню? — спросил Ольбер, бросая украдкой взоры на лежащую в гробу. — Если сегодня совершить погребение, то в ночь можно выступить и еще будет время встретить половцев в поле за Супоем.

Ольбер ждал ответа.

Но князь медленно покачал головой и сказал, едва сдерживая рыдание:

— Не подобает хоронить мертвых после захода солнца.

Ольбер понимал толк в конях и в оружии, без промаха бил стрелой врага в самое сердце, но не был сведущ в христианских обычаях. Он не знал, почему нельзя хоронить мертвецов в любое время. Это явно отражалось у него на лице. Князь с печалью объяснил ему:

— Если мы опустим покойницу в могилу в ночном мраке, то она уже не увидит свет солнца до воскресения мертвых.

Воевода вздохнул не без досады.

— Вели выступать без тебя, князь!

— Выступай! Скажи Илье и отрокам, что завтра нагоню дружину на Супое, — сказал Мономах, вытирая слезы на глазах.

Ольбер, сжав зубы, потому что страшное время подходило, и прижимая шапку к груди, стараясь не греметь мечом, бившимся у бедра, на носках покинул палату.

Это было единственный раз, когда дух князя не выдержал испытания и он преклонился перед постигшим его горем. Никогда еще не случалось, чтобы Мономах уклонялся от воинского долга ради человеческой слабости.

38

Немало лет прошло с тех пор, как скончалась первая супруга Мономаха. Не желая предаваться блуду с наложницами и рабынями, князь женился вторично и был примерным мужем, но, пережив и эту жену, взял третью, которая тоже умерла раньше его. Гита покоилась в княжеской усыпальнице, в мраморной гробнице из плит, доставленных с великим трудом из Корсуни, она давно умерла, а в древнем городе Переяславле росли другие красавицы. Одна из них была не в княжеской парче, а в простом сарафане с серебряными пуговичками. Ее звали Любава. Даже равнодушные ко всему люди, продававшие на торжище петухов или жито, покачивали головами, когда говорили о дочери кузнеца от Епископских ворот, и казалось, что это утешает их во многих горестях. Хотя ни один человек на земле не мог объяснить толком, в чем заключается секрет женской красоты.

Еще туманная роса лежала на цветах и былинках и розовое солнце едва поднялось над голубеющей дубравой, когда Любава вышла из своей хижины. Шумно ворковали городские голуби, под соломенными крышами драчливо чирикали воробьи, пчелы вылетели за медовой добычей. Светлородый страж, сладко выспавшийся за ночь в теплой овчине, отпирал ворота. Подбоченясь, он крикнул девушке:

— Не спится? Вместе с солнцем встала?

Но, не слушая его, чтобы до слуха не донеслось что-нибудь грубое в такое целомудренное утро, она побежала по пыльной дороге, босая и легконогая. Слева тянулась слобода, где обитали гончары, пленные ляхи и еврейские торговцы, по другую сторону дороги стояли могильные камни старого кладбища, на которых были выбиты непонятные письмена и шестиконечные звезды или семисвечники. Хижины гончаров спускались к длинному оврагу. Потом дорога разветвлялась надвое: направо бежала до самого Чернигова, налево уходила к монастырю Бориса и Глеба на реке Альте. Недалеко от разветвления торчала, слегка покосившись, угрюмая корчма Сахира. Она представляла собою такую же бревенчатую избушку, как и жилища других обитателей слободы, но вытянулась в длину наподобие гумна, и вместо бычьего пузыря в ее единственном окошке поблескивали стеклянные кругляшки, что бывают в боярских хоромах. Корчмарь, странный человек, пришедший откуда-то из дальних стран, с мощной выей и черной бородой, стоял у двери своего заведения и молча смотрел на дочь кузнеца, когда она пробежала мимо. В быстроте стройных и легких ног чувствовалась сама жизнь, что торопится к счастью и радости.

Любава направилась не по черниговской дороге и не свернула к монастырю, а побежала еще левее, по тропе, спускавшейся мимо оврага к реке, а потом уходившей в дубраву. Здесь уже

начинались первые дубы рощи, прежде густой и служившей жилищем зверям, а теперь поредевшей под неумолимым топором человека.

Девушка бежала среди дубов, по росистым лужайкам, держа в руках лепешку с творогом, завернутую в чистый убрус, и железный крюк от котла. Отец сварил его вчера в горниле и велел отнести ворожее, что жила в ветхой избушке за дубравой. Некогда она обитала в городе, но епископ разгневался на старуху за ее языческие шептания над болящими и изгнал из городской ограды.

Знахарка была такой старой, что ее имя все забыли. Она родилась с горбом на спине. Мать знахарки считалась у добрых людей колдуньей, могла, вынув след в земле, погубить любого человека, ездила всю ночь на конях из чужой конюшни; а к утру они опять стояли на месте, измученные, все в мыле, и желтая пена падала у них с мягких губ на солому. Дочь научилась у нее собирать полевые травы, которыми можно окрашивать волну и льняное или конопляное полотно в различные цвета. Эти сухие злаки покупали у старухи жительницы города и приносили ей за это пироги или давали горшок молока. Но, собирая растения, она узнала не только их красящие свойства, а и целебную силу и стала лечить людей от болезней. Мать шептала ей, что лучше всего собирать такие травы на заре, после того как пропоют петухи и отгонят ночной мрак. В такие часы лекарственные былинки приобретают особенный запах. Еще маленькой девочкой она видела, как мать ложилась на землю и молила ее, кормилицу всего сущего и растительницу всякого зелия, чтобы целебные растения и коренья сохранили свои свойства. Она пела глухим голосом:

Ты зелие народила, всякий злак соком напитала, дала травам целебную силу...

Так и она стала ворожеей, научилась тем заклятиям, что передаются от матери к дочери, от отца к сыну из глубины века, и уже ее считали в народе колдуньей, говорили, будто бы она тоже способна за одну ночь доскакать на взмыленном коне по воздуху до Тмутаракани и вернуться в Переяславль до заутрени, обратиться в серого волка или навевать бурю. Но никто не видел, чтобы она причинила зло, и люди стали сомневаться в этих рассказах, хотя и не без страха носили ей лепешки и горшки с молоком.

Солнце поднималось все выше и выше, заливая весь мир золотым сиянием. В упоении от своего божественного труда все громче гудели пчелы и шмели. Цветы любовно раскрывали им нежные чашечки, полные сладости. На все голоса заливались в роще птицы. Любава бежала по тропе и не заметила, что за деревьями ехал Злат, возвращавшийся из монастыря, куда князь Ярополк посылал его с посланием игумену. Но зоркие глаза отрока увидели красный плат на девичьей голове. Гусяр удивился, повстречав девушку в такую рань среди леса, и свернул с дороги в рощу, чтобы проверить, какие ягоды она собирает.

Красивая дочь кузнеца пела песенку:

Не разливайся, синий Дунай, не залей зеленые луга.

В тех лугах олень ходит с золотыми рогами...

Голос ее не обладал большой силой, но был чист, как весенний ручеек. Злат слушал песню и усмехался. Он соскочил с коня и повел его на поводу, чтобы удобнее следовать за дочерью кузнеца. Впрочем, она пела, как птица, и ничего не замечала вокруг себя.

Но каково было удивление гусяра, когда он за дубами увидел покривившуюся избушку. Ему приходилось слышать, что где-то в дубраве обитает колдунья, но он забыл об этом, хотя не раз проезжал в здешних местах, направляясь с другими княжескими отроками на ловы. Хижина вся почернела от дыма, и кривая дверца висела на одной петле, а вокруг стоял косою плетень и на высоких столбах торчали две зубастые лошадиные головы, побелевшие от солнца и дождей. Однако девица смело направилась к избушке, и Злат в недоумении сдвинул

на затылок красную шапку. Он остановился и решил посмотреть, что будет дальше. Девушка, нагнувшись в дверце, с кем-то говорила.

Когда Любава заглянула в хижину, она после солнечного света с трудом рассмотрела, что ворожея сидит на колченогой скамейке, опираясь о нее руками, и смотрит на молодую гостью. В темном углу сверкнули страшной желтизной глаза черной кошки. Ни за какие сокровища не пришла бы сюда ни одна девушка ночью. Но сейчас светило яркое солнце, и Любаве очень хотелось узнать о своей судьбе. Придерживая рукой стремительно бившееся сердце после бега по лесной тропе, она даже не догадалась приветствовать горбунью.

Та проговорила, шамкая беззубым ртом:

— Уже давно поджидаю тебя.

Хотя в этом ничего не было удивительного и ворожея знала, что ей принесут крик, но девушке стало не по себе от такого предвидения.

— Возьми, — протянула она железо. — А это тебе лепешка с творогом.

Седые космы колдуньи давно не знали гребня. Она никогда не чесала их, вероятно, для того, чтобы люди еще больше трепетали перед нею, хотя лицо ворожеи, сморщенное, как прошлогоднее яблоко, и без этого могло испугать простодушного человека. Из рта у нее торчал наподобие клыка один нижний зуб, и крючковатый нос почти сходил с острым, покрытым волосами подбородком. Другого лица и не могло быть у нее, и такими описывают колдуний в сказках, и Любава со страхом смотрела на нее. Она и раньше бывала здесь, но всегда вместе с Настасей, когда они покупали у знахарки сухие травы.

— Починил... — пробормотала старуха, разглядывая крик.

Любава уселась на пороге и обняла колени руками. Так она была поближе к солнечному миру и спокойнее могла наблюдать, как старуха прилаживала крик и подвесила котел над очагом, сложенным из камней. В этом чугуне, покрытом адской копотью, старуха варила пищу и, может быть, всякие свои снадобья. Вокруг стояли тихие дубы. За одним из них прятался Злат.

Повозившись немного у очага с неуклюжестью, с какой все делают горбунии, и устроив, что ей было нужно, ворожея криво, страшно, но ласково улыбнулась девушке, и вдруг Любава поняла, что и в этом жалком теле живет человеческая душа. Когда она приходила сюда с подругой, знахарка всегда улыбалась ей так, может быть чувствуя любовь к дочери кузнеца. Девушка не знала, что колдунья с радостью передала бы ей все свои тайны и умение врачевать людей, чтобы облегчить себе смертный час, но понимала, что эта светлоглазая девица не создана для жизни, какую ведут чародейки. Судьба ей

— радоваться, детей рожать, потомство после себя оставить, мирную кончину принять. А пока ее не обожгла любовь и она еще не вкусила полынную горечь бытия.

Девушка попросила тихо:

— Прореки мне, ворожея!

— Что тебе прореку?

— Что будет со мною.

— Добро будет.

Знахарка склонилась над очагом и стала ворошить крючковатым перстом золу, что-то

бормоча себе под нос.

— Добро будет, — повторила она и, отломив кусок лепешки, принялась жевать, глядя на свою посетительницу.

Но это еще было не все. Утолив утренний голод, ворожея взяла в руку горсть пепла, отошла в другой угол и зашептала над ним, порой оглядываясь зорко на девушку. До слуха доносились отдельные слова:

На дубу серебряные листья, золотые желуди.

На дубу черный ворон сидит...

Она знала, что старуха совершает перед нею таинственное и запретное. Не будь солнечного света вокруг, Любава убежала бы домой и никогда бы не явилась сюда, где уже находишься на грани того мира, в котором живут и действуют ведьмы и упыри, сосущие по ночам кровь младенцев. Но ей так хотелось узнать свою судьбу, что это желание превозмогло детский страх перед неизвестным.

Ворожея перестала шептать и, сверкнув по-птичьи глазами, сказала с хриплым смехом:

— Жди теперь своего ладу! Скоро он явится к тебе.

Злату надоело оставаться в неведении, и он решил подойти поближе к избушке, чтобы сказать что-нибудь смешное девице, подшутить над нею. Ведя за повод серого в яблоках коня, отрок вышел из-за дубов и направился через лужайку к избушке. Отрок не мог понять, почему вдруг Любава поднялась с порога и смотрела на него изумленными глазами.

— Привела... — прошептала она.

— Что с тобой?

— Плоть ты или видение? — спросила Любава, и руки у нее дрожали.

Она даже схватилась за сердце.

— Как ты попал сюда?

— Мимо ехал, тебя увидел за дубами.

Любава вздохнула с недоверием.

В это время на пороге появилась и горбунья, услышавшая разговор, и с любопытством посмотрела на отрока. Красное корзно, красная шапка на голове, желтые сапоги...

Вид ворожеи был столь необычен для случайного человека, что Злат умолк. Не говоря ни слова, он вскочил на седло и поехал, оглядываясь на горбунью и уже не имея желаний пошутить с милой Любавой. Никогда он не имел дела с ведьмами, однако знал от Даниила, что подобные горбунии могут заморозить и в волка обратить встречного и еще всякие другие напасти и беды навлечь. В гридне рассказывали, что один отрок князя Святополка семь лет пробыл в волчьей шкуре, бегал в полях и жалобно выл, пока поп не прочел над ним особую молитву, которую знает только митрополит. Поп Серапион тоже неоднократно говорил о чаровницах и бесах. Однажды он сам ехал по берегу реки в лунную ночь и слышал, как смеялись в воде русалки, манили его к себе, и конь тогда храпел и поводил ушами от страха. Ворожея или человек с недобрым взглядом посмотрят из-под густых бровей на дерево — и оно засохнет, на свинью с поросятами — и она их съест, на птицу — и она околеет. От таких болезни и убытки, даже смерть может приключиться. Лучше подальше от них.

Проводив всадника тяжелым взглядом из-под руки, старуха опять вернулась к очагу и ворчала, может быть жалуясь на свою горькую участь, на страшный горб, на одиночество в прокуренной дымом хижине, где холодно и темно зимой.

Она стала перебирать какие-то сухие, неприятно шуршащие травы, пучки которых висели под низким закопченным потолком, и потом сказала:

— Вот еще одно лето пришло... Прошла зима, медведи проснулись в берлогах. Сегодня заря ясно светилась, быть красным дням...

Ворожея раздула огонь в очаге, сунула туда несколько сучьев, положила кусок сухого дерева, и девушка должна была отойти от двери, когда в нее повалил едкий дым.

— Знаешь гаданье? — спросила горбунья.

— Не знаю.

— Отгадай... Стоит дуб без корней, без ветвей, на нем птица вран, пришел старец без ног, взял птицу без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов...

Любава даже не пыталась отгадать загадку. Старуха сидела, задумавшись о чем-то, уже позабыв о своем гаданье, и заговорила о другом:

— Вот умру — кто меня в землю зароет? Только дикие звери будут выть в дубраве.

Девушка спросила горбунью:

— Давно ли ты живешь на свете?

Старуха пожевала страшным ртом, вспоминая свою долгую, как вечность, жизнь.

— Много лет на земле живу. Еще правил Русью старый Ярослав, когда я родилась. Его дочери у моей матери судьбу свою спрашивали. Она всем троим прорекла королевами быть в заморских странах. Так и было. Давно моя мать жила. Тогда свадьбы справляли не в церквах, а под дубами, прятались от попов в священных дубовых божницах. Ныне уже не стало тех перуновых деревьев. Там Перун свою волю говорил людям. Тогда урожаи были обильнее и ловы богаче.

Любава подумала, что пора возвращаться домой. Греховные слова произносила ворожея. Если бы услышала мать, то забранила бы, а поп Серапион заставил бы поклоны класть в церкви, на посмеяние всем христианам.

— Прощай! — сказала она старухе и опять пожалела ее, оставляя одну в этой полуразвалившейся избушке, обросшей грибами.

— Прощай! — ответила ворожея.

Девушка еще раз оглянулась на горбунью, предсказавшую ей счастье, и побежала скорее по еле намеченной среди дубов тропке, надеясь, что, может быть, она еще догонит отрока или что он поджидает ее где-нибудь у дороги. Когда, вся покрасневшись, Любава поравнялась с корчмой, то увидела, что к железному кольцу на дворе привязан знакомый серый конь в яблоках. Злат уже успел очутиться в этом недобром пристанище, — вероятно, пил мед со всякими злодеями, что приходили по дороге неизвестно откуда и опять уходили в далекие страны. С такими отец свою душу губил, по словам матери.

Заплетая распутившуюся косу и уставив взор не на дверь корчмы, где ничего не было видно, а на желтолапых серых гусей, переходивших с глупой важностью дорогу, девушка

прислушалась: не звенят ли под крышей гусли? Нет, струны молчали. Она подождала, в надежде, что Злат увидит ее в оконце и выйдет на порог, но в дверях показался не отрок, а Сахир, черный, как преисподняя. Любава вскрикнула и побежала домой.

39

Всякий раз, когда Злат проезжал мимо корчмы у Епископских ворот, он неизменно слезал с коня и тщательно привязывал его к столбу, врытому в землю посреди Сахирова двора. У этого веселого гусяря всегда была надежда встретить в корчемном полумраке иноземного гостя, или благочестивого путника, побывавшего в Иерусалиме, или усатого варяга, который охотно рассказывал слушателям о том, как он воевал на далеком острове Сицилии. В корчме искали приюта и ночлега на соломе все те, у кого не было знакомцев в городе, кто любил мед, игру в зернь. Сюда приходил кузнец Коста, спасавшийся от доброй, но ворчливой жены. Тут бывал княжеский отрок Даниил, потешавший всех своими баснями и притчами. Жена у него славилась не только ворчливостью, а и злобным нравом, старая косая дочь боярина Станислава, принесшая ему немало серебра и почет в княжеской дружине.

Злат вошел в корчму, где на него пахло запахом перебродившего меда и дымом из очага, и оглядел сидевших за столом. К его удивлению, тут бражничали те три монаха, которых он видел однажды в роще. С ними сидел кузнец Коста. Тут же оказался и отрок Даниил. Хозяин с кувшином стоял рядом.

Даниил, увидев Злата, развел руками:

— Вот и гусяря! Сыграй нам на золотых струнах.

— Гусли дома оставил, в монастырь ездил.

— Это худо. Гусли строятся перстами, корабль правится кормилом, а человеку дан ум, чтобы разумно жить. Но без песни — хуже смерти нам, пьяницам и скоморохам.

Кузнец мрачно посмотрел на гусяря. Ему было не по душе, что этот легкомысленный отрок, у которого только веселье на уме да нарумяненные боярыни, переглядывается с его дочерью. Он хотел бы выдать ее замуж за кузнеца Орешу, немолодого уже человека, но богатого, как епископ, обладателя лучшей кузницы у Кузнечных ворот, с другой стороны города.

Даниил уже освободил место на скамье для Злата.

— Садись, гусяря. Почему печаль во взоре?

— Забот много.

— Золото плавится огнем, а человек заботами. Хорошо перемолотая пшеница дает чистый хлеб. Так и мы. Человек только в печали приобретает ум, а без горестей он как ветер в поле. Какая польза от него? — сыпал притчи Даниил, как бисер.

— От заботы болит у человека сердце.

— Это верно. Тля одежду ест, а печаль сердце грызет. Выпей мед, и легче будет. Я сам от своей жены в корчму убежал, жирные пироги бросил. Нет ничего на свете хуже злой женщины.

Злат прислушался. Разговор за столом шел о каком-то дубе. Очевидно, об этом расспрашивали монахи, потому что Сахир, отвечая им, говорил:

— Откуда мне знать? Когда я пришел в сей город, многие древние дубы порубили уже секирой. Но знающие люди говорили в корчме, что был раньше такой дуб в роще около Епископских ворот.

— Где же он стоял? — спросил монах. Поседевшая борода у него напоминала жито, побитое градом, нос же его походил на зрелую сливу.

Сахир сделал рукой неопределенный знак:

— Там, в роще. Его срубили, чтобы сделать гроб, когда умерла супруга князя Владимира. Того, что теперь великий князь в Киеве. Шесть человек долбили его всю ночь на княжеском дворе. Я тогда проживал в городе и торговал мехами. Потом купил у старого Мардохая эту корчму. Да вкушает он вечный сон в раю сладости. Но для чего понадобился вам этот уже никому не нужный дуб? Вы всех расспрашиваете о нем, так скажите — какая от него польза людям?

— Надоели со своим дубом, — проворчал Даниил. — Сахир, нацеди нам с гусяром меду. Вот твоя забота.

— А кто мне заплатит за питание? — обвел корчмарь взглядом сидевших за столом.

Злат бросил на грязную столешницу сребреник. Хозяин тотчас сгреб его, попробовал серебро на зуб и спрятал в кошеле из красной кожи.

— Теперь нацежу вам меду, — сказал он.

По лицам было видно, что всем стало веселее. Пока Сахир спускался в погреб за медом, кузнец тоже спросил у монахов:

— Поистине — для чего вам этот дуб, опаленный молнией?

Монахи переглядывались, видимо раскаиваясь, что их языки болтали лишнее.

— Какая вам нужда в нем? — приставал Коста.

— Мы странники, ничего не знаем, — попробовал отделаться от него тот монах, что был всех толще, с красным лицом.

— Знаете вы, но не говорите.

Сахир уже принес пенный мед, и в корчме еще сильнее запахло пчельником. Даниил глотнул хмельного напитка и, по своей привычке забавлять людей, весело спросил:

— А знаете ли вы, как черт мед создал? Вот послушайте меня.

Даже Сахир подошел поближе, чтобы послушать басню, оставив на очаге горшок с гороховым варевом. Кузнец же, больше всего на свете любивший подобные повести, уже заранее улыбался.

Даниил, поблескивая глазами, стал рассказывать:

— Бес нанялся к смерду в рабы. Но ведь сатанинское отродье заранее знает, какая будет погода. В сухой год он посеял для него жито на журавлином болоте. У всех выгорели нивы, а у того смерда великий урожай. Предвидел бес, что дождливое настанет лето. Он гору засеял. У всех вымокли посевы, а у смерда обилие. Некуда хлеб было девать. Но сатана делал это

для того, чтобы погубить христианскую душу. Он научил его пиво варить.

— Ты же про мед начал говорить? — спросил кузнец.

— Сначала черти научили смерда пиво варить, а потом и мед, когда он разбогател и борти покупать стал. Но в мед он три крови подмешал.

— Три крови!

Коста даже пальцы растопырил.

— Какие крови?

— Лисью, волчью и свинячью.

Все смотрели на него с недоумением.

— Истинно так. Мало человек выпьет — у него глаза делаются ласковыми и хитрыми, как у лисы. Много выпьет — свирепый нрав человек проявляет. Без меры напьется — как свинья в луже валяется.

Корчму потряс хохот.

— Еще что-нибудь скажи, — просил Коста.

— Что тебе скажу?

— Развесели меня. С сердитой женой двадцать лет в кузнице живу.

— У меня тоже житие не мед. Злая и старая жена хуже горькой полыни. Но ты не покоряйся. Сказано в мирской притче: «Не скот в скотах коза, не зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак. Подобно тому и муж, если над ним жена повелевает».

— Это верно, — согласился кузнец.

— Лучше бурого вола в дом ввести, чем злую жену. Вол не говорит и зла не замышляет, а сварливая жена в бедности злословит, а в богатстве гордой становится.

Даниил совсем поник головой. Может быть, каялся в душе, что взял старую дочь посадника, чтобы в княжескую дружину войти и чести себе добыть. Но, худая и беззубая, косая на один глаз, она не привлекала его. Не потому ли он и на молодую княгиню засматривался?

Злат не вытерпел и сказал кузнецу:

— Вот говоришь — злая жена, а видел, как она пироги убогим выносит.

— Это она делает для спасения души. Мне же денег жалеет дать на мед.

Даниил, охмелев, обнял Злата и просил его:

— Спой нам про синее море!

Мед развязывал языки, отуманивал головы. Монах с житной бородой, по имени Лаврентий, тоже обнимал Злата и бубнил ему:

— Престарелый воин умер в Тмутаракани...

Но отрока тревожило воспоминание о горбунье. Его занимало, зачем Любава ворожею посещала. Не осмеливаясь рассказать все кузнецу, он начал издалека:

— Ныне ехал я дубравой...

Коста поднял на него глаза, повеселевшие от хмеля.

— Видел избушку малую. На пороге стояла старуха страшного вида. Не знал я, что там колдунья живет.

Кузнец рассмеялся.

— Не колдунья она, а ворожея. Травы и коренья собирает, недуги лечит. Нет от нее никакого зла людям.

— Так и живет в дубраве?

— А где ей жить? К старухе девушки ходят, сухие травы у нее за лепешки выменивают, чтобы волну красить, про свою судьбу узнают и милого себе вожжат. В этом тоже нет ничего худого.

Не подозревая ничего, кузнец лил молодому отроку масло на раны. Злат улыбался счастливо.

— Чему смеешься? — удивлялся Коста.

— Радуюсь.

Но Даниил, непрестанно читавший книги и выражавшийся высокопарно, заметил:

— Не верьте ворожеям. Искони бес Еву прельстил от древа познания добра и зла, а она соблазнила Адама. С тех пор жены чародействуют и волхвуют над отравой и вредят всякими бесовскими кознями роду человеческому. Лучше бы мне одному в поле с саблей против тысячи половцев выйти, чем с колдуньей встретиться или ночью за гумно идти, где бес живет...

Злат знал, что отрок не отличался храбростью и на полях битв, только был боек на язык, но в хмельном тумане чувствовал добро в сердце ко всем людям. Он не знал, кого слушать. Пьяный монах Лаврентий шептал ему на ухо:

— Тот престарелый воин, что в Тмутаракани скончался...

— Что тебе надобно от меня? — удивлялся Злат.

— Помышляя о спасении души... сказал нам пред смертью...

Если бы эти слова долетели до слуха кузнеца, или Сахира, или всякого другого человека, которые помышляют о земном, они бы наострили уши. Тогда бы опаленный молнией дуб выплыл перед ними. Но Злат внимал монаху рассеянно, помышляя о другом. Мед наполнил его голову сладостным туманом, и он видел не дуб, а Любаву...

А Лаврентий продолжал бубнить, вспоминая последние мгновения старого воина:

— Сказал... Пойдите в город, называемый Переяславль Русский, и обрящите там дуб, опаленный издревле молниями. Тридцать три шага от того древа на полночь...

Однако другие два инока, не столь хмельные, уже обратили внимание на глупую болтовню Лаврентия. Тот из монахов, что был щедеушен, но более наделен разумом, чем двое других, полез через стол к приятелю. Его звали Власий. Он кричал:

— Глупец! Вот уж подлинно свинячей крови упился! Не слушайте же, христиане, этого

безумца!

Но Лаврентий, упившись медом, упрямо повторял:

— Тридцать три...

Благоразумный инок не удержался и стал бить пьяницу по голове сухонькими кулачками. Тот выставил вперед огромные ручки, защищаясь от неожиданного нападения. Власий кричал:

— Вот я тебе ужо...

Все вокруг смеялись, глядя на это единоборство Давида с Голиафом, в котором еще раз был посрамлен великан, потому что вдруг понял, что сказал лишнее, и чувствовал свою вину перед товарищами. Странно было смотреть на этого слабого телом человека, который беспощадно колотил богатыря, а тот только икал. Наконец Власий потащил его из харчевни за рукав, и Лаврентий покорно шел, не упираясь.

Кузнец держался за бока, не в силах справиться со своим бурным смехом. Злат расплылся в улыбке, глядя на эту уморительную картину. Только Даниил, охмелев больше меры, ни на что не обращал внимания и говорил сам себе, под нос:

— Не море топит корабли, а ветер... Не огонь раскаляет железо, но поддувание мехами. Так и князь не сам впадает в сомнение, ибо советники вводят его в неправду. Так скажу князю...

Никто не знал, о чем он думал в этот час.

Однако Злат даже сквозь хмельной туман стал соображать, что неспроста монахи ищут обугленный молниями дуб. Теперь все становилось понятным, когда он вспомнил пьяный шепот монаха. Странники искали зарытое в земле серебро. Какую-то тайну открыл им престарелый воин... Тридцать три шага на полночь... Должно быть, поручил им найти свое сокровище. Чтобы монахи молились о спасении его души...

Иноков уже не было в корчме. Вспоминая слово за словом шепот Лаврентия, гусяр позвал приятеля:

— Даниил, не знаешь ли, что это за люди?

Оторвавшись от каких-то своих тайных мыслей, отрок повернулся к нему:

— Какие люди?

— Странники, что мед пили, про дуб спрашивали.

Даниил пренебрежительно махнул рукой:

— Они некогда в Печерском монастыре жили. Но немало лет, как их изгнали.

Кузнец находился в блаженном состоянии. Он тихо пел песенку, повторяя одни и те же слова:

Дунай мой, Дунай, тихий Дунай...

— За что их выгнали? — спрашивал Злат отрока.

— Писал там иконы некий художник по имени Алимпий, бессребреник великий. Богатый боярин поставил церковь в Киеве, на Подоле, и захотел украсить ее иконами. Он дал серебро и три доски печерским монахам, чтобы они уговорились с иконописцем. Монахи плату взяли у мирянина, но Алимпию ничего не сказали. Когда боярин пришел за своим заказом, монахи

ему сказали, что художник еще требует денег, и тот увеличил плату без всякого сожаления, зная чудесный дар Алимпия... Неужели ты не знаешь об этом?

— Не знаю.

— Всем это известно. Мирянин пожаловался игумену Никону, и тот изгнал обманщиков из монастыря. Теперь они бродят из города в город, чего-то ищут... В последнее время в Тмутаракани обретались.

— Они сокровище ищут.

— Не верь им. Они известные лгуны. Какая польза человеку от сокровища, если у него ума нет?

— Вот нам найти бы серебро в земле, Даниил! Новые корзны купили бы, как у Ратиборовичей.

— К чему мне корзны, когда скоро голова моя упадет с плеч.

— Опомнись!

— Истинно так.

Не обратив большого внимания на слова гусяра о серебре, зарытом в земле, потому что почел это за пустое мечтание, Даниил опять заговорил о злых женах. Злат и все прочие знали, что у него сварливая жена, жалующаяся ежечасно на мужа князю. Злату приходилось видеть, что молодая княгиня бросала украдкой взоры на статного тридцатилетнего отрока с красивыми карими глазами, смеялась от всей души, когда он рассказывал что-нибудь забавное и блистал своей книжностью и умом. Но этот человек отличался скрытностью и обо всем говорил намеками, изречениями из священного писания.

Даниил бормотал, опустив голову на грудь:

— Что злее льва среди четвероногих и лютее змеи среди пресмыкающихся по земле? Говорю вам: злая жена! И нет ничего на свете ужаснее женской злобы. Из-за чего праотец наш Адам из рая был изгнан? Из-за жены. Из-за супруги Пентефрия Иосиф Прекрасный был в темницу ввержен. А ведь всякая соблазнительница говорит своему мужу, обольщенному ее красотой, или любовнику своему: «Господин мой, я и взглянуть не могу на тебя без волнения! Когда ты говоришь со мною, я вся обмираю, слабеют члены моего тела и я опускаюсь на землю...»

Отрок с грустью умолк, переживая неведомые Злату чувства.

Кузнец напевал:

Дунай мой, Дунай, тихий Дунай...

Потом вдруг опомнился, что-то вспоминая, и сказал:

— А ведь Злат истину молвил. Они про сокровище говорили, зарытое под дубом.

— Кто говорил? — спросил Даниил.

— Монахи.

Коста не слышал всего, что нашептывал Лаврентий гусяру, но кое-что, очевидно, уловил его слух, и теперь он тоже загорелся жадностью к серебру.

— Вот найти бы это сокровище!

Даниил, уже вернувшийся из своего мысленного мира в общество людей и понимая, что речь идет о кладе, заметил:

— Для этого надо знать заклатье.

В представлении Косты всякий клад — большие сосуды, наполненные золотом и серебром. Он размечтался:

— Из этого серебра я сделал бы светильник для церкви на множество свечей, изогнул бы ветви его, как лебединые шеи, и украсил бы всякой красотой! Его подвесили бы на цепях под самым куполом, и он освещал бы христианский мир! Видели ли вы серебряный терем над гробами Бориса и Глеба в Вышгороде? Или божницу над княгиней Евпраксией? Подобной красоте удивляются даже чужестранцы и говорят, что ничего такого не видели ни в одной стране. И мне хотелось бы сотворить нечто похожее на это, чтобы люди вспоминали мое имя до скончания веков... Пусть этот светильник озарял бы радостную жизнь...

Все слушали кузнеца раскрыв рты. Никогда еще он не был таким красноречивым. Вот что делает мед с простым подковывателем коней.

— А тебе велено судьбой подковы ковать, — рассмеялся Даниил, — да мечи.

— Без подковы не поедешь на коне, — утешил Злат.

Даниил с присущей ему витиеватостью прибавил:

— Меч в деснице господина — прибежище для вдов и сирот. Но говорю тебе, что невозможно добыть сокровище, зарытое в земле, если не знает человек заклатье. Начнешь копать, а ларь или сосуд с сребрениками будет все ниже и глубже опускаться в земные недра. До самой преисподней, и ты только душу свою лишишь вечного блаженства.

Завязалась беседа о зарытых в земле сокровищах. Ничего нельзя было найти увлекательнее для разговора в таком месте, как корчма, где мед будит печаль по лучшей жизни. Как всегда, Даниил считал себя знатоком и в этом деле.

— На том месте, — рассказывал он, — где зарыто серебро, по ночам горит голубой огонек, подобно малой зажженной свече. Там и надо копать. Но огонь обманывает, переходит с одного места на другое, и в это время бесы творят всякие ночные страхи.

— Если днем копать, они не имеют силы, — предложил Коста.

— Разве при свете солнца добудешь сокровище? Днем огонь над ним не горит, и нет пути к нему. Злато зарывают недобрые люди, колдуны или человекоубийцы.

Кузнец был в восторге от подобной беседы.

— А еще что? — спросил он, думая не столько об обогащении, сколько о заманчивости рассказов о кладах.

Злат тоже слушал Даниила с удовольствием, представляя себе пахучую черную ночь, когда тайные силы открывают свое бытие человеку и голубые огоньки мерцают в папоротниках. А сокровище? Пенязи текли у него, как вода между пальцами.

— Будто бы надо держать в руке цветок папоротника, — рассказывал самоуверенно Даниил. — Он в ту ночь расцветает, когда костры жгут на Ивана Купалу. Иди в лес, туда, где папоротник растет во множестве, очерти ножом круг около себя и смотри недреманным глазом. Успишь — гибель тебе. Но ровно в полночь, перед тем как петухи пропоют, появится огненное цветение. Надо сорвать его цветок и тотчас спастись. Бесовская нечисть погонится

за тобою, и если ты оглянешься, конец всему! С подобным цветком можно искать зарытые сокровища. Однако и тут охраняют клад заклятья. Возьмешь в руки лопату, а она тебе помелом покажется. Или сова как младенец закричит на древе. Или рогатое чудище приснится тебе, с хвостом и рогами.

— Страшно, — поежился кузнец, у которого от таких рассказов хмель несколько улетучился из головы.

— Или владелец тех богатств появится летающим нетопырем, чтобы кровь твою пить, если уснешь среди ночного мрака от утомления, — продолжал пугать людей отрок. — Или тебя обуяет такой страх, что ты позабудешь о всех богатствах и прибежишь, как безумный, домой и будешь у жены своей искать убежища в постели.

В тот день приятели засиделись за медопитием довольно поздно. Уже сумрак спустился на землю, и в корчме стало совсем темно. Беседовали о всяких вещах, о боярынях, которые падки на молодых отроков, и о прочем. Потом опять заговорили о сокровищах. Сам Даниил стал испытывать тревогу с наступлением ночи, но еще удивлял слушателей своей ученостью:

— Рассказывают, что иногда на месте клада вдруг появится сверкающий золотой петух или свинка с серебряной щетинкой, и если убить их, то они рассыплются перед вами золотниками и сребренниками. Бывает, что это не петух, а подобие агнца.

Наступила черная ночь, потому что все небо обволокло тучами. Огни в слободе погасли, настал час возвращаться в свои дома. Даниилу предстояло бурное объяснение с супругой.

— Боюсь, что закрыли ворота, — проворчал он. — Кто страж ныне?

— Кузнец Ореша. Он отопрет ворота для вас.

— Разве я не княжеский отрок? — поднял нос Даниил.

Сахир получил еще один сребреник. Выпроводив запоздалых гостей, он запер дверь и отправился к своей болящей жене, которую звали Мариам.

Отроки и кузнец очутились среди кромешной тьмы.

— Ушей своего коня не увидишь, — бранился Даниил.

Но с конем был только Злат. Он отвязал повод застоявшегося серого жеребца, и все двинулись в путь, решив для сокращения дороги идти через еврейское кладбище. Оно раскинулось недалеко от корчмы, наполовину заброшенное, заросшее молодыми рябинками, без ограды. Здесь старая Мариам пасла своих коз. Но еще оставались повсюду могильные камни. Самый большой из них покосился над могилой Мардохая, бывшего владельца корчмы и ученого человека, с которым поп Серапион спорил в молодости о вере. Довольно жутко было пробираться среди этого запустения. Найдя в темноте тропинку, что шла через кладбище к Епископским воротам, приятели направились туда гуськом, натываясь на памятники. До одурения пахло сладковатым цветом рябины. За гончарной слободой, на болоте, оглушительно квакали лягушки. Вокруг стоял непроницаемый мрак.

— Кажется, надо правее взять, — послышался голос кузнеца, который не очень-то уверенно вел друзей. Позади всех Злат плелся со своим конем.

— Куда ты нас завел, Коста? — сердился Даниил.

Он споткнулся о камень. Ощупав его руками, отрок понял, что это и есть тот самый памятник над могилой Мардохая. О старом корчмаре говорили, что он выходит по ночам из земли и

всюду ищет свою дочь, красавицу Лию, любившую пламенной любовью молодого варяга Ульфа. Она утопилась в реке, когда ее возлюбленного зарубили касоги в битве под Лиственном.

— Лучше нам по тропе к дороге спуститься, — сказал кузнец.

Все стали пробираться сквозь рябиновые кусты. Неприятно находиться в такой час на кладбище, где царят загробные силы. Правда, у отроков были крестики под рубахой. У Даниила даже золотой, с частицей мощей мученика Феодора Стратилата. Его надела на шею красивому отроку чья-то маленькая женская рука, никогда не знавшая домашней работы. Вообще этот Даниил... Недаром говорили о нем, что не сносить ему своей головы.

— Злат! Веди сюда коня! — раздался из темноты радостный голос кузнеца.

— Вот и дорога!

Потом послышалась песенка:

Дунай мой, Дунай, тихий Дунай...

Действительно, под ногами оказалась мягкая от пыли дорога, что шла к Епископским воротам.

— Куда же идти? Направо или налево? — спросил Даниил, у которого настроение совсем упало в предвидении неприятного разговора с супругой.

— Направо — корчма, а в город путь лежит налево, — ответил Коста. — Вот пьют, как волы, а потом домой попасть не могут.

Злату было приятно жить в этот ночной час. Сейчас будет черная кузница с навесом, а за нею бревенчатая избушка. Там спит и видит счастливые сны Любава.

Не думая о том, что Орина не спит в эту душную ночь, а поджидает беспутного мужа, чтобы задать ему добрую трепку, кузнец еще громче запел:

Дунай мой, Дунай, тихий Дунай...

Даниил сказал Злату:

— Слышал я от отца своего, а он — от деда, тот же — от других далеких предков, что некогда жил наш народ на Дунае. Потому и вспоминаем мы эту реку в песнях.

Впереди уже выростала из ночного мрака темная громада Епископской башни.

Даниил крикнул:

— Эй, стражи! Княжеские отроки возвращаются в город по неотложному делу!

На башенном забрале кто-то заворошился, потом послышались шаги на деревянной лестнице. Спустя несколько мгновений медленно, со скрипом отворилась дубовая створка ворот...

Мономах провел некоторое время в Переяславле и оставался там до весны, а затем, поплавав в последний раз у мраморной гробницы, решил, что пора возвращаться в Киев, но захотел совершить это путешествие не в ладье, а на повозке, чтобы по пути побывать в монастыре Бориса и Глеба, расположенном на реке Альте, и взглянуть на милую ему церковь. В дорогу тронулись весьма рано, когда в соседних дубравах еще не угомонились утренние птицы. Слуги положили побольше сена в возок, старательно умяли его руками и прикрыли ковром, чтобы старому князю удобнее было сидеть. По преклонности лет он уже не садился на коня. Рядом с великим князем устроился епископ Лазарь, пожелавший проводить важного путешественника до обители. Несмотря на теплую погоду. Мономах носил еще бараний тулупчик и старенькую шапку из потускневшей парчи, с бобровой опушкой. Борода у князя за эту зиму стала совсем белой.

Возок на четырех колесах тащили сильные кони, серые, с огромными головами, все в сбруйных украшениях. По обыкновению возница сидел верхом — молодой раб в белой рубахе, в кожаной обуви, с копной светлых волос на голове. Ноги у него были обмотаны чистыми тряпицами и ремнями. За возком ехали: справа — князь Ярополк, слева — воевода Фома Ратиборович и Илья Дубец; позади следовали отроки. Как всегда, следом везли на двух телегах все необходимое для князя, а также дары в монастырь.

Когда проезжали по длинной и кривой улице, называвшейся Княжеской, Мономах с печалью оглядывал знакомые виды, точно прощался с любимым городом. Он знал здесь каждую хижину, всякий плетень. Правда, многое погорело за эти годы или развалилось от ветхости, и кое-где на пустырях уже выросли новые боярские хоромы или порой пахучие щепы устилали землю, и вдали, около Иоанновского монастыря, бойко стучали секиры плотников.

Многие люди выходили из своих жилищ на улицу, чтобы приветствовать великого князя, посетившего город, и епископ со строгостью взирал на них, когда они снимали колпаки перед сильными мира сего. Казалось, глядя на радостные лица встречающих, Лазарь читал в человеческих душах греховные помышления, видел отсутствие ревности к христианской вере, и женские лукавые улыбки на румяных лицах неизменно представлялись ему чем-то бесовским. Он готовил в уме очередное обличение. По его мнению, все жители в городе были прелюбодеи, тати, резоишцы и лжецы, и надлежало искоренить все пороки и огнем сжечь плевелы. Другие спутники князя не утруждали себя скорбными мыслями, потому что стояло пригожее утро и всем божьим созданиям следовало радоваться весне.

Стало еще светлее и радостнее, когда обоз выехал за Епископские ворота. Проезжая мимо кузниц, Мономах увидел, что около одной из них, самой старой и черной, стоит кузнец с молотом в руках, вышедший на дорогу, чтобы посмотреть на княжеский поезд. Старый князь сделал нетерпеливое движение рукой, требуя, чтобы возница остановил коня. Конюх не видел княжеской руки в набухших синеватых жилах, со скрюченными и непослушными от старости пальцами, но князь Ярополк крикнул рабу, и повозка тотчас остановилась, проехав немного за кузницу. Опираясь руками о колени, Мономах посмотрел из-под седых косматых бровей на человека с молотом в руках и сказал:

— Ты — кузнец Коста...

Тот стянул с головы красный колпак, почерневший от дыма кузнечного горнила.

— Я, князь! Счастливый тебе путь!

Мономах вспоминал что-то.

— Ты ведь мне меч чинил зимой.

— Рукоять, — уже приветливее ответил кузнец, потому что всегда приятно поговорить о работе, сделанной на похвалу. Он некогда ковал этот меч, час за часом выбивал на

серебряном наконечнике красивый узор, а на рукояти изобразил двух зверей, вцепившихся один в другого, с извивающимися хвостами. Они и составляли рукоять. С тех пор прошло немало времени. Мономах стал стариком, да и у него самого поседела голова. За работу его тогда похвалили. Но в Переяславле жили другие сереброкузнецы, и у них было из чего делать водолеи или женские украшения, а он имел только много силы в руках, чтобы бить молотом о наковальню, и мечтание в сердце о прекрасном светильнике. Ему теперь приходилось лишь коней подковывать у всадников, ехавших по черниговской дороге. Не потому ли его тянуло в корчму, где путники рассказывали о всяких чудесах на земле?

Форма Ратиборович склонился с коня к старому князю и с кривой усмешкой доложил:

— Ведь наш Коста по дубравам ходит и сокровища ищет!

Кузнец нахмурил брови. Но это была истина. С того самого дня, как в корчме говорили о кладе, он не мог успокоиться и все разыскивал тот опаленный молнией дуб, от которого нужно мерить тридцать три шага на полночь. Однако не правду ли сказал Сахир, что много дубов срубила с тех пор секира? А серебро и золото манили своей легкой ковкостью. Из них можно делать все, что пожелает душа. И богатым хотелось быть каждому бедняку. Орина выговаривала:

— Вот другие хоромы строят, а ты только в корчме сидишь.

Коста вспомнил тогда о ворожее. Даниил был прав, страшные заклятья стерегут всякое сокровище, зарытое в земле, и нужна помощь колдуна, чтобы она разверзлась перед человеком, раскрыла свои тайны. Боязливо поглядывая на хижину гончаров, он отправился в дубраву к страшной старухе.

Горбунья сидела на пороге своей совсем уже покосившейся хижины. Голубоватый дымок шел из двери и таял в воздухе. Когда кузнец подошел поближе, ворожея посмотрела на него уставшими глазами и спросила:

— Какая немощь привела тебя сюда?

Она привыкла, что люди являются к ней за лечебными травами и кореньями. Чаще всего женщины. У одной в огневице сгорал младенец, у другой очи болели, третья просила приворотное зелье, чтобы вернуть любовь и хотение мужа. За это ей несли пироги, вареные яйца или какое другое яство во всякое время года.

— Не немощь, — ответил мрачно кузнец.

— Что же тогда? Не полюбил ли ты жену попа на старости лет?

Жена Серапиона славилась на весь город своей толщиной.

Коста отрицательно покачал головой.

— Что же тебе надобно от меня? Починил крюк — отплату за него.

Кузнец скопил глаза на дверь, черневшую, как нора в зверином логове. На крюке висел черный котел, и в нем что-то варилось.

— Дай мне ту траву, что клады в земле открывает, — осмелился наконец попросить Коста.

Старуха хрипло рассмеялась.

— Что клады открывает...

— За это награжу тебя.

— Что мне в твоей награде?

— Во вретнице ходишь, и хижина твоя развалилась. Настанет опять зима, как ты жить будешь в ней? Починю тебе твой дом.

— Зимой уже не будет меня на свете.

— Почему так говоришь?

— Кукушка сосчитала мои годы. Спросила птицу, и она единый раз прокуковала.

— Сжался надо мною, — молил Коста и даже шапку снял, как перед боярыней.

Горбунья поднялась и засуетилась около очага, мешая свое варево. Потом снова подошла к двери и зашамкала:

— Сокровища глубоко в земле лежат. Найти их не легко. Вот настанет Купала, тогда придешь.

— Купала далеко, долго ждать.

— Ныне не имею силы помочь тебе.

Старая горбунья видела немало людей на своем долгом веку, приходивших к ней за всякой помощью и советом, и научилась думать за них. Но если не показывать человеку свою власть над зверями и травами, кто принесет тебе пирог? Хотя порой она уже сама верила, что способна творить страшное в человеческой жизни.

Она усмехнулась:

— Сокровище ищешь, хочешь богатым быть?

Кузнец опасался рассказать старухе о том, что они со Златом услышали в корчме от монахов. Ворожея могла сама завладеть богатством или еще глубже спрятать его под землю. Он промолчал.

Вдруг горбунья забормотала:

— Берег поднимается, море волнуется, ветры мокрые веют от синего моря...

— Что ты говоришь? — в страхе спросил Коста.

— Гром гремит, буря бушует, леса шумят...

Кузнец даже отступил подальше от порога, чувствуя, что слова это не простые, а имеющие какое-то тайное значение. Старуха продолжала бормотать и вскрикивать:

— Волки в дубраве воют, белка с дерева на дерево скачет, зори на землю смотрят с небес...

Было непонятно, к чему старуха говорит все эти речения. Но, может быть, она заклинала?

— Что с тобой? Что с тобой? — спросил он.

Старуха оборотилась к нему и прошептала:

— Волчий вой и обилие белок — к войне и пленению.

— Не сули нам горе!

— Не я сулю, а божественная сила.

— Твои боги — Перун и Мокошь. Скажи им, чтобы они мне сокровище открыли.

Но горбунья, точно озирая грядущее, грозила ему перстом и повторяла:

— Иди, иди... Черный вран сидит на древе...

Теперь она стала бормотать уже совсем непонятное, размахивала руками, точно хотела устроить кузнеца. Коста пошел прочь, с тревогой в сердце. Что шептала колдунья о черном вороне? Или намекала о чем-то? Надо искать дуб, на котором ворон сидит?

Как нарочно, в те дни кузнецу не попадались на глаза черные вороны. Но однажды он нашел в роще пень таких огромных размеров, что, наверное, здесь рос раньше какой-то особенный дуб. Не мог пройти мимо него человек, зарывающий свои сокровища втайне. Коста отмерил тридцать три шага на север, и когда сделал последний шаг, то очутился на месте, которое показалось подходящим для хранения сокровищ в земле. Здесь возвышался небольшой холмик. Вокруг уже росли молодые дубки, но виднелось немало и пней от поваленных бурей или порубленных секирой. Место было глухим и в те времена, когда еще зеленело могучее дерево. Но копать клады полагалось ночью. Днем могли увидеть люди, завладеть богатством, а его убить. И ведь только ночью раскрывались земные недра. Так говорил Даниил, а он читал это в книгах...

Только что наступила темнота в роще, когда Коста пришел на отмеченное место, где он заломил ветку на дубе. Вокруг уже стояла вечерняя тишина. Кузнец принес деревянное рыльце, обитое по краю железом, и мотыгу. Хотя все было заранее примерено при дневном свете, но приступил он к работе, когда уже спустилась черная ночь. Коста поплевал на руки, огляделся по сторонам и, сжимая крепко мотыгу в сильных руках, стал копать. Как будто бы земля легко уступала железу. Потом он сменил мотыгу на лопату. В это время сова залилась на весь лес страшным младенческим плачем, и у него мурашки побежали по спине. Но что в том странного? Разве не обитают совы в рощах и не кричат по ночам?

Кузнец прислушался. Снова в дубраве наступила мертвая тишина. Он опять взял в руки лопату. Под нею оказалось полусгнившее дерево, с которым пришлось немало повозиться. Однако было ясно, что тут копали некогда, и сердце кузнеца забилося в горячей надежде. Он стал копать еще усерднее, обливаясь потом. Но весенняя ночь коротка. Наступал бледный рассвет. Коста перестал копать и прислушался. Приближался конский топот. Потом послышались веселые голоса. Кто-то ехал дубравой. Надо было притаиться. Вскоре он увидел всадника за деревьями и присел, чтобы скрыться от его взоров. Однако и его увидели. Потому что он услышал встревоженный оклик:

— Кто там? За дубом хоронится?

Тяжело дыша, Коста ничего не ответил. Тогда всадник направился в его сторону. Конская грудь с шумом раздвигала кусты. Перед раскопанной ямой появился княжеский отрок, судя по одежде и мечу на бедре.

— Что творишь тут? — спросил он, скаля зубы от молодой глупости, весь наполненный радостью жить на земле.

Мрак таял, просыпался уже лесной мир. Первая птица защебетала на ветке. Отрок бессмысленно улыбался.

— Что творишь тут? — спрашивал он.

— Уходи прочь! — грозно сказал кузнец, схватив мотыгу и замахнувшись ею, как топором.

— Не оставлю тебя.

— Княжеский пес!

— Скажи, что творишь?

Больше всего хотелось отроку знать, что делает этот человек в такой недобрый час. Но уже приближались другие всадники. Услышав разговор, они тоже повернули коней в эту сторону. У некоторых были копья в руках. Еще один отрок подъехал поближе и с удивлением смотрел на разрытую яму, на валяющуюся лопату, на кузнеца с мотыгой в руках. Он зло сверкнул темными торкскими глазами.

— Яму копает, — сказал ему первый отрок, румяный, как девушка.

— Почему в такой час копаешь? — спросил торчин.

Коста угрюмо молчал, надеясь, что эти зубоскалы уедут, когда им надоест пререкаться с ним.

Но темноглазый отрок взвизгнул:

— Отвечай, или я тебя проткну, как вепря!

Кузнец увидел перед лицом холодный блеск железного остря. Белокурый уже махал рукой и звал кого-то из дубравы приблизиться.

— Господин, тут недобрый человек землю копает.

С такими словами он обращался к воеводе. Тотчас появился боярин. Кузнец увидал, что это Фома Ратиборович, очевидно ехавший с отроками в этот ранний час на лов в заповедную княжескую рощу.

Фома тоже окинул взглядом Косту и вырытую яму.

— Ты кузнец от Епископских ворот, — сказал он. — Знаю тебя. Кого хоронишь?

— Пса хороню, — дерзко ответил кузнец.

— Он сокровища в земле копает! — догадался отрок.

Боярин поднял густые брови и еще больше вознегодовал на кузнеца:

— Кто позволил тебе копать сокровище в княжеской дубраве?

Коста опустил голову, понимая с яростью в сердце, что теперь пропали его мечтания о серебряном светильнике. Он бросил в гнев мотыгу на землю.

— Что молчишь? — опять спросил боярин.

Кузнец молча смотрел на боярского коня, что бил в нетерпении копытом о землю, грыз удила с железным скрежетом.

— Отроки, посмотрите, что в яме, — приказал Фома.

Белокурый соскочил с коня и, нагибаясь, осмотрел выкопанную довольно глубоко яму.

— Похоже, что тут есть что-то... — говорил он. — Не сокровище ли закопали тут?

— Возьми рыльце и копай, — приказал Фома кузнецу.

— Не буду, — отвечал Коста.

— Не будешь?

Опять копье уперлось ему в грудь.

— Рой, или смерть тебе!

Коста поднял лопату и в сердцах вонзил ее в землю. Всадники стояли вокруг него и смотрели, как он трудится. Что он мог поделаться? Отроки были одни с копьями, другие при мечях, как дружинники ездят на охоты. Впрочем, в нем самом горело любопытство к тому, что зарыто здесь. Теперь уже явственно было видно, что это нечто вроде могилы. Кузнец ожидал, что вот-вот лопата ударится о глиняный сосуд и со звоном рассыплются златники.

Но он уже устал и время от времени прекращал работу, вытирая пот со лба рукавом рубахи. Заметив это, боярин распорядился:

— Кемелай, возьми рыльце и рой!

Смуглый торчин слез с коня и стал копать землю мотыгой. Белокурый отрок тоже взял лопату из рук Косты. Теперь земля шибко полетела комьями во все стороны. Двое копали, остальные смотрели на них, ожидая увидеть в земле что-нибудь необычайное.

Вдруг лопата отрока выбросила вместе с глиной желтый человеческий череп с оскаленными зубами...

Воевода трепетной рукой ухватился за ладанку, висевшую у него на груди под красной рубахой. От неожиданности отроки тоже широко раскрыли глаза. Кузнец заглянул в яму. Вместо серебра там лежали кости. Это была древняя могила.

Когда все немного успокоились, Фома велел копать глубже. Иногда, зарывая сокровище, убивали человека, чтобы его дух охранял закопанное золото. Отроки с новым рвением взяли за лопату и мотыгу, позабыв о лове. Теперь уже сам боярин слез с коня и, опираясь руками о колена, следил за работой. Так копали некоторое время, однако ничего не нашли, кроме полуистлевших человеческих костей.

Уже над дубравой всходило солнце. Обсудив с отроками положение, боярин сердито сказал Косте:

— Вводишь людей в искушение, мертвецов выкапываешь из могил!

Как будто бы кузнец был виноват, что Фоме не удалось поживиться серебром, зарытым неведомо кем и когда.

— Садитесь на коней! — приказал он отрокам. — Сколько времени потеряли тщетно!

Боярин плюнул на землю.

Всадники скоро скрылись в роще, переговариваясь между собою. Оставшись в одиночестве, Коста еще раз обследовал могилу. В яме не было никаких признаков клада. Он собрал разбросанные повсюду человеческие останки, сбросил в яму и снова кое-как засыпал землей. Потом положил на плечо рыльце и мотыгу и ушел, досадуя на весь мир.

О найденной могиле много говорили в городе, и поп Серапион прибежал посмотреть на нее, чтобы допытаться, не покоился ли в ней какой-нибудь мученик или отшельник, но никаких

благочестивых преданий с этим местом не было связано, и священник так и изложил все епископу. Все это произошло, когда Мономах еще гостил в Переяславле, и ему тоже доложили о случившемся, но старый князь тут же забыл об этом, хотя ранее имел обыкновение входить во все мелочи и всюду тщился навести порядок.

Когда Фома Ратиборович, склоняясь с коня, сказал ему про кузнеца, великий князь спросил:

— Какое сокровище?

— Ехал на лов с отроками. И что увидел? Кузнец яму в дубраве копает, а в ней — человеческие кости.

— Слышал, слышал... — закивал головой князь.

— Он искал серебро, а нашел мертвеца, — ехидничал боярин, забывая, что сам принимал участие в раскопках. — Оказалось, что там человек в далекие времена похоронен.

Князь не обратил особенного внимания на рассказ. Мало ли людей лежит в земле? Но любопытствовал:

— Как же поступили с могилой?

— Поп Серапион над ней положенные молитвы прочел.

— Добро.

Мономах, уже в некотором удалении от суетного мира, не потребовал дальнейших объяснений и молча смотрел на угрюмого Косту, которому немало досталось от супруги за его ночное похождение. Однако епископ Лазарь, тоже слышавший об этом случае, протягивая к кузнецу указующий перст, поучал его:

— Христианину подобает не в земле искать сокровище, а на небесах. Подобное богатство ни тати не похитят, ни огонь не спалит, ни тля не пожрет...

Мономах одобрительно закивал головой. Но его взгляд упал на Любаву, на ее озаренное волнением лицо. Было в девушке нечто такое, что напомнило о Гите. Большие зеленоватые глаза? Или длинная золотистая коса? Или юные перси под полотно сельской рубашки? Князь вдруг почувствовал в своем сердце слезливую теплоту, смешанную с великой печалью, какую рождает у старых людей созерцание девической красоты. Он вздохнул и спросил кузнеца:

— Дочь твоя?

Кузнец улыбнулся в бороду.

— Зовут ее Любава. Выросла, а замуж никто не берет.

Заметив всеобщее внимание, Любава в крайнем смущении отвернула лицо и закрыла его рукавом рубахи. Даже ее маленькие босые ноги передавали внутреннее волнение и как бы топтали одна другую.

Князь Ярополк, расположенный к молодому дружиннику и любивший слушать его песни о синем море, сказал отцу с добродушной усмешкой:

— Наш гусяр хочет вести дочь кузнеца, а он не дает свое позволение.

Мономах снова обратил взор на Косту:

— Почему не хочешь?

Кузнец потупился и не давал ответа.

— Почему не хочешь? — повторил князь.

Но кузнец молчал.

— Почему не отвечаешь великому князю? — набросился на кузнеца боярин Фома.

Отвернувшись, Коста стал объяснять:

— Мы бедные люди, а отрок красное корзно носит...

— Что из того? — спросил Мономах.

— Нашей бедностью потом попрекать будет.

Мономах нахмурил брови.

— Дело не в богатстве. Юноша и девица должны любить друг друга и плодиться. Так повелел нам апостол.

Кузнец проговорил:

— Если так велишь, то твоя воля...

— Добро.

Злат сидел на коне, опустив глаза. Он никогда ничего не говорил о Любаве князю Ярополку. Значит, Даниил рассказал обо всем. Но какой нашел повод для этого?

Любава уже не могла выдержать более. Она стояла, закрывая лицо руками, и казалось, что через пальцы брызжет ее счастье. Потом повернулась и убежала, чтобы спрятаться на огороде от мужских дерзких взглядов. Старый князь проводил ее отеческим взором.

— Прощай, кузнец, — сказал он Косте. И добавил почему-то: — Вот еду помолиться в монастырь, где пролилась невинная кровь мученика...

41

Проводив старого отца до Борисоглебского монастыря и устроив его в одной из избушек, Ярополк тотчас стал собираться, чтобы возвратиться в Переяславль. Вместе с ним должны были сесть на коней княжеские отроки, в том числе и Злат. Но все поехали восвояси, как и положено благоразумным людям, по прямой дороге, ибо для этого и проложены земные пути и построены мосты через реки, — а гусляр по своей привычке ходить окольными тропами пробирался через дубравы, слушая пение птиц. Он с любопытством спрашивал себя, глядя на скачущих с ветки на ветку белок: чем же питаются эти лесные звери, пока еще не поспели орешки и ягоды? Так он ехал, посвистывая и радуясь земным запахам, смешанным с крепким конским потом, и, как всегда, его мысли о житейских делах, — ведь следовало бы новые сапоги приобрести, и хотелось носить красивое голубое корзно, что продавал Даниил, проигравшийся в пух и прах, когда метал кости в корчме с проезжим варягом,

— постепенно обращались к другим предметам. Вот он проявит мужество в сражении, и князь

наденет ему на шею золотое ожерелье, повелев храброму отроку быть вельможей в княжеской палате. Или Злат споет на пиру такую песню, что прославится навеки по всей Руси. Потом он женится на Любаве, и они будут жить в боярских хоромах с веселыми петушками на оконных наличниках и разноцветными стекляшками. Случалось же подобное с другими отроками. Ведь переяславский житель Кожемяка победил печенега в единоборстве и стал великим человеком. Или Илья Дубец, спасший князя от смерти и получивший золотую гривну из княжеских рук. Еще Злат думал о том, что прошла зима и цветы распустились на зеленых лужайках, а в дубравах снова защелкали по ночам соловьи. Остановив коня, он прислушался. Недалеко стонала любовно лесная горлинка. Потом кукушка прокуковала три раза и умолкла. Вся лужайка перед ним была, как жемчугом, усыпана ландышами. Хотелось как можно глубже вдыхать этот запах, что казался слаще греческих ароматов и фимиамного дыма. Потом Злату пришло на ум, что скоро он будет проезжать мимо кузниц и, может быть, увидит Любаву. Теперь он уже получил княжеское позволение, чтобы не бояться ни отца ее, ни матери. Но только что он подумал о Любаве, как понял, что очутился на той самой поляне, где стояла под дубами избушка горбатой колдуньи.

После кузнецовых слов, что ворожея творит добро, излечивая людские недуги, ему не было так жутко, как в первый раз. И все же здесь текла иная жизнь, чем в гридне, наполненной смехом и песнями отроков, или в любом христианском доме. По-прежнему на высоких шестах белели лошадиные черепа, из дымницы валил голубой дымок, отворенная дверка все так же висела на одной петле. Ничего странного в своем приключении он не увидел: что удивительного было в том, что он ехал дубравой близ дороги, направляясь в Переяславль с полуночной стороны, и вновь очутился около избушки ворожеи?

Злат постоял немного и уже собирался поворотить коня, чтобы поскорее выехать на проезжую дорогу, как вдруг на пороге показалась горбунья. Прикрывая глаза от солнца рукой, она смотрела на всадника. Но чего ему было страшиться? Разве не излечила ворожея жену попа Серапиона от живота? Старуха поманила его рукой, чтобы он приблизился к хижине. Не понимая, зачем он понадобился ей, Злат тронул коня и спустя несколько мгновений очутился около избушки.

— Ты гусяр? — спросила горбунья.

— Гусляр.

— Все по дубравам бродишь? Мало тебе дорог? То монахи ходят, псалмы поют, то гусяры. Покоя мне нет.

— Какие монахи? — спросил Злат.

— Три монаха проходили здесь, угрожали мне вечным огнем. Так грешники будут гореть.

Отрок понял, что это были те самые иноки, с которыми он беседовал немного дней тому назад в корчме, когда Лаврентий шептал ему о престарелом воине, скончавшемся в Тмутаракани.

— Они сокровище ищут, — засмеялся Злат.

— Ищут, а не находят... — пробормотала старуха. — И кузнец землю копает.

— Знаю.

Коста сам рассказывал ему про неудачную попытку найти серебро.

— А ты что ищешь, отрок? Или тебе только бы на золотых струнах бренчать?

— Я тоже искал бы сокровище, да заклятья не знаю.

— Заклятье... — ворчала горбунья. — А если открою тебе тайные слова?

Злат открыл рот от удивления. Он спрыгнул с коня на землю и еще ближе подошел к старухе.

— Что тебе сделал, что заклятье хочешь мне открыть? — опять рассмеялся отрок.

Горбунья вцепилась когтистыми пальцами в старенький посох. Сквозь лохмотья ее рубахи виднелось черное тело, напоминавшее общипанную птицу. Она пристально посмотрела на юношу, на его залитые румянцем щеки, поросшие золотистым пушком. Но больше всего ее внимание привлекло красное корзно. Такое, какие обычно носят дружинники; застегнутое на правом плече серебряной запонкой, оно почему-то напоминало старухе эпизод далекого прошлого.

Тогда ворожея еще была девочкой, помогала матери собирать целебные травы. Однажды она бродила в одиночестве на заре в этой самой дубраве. Нужно было взобраться на дуб, чтобы сорвать на его вершине дикое растение с белыми ягодами, от которых у людей бывают счастливые сны. Калека, как белка, поднималась с ветки на ветку, а когда очутилась наверху, то увидела невдалеке от этого места странное зрелище. Два человека усердно копали яму, на траве лежало рядом такое же красное корзно, как у гусяра. Девочка притаилась и смотрела, радуясь, что ее не заметили, когда она влезала на дуб. Очевидно, звон лопат заглушил ее легкие шаги. Пришельцы копали землю на другом берегу ручья, струившегося по белым камушкам под деревьями. Из страха, что эти люди могут причинить ей зло, она замерла, обнимая сук. Дерево казалось живым существом, его ветви были наполнены жизненными соками...

Внизу люди закапывали что-то, но маленькая горбунья не могла рассмотреть, что они клали в яму. Потом тот, кого можно было принять по одежде за раба, стал собирать сухие ветки и засыпал ими холмик, где они только что рыли землю. Теперь уже никто не догадался бы, что здесь свежевскопанная почва. Воин препоясался мечом, накинул на плечи корзно и смотрел, как его слуга трудился. Девочка даже услышала, как он громко сказал рабу:

— Скоро будет тебе великая награда!

Обрадованный раб закончил трудную работу, взглянул еще раз на дело рук своих и, положив на плечо лопаты, пошел прочь. Вслед за ним воин тоже перешел ручей, направляясь в глубь дубравы. Повернув голову за ними, она рассмотрела, что невдалеке к одному из деревьев привязаны два коня.

Уже начало светать. Горбунье хорошо было видно с высокого дуба, как все произошло. Шедший позади воин вдруг выхватил меч. Очевидно, клинок заскрежетал в ножнах, потому что раб с любопытством оглянулся на этот звук. Видимо, несчастный понял по лицу господина, что пришла к нему смерть, и, уронив лопату, простер руки с ужасным криком и умолял о пощаде. Но воин тотчас ударил его мечом. И еще раз, и еще... Обливаясь кровью, человек упал. Маленькой свидетельнице показалось на мгновение, что у нее сердечко выпрыгнет из груди. Зубы у нее стучали, как в огневице. Она боялась пошевелиться и ждала, прижавшись к дереву, что будет дальше. Воин снова сбросил с себя корзно и стал копать яму. Он долго трудился, оглядываясь порой по сторонам, хотя в этой глуши никто не мог ему помешать. Когда могила была готова, воин втащил в нее за ноги убитого раба и закопал его. Потом сел на коня и, держа другого на поводу, оставив без внимания лопаты, ускакал в чащу. Почему этот боярин не бросил просто труп в лесу, где его пожрали бы волки и всякие другие звери? Но в ту пору она не задавала себе никаких вопросов, а поскорее спустилась с дерева и поспешила к матери в город.

Тогда она была совсем еще ребенком и только путано могла объяснить и рассказать, что с нею случилось. Мать или не поняла ничего из прерываемого плачем рассказа, или не пожелала завладеть сокровищем, может быть, из страха, что ворожею легко обвинят в

похищении драгоценных сосудов или сребреников, когда увидят богатство в ее руках. С тех пор прошло много лет, и она сама забыла о виденном, и только красное корзно гусяра внезапно напомнило ей о страшном событии и все воскресило в памяти. Теперь ворожея понимала, что воин убил раба, чтобы избавиться от человека, который знал слишком много. Этот жестокий боярин думал, что никто не проникнет в его тайну. Но он ошибался. Если бы мать захотела, они могли бы взять это сокровище и уйти в Ладогу, откуда происходили родом, и там жить в большом и теплом доме, как живут те боярыни, к которым ее звали порой, чтобы помочь им в любовных страданиях. Теперь ей уже ничего не нужно. Однако разве нельзя открыть местоположение клада хотя бы этому юноше, который любит Любаву, часто приносившую ей пироги. Сколько дней и ночей одинокая ворожея провела среди полей и лесов, слушая, как произрастают злаки. С возрастом горб ее стал огромным. Уродство придавило ее к земле, закрыло своей тяжестью все радости женской жизни. Но горбунья находила утешение в священных рощах. Великолепные дубы наполняли душу волнением, и ей казалось, что в их шуме во время бурь она слышит глагол божества.

Из греческой земли явился новый бог, которому кадят в церквах фимиамом. От этого запаха стесняется дыхание и хочется чихать, уйти поскорее в просторную дубраву. Мать рассказывала ей со слезами, как Перуна, деревянного идола с серебряной головой и золотыми усами, княжеские отроки ввергли в Днепр и отталкивали его шестами от берега. Вскоре пришли дровосеки в рощу, которую прежде люди считали божницей, и срубили секирой священное дерево, под которым совершалось веселие свадеб, и всполошили черных воронов, предвещавших своим карканьем судьбу девам и воинам. Ныне Перун царит на земле только во время страшных бурь, когда он мечет молнии и поражает огненными стрелами не угодных себе. В такие часы даже почитающие Христа страшатся древнего бога и темноты овинов. Люди как дети. Они боятся крика ночной птицы или вида несчастной горбуньи, а не опасаются злодеев, живущих среди них.

42

Ворожея окинула отрока пронзительным взглядом. Он тихо стоял перед нею, обнимая за шею жеребца. Видно было, что нет жадности в душе этого человека. Любава говорила ей, что поп Серапион бранил гусяра за грешные песни. Вознаградить его счастьем? Пусть будет он вспоминать до конца своих дней страшную горбунью...

Старуха прошептала, ухватившись цепкими пальцами за рукав красной рубахи:

— Хочешь, помогу тебе найти сокровище? Будешь богатым, как Ратибор.

Злат по своей привычке легко относиться ко всему, что встречал на жизненном пути, весело рассмеялся. Какая польза в богатстве! Стоит ему пропеть красивую песню — и княжеское серебро сыплется на него, как из колчана. Он и без пенязей чувствовал себя богачом. Певцу принадлежит весь мир, который он видит перед собой, и он способен летать как на крыльях до самого синего моря, в жребий Симов и даже в пределы Рима. Золотые струны обладают властью делать людей счастливыми или печальными, в чем не властен и греческий царь. И все-таки отрок сказал:

— Что же! Сделай меня богатым, старуха!

— Пойдем за мной, — поманила его ворожея сухой ручкой и заковыляла в ту сторону, где за дубами бисером рассыпался и звенел ручей.

Ведя коня на поводу, Злат покорно шел за горбуньей, невольно отвращая взор от ее

уродства. Так они довольно далеко брели по берегу ручья. Потом старуха остановилась и стала что-то высматривать. В этом месте было больше пней, чем зеленых деревьев, однако горбунья хорошо помнила, что именно здесь рос тот дуб, с вершины которого она смотрела, как убили раба. Потом это дерево опалила молния. Вот его огромный пенёк.

Злат, бродивший поблизости, наткнулся на свежевскопанную землю. Он догадался, что здесь кузнец клад искал, и крикнул ворожее:

— Тут кузнец кости мертвеца нашел?

— Какого мертвеца? — не поняла старуха.

Гуслиар рассказал ей о том, над чем потешался весь Переяславль.

Значит, ее не обманывает память. Если здесь был зарыт убитый раб, то сокровище закопали недалеко отсюда. Горбунья уже узнавала местность. Вот здесь она сидела на дереве, умирая от страха. Воин, снявший красное корзно, и раб копали по ту сторону от ручья. Она постучала костылем по гнилушке, что осталось от дуба:

— Придешь сюда ночью. А копать будешь за ручьем. Около орешины.

На другом берегу потока берег вздымался немного, и на нем росли ореховые кусты. Глядя на них, Злат ужасался. Все было как во сне. Неужели в этой земле лежит сокровище? Но надо было проверить расстояние.

Он прошептал:

— От дуба на полночь тридцать три шага...

— Что ты говоришь? — не расслышала старуха.

— Один монах открыл мне... Тридцать три шага...

— Сколько шагов, не знаю.

Злат прикинул мысленно, где полночь, и когда сделал тридцать третий шаг, то оказался уже за ручьем, на том месте около орешины, которое указала ему ворожея. Он повернулся к ней лицом:

— Так и монах сказал...

Все это было волнительно и странно. Он подошел опять к ворожее.

— Завтра днем приду сюда с лопатой.

Но она покачала головой:

— Днем нельзя, люди увидят.

Чтобы не расставаться со своей властью над людьми, старуха прибавила:

— Скажу тебе заклятье.

Злат почесал голову. Ему все еще не верилось, что это не снится, а происходит наяву. Неужели он в самом деле может сделаться богатым и построить хоромы, как Фома Ратиборович? А еще завести угорских коней, купить серебряное оружие...

Его мечтания прервал шепот горбуни:

— Придешь сюда в полночь.

Ему стало вдруг жутко.

— Я друга приведу, княжеского отрока.

Но ворожея видела, как из-за сокровища человек убивал другого человека, не поделив богатства. Она слишком часто копалась в человеческих чувствах и убедилась, что порой опасен бывает друг, даже брат.

— Нельзя, — сказала она. — Приди один. Или земля не откроется.

Старуха с материнской печалью смотрела на отрока. Она теперь знала о нем довольно. Сирота. Родителей половцы погубили. Жил с дедом, а когда дед умер, очутился на княжеской гриднице, куда его отрок Даниил привел. Так рассказывала ей вчера прибежавшая сюда с пирогом Любава. Пусть этот отрок возьмет Любаву. Их дети будут знать, что богатство в семье от горбатой колдуньи. Хе-хе! Так легче ей будет покидать земную жизнь и отправиться туда, где обитают души умерших, плыть в бесшумной ладье среди кромешной ночи смерти. Там страшно и темно, если так русалки плачут по ночам, тоскуя по земной жизни, где светит солнце днем и поют птицы. Она тяжело вздохнула.

— Что же ты умолкла? — спросил Злат. — Какое же твое заклятье?

Старуха пошевелила беззубым ртом:

— Слушай! Скажешь три раза...

Она проговорила другим голосом:

Иду на высокую гору, по водам и облакам.

На горе серебряный дуб стоит, на нем золотые желуди растут.

На горе заря сияет.

Заря, заря, освети мне дорогу, земля, разверзись предо мною...

В этих условиях не было ничего необыкновенного, но ему стало страшно, когда ворожея сказала:

— Теперь повтори...

Он повторил.

— Запомнишь?

— Запомню.

Злат привык запоминать песни и притчи. Отвязывая коня, еще раз повторил в уме заклятье.

— Теперь иди с миром, — сказала старуха.

Гусяр вскочил на седло.

В тот день Даниил допытывался у него:

— Почему ты такой ныне смутный? Разве не оказал тебе милость старый князь? Почему же не радуешься? Теперь он тебя не забудет своими щедротами. Но женишься — и прощай

тогда воля. Нет, лучше чужих жен любить.

Помня завет старухи, Злат не открыл отроку свою тайну.

Даниил был старше Злата и прочел множество книг, собирая в них, как пчелы собирают медовую сладость с цветов, книжную мудрость. Он знал философов, что жили некогда в Афинах. Князь Ярополк ценил его начитанность. Злат не любил книжное чтение. Он черпал слова для своих песен в том, что видел вокруг себя собственными глазами. Даниил говорил ему в тот вечер:

— Женись, женись! Добро, если жена окажется милой для твоего сердца. Хорошая жена — венец для своего мужа и беспечальная жизнь. А злая — лютое горе. Червь дерево точит, а злая жена дома своего мужа. Лучше в дырявой ладье плыть, чем болтливой жене тайну доверить. Но куда спешишь? Не к своей ли красавице на огород?

Когда Злат, пряча под корзном железную лопату, взятую тайно на княжеском дворе, приехал верхом под эти сказочные дубы, у него сжалось сердце от волнения. Деревья устрашали теперь даже своим молчанием. Некоторое время ушло на то, чтобы найти нужное место. Вот пень... Когда глаза привыкли к темноте, он различил у ручья орешину... Отрок посмотрел на небо. Там сияли звезды. Вокруг неприметной звезды, которую Даниил называл Приколом, как некий вол на привязи, вращалось все мироздание. Широко двигалась в небесных полях Колесница, запряженная звездными конями. Четыре колеса и три коня. Ниже сияло золотыми яйцами Утиное гнездо. Стрелец натягивал тетиву своего лука, целя в Лебедя. Небо сияло, как божья риза, усыпанная жемчугом...

В ту ночь на земле еще не отцвели рябины. Злат вспомнил, как Даниил рассказывал, что там, где зарыто серебро, по ночам горит огонек или некое подобие свечи. Но только звезды озаряли землю своим мерцанием. Гусяр привязал тщательно коня к дубку и взял в руки лопату. Под сапогами хрустнули белые камушки в ручье. Вот берег, вот ореховый куст, здесь и надо копать. Еще днем он точно отмерил тридцать три шага и на том месте воткнул сухую ветку. Вспомнились иноки. Но зачем им богатство? Оно только помешает им в спасении души. Он и сам сделает вклад в Печерский монастырь.

Кроме звезд, ничего не было. Не кричала сова, не выли волки, в которых часто преображаются бесы. Все-таки холод бежал по спине. Еще надо прочитать заклятье...

Иду на высокую гору, по водам и облакам.

На горе серебряный дуб стоит, на нем золотые желуди растут.

На горе заря сияет.

Заря, заря, освети мне дорогу, земля, разверзись предо мною...

Теперь эти слова казались полными таинственного значения, они вселили веру в его сердце, и, прочитав заклятье, Злат стал усердно копать не очень податливую под лопатой землю. Только на мгновение он порой прерывал работу, чтобы перевести дыхание и вытереть рукавом пот со лба. Потом ему стало жарко, Злат снял рубаху, прислушиваясь, не крадется ли из мрака злой человек. Но все было тихо в дубраве, и меч лежал рядом...

После полуночи звезды погасли, закрылись тяжелыми облаками. Стало душно в мире. Теплый грозовой ветер прилетел с заката солнца. Наступила настоящая воробьиная ночь. Прошло еще немного времени, и разразилась гроза, полил дождь, первая голубая молния сверкнула среди деревьев, озарив их мгновенным светом и наполнив дубраву грохотом грома. Еще молния — и вновь раскаты в небесах. Но, щедро политый дождем, Злат не переставал копать. Яма углублялась с каждым ударом лопаты. И вот она ударила о большой глиняный

сосуд...

Злату хотелось плясать.

— Не обманула... — прошептал он.

Сосудов оказалось два. В одном были серебряные чаши, гривны, запястья и другие женские украшения, в другом — сребреники и золотой пояс. Злат высыпал их в суму, которая вдруг наполнилась приятной тяжестью. Прочее богатство, оглядываясь по сторонам, уложил в захваченный догадливо мешок из коноплянины, а пояс надел на себя. Его золотые бляхи сияли даже среди ночи. Потом, засыпав кое-как яму, он направился к коню. На земле остался лежать один уроненный сребреник...

Гроза уже пронеслась с грохотом в иные края. Дождь постепенно переставал. Уже занималась заря на востоке, слышалось приближение дня в шепоте деревьев. Сердце у Злата ликовало. Такое случается с человеком один раз за весь век жизни и только со счастливыми. В одну ночь он стал богачом, не беднее другого боярина. Гроза утихала вдали. Наохлившись птицы, встряхиваясь от дождевой влаги, запели утреннюю хвалу солнцу. Оно всходило над дубравами.

Уже проснулась слобода гончаров. Сахир стоял у порога своей корчмы и внимательно смотрел на отрока, который вез какой-то мешок.

— Что везешь, Злат? — крикнул он.

— Сребреники, — простодушно ответил отрок.

Но корчмарь подумал, что гусяр не сказал бы так, если бы действительно в мешке было серебро, и ломал голову над загадкой, что же нашел Злат на дороге.

Когда Злат подъехал к кузнице, Коста уже раздул горн и бил молотом по наковальне, превращая кусок грубого железа в красиво изогнутую подкову. Отрок спрыгнул с коня, вошел с мешком в руках, огляделся, не видит ли их кто-нибудь из любопытных, ибо богатство уже за одну ночь научило отрока осторожности, и бросил на земляной пол, среди всякого железного хлама, свою добычу. Серебряные чаши жалобно зазвенели. Он сказал, улыбаясь:

— Вот мое вено за Любаву!

Не понимая, в чем дело, кузнец недоверчиво развязал мешок, и тогда перед его глазами блеснуло благородное древнее серебро. Он вынимал из ряднины чаши и сосуды, взвешивая в руке их ценную тяжесть.

— Нашел! — восхищался кузнец. — А что тебе осталось?

— Будет и на мою долю.

— Добро.

Отрок рассмеялся и вышел из кузницы. Сегодня он чувствовал себя добрым и щедрым царем. На огороде стояла за плетнем Любава, свежая, как ветка калины, омытая утренней росой. Она держала в обеих руках глиняную миску с творогом.

— Здравствуй! — приветствовал гусяр девушку.

Прежде такая смелая, она теперь притихла и застыдилась, чувствуя, что уже приближается время, когда будет расплата за все ее усмешки и колючие слова.

— Здравствуй, — пролепетала она чуть слышно.

Этот человек скоро станет ее господином, и она снимет с него обувь, как требовал древний обычай. Но она готова всю жизнь служить ему рабой, только бы он любил ее, как она его любит.

Кузнец тоже показался на пороге, сияющий, как праздник, и посмотрел на дочь, покрасневшую ярче зари.

— Подойди ко мне, Любава, — сказал он.

Прижимая к бедру миску, девушка смотрела на отца непонимающими глазами, но покорно вышла из-за плетня и остановилась посреди двора, смущаясь.

— Подойди ко мне, — повторил Коста.

Любава молча приблизилась к отцу, может быть ожидая, что он накажет ее за глупости в голове. Но кузнец взял ее за руку и подвел к отроку, горделиво сидевшему на коне. Девушка отвернулась, не смея взглянуть на Злата, а ведь он был тем, кого она полюбила с первой встречи. Гусляр же почему-то подумал в эти мгновения о синем море.

— Вот твоя лада, — сказал кузнец отроку.

— Будешь со мной? — спросил Злат свою невесту, склоняясь к ней с седла.

Любава еще больше отвернула лицо, страшась своей сладкой судьбы.

— Будешь со мной?

— Буду, — прошептала она.

Кузнец весело смотрел на обоих.

В это время на двор вышла из хижины хворающая мать и стала бранить мужа:

— Вот уже день настал, а ты напрасно тратишь время на беседы, не куешь подкову...

Любава, все так же придерживая миску с белым творогом у прелестно изогнутого бедра, положила другую руку на теплый бок коня, а щекой прижалась к колену Злата.

Кузнец крикнул Орине:

— Смотри, как они любятся!

Старуха уже покорилась тому, что решил за них старый князь, но, увидев нежно припавшую к отроку Любаву, заворчала:

— Бесстыдница! Когда я молодой была, я кротко по земле ходила и очи долу опускала...

Кузнец, взволнованный событиями, горел желанием расспросить Злата о том, как он нашел серебро. Ему хотелось бросить подкову и пойти на радостях в корчму. Однако час еще был ранний. В такое время к Сахиру ходят только пьяницы и чужестранцы.

Злат еще ниже склонился к Любаве:

— Будешь моей?

— Буду, — ответила она.

Все было залито солнцем. Черная кузница, желтые одуванчики на дворе, пыль на дороге.

43

Весна бурлила, в деревьях текли сладкие и горьковатые соки, злаки произрастали из земли, цвели яблони. Еще раз природа совершала свой благостный круг творения. В этом водовороте жизни Любава плыла навстречу своей судьбе, как те былинки, что несутся в многоводной реке, подхваченные течением. Каждый вечер они встречались теперь со Златом у плетня и тихо разговаривали там. Никто не слышал, какие сказки рассказывал ей гусляр. Так птицы поют, воркуют голуби.

На монастырском огороде, на реке Альте, яблони тоже стояли в цвету. Рядом с ними особенно черными казались одеяния монахов, проходивших мимо деревьев с лопатами в руках, чтобы сажать репу. Старый князь, задержавшийся на несколько дней в обители, выходил иногда из бревенчатой избушки, чтобы полюбоваться на весеннюю красоту. Но чаще всего он сидел в трапезной, которую ему предоставили, чтобы беседовать там с боярами о делах государства. Из Киева к великому князю приезжали вельможи и докладывали о том, что творится в стольном городе. По их словам, все было в порядке, торжище шумело от множества народа, еще больше чужестранцев прибывало по торговым делам, и меха поднимались в цене.

Мономах знал, что готовность отразить врага в случае внезапного нападения — самая первая забота правителя. Стоит только усыпить себя приятными мыслями о своем собственном могуществе, как неприятель уже стоит под городскими стенами и стрелы начинают бороздить воздух. Но у многих бояр были свои заботы. Боярин Мирослав, посылавший монаха Дионисия в Иерусалим за камнем от гроба Христа, все время возвращался к мыслям о собственном добре. Это был жадный до серебра и не очень мудрый человек. Он говорил:

— Как поступить, если смерды из соседней веси мою межу запашут, нарушив все божеские и человеческие законы? Кто возместит ущерб, нанесенный моему имению?

Боярин стучал костяшками по столу:

— Я знаю, там гнездо разбойников и татей. Они только и ждут случая, чтобы расхитить мое достояние и пожечь боярские хоромы. Страшно жить на земле в такое время.

Переяславский тысяцкий Станислав, хорошо знавший хозяйственные дела Мирослава, ехидно заметил:

— Страшно, боярин? Но на твоём дворе самые высокие частоколы. Кто посягнет на тебя?

— А ночное спокойствие?

— Спи спокойно за своими запорами, под лай сторожевых псов.

— Собак злодеи удавить хотят.

— Тогда набери побольше холопов.

— А разве не могут они предать своего господина?

Боярин вытирал широкий лоб красным шелковым платком, весь охваченный душевным беспокойством.

Епископ Лазарь, присутствовавший на совете, поучительным голосом произнес:

— Все это наказание божье за наши прегрешения. Поэтому и страшное смятение в людях. Ныне мир наполнился смрадом человеконенавистничества.

Мономах, умудренный жизненным опытом, привыкший хитрить с греческими митрополитами и с русскими боярами, увещевал боярина Мирослава:

— Верно сказал епископ. Ныне все как бы колеблется на земле, а впрочем

— раньше лучше ли было? Думай о спасении души и частицу своего богатства удели церквам и неимущим. Дать голодному кусок хлеба — и у него засохнет злоба на тебя, и он будет еще лучше трудиться для твоего блага. Не следует доводить человека до крайности, потому что в гневе он способен поднять руку на своего господина, и тогда может совершиться непоправимое. Читайте прилежно писание и в нем найдете ответы на всякое недоумение. Так и мне поможете мудрыми советами и свое богатство сохраните.

Иногда из Переяславля приезжал Фома Ратиборович. Печально понурившись, великий князь сидел в кресле, которое уступил ему игумен, а усатый воевода

— на скамье, подбоченясь, выставив вперед ногу в остроносом зеленом сапоге, точно уже он предчувствовал, что скоро придет другая власть и здесь незачем теперь умялять свою гордыню. У него были законные основания задирать нос и, широко расставив локти, поглаживать седеющие усы.

Впервые Фома прославился, когда еще был посадником в Червене.

В те дни князь Владимир находился с супругой в Смоленске, разбирая в этом городе всякие судебные дела и тяжбы. Воспользовавшись тем, что внимание Мономаха было отвлечено мирным устроением земли, Ярославец, сын Святополка, привел с собой шесть тысяч воинов, набранных на границе, и решил занять Волынь. Но прежде он пошел на Червень, где у Фомы едва насчитывалась тысяча способных носить оружие. Враги обступили город, вызывая жителей на вылазку, но посадник запретил своим выходить за валы, чтобы неприятельские воеводы считали, будто тут и обороняться некому. Когда же наступила ночь, Фома оставил в предградии большие запасы вина и меда, а сам заперся в бревенчатом граде. Наутро неприятели пришли, чтобы зажечь Червень. Они увидели множество сосудов с медом и все взяли себе, а дома зажгли. На другую ночь Фома послал к Ярославцу отрока Василия Бора и велел передать князю, что, мол, Фома бежал из города, а горожане в смущении, негодуют на посадника и готовы сдать, не видя помощи от Владимира. Ярославец был легкомысленным человеком и охотно поверил отроку. Он распустил половину своего войска по селам, а с остальными до полуночи веселился, пируя с наемниками, пришедшими из соседних стран. Все упились медом и забыли поставить стражу. Когда Василий Бор увидел, что творится в неприятельском стане, он поспешно возвратился в город и обо всем рассказал Фоме Ратиборовичу. Посадник вышел с пятьюстами воинами в тыл врагам, а остальные тоже сделали вылазку. Ярославец подумал, что уже пришел из Владимира Андрей, сын Мономаха, и бежал со своими союзниками. В этом сражении Фома изрубил более тысячи человек и многих пленил, и когда Мономах узнал о его военной хитрости, сделал боярина тысяцким во Владимире-на-Волыни и прислал ему гривну на золотой цепи.

В монастыре Мономах опять стал похварывать. Узнав о его немощи, из Юрьева явился епископ Даниил, совершивший некогда путешествие в Иерусалим. Владимир с удовольствием слушал в десятый раз, как епископ рассказывал о своих странствиях. По случаю приезда почтенного гостя в монастырской трапезной устроили постный, но обильный обед. Как всегда. Мономах, воздержанный в еде и питье, почти не прикасался к яствам, но радушно угощал епископа и других гостей, предлагая им лучшие куски. За столом присутствовал князь Мстислав, приехавший из Вышгорода, чтобы навестить больного отца.

На обед позвали также Фому Ратиборовича, Илью Дубца и еще некоторых бояр. У дверей стояли, скрестив руки на груди, в самых непринужденных позах молодые отроки, готовые по первому знаку прислуживать знатым вельможам за столом. Суетились и перешептывались хлопотливые, как пчелы, монахи, приносившие из поварни то рыб, то гороховое сочиво с елеем, то пчелиные соты на деревянном блюде. В нарушение монастырских правил, требовавших, чтобы во время трапезы царила благопристойная тишина или читались жития прославленных мучеников, на этот раз за обедом происходила оживленная беседа. Вернее, епископ рассказывал о своих странствиях Мстиславу, не имевшему раньше случая поговорить с ним и теперь жаждавшему узнать от знаменитого паломника некоторые подробности о Иерусалиме, и все слушали Даниила.

Приподнявшись не без труда со своего места, чтобы тем еще более выразить свое почтение человеку, удостоившемуся видеть многие земные чудеса, старый князь взял кусок пирога с блюда и протянул епископу. Даниил, вероятно еще раз переживая свои путевые волнения, говорил:

— Велик путь, ведущий в Иерусалим. От Царьграда до Великого моря на корабле по лукоморью — триста поприщ, а до острова Петала — еще сто. Оттуда до острова Крита двадцать поприщ, и там раздвояется. Налево корабли плывут в Иерусалим, направо — в Рим. На пути, чтобы не забыть, видел я каменный берег. Мне говорили знающие люди, что на нем некогда стоял город Илион. Один грек, плывший со мною на том корабле и знавший наш язык, рассказывал, что жил некогда слепой певец, прославленный на весь мир, и воспел войну, во время которой город этот сгорел и превратился в прах и пепел.

Мономах и Мстислав кивали головами в знак того, что все это известно им. Бояре усердно жевали, но и они не без удовольствия слушали благочестивое повествование, особенно Мирослав, известный своею ревностью к христианской вере.

— Мы приплыли на остров, который греки называют Хиос. На нем произрастают масличные деревья, всякие овощи, и люди выжимают из виноградных гроздей доброе вино. Я тоже, грешный, вкусил его. Потом мы посетили город Эфес, где находится гробница Иоанна Богослова. Там я видел также пещеру, в коей покоятся семь отроков, спавших триста лет, а потом восставших от сна при царе Феодосии и рассказывавших о том, что они зрили в сновидениях. Затем мы поплыли дальше, до острова Самоса, где ловят множество всяких рыб. Пришлось мне повидать и остров Родос, где томился русский князь Олег. Но потом я очутился в горной местности, которая называется Миры и где на деревьях родится фимиам. Имя тому дереву — зигия, а образом оно как наша ольха. Есть еще другое дерево. В нем живет малый червь, точащий древесину, и эта червоточина падает наподобие пшеничных отрубей. Жители смешивают ее с мезгой фимиамного дерева, варят в котле и получают церковный ладан. Они его продают по большой цене купцам, торгующим благовониями и везущим ароматы на верблюдах в далекие страны. От острова Кипра — прямой путь в Яффу. Четыреста поприщ. Этот город стоит на берегу, и в нем есть удобная пристань для кораблей. Отсюда уже недалеко до Иерусалима. Но идти туда нужно по пустынной равнине, выжженной солнцем, среди страшных гор. Этот путь не безопасен. Из города Аккона выбегают сарацины и убивают путников, а некоторых уводят в рабство.

Позабыв о еде, держа в руке кусок пирога с печеной рыбой, но мысленными очами созерцая свои путешествия, Даниил рассказывал о Иерусалиме:

— Этот град расположен среди дебрей и высоких каменных гор.

Они теперь действительно уже представлялись епископу огромными, вздымающимися до облаков. И в то же время вспоминались масличные деревья на берегах Кедронского потока, розоватые стены Иерусалима, овечьи нестерпимым зноем...

— Там я видел Елеонскую гору. Она расположена в одном поприще от города. Когда путники прибывают туда, все сходят с коней и далее уже идут пешком, и всякий христианин радуется, увидев перед собой с этой возвышенности святой город, и многие даже проливают слезы. А когда войдешь в Иерусалим, то вскоре увидишь храм, где находится гроб Христа. Церковь эта круглая, как башня, и вся вымощена мраморными плитами, гроб же как малая пещерка, высеченная в камне. Дверь в нее так мала, что входить, нужно на коленях. Там висят пять больших неугасимых лампад, а сверху устроен золотой терем.

О башне, где царь Давид играл на кифаре и сочинил Псалтирь, епископ рассказывал так:

— Еще я видел башню Давидову, огромную, четырехугольную, наполненную житом на случай войны. В нее никого не пускают из чужестранцев, и тогда тоже не разрешили путникам подняться по ступеням, а мне и Издеславу Ивановичу все показали...

В те дни в Палестине происходили сражения между латынскими и сарацинами, но Даниила хранил бог, и ему не сделали вреда ни король Балдуин, ни сарацинские эмиры.

Паломник рассказал также о Голгофе, о страшной дороге к Иордану, где разбойники нападают на беззащитных путников и снимают с них одежды. В той области лежит Мертвое море, в воде которого не может жить никакая рыба, и далеко простирается пустыня, раскаленная, как пещь огненная. Люди пользуются там дождевой водой.

Мстислав, любитель книжного чтения, выразил сожаление, что ему не пришлось увидеть все это своими собственными глазами. Но Даниил утешил его:

— В Иерусалиме я поставил лампаду за всех русских князей и Русскую землю...

После обеда Мономах беседовал со своим старшим сыном Мстиславом. Уже было решено, что он примет стольный град и будет братьям вместо отца. Но Мстислав был печален.

— Не предавайся скорби, — сказал ему Мономах, — все люди смертны.

Он видел, что сын с грустью смотрит на его изможденные черты.

Но у Мстислава были и другие огорчения. На днях, когда он вернулся с охоты на вепря, евнух стал шептать ему, что молодая княгиня, пользуясь отсутствием супруга, принимает у себя тиуна Прохора Васильевича и проводит с ним время наедине.

Князь кусал губы. Первая жена его, по имени Христина, уже давно умерла. Потом князь женился на дочери новгородского тысяцкого. Эта молодая женщина была полна любовного огня и любопытства к жизни.

Евнух соблазнял его, как сатана:

— Если поднимешься тотчас в терем, то сам увидишь и убедишься, что я не лгу тебе.

Мстислав сказал ему в гневе:

— Молчи, раб! Разве ты не помнишь, как мы жили в совершенной любви с княгиней Христиной? Я тогда был молод и нередко посещал чужих жен. И все-таки она любезно принимала их, делая вид, что ей ничего не известно, и тем сыскала у меня еще большую любовь. Ныне же я старею, и попечение о государстве не позволяет мне думать о любовных утехах. Княгиня же молода, ей хочется повеселиться, и женщина всегда может допустить неблаговидное, если выпьет вина. Но мне ли остерегать ее от греха? Довольно и того, что никто об этом не знает и не говорит. Советую и тебе держать язык за зубами, если не хочешь, чтобы княгиня погубила тебя. Теперь ступай от меня!

Евнух ушел с обидой в сердце.

Впрочем, впоследствии он узнал, что Мстислав, обвинив бедного Прохора в грабеже людей, подлежавших его суду, все-таки сослал его в Полоцк, где этот красавец и умер в заточении, вспоминая пламенные ласки молодой княгини.

В тот день Мономах обсуждал с Мстиславом также греческие дела. Мономах знал, что русского князя не любят в царьградских дворцах, невзирая на то, что в его жилах течет царская кровь. Мстислав не раз говорил ему с веселой улыбкой:

— Ты правду говоришь, что патриарх не объявит тебя святым.

Мономах лицемерно отмахивался обеими руками, хотя в душе считал, что лестно было бы получить венец святости. Но какие мучения он претерпел?

— Как быть мне святым с моими прегрешениями! — вздохнул старый князь.

Впрочем, главная задача заключалась в том, чтобы обдумать, как впредь поступать в греческом вопросе и чего держаться в переговорах с ними. Беседа была тайная, никто не присутствовал на ней, кроме Мономаха и его сына, а у дверей стоял на страже Кунгуй.

Старый князь имел возможность побеседовать в те дни и с одним иверийским монахом, от которого получил весьма ценные сведения о том, что происходит в жребии Симове. Положив руки на подлокотники, Мономах мысленным взором окидывал огромные пространства своих земель. На Руси стояла тишина. Как будто бы нигде на границах непосредственной опасности уже не грозило. С Литвой и ляхами установилась дружба после всяких нелепых недоразумений. Он предпочитал жить с соседями в мире и не проливать напрасно драгоценную христианскую кровь. Что можно доказать мечом? Только то, что одно войско сильнее другого, но во время войн обильно льются материнские слезы и погибают нивы, растоптанные вражескими конями. Половецкая степь тоже не грозила страшными бедствиями, как часто случалось в прежние года. Мономах загнал хана Атрока за Железные врата, а его брат Сырчан перешел на мирную жизнь и благодушно ловил рыбу в тихом Дону, не помышляя больше о набегах на Русь. Он знал, что стоит только ему появиться на путях, ведущих в Переяславскую землю, — и тотчас перед ним, как буря, вырастет русская конница, бряцающая оружием. Лучше ловить щук в донских затоках и по вечерам слушать певца Орева, прославлявшего победы предков, чем подставлять свою голову под страшный русский меч...

В Иверии в те дни правил царь Давид, прозванный за свою деятельность Строителем. Он женился на добродетельной Гурандухт, дочери половецкого хана Атрока, и все внимание направил на борьбу с сельджуками, наводнившими страну. Зная о воинских достоинствах кипчаков, как иверийцы называли половцев, он позвал всю их орду, во главе со своим тестем, к себе на службу. Необходимо было устроить так, чтобы половцев пропустили беспрепятственно через свои земли воинственные осетины. Для этого сам Давид отправился в Осетию. Атрок и осетинские князья обменялись заложниками, и таким образом были открыты для орды все горные перевалы. По этой безопасной дороге Давид привел в Иверию многочисленную кипчакскую конницу. По ело вам книжников, всего пришло, не считая женщин и детей, сорок тысяч человек. Каждый воин получил коня, оружие и надел земли. Из кипчаков был также составлен отряд царских телохранителей в количестве пяти тысяч всадников.

Мономаху уже сообщали об этом в свое время. Но он сказал:

— Что мне до того? Знаю, что Давид никогда не пошлет половцев против меня, а я не пошлю воинов против него...

Так как старый князь очень любил беседовать с чужестранцами и путниками, приходившими в русские пределы, то он обрадовался, когда узнал, что в монастыре случайно оказался, на

пути из Чернигова в Переяславль, некий иверийский монах, и тотчас послал за ним, чтобы послухать о подвигах Давида и о судьбе хана Атрока.

44

Владимир Мономах в день приезда в монастырь опять почувствовал себя плохо и с печальной улыбкой отвечал на приветствие игумена и монахов:

— Благодарю твое благоумие и вас, братия!

Душой его овладевало постепенно стариковское равнодушие. Как будто бы и не было в его жизни ни встреч с женщинами, ни конных сражений в далеких половецких полях, ни удачных ловов, когда бодрые крики кличан наполняли шумом благоуханные дубравы. Только при воспоминании о Гите его сердце сжималось. Иногда он выходил из келий и смотрел на монастырскую церковь. Они строили ее вместе с Гитой. Из Новгорода приехал зодчий Петр, строитель многих новгородских монастырей и храмов, уже старик, но еще обладавший ясным умом и даром воображения. У молодой княгини блистали глаза, когда он широкими движениями рук рисовал в воздухе своды и купол здания. Дочери короля, воздвигшего на английской земле Вальтам, было приятно, что и она оставит после себя храм, который на много лет переживет ее.

Строитель Петр явился с двумя своими учениками. Все трое оказались новгородцами, хотя по внешнему виду и одежде ничем не отличались от киевлян или переяславцев. Тот же пробор посреди головы, подстриженные по-христиански бороды — у Петра седая, у его учеников русые; у всех трех длинные рубахи, кожаные сапоги. Но после первых же слов Мономаху стало ясно, что это не обычные люди, с какими встречаешься на торжище или даже в церкви, а знающие строительную тайну. Иногда строители говорили между собой на понятном только для них языке.

Мономах хорошо запомнил то раннее утро, когда они приехали с Гитой в монастырь. У ворот дубовой ограды их уже поджидали зодчие и монахи.

— Приступим, — радостно сказал молодой князь, счастливый любовью жены, здоровьем, солнечным утром и возбужденный недавней верховой ездой по красивой дороге мимо переяславских дубов. Был месяц май. Как и теперь. Когда они проезжали росистой дубравой на заре, там еще щелкал какой-то неугомонный соловей, хотя уже совсем рассвело... Казалось, что не будет конца этой жизни и этому счастью, и вот ныне все приближается к концу.

— Приступим, — повторил Петр, и по всему было видно, что строитель чувствует себя в центре событий и понимает свое превосходство над людьми, даже если они носят на голове княжескую шапку из парчи.

Согбенный годами, но еще полный быстроты в движениях, строитель прошел мелкими шажками на монастырский двор, и все толпой двинулись за ним, понимая важность этого часа. В одном месте старик остановился и показал рукой на землю:

— Здесь надлежит выровнять долину для церкви.

— Почему ты избрал это место? — любопытствовал князь.

— Здесь удобное и возвышенное местоположение. Тут не ложится в изобилии утренняя роса, и почва благоприятна для того, чтобы копать корение.

Мономах знал, что корением называется основа здания.

— Пусть будет так! — сказал он.

Может быть, впервые в жизни служба в бревенчатой церкви казалась ему в тот день слишком долгой. Наконец богослужение закончилось, и можно было приступить к обмеру долины.

В руках у Петра он увидел деревянное мерило. Строитель с важностью объяснил ему:

— Длина его — четыре локтя. Это мерная сажень. Но есть еще косая, а также морская и сажень без чети... Ими мы пользуемся, чтобы сообразовать отдельные части здания. Для этого мы чертим план, или вавилон. Имея его в руках, не нужно ни вычислять, ни утруждать себя измерением отдельных частей...

Модемах и Гита слушали зодчего с растерянной улыбкой. Так улыбаются люди, если не понимают чего-нибудь.

— Вавилон? — осмелился спросить Мономах.

Петр чувствовал себя среди этих непонятных вещей как рыба в воде.

— Вавилон — каменная плита. На ней чертится четырехугольник, а внутри его еще один, малый, и разделяется крестообразно. Мы получаем тогда как бы образец для всех наших вычислений.

Мономах задавал другие вопросы. Но зодчий отвечал на них без большого желания, очевидно не имея намерения открывать свои строительные тайны. Он все-таки объяснил:

— Начертим на земле четырехугольник...

И не торопясь изобразил концом деревянного мерила четыре линии на пыльной площадке двора...

— Чему равна мерная сажень? Ты видел. Моему мерилу. Но если в четырехугольнике проведешь линию из одного угла в другой, то получишь косую сажень.

Мономаху впервые открывалось таинственное соотношение частей и линий в четырехугольнике. В волнении он только кивал головой.

— Еще разделим вавилон крестом... — продолжал Петр.

Опять пошел в ход жезл мерила.

— Зачем тебе требуется столько различных мер? — спросил князь.

— Потому, что каждая мера соответствует тому, что мы ею измеряем. При вычитании одной сажени из другой остаток показывает нам, какую толщину следует придать стенам здания, чтобы обеспечить им прочность и чтобы они были в состоянии выдержать непомерную тяжесть сводов и купол, как бы висящий в воздухе без всякой опоры, но тоже требующий основание для своей легкости... Благодаря вавилону все это измеряется без участия человеческого ума.

Строитель, очевидно, понимал, что не так-то легко постичь все это непосвященному. Он как бы выискивал более доступный пример.

— Начертим треугольник...

На песке появилась фигура с тремя углами.

— Вот что достойно удивления. Если стороны треугольника равны мерной сажени, высота его равняется половине косо́й сажени, и никакая сила в мире не в состоянии изменить подобные отношения...

— Все в руке божьей... — заметил стоявший рядом игумен, не проронивший до сих пор ни одного слова, так как ему казалось, что он в этом благочестивом деле храмостроения касается чего-то бесовского.

Мономах посмотрел внимательно на новгородского строителя. Неужели существуют вещи, изменить которые не может даже сам бог? Действительно, что-то сатанинское было в этой улыбке зодчего, спрятанное в седой бороде.

После этого монахи приступили к выравниванию долины, на которой должен был стоять храм. Строитель ходил между ними, показывал, где надо копать, или брал в руку ком земли и растирал его между пальцами. Только на второй день начали чертить план церкви на долине и сделали так называемое очертание, в котором уже были отмечены отдельные части здания. Гита неизменно сопровождала Владимира на место строительства и с любопытством наблюдала работу каменщиков.

Петр, не выпуская из рук жезл мерила, вспоминал различные случаи строительства:

— Размеры Печерской церкви измеряли по длине золотого пояса, что подарил Феодосию варяг Шимон. Мы же будем пользоваться здесь прямой и косо́й саженьями.

Затем наступил знаменательный час. Петр вошел на выровненную площадку и наметил восточную сторону здания. Он определил восток еще на заре, заметив, в каком месте поднимается солнце в тот день, когда решили заложить церковь.

— Теперь проведем осевую линию, — сказал он.

Примерно в середине площади, предназначенной для храма, строитель начертил четырехугольник, которому наверху должен был соответствовать купол и расстояние между столбами.

Петр говорил:

— Я как бы черчу на долине скинию завета. Ищу пуп ее и, водрузив там жезл, строю вокруг еще один прямоугольник. Здесь стоял ковчег завета, а тут — медная купель, наполненная водою.

Так новгородский строитель наметил на земле все части будущего здания, алтарь и корабль, ризницу и хоры, и Мономах морщил лоб, стремясь постигнуть смысл этих линий и пересечений, однако должен был признаться, что все остается для него полным тайны.

Петр пытался помочь ему:

— На начертанное надлежит смотреть не телесным оком, а умозрительным и умом постичь то, чего нельзя изобразить на песке выпуклым. Ведь все нарисованное на нем или на коже кажется как бы лежащим на земле. Начертанные мною стены не стоят отвесно, как они будут в здании, а будто бы простерты ниц...

Петр отсчитал в алтаре шесть мерных саженьей на восток и шесть косо́х на полночь и полдень.

— Какова же толщина стен? — спросил Мономах, знавший, что искусство строителя заключается в том, чтобы определить толщину стен без излишнего расходования кирпичей.

Опять Петр давал путаные объяснения.

— Но почему ты все меришь двумя разными саженьями? Ведь косая длиннее прямой? — спросила Гита и покраснела, что вмешивается в важное мужское дело.

Новгородец ответил ей ласково, любуясь чужеземной красотой княгини:

— Так учил меня великий человек, построивший Софийский собор в Новгороде. Когда я еще рос малым отроком, он объяснял мне, что всякое здание, измеренное двумя разными саженьями, лишается чрезмерной сухости линий. Его стены приобретают в таком случае нечто приятное для зрения...

Увы, все это почти ускользало от понимания, но Мономах и Гита постигали науку Петра сердцем и радовались каждому кирпичу, положенному каменщиком. Церковь как бы росла из земли, задуманная высоким воображением строителя, и теперь люди могли не только предвидеть ее размеры, но и каменную красоту здания.

С тех пор прошло немало лет. Храм все так же нерушимо стоял посреди монастырской ограды, а Гиты уже не было на земле. Но Мономаху хотелось думать, что немного от ее жизни осталось в этой розовой церкви, что какая-то частица ее души продолжала существовать в безмолвном камне. Разве не выполнил строитель некоторые пожелания заказчицы, когда украшал вход в храм высеченными из мрамора украшениями ангелов? В их смутных улыбках что-то напоминало о молодой княгине.

Полюбовавшись церковью, старый князь обычно возвращался в свою избушку, чтобы полежать немного на деревянном монашеском ложе. Укрываясь овчиной, он вспомнил о другом строителе...

Епископ Ефрем первоначально жил в Мелитине и уже там отличался любовью к зодчеству. Но этот город захватили безбожные агаряне, и с тех пор Ефрем сделался бездомным скитальцем. Судьба забросила его в холодную Скифию, и некоторое время он состоял хранителем сокровищницы у князя Изяслава. Потом его посвятили в епископы. Он пришел в Переяславль и сделался советником Владимира Мономаха. Это он украсил город многочисленными церквами и каменными зданиями.

Как многие скопцы, этот молчаливый худощавый человек с лицом, лишенным всякой растительности, и глазами, глубоко затаившими большую печаль, отличался замечательным умом и пониманием красивых вещей.

Очевидно, старый князь задремал, потому что вдруг снова увидел себя на княжеском дворе в Переяславле. Вот собор Михаила, церковь Успения с сияющей красками иконой Алимпия, вот еще одна церковь, каменные палаты и построенное по замыслу Ефрема банное здание, каких никогда еще не видели на Руси. Весь город вставал в сонном видении! Церковь Андрея вздымалась на городских воротах, другие храмы выплывали среди деревянных строений. Печально улыбаясь, потому что много претерпел в своей жизни и был изувечен по козням врагов, навстречу князю шел епископ. На нем шумела синяя шелковая мантия, в руках он держал серебряный посох...

С прибытием в Переяславль этого деятельного иерарха город наполнился стуком секир и веселыми голосами каменщиков, запахами свежесрубленного дерева, стружек, извести. Тогда и возникла на черниговской дороге гончарная слобода, где делатели кирпичей сушили их на солнце и по ним бегали псы и козы, оставляя отпечатки своих лап и копытцев на мягкой еще глине. Гита покачала головой. Но епископ Ефрем улыбнулся:

— Это не вредит кирпичной прочности.

Мономах отлично помнил, как строили из этих кирпичей банное здание. Ефрем показывал рукой на него и говорил:

— Такие бани существуют в греческих городах. Люди совершают в них омовение ради телесного и душевного здоровья.

Гита стояла рядом и смотрела то на этого странного человека, то на новое здание. Из высокой трубы поднимался белый дымок.

Потом они вошли в строение. Еще слышался издалека мягкий и тихий голос епископа:

— Здесь моющиеся снимают свои одежды...

Мономах увидел, что вдоль стен устроены широкие скамьи, чтобы люди могли раздеваться.

— За этой дверью устроена мыльня и купели для омовения...

Это вызывало удивление! Велика человеческая хитрость!

— Там топка. Оттуда в мыльню доставляется по глиняным трубам горячая вода и теплый воздух для обогрева...

Трубы проходили под полом, а дым выходил в каменную дымницу. Епископ Ефрем построил также много других зданий. Это он устроил в Переяславле больницу и дом для врачевания, куда каждый мог приходить безвозмездно лечиться и получать лекарства...

45

Жизнь приближалась к концу. Старый князь лежал на неудобном деревянном одре и предавался горестным размышлениям. Он представлял себе, как люди будут говорить с печалью, когда волы повезут его прах на санях в святую Софию:

«Вот последний путь Владимира Мономаха!»

В такие минуты князь находил утешение в книжном чтении. Он раскрыл лежавшую на столе книгу и прочел в ней наугад:

«Кратковременность жизни, малая продолжительность земных радостей и благоденствия нашли у пророка удачные уподобления. Ныне человек цветет телесно, утучненный от удовольствий, и сообразно со своим юным возрастом имеет на щеках свежий румянец; он бодр, ловок в движениях и неутомим в достижении богатства, а наутро вдруг становится жалким и увядает от какой-нибудь болезни или беспощадного времени. Иной обращает на себя внимание изобилием своих сокровищ, и вокруг него теснятся льстецы; если прибавить к этому еще гражданскую власть, или почести от царя, или участие в управлении, или начальствование над войсками, что дает человеку право иметь вестника, громогласно взывающего перед своим господином, чтобы люди уступали ему дорогу, или жезлоносцев, вселяющих у встречных трепет и напоминающих о том, что у этого вельможи власть схватить любого жителя, взять его под стражу или заточить в темницу, то одна мысль о подобном могуществе вызывает у нас ужас. Но разве не может приключиться с таким человеком что-нибудь неожиданное? Одна ночь в горячке, или боль в боку, или воспаление легких могут в один час похитить его из среды живущих, низвести с высокого позорища, и тогда место действия этого правителя становится опустевшим, а слава — не чем иным, как кратким сновидением...»

Сегодня Мономаху захотелось — точно он предчувствовал приближение смерти — еще раз окинуть умственным взором тот мир, который создали ему книги и беседы с мудрыми епископами.

Митрополит Никифор говорил ему неоднократно:

— Помни, что в этом мире ты только путник на временном и кратком ночлеге в далеком путешествии...

Неуверенной рукой он снова раскрыл «Шестоднев», с таким изяществом написанный болгарским экзархом Иоанном. На глаза попались случайно те строки, которые всегда с особенной силой волновали его. Здесь говорилось о тщетности геометрии и всей легкомысленной суете человеческого ума... Но в голову приходили соблазнительные мысли. Разве ум этот не постигает великие тайны и не поднимает тяжкие камни на необыкновенную высоту, когда строят городскую башню или храм? Если бы не было книг, написанных мудрецами, он многое бы не знал и бродил бы во мраке, как жалкий слепец. Теперь же ему стало известно, что в мире существует птица Феникс. Когда ей исполняется пятьсот лет, она летит в кедры ливанские и извещает о своем появлении священнослужителей города Гелиополя, затем опускается на жертвенник, украшенный плющом, и тогда огонь пожирает ее. Однако уже наутро в жертвенном пепле появляется червь, превращающийся спустя некоторое время в птенца, а из него вырастает впоследствии ширококрылая птица...

Мономах любил раскрыть так какую-нибудь книгу на том месте, где пришлось, и, прочитав несколько строк, размышлять над ними. За книжным чтением, хотя бы на короткое время отрываясь от государственных забот и хозяйственных дел, он взирал на раскрывавшееся перед его глазами мироздание, прекрасное, как некое огромное сновидение. Только книги могли дать ответ на волновавшие его вопросы.

В маленькое оконце келий вливался утренний свет, приятнее которого трудно представить себе что-либо. Мономах, лежавший поблизости от окошка, видел кусочек голубого неба и несколько цветущих яблонь. Но он знал, что за бревенчатой стенкой лежит не только монастырский огород, но и вся огромная земля, омываемая с четырех сторон океаном, в котором плавают необыкновенные рыбы и морские чудовища, как, например, киты. Рассказ о них, прочитанный в книге, поражал Мономаха своим содержанием. Исходящее из кита благоухание привлекает к нему множество мелких рыбешек, которых он и поглощает. Мореплаватели часто принимают огромное тело этого чудовища за остров и погибают, расположившись на нем беззаботно, как на суше. Благоухание же кита напоминает блудницу. Из ее уст сочится мед, становящийся позднее горше желчи и страшнее обоюдоострого меча.

Много другого удивительного он узнал из книг. Существует еще одна птица, называемая селевкид, или розовый скворец, созданная для того, чтобы пожирать саранчу, потому что наделена необычайной прожорливостью. В другой раз он прочел о слонах. Эти животные спят, прислонившись к дереву, так как ноги у них не сгибаются и они не могут с удобством прилечь на траву, и когда являются охотники, то срубают дерево, слон падает и делается их легкой добычей, если на помощь к нему не приходят другие слоны.

Но не только в книгах может человек черпать познание о мире. Он сам удивлялся, видя неоднократно, как благодаря своей чрезмерно длинной шее лебедь отлично достает пищу со дна болота или как рыба, избегая бушевания северных ветров, укрывается в тихих заводях. Однако если неразумная тварь поступает так в попечении о своем благе, то что же можно сказать о человеке, наделенном разумом? И тем не менее люди часто поступают неразумно, побуждаемые гневом и жадностью. Как большая рыба пожирает малых, так и они губят своих ближних. Но бойся, безумец, возмездия. Смотри, чтобы и тебя не постиг один конец с уловленной рыбой: уда, верша или сеть!

Иногда эту ясную и стройную картину божественного плана нарушали человеческие сомнения. Так, в книге, написанной Плавателем в Индию, он прочел об эллинах, которые, не считаясь с пророками, утверждали, что земля имеет вид шара и находится в состоянии вечного вращения и как бы подвешена в воздухе. Но в таком случае это означало бы, что ноги находящихся под нами вроде как упираются в потолок и люди эти стоят вниз головой. Поистине такое представление о земле достойно смеха.

Почувствовав необоримую усталость, старый князь бережно отложил книгу и прилег на деревянной скамье, с кряхтением устраивая старое тело на неудобном и жестком ложе. Его незаметно охватывала дремота. Сквозь сонные туманы, наплывавшие теплой волной, мелькали знакомые лики. Печально улыбалась Гита, как будто бы звала к себе... Фома Ратиборович горделиво выставил ногу в зеленом сапоге и разглаживал пушистые усы... Хан Бельдюз молил о пощаде... Когда Мономах видел эти образы прошлого, у него рождалось желание рассказать обо всем, с чем встретился на своем жизненном пути, и у него рождалось чувство, напоминавшее зависть к тем, кто с таким искусством пишет книги. Он написал бы о Гите и даже о дочери кузнеца, потому что и черная кузница у Епископских ворот и все живущие в ней тоже входили в жизнь Русской страны. У навеса стояла девица в красном платке.

К вечеру Мономах позвал к себе боярина Фому Ратиборовича, ужинавшего с игуменом наваристой ухой из жирных ершей, и просил его послать за сыновьями. Бросив ложку на стол, воевода кликнул отроков. В одно мгновение монастырь наполнился тревожным шепотом:

— Великому князю стало плохо...

Дрожащими руками игумен облачился в пресвитерские ризы и взял на престоле золотую чашу. На ней, среди сияющих красных и зеленых самоцветов, были изображены четыре евангелиста и их знаменья: вол, овен, лев и орел. Илья Дубец и Злат, стоявшие у келий и видевшие, как проносили священный сосуд, вспомнили, как они добывали его в Каффе. Опять на кривых улочках запахло кожей и вонючими мехами, рыбным чадом харчевен... Блеснуло зеленоватое море...

Продавец, поворачивая потир, говорил:

— Эта золотая чаша стояла на престоле знаменитого константинопольского храма...

Какой путь проделала она, прежде чем попасть в этот тихий монастырь! Константинополь, Амастрида, Армения, Каффа. Может быть, еще другие города и страны... Названия их казались странными для слуха, но в памяти остался рассказ о том, как эту чашу похищали тати, утаил несправедный судья, отнимали разбойники и зарывал в землю неверный раб.

Игумен вошел в избушку, и Кунгуй затворил за ним дверцу. Великий князь исповедовался, каялся в своих грехах...

Вышедший из трапезной Фома Ратиборович, очень озабоченный и мрачный, сказал Злату:

— А тебе скакать в Переяславль. Скажешь князю и княгине, что страшимся худшего...

Старый князь умирал. Но пока Злат еще не доскакал до городских ворот, в Переяславле ничего не знали об этом. С утра кузнец Коста хлопотал над своим сокровищем. Звенели в его руках серебряные сосуды. Он лишился сна, ходил теперь черным не от кузнечной копоти, а от бессонницы и душевного волнения, размышляя днем и ночью, какой образ придать своему светильнику. Хотелось сделать эту вещь огромных и прекрасных размеров, но металла не хватало на его великолепные замыслы. Требовалось устроить так, чтобы ответвления или рога с чашечками были полыми. Однако это вызывало затруднения с литьем серебра...

Были и другие заботы. Орина ворчала:

— К чему столько бесполезного беспокойства? Вот послала тебе в руки судьба богатство — и пользуйся им в свое удовольствие. Продай сосуды боярам — и приобретешь себе дом с дымницей и все, что нужно нам, и новую кузницу построишь. Обеспечишь род наш до скончания жизни...

Чтобы не слышать упреков жены, Коста взял в руки топор и отправился в дубраву. Он решил, что надо поправить хижину ворожеи в благодарность за ее доброту и покровительство. Глядишь, и зима приблизится. Как будет тогда жить там старуха в морозные дни?

Проходя мимо огорода, он увидел Любаву. Девушка беззаботно пела свадебную песенку, помышляя о своем близком счастье:

Перун и Лада на горе купались.

Где Перун купался, там берег сотрясался, где Лада купалась, там цветы расцветали...

Коста покрутил головой, но ничего не сказал и вышел на пыльную дорогу. Сахир стоял на пороге корчмы и спросил:

— В рощу идешь?

Он подозревал — что-то произошло в кузнечной слободке, и об этом многие в корчме говорили, но толком не знал, в чем дело, а знать хотелось смертельно.

Кузнец весело ответил:

— Хочу дуб срубить.

Корчмарь не поверил и еще с большей подозрительностью смотрел ему вслед. Вчера гончар Олеша рассказывал:

— Чудные дела творятся у нас в Переяславле. Кузнец Коста не хочет коней подковывать, а богат серебром. Все-таки нашел он клад или с нечистой силой ведет знакомство. Вчера шел ночью мимо кузницы. Слышу, как будто чаши звенят. В окошечке свет. Заглянул туда, а светильник погас, и вдруг козел заблеял в хлеву. Страшно мне стало, как в черном овине. Прибежал домой...

Когда Коста пришел на знакомую поляну, он остановился как вкопанный. По-прежнему две лошадиных головы белели на шестах, но избушки не было. Вместо нее виднелась куча углей и пепла. Пожар пожрал все. Кузнец бросился вперед, чтобы посмотреть, что тут произошло. Ничего не осталось на пепелище, кроме золы и головешек. Прах был еще теплым. Значит, пожар случился в прошлую ночь. Когда сегодня пропели петухи, он выходил на двор, и ему показалось, что над рощей стоит зарево, но подумал, что мерещится ему. Куда же девалась ворожея? Коста порылся в углях секирой, но никаких человеческих костей не обнаружил. Сгорела горбунья, как сухая трава? Вовремя ушла и бродит теперь где-нибудь под дубами, лишенная крова? Или улетела вместе с дымом в свое страшное колдовское царство?

Постояв немного, кузнец срубил шесты, на которых торчали лошадиные головы, и черепа со стуком обрушились на землю. Он тогда пошел прочь с большой печалью в сердце. Дома сказал Любаве:

— Избушка в дубраве сгорела, и остался от ворожеи только прах!

Любава, услышав это, закрыла лицо руками и расплакалась. Недаром она видела сегодня во сне черную кошку. Орина же, стоявшая возле кузницы, заворчала:

— Это архангел покарал горбунью за ее шептания.

День прошел как в тумане. Под вечер Любава увидела, что по дороге, поднимая пыль, скачет Злат. Остановившись около кузницы и сдерживая взмыленного коня, он крикнул:

— Великий князь умирает...

На одно лишь мгновение улыбнувшись невесте, стоявшей у, плетня, помчался в город с печальным известием.

Другие вестники мчались в Вышгород, Киев, Смоленск... Услышав о том, что отец с часу на час ожидает кончины, сыновья Мономаха поспешили к одру больного. Раньше всех явился в монастырь из расположенного поблизости Переяславля князь Ярополк и с ним молодая супруга. Из Вышгорода прискакал заплаканный Мстислав. Старый князь перевел его недавно из Новгорода в этот город, поближе к себе, чтобы иметь всегда в нем поддержку и утешение. Своей красотой старший сын напоминал мать, у него были такие же зеленые глаза, за что его любили боярыни больше, чем своих законных мужей. С Ярополком вернулся Злат и приехали многие другие отроки.

На третий день из Турова прибыл князь Вячеслав, видевший Дунай и греческие города, а из лесного Суздаля раздумавшийся от конского бега Юрий, самый молодой из сыновей. Позднее всех явились Роман из Смоленска и Андрей из Владимира, что на Волыни. У владимирского посадника женою тоже была половецкая красавица, внучка прославленного хана Тугоркана. Но она осталась во Владимире, потому что носила тогда в чреве младенца. Князь поскакал один с отроками, оглядываясь беспрестанно на высокое оконце, где женская рука махала ему голубым платком. Андрей торопился всячески, страшась, что не застанет отца в живых, потому что путь был долог. Еще длиннее дорога была для Юрия.

Но Момах точно собрал воедино все свои силы, чтобы дождаться сыновей и благословить их. Когда Юрий, последний из приехавших, вбежал, не снимая корзны, в трапезную, куда перенесли больного, чтобы оказалось достаточно места для всех желающих проститься с великим князем, все уже были в сборе. Молодой князь увидел, что отец лежит на полу, на перине, видимо доставленной из Переяславля. У стола стоял знакомый белобородый и большеглазый врач по имени Петр, родом сириец. Он мешал деревянной ложкой какое-то снадобье в глиняном сосуде, приготовляемое для болящего. Утреннее солнце наполняло горницу через скудные оконца розоватым светом. На лавке у стены сидели в один ряд Ярополк, Мстислав, Андрей, Роман и Вячеслав.

Как только Юрий показался на пороге трапезной, Мстислав поднялся и сказал:

— Вот и ты приехал, милый брат. Теперь все мы собрались. Нет только Изяслава с нами...

Юрий улыбнулся старшему брату, но глаза его уже встретились с потухающим взором отца. Старый князь тяжело дышал, но в его мутнеющих глазах мелькнула радость, когда Юрий подошел и опустился перед ним на колени.

— Отец и господин...

Момах немного повернул голову в его сторону.

— Я сын твой Юрий. Видишь ли ты меня?

Старик чуть слышно проговорил:

— Вижу тебя, сын... И как бы свет над твоей головой... Великая тебе судьба предстоит...

— И я здесь, отец, — произнес Андрей, приехавший в монастырь, когда старый Момах

находился в забытьи, и поэтому еще не приветствовавший отца, и тоже опустился на колени у ложа.

Тогда к умирающему приблизились прочие сыновья. Отец имел достаточно сил, чтобы оглядеть их всех, и, сберегая трудное дыхание, шептал:

— Как теперь будете жить без меня?.. Страшно, что Ольговичи Владимир захватят... Тмутаракань...

Мстислав за всех ответил:

— Не страшись, отец, не распадется храмина нашего государства.

Другие сыновья утешали старца:

— Русская земля едина...

Слушая эти мужественные голоса Мономах вздохнул с облегчением. Но потом еще хотел что-то сказать:

— Бояре...

Однако у него не хватило дыхания, и он умолк. Потом прибавил, обращаясь к Юрию:

— Ты в лесах живешь... Они тебя от врагов охраняют...

В глубине души старый князь знал, что хотя сыны говорят ему успокоительные слова, но не всегда относятся друг к другу с любовью, завидуя лучшим и богатым городам. Всегда могли найтись у них советники, которые из корыстолюбивых и ничтожных побуждений стремятся к власти в одном каком-нибудь захолустном городке, для того, чтобы удовлетворить свое жалкое честолюбие. Не мудрено, что книжники и певцы, черпающие поучительные примеры в прошлом, призывают к единству...

В дверь заглядывали встревоженные монахи. Один из них, молодой, с любопытствующими глазами, исполнявший в монастыре обязанности звонаря, дернул Злата за рукав и показал перстом на лари, стоявшие в трапезной у противоположной стены:

— Что в них? Серебро князя?

Отрок посмотрел на него свысока.

— Ты глупец... В одном ларе князь возит с собою повсюду книги для чтения, в другом — оружие, в третьем хранятся дары, что прислал ему греческий царь.

— Дары?

— Золотой венец, хламида, драгоценный пояс, именуемый лор...

Звонарь смотрел теперь на лари с почтением. Они заключали в себе удивительные сокровища. Злат тоже связывал с ними в своем представлении величие Царьграда, пышность царских дворцов и шумные ристания.

Старый монах, с пальцами в чернилах, потому что едва оставил свое летописание, стал шепотом объяснять звонарю:

— Царь воевал тогда с латынянами и персами и решил отправить посольство в Киев. Из Азии явились митрополит Эффесский Неофит и два епископа, стратиг Антиохийский, игумен Евстафий, а также многие благородные патрикии. Царь снял со своей выи крест, сделанный

из того древа, на котором был распят Христос, с главы — венец и велел принести сердоликовую чашу, из которой пил, веселясь на пирах, кесарь Август. Царь снял также ожерелье, кованное из аравийского золота, и велел митрополиту наречь нашего князя Мономахом и царем всея Руси...

Монашек слушал с открытым ртом.

Стоя у двери, Злат с волнением смотрел на умирающего. Но его заслонили многочисленные князья и бояре. В этой скромной горнице с бревенчатыми стенами великая слава превращалась в прах. Ровно в полночь, окруженный сыновьями и вельможами, побеседовав с ними перед смертью, Владимир Мономах, сын Всеволода, внук великого Ярослава, испустил дух. Зажегши свечи, монахи запели положенный псалом, и тогда трапезная наполнилась рыданием. На монастырской колокольнице звонарь ударил в медный колокол, и его певучий звук возвестил окрестным полям и дубравам о смерти великого князя. Весть об этом быстро распространилась по Руси, а затем достигла Константинополя. В Священном дворце состоялось совещание синклита. Император, красивый человек в диадеме, с выразительными глазами, был встревожен. В константинопольских залах, где встречались люди, имевшие отношение к управлению государством, происходили одни и те же разговоры.

— Как здоровье супруги? — спрашивал один.

— Благодарю, она в добром здравии, — кланялся другой.

— Ты слышал?

— О чем ты изволишь говорить?

— Умер русский архонт.

— Конечно, я слышал об этом. Но кто наследует ему?

Подобные же беседы происходили на Ипподроме, в церквах и просто на улицах. Недалеко от церкви св.Фомы стояли два влиятельных человека. Один из них был Стефан Скилица, некогда высокий сановник церкви, а ныне находившийся в забвении, другой — известный врач и стихотворец Николай Калликл, оба уже в летах. Скилица убеждал лекаря:

— Бог, или, если говорить философским языком, единое, не самобытно, ибо мы не говорим, что оно довлеет только для собственного бытия. Ведь это означало бы, что божество — самодовлеющее начало, а таково недостаточно для передачи своей силы другим. Следовательно, бог не самодовлеющее и не избыточествующее, но преизбыточествующее. Поэтому из него, как из переполненной до краев чаши, истекают потоки добра...

В это время в конце улицы показался поэт Феодор Продром. Уже прошло немало лет с тех пор, как он, достигший высших ступеней славы, осыпанный милостями царей, а потом снова впавший в ничтожество и лишившийся всех своих шести слуг, женился на Евдокии, вздорной и невежественной женщине, которая прельстила стихотворца своей соблазнительной походкой. Теперь это была мать четырех детей, с большим животом, с испорченными зубами. Да и сам он... Когда-то он подсмеивался в своих стихах над лысыми старичками. А теперь? Заболев оспой, он сам потерял волосы, и лицо его сделалось щербатым, как поле, изрытое конскими копытами. Злой завистник обвинил его в том, что поэт неправильно выражается о святой троице, и чуть ли не в неверии в бога. Потом этот доносчик смеялся и говорил, что поступил так под влиянием хиосского вина, выпитого в излишнем количестве. Но тем не менее преподавательского-то места в школе св.Павла Феодор лишился! Меньше учеников стало и на дому. Сейчас жена послала его на базар и к булочнику, и таким образом он нос к носу встретился со своими друзьями.

— Смотрите, идет знаменитый стихотворец! — воскликнул Калликл, позабыв о богословских тонкостях Скилицы. — Как ты живешь, приятель?

Феодор Продром грустно вздохнул. Заикаясь почти на каждом слове, он стал жаловаться на свои житейские невзгоды:

— Когда я еще был ребенком, дорогой мой отец пригласил меня однажды в свой покой и сказал мне со слезами на глазах: «Сын мой! Ты еще дитя и не в состоянии различить добро от зла, а у меня обширный жизненный опыт, я много путешествовал и немало пережил на суше и на море. Еще больше я прочел в книгах. Поэтому обрати внимание на то, что я тебе сейчас скажу. Различны пути, по которым ходит человек. Имеют и сражения свою прелесть, так как они прославляют доблестного мужа и дают повод пользоваться щедротами василевса. Однако твои плечи слишком слабы, чтобы носить тяжелое вооружение, а ноги не в состоянии выдержать длительные и утомительные переходы. Тем не менее ты не должен выбирать и какое-нибудь спокойное, но малопочтенное и не достойное тебя ремесло, вроде башмачника или торговца. Это было бы позором для моего звания. Поэтому не лучше ли тебе, сын мой, обратиться к наукам и предаться, например, изучению риторики? Подобное занятие сделает тебя счастливым и полезным для общества». Что же? С того дня я посвятил себя книгам, стал писать стихи, можно сказать, прославился до Антиохии. Но что это дало мне, кроме неприятностей?

Калликл, вполне обеспеченный человек, пытался утешить стихотворца:

— Ты не должен жаловаться. Было и у тебя приятное в жизни.

— Что же, например?

— Ты воспевал победы ромеев, ты водил дружбу с такими людьми, как Михаил Пселл или Иоанн Итал. Не отличала ли тебя и твои стихи царица Ирина?

— Итал? — с возмущением подхватил Продром. — А вы знаете, что он ответил, когда я просил его о помощи?

Приятель сказали, что не знают.

— Он мне ответил: «Зачем я буду посылать тебе посылки? Ведь мы с тобою составляем одно целое, и это означало бы посылать себе самому. Когда я ем жирного зайца или тучного фазана, то я, так сказать, жую, а ты глотаешь. Зачем тебе теплые покрывала из македонской шерсти? Если одеяла есть у меня, то, значит, они греют и тебя...»

В глазах у приятелей поэт, если бы не был так раздражен и обижен, прочел бы искорки смеха.

— Кстати, — сказал Скилица, — известно ли вам, до чего довел Итал своей эллинской проповедью Сервилия?

Собеседники вопросительно посмотрели на него.

— Представьте себе, этот чудаков взобрался на высокую скалу и со словами: «Прими меня, Посейдон!» — низвергнулся в пучину!

— Какой ужас! — воскликнул Калликл.

— Что вы хотите! — продолжал возмущаться Скилица. — Этот человек уже не одного отравил своим ядом. Признает платоновские идеи. Куда же идти дальше?

Так поэт Феодор Продром приятно проводил время с приятелями, позабыв о поручении

сварливой жены. Он еще о многом хотел бы рассказать, но вдруг наверху, в окне одного из ближайших домов, показалась женщина, которую всякий хоть немного знакомый с классической поэзией принял бы за мегеру, услышав ее пронзительный голос и увидев растрепанные волосы. Она кричала, потрясая поварешкой и явно обращаясь к стихотворцу:

— Посмотрите на этого безумца! Отправился, чтобы попросить в долг у лавочника соленой рыбы, и вот уже целый час болтает на улице о всяких пустяках, вместо того чтобы заниматься делом и зарабатывать деньги честным трудом...

— Ну, будьте здоровы, — поспешил расстаться с друзьями Феодор Продром и, ускорив шаги, пошел по своему делу, а приятели смотрели ему вслед, улыбаясь. Какое им дело до несчастий и неприятностей другого человека...

Бедняга спешил к рыбному торговцу, и над его главой витало прелестное видение Феофании, которую поэт не мог никогда забыть. Порой Продром сидел за столом, уронив голову на руки и вспоминая свою жизнь, и ему казалось, что единственным светлым лучом в ней были те дни, когда он находился поблизости от этого ангельского существа. Но позади подгонял мерзкий голос Евдокии:

— Тебе следовало бы жениться не на дочери почтенного спафария, если ты не в состоянии прокормить семью, а на какой-нибудь толстухе самого низкого происхождения. У него в нетопленной конуре ждут обеда четверо детей, а он вечно разглагольствует об Аристотеле или пишет никому не нужные стихи. Посмей только вернуться домой без рыбы и ячменных лепешек, и я покажу тебе, что такое риторика!

Что означает пустой гнев неумной женщины? Только то, что человеку не повезло в жизни. Но ведь так случилось и с самим великим Сократом, и если стоило привести в главе, в которой описывается смерть Мономаха, эту смешную и в то же время грустную уличную сценку, то лишь для того, чтобы показать, как трагические события перемешиваются с житейскими пустяками. Продром размышлял, что не будь на земле Мономаха, может быть, архонт Олег не появился бы в Константинополе, не победил бы нежное сердце Феофании, и поэт сделался бы счастливейшим человеком из смертных, а дочь магистра не лежала бы на острове Родосе, на щебнистом кладбище за виноградником. Феодор Продром считался замечательным поэтом, на его долю выпала высокая честь преподавать риторику самой Анне, багрянородной писательнице, а дома он находился под башмаком злой жены, и только воспоминание о красоте Феофании несколько освещало его невеселую жизнь...

Каждое событие мирового значения — как круги на воде. Весть о нем постепенно достигает до отдаленных пределов земли. Вскоре о смерти Мономаха стало известно и в половецких полях, на берегах Дона.

Наступал тихий и пахучий вечер. От реки доносился запах сырости. Хан Сырчан лежал у своего шатра на ветхой попоне, терпеливо ожидая, когда женщины сварят похлебку из рыб, пойманных в удачно закинутую сеть. От костров поднимались голубоватые дымки. Невдалеке паслись кони. Хан подпирал рукою голову и думал о самых обыденных вещах, уже позабыв о том, что такое радость победы и жгучее удовольствие при виде лежащих во прахе врагов и богатой добычи. Около хана сидел певец Орев, деливший его мирные рыболовные занятия и услаждавший половец песнями о прежних походах на Русь...

Вдруг из степи примчался всадник:

— Хан, умер Мономах!

Умер Мономах! Сырчан воспрянул духом. Он знал, что теперь всюду на берегах Сулы, Ворсклы и Псела стоят русские крепости и преграждают путь коннице. Но страшного князя больше не было в живых. Может быть, его преемники не будут такими бдительными?

Хан сказал певцу Ореву:

— Лишь только займется завтра заря на востоке, ты оседлаешь коня и отправишься в страну иверов, где в роскоши и неге живет хан Атрок, мой брат и господин. Ты скажешь ему, что Владимир Мономах умер и что теперь беглецы могут вернуться в родные степи. Пой ему половецкие песни, и он послушается твоего призыва. А если не захочет возвратиться, то дай ему понюхать пучок степной полыни.

На заре Орев оседлал самого быстрого коня и поскакал на полдень. Прошло очень много дней, и певцу приходилось взбираться на кручи и переходить горные потоки, прежде чем он нашел старого хана в богатом дворце, среди ковров и подушек, и сообщил ему о том, что произошло на Руси. Но Атрок, окруженный молоденькими наложницами, располневший от сидячего образа жизни и обленившийся в шелковых одеждах, с равнодушием отнесся к известию и отрицательно покачал головой в ответ на приглашение брата. Орев стал петь ему половецкие песни. Однако рабыни смеялись над этими странными на их вкус напевами. Тогда певец вынул из чистой тряпицы пучок полыни и протянул хану.

Атрок понюхал степную траву, заплакал и сказал:

— Лучше лечь костью в своей земле, чем прославленному жить на чужбине.

Москва, 20 декабря 1960 г.